Ю. АЙХЕНВАЛЬД ДОН КИХОТ НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

II



ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

ДОН КИХОТ НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

ЮРИЙ АЙХЕНВАЛЬД

ДОН КИХОТ

НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

CHALIDZE PUBLICATIONS 1984

Yuri Aikhenvald

DON QUIXOTE ON RUSSIAN SOIL

PART TWO

Редактор – Кронид Любарский
Обложка – Бориса Рабиновича

Copyright 1984 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications
Benson, Vermont 05731

Manufactured in U.S.A.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДОН КИХОТ

В СТРАНЕ СОВЕТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II

1. Писатель и нарком 7
2. Дон Кихот Полтавский 30
3. Диалог глухих 46
4. Дон Кихот освобожденный 68
5. Одержимый духом истории 94
6. Пешехонов, Рыцарь Бедный 128
7. Прогнозы Пешехонова и русская быль 156
8. Дон Кихот осмеянный 174
9. Дон Кихот побежденный 190
10. Дон Кихот под чужим именем 245
11. Дон Кихот воскресший 284
12. Триумф Дон Кихота 318
13. Дон Кихот в русском зарубежье 375
14. Санчо Панса без Дон Кихота 391
15. Кихотизм и наша интеллигенция 410

1. ПИСАТЕЛЬ И НАРКОМ

Писателя Владимира Галактионовича Короленку отнюдь не все из любивших его читателей звали "Дон Кихотом".

Ведь это только высоко, в горних сферах культуры светлое имя Рыцаря Печального Образа было различимой, самой близкой к земле звездочкой наших зияющих космических высот. На взгляд более острый, но равнинный, звезды Дон Кихота вообще не существовало.

"... Всякий порядочный, уважающий себя обыватель, –

писал в годы 'великого искуса' Леонид Андреев, –

> несомненно предпочитает, чтобы его называли Василием Чуркиным (легендарный разбойник – *Ю.А.*), нежели Дон Кихотом. Назвать же его Гамлетом – значит прямо польстить ему. Но Дон Кихот... Не оттого ли так случилось, что Дон Кихота он читал только в переделках для младшего возраста?" [1]

Очень может быть, что это именно обстоятельство в соединении с российской публицистической традицией дало возможность обывателю, современнику "серебряного века", титуловать "Дон Кихотами" неудачников, которых обыватель почитал глупее себя, но все-таки желал приободрить.

Юлий Айхенвальд глубоко уважал и Короленку и Дон Кихота, но даже он постарался оградить чтимого автора от сомнительной похвалы. В "Силуэтах русских писателей" он, подчеркнув, что Короленко "по самому существу своей натуры – заступник и защитник", продолжил характеристику так:

> "Те, кому это неприятно, могли бы сравнить его с Дон Кихотом, если бы наш русский рыцарь был только благороден; но он сверх того был еще и разумен и свое участие, свою борьбу расточал не понапрасну и не смешно; он умел различать невинных от разбойников, и злые великаны, которых он стремился одолеть, существовали реально: это не плоды его фантазии, но мельницы, которые спасли бы нас от 'голодного года'." [2]

Ю. Айхенвальд оказался в некоторой оппозиции к Дон Кихоту, что, впрочем, понятно: как раз в годы "великого искуса" Айхенвальд и писал, что Дон Алонсо Кихано недооценил скромной красоты родной Ла-Манчи. В "силуэте" оказалось даже, что Дон Кихот своей атакой на мельницы мог лишить голодающих хлеба.

Едва ли кто-нибудь предугадывал в то время, что не Дон Кихот, а противники его, решительно шагнувшие "от утопии к науке", будут в пору "военного коммунизма" реквизировать мельницы и прогонять мельни-

ков, и что именно Короленко мельницу попытается защитить, а мельника спасти. Уж совсем трудно было предположить, что за упрямую защиту мельника и права мельницы свободно молоть зерно Короленку как раз и назовут Дон Кихотом.

Сам Короленко вряд ли обижался, когда его называли так.

Он еще в 1890 году ожесточенно опровергал Карелина с его "Донкихотизмом и демонизмом".

> "Из лона Алонсо вышел Дон Кихот потому, что он был Дон Кихотом по природе, родился с перевесом воображения и непосредственно деятельных импульсов над анализом и критикой."

Увлечение рыцарскими романами придавало

> "ламанчскому гидальго окраску его времени и места". Но "это только временная оболочка, одежда никогда не умирающего типа".[3]

Кихотический склад – не столько благоприобретенная, сколько прирожденная особенность человека.

И действительно: обиженных много, обидчиков еще больше, а Рыцарь Печального Образа – всегда одинок, в кого бы ни вселился его дух, оскорбленный присутствием дьявольских козней в мире; стало быть, должна же у человека быть хоть какая-то особая примета, чтобы рыцарский дух христианства именно этого человека выбрал. Впоследствии похожую точку зрения высказывал нарком Луначарский, объявивший Короленку современным Дон Кихотом. По Луначарскому "Дон Кихоты", "праведники" отличаются ото всех прочих своим психофизическим складом.

На щекотливый вопрос, безумен ли Дон Кихот, или просто прав, или прав в своем безумии, Короленко отвечал в "Дневнике", что роман Сервантеса зачерпнул такие глубины человеческого духа, где мы имеем дело уже с первичными, так сказать, фактами человеческой природы. Дон Кихоты есть в человечестве, как есть и Гамлеты, как есть и Сократы...".

Отнеся Гамлета и Дон Кихота к "вечным типам", Короленко сошелся с Мережковским.

Могло ли Короленку обидеть, что его самого числят по вечному "донкихотскому" списку?

Правда, С. Протопопов, давно и хорошо знавший Короленку, вспоминал в 1922 г., что писателю "не хотелось когда-либо напомнить собой Дон Кихота, и поэтому он подчеркивал, что не надо 'высовываться', не надо накликать на себя гонений.

> "Не следует выскакивать из своего ряда при виде всякой несуразности. Но иногда судьба подходит к вашему ряду, подходит к вам и берет вас за пуговицу, и тогда вы обязаны выйти вперед и сказать и сделать должное.
>
> Однако слишком часто бывало, –

продолжал Протопопов, –

что судьба и за пуговицу не может вытащить иного героя, который упирается и говорит, что его хата с краю, что пусть лучше оторвется пуговица, лишь бы не ввязываться в историю. По скромности Короленко преуменьшал свою отзывчивость: по большей части он не дожидался буксира за пуговицу и выступал вперед". [4]

Не один голос сердца, но и зов судьбы, "буксир за пуговицу", может сделать человека из ряда вон выходящим.

Как будет видно ниже, Короленко не ждал "зова судьбы", а сам накликал на себя беду.

В дневнике революционной поры (запись 5 декабря 1917 г.) Короленко объяснил эту печальную необходимость так:

> "У души тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в действии и противодействии. Этим скелетом души должна быть вера (...) или религиозная в прямом смысле, или 'убежденная', но такая, за которую стоят 'даже до смерти', которая не поддается софизмам ближайших практических соображений, которая говорит человеку свое 'не могу'. И не потому 'не могу', что то или другое полезно или вредно практически, с точки зрения ближайшей пользы, а потому, что есть во мне нечто, негнущееся в эту сторону." [5]

В той же записи Короленко поминал Луначарского, у которого, как и у многих интеллигентов, должной негибкости не было.

Но негибкость, окостенелость "позвоночника" как признак благородства приемлема для поэта, если подобно ростановскому Сирано де Бержераку он предпочитает остаться "негибким калекой", лишь бы не выбрать "мудрую тактику гибкой спины". Однако даже из поэтов далеко не все таковы.

Что же говорить об общественных деятелях, по роду своих занятий нуждающихся в успехе не менее кинозвезд?

Одно, впрочем, можно сказать: Дон Кихот – совершенно антиобщественный деятель. Это спасает его от конформизма.

Еще Тургенев писал, что Дон Кихот выражает веру прежде всего; Короленко в приведенной дневниковой записи революционных времен определяет психологию кихотизма как общественно необходимую: "Этого у нас нет или слишком мало", – грустно завершается дневниковая запись от 5 декабря.

Но уж если идеалист, полагавший, что идеал действительнее факта, вместе с Протопоповым, добрым знакомым Короленки, все-таки держал на подозрении возвышенное имя Дон Кихота, – чего же спрашивать с читателя – марксиста, да еще наркома?

А в этой главе речь пойдет еще и об Анатолии Васильевиче Луначарском, эссеисте, драматурге, наркоме, романтике, ставшем борцом за разоружение капитализма перед победительным лицом социализма в голубиной Лиге Наций.

В ту пору, когда Луначарский был еще только эссеистом, журналистом, театральным критиком и не предполагал, что быть ему трубадуром

разоружения при сталинском сапоге, он называл "высокодаровитого Короленко" "одним из наших вождей". [6]

Дон Кихотом же – какой, в самом деле, из Дон Кихота вождь? – оказался для Луначарского не сам Короленко, а герой короленковского рассказа "За иконой" Андрей Иванович.

Это сапожник, отправившийся вместе с Короленкой в недолгое странствие вслед за чудотворной иконой, которую переносили из Нижнего Новгорода домой.

Разумеется, Короленко не мог быть Санчо Пансой при Андрее Ивановиче, да и простонародные Дон Кихоты, к которым Андрей Иванович принадлежал, обходились без оруженосцев.

Андрей Иванович – человек чудаковатый. Однако свойство странности и факт странствия сами по себе еще не определяют кихотического комплекса. Сапожник Андрей Иванович – – взбаломошный и агрессивный неврастеник с нижегородской окраины. Скорее всего Луначарский счел Андрея Ивановича Дон Кихотом потому, что в его глазах донкихотство не красило человека:

> "Это ничего, что Андрей Иванович сильно напоминает Дон Кихота: всякий искатель правды, у которого непосредственного чувства больше, чем сведений, напоминает Ламанчского героя, и за смешными приключениями Андрея Ивановича кроется такое же горячее, любвеобильное рыцарское сердце, как и у Рыцаря Печального Образа", –

писал Луначарский.[7] Частично оценки Дон Кихота у Луначарского и у Короленки совпадали. Но писатель относился к Рыцарю Бедному с несравненно большим уважением, чем будущий нарком, адепт могущественных научных идей.

Заявляя о духовном родстве Дон Кихота с этим Андреем Ивановичем, Луначарский игнорировал содержание рассказа: Андрей Иванович не столько ищет правды, сколько простора для своих могучих кулаков. Простонародный Дон Кихот Садовского, Иван Митрич Гречушкин, – трагичен. Андрей Иванович занятен, деятелен, но более всего нелеп. Роднит обоих героев лишь то, что оба они – сапожники.

Луначарский назвал короленковского сапожника "Дон Кихотом" потому, что отвесная глубина кихотизма была ему чужда и непонятна.

Статья, о которой шла речь, называлась "Чему учит В.Г. Короленко?" и написана была в 1904 г. В это время будущий ленинский нарком казался безобидным левым интеллигентом. Даже псевдонимы Луначарского были мирные, пасторальные, – "Анютин" (Анютин А., Анютин Ан., Анютин Анат.). Однако в царстве необходимости, в царстве марксизма, он был большим смельчаком и вольнодумцем. Мало того, что кроме конкретно-артиллерийской исторической "цели" он признавал еще и розово-рассветный "идеал", – он полагал, что и "цель", и "идеал" – это явления сверхнаучные.

> "Мы вовсе не утверждаем, –

писал А.В. Луначарский примерно в тот же период, когда почитал Коро-

ленку одним из "наших вождей" и строил свои анютины глазки нашей доверчивой интеллигенции, –

> ...что человеку, как определенно направленной с и л е (здесь и далее разрядка Луначарского) среди других сил мира, непременно удастся направить этот процесс по желанному пути. Поэтому социальный идеал марксизма сверхнаучен, как сверхнаучен всякий ф а к т : факты даются не наукой, а действительностью, и идеал есть факт, который люди находят в своем внутреннем опыте, – индивидуальном и социальном". [8]

"Этот процесс" был процессом мировой жизни; "идеал" и "факт" Луначарский уравнял в правах. Для Луначарского идеал не был действительнее факта. Идеал таким образом оказался приниженным. Однако верховный марксистский Абсолют, материю, Луначарский тоже не признал:

> "Мы о т р и ц а е м понятие субъекта и объекта как а п р и о р н ы е. Лишь после анализа опыта мы устанавливаем понятия н а ш е г о организма и окружающей среды, – понятия, которые суть лишь нецелесообразные отвлечения из нашего опыта". [9]

Со стороны Анат. Анютина назвать извечную мать нашу материю каким-то там "целесообразным отвлечением", в глазах В. Ильина было, конечно, чистейшим кощунством.

Великий Ильин и заклеймил вскоре Луначарского вместе с Богдановым и Базаровым как проповедников мракобесия, а также носителей поповщины.

Каким образом сам Ленин ухитрялся устанавливать объективную реальность чего бы то ни было, не обладая способностью сверхчувственного познания, осталось неизвестным. Вождь унес эту тайну с собой в могилу.

Однако пытливость человеческого разума не удовлетворялась таинственными, хотя и не новыми, открытиями В. Ильина; кроме того, идея прорыва "слабого звена" в цепи империализма, из которой исторически следовала уже и идея "большого скачка" (если употреблять термин, предложенный Китайской Народной Республикой), требовала некоторой романтизации академического марксизма. Тогдашний марксизм был основательный, научный, этакий тяжелодум и тяжеловоз. Между тем традиции экстремистского (в стиле Ткачева) народовольчества, усвоенные "бэками" во время борьбы с "мэками", требовали марксизма быстродействующего, а не вялотекущего, постепеновски-меньшевистского, "имени ренегата Каутского".

Это потом возникнет простодушный марксизм, который при великом Сталине изучат все: маршалы и фельдшера, летчики и шахтеры, укротители и звери в клетках.

Кто ни попадя вдоль и поперек бескрайней страны от Колымы до Крыма будет долбить и передалбливать самым доскональным образом диалектический материализм по четвертой главе "Краткого курса истории ВКП/б/".

Лучшие муэдзины советского марксизма прославят ее мудрость с высоких кафедр.

Главу написал сам Сталин.

Помню, как даже в мою подвальную глухую одиночку за железную дверь донеслась ее премудрость: отрывок негромкой философической беседы вертухаев, разбиравших для своих политзанятий разные черты диалектики.

По тусклому тембру голоса, странным образом сочетавшего эту невыразительность с убедительными, едва ли не проникновенными интонациями, я угадал коренастого, низкорослого пожилого старшину, носившего сапоги по-кавалерийски: он натягивал сапоги безо всяких складок до колен и от этого казался еще более непропорционально скроенным, чем был. Голосом чуть более громким, чем шипенье и шарканье всех остальных, этот вертухай делал одиночникам в одиночках свои неторопливые рассудительные замечания:

– Петь не положено. Вы в тюрьме находитесь, – это адресовалось совсем молоденькой, судя по голосу, девушке, только еще доставленной в тутошнюю клетку.

Или:

– Положьте одеяло как положено. Одеяло вам не шаль.

Адресат был все тот же: девушка, видно, озябла и накинула одеяло на плечи.

И вот этот голос теперь произносил:

– Что такое это: "Все течет-меняется?" Вот, например, у тебя пуговица оторвалась. Ты ее на старое место в точности пришьешь? Нет. Она у тебя маненько сдвинется. Как было, не будет. Все течет-меняется. Поняла?

– Поняла, вроде, – отвечала охранница, которую я тоже по голосу узнал, – баба толстая, как и все они тут, с оплывшей, даже как будто и не злой рожей, но большая стерва.

Щелкнул глазок, возник в глазке чей-то из них глаз, – заряженный вечным разумом зрачок без человека, – и тут же вслед за новым щелчком исчез. Из-за своей железной двери я услышал замирающее:

– Теперь, значит, следующая черта...

Так тюремный старшина растолковывал своей однополчанке черты диалектического материализма по всеохватной и всенародной четвертой главе.

Если б только западные "левые" в силах были представить себе эту картину! Как бы они осудили Солженицына с Шаламовым!

И я подтверждаю: да, по мягким ковровым дорожкам бесшумно шли рядышком буколические, словно Филемон и Бавкида, он и она, тюремные сержанты, – шли и тихо беседовали о философии, отвлекаясь только, чтобы поглядывать по сторонам в глазки подземных камер...

Сад Эпикура! Академия Платона имени Ленина на Малой Лубянке!

Но для того, чтобы возник вот этот марксизм, охвативший массу, как обруч бочку, нужен был главный штурмовой эпизод, – следовало капризную интеллигенцию расположить к марксизму.

Быть может, инстинктивно это понимая, твердокаменные "бэки" мирились с тем, что философию материализма, будущую стенобитную

башню пролетариата, Луначарский (он же, кроме Анютина, еще и Антон Левый, а также Антон Новый) камуфлировал под уединенную беседку для речистых любомудров, "позитивных идеалистов". Так называл своих последователей Луначарский, одновременно определявший марксизм еще и как наиболее последовательную форму позитивизма.

Но раз в марксистской системе исчезли Абсолюты, на которые можно было бы опереться, а человек оказался всего-навсего "силой среди других сил", причем не было уверенности, что ему удастся направить мировой процесс "по желанному пути", то оставалось надеяться лишь на воодушевление и собственные силы.

Так именно Луначарский и поступил:

> "Творчество дает ощущение мощи, чувство полноты существования. 'Воля к мощи!' – и эта воля не должна быть разрушительной и чрезвычайно редко ею бывает. Хищники и разрушители в конечном счете слабы и недолговечны, но 'рыцари духа' пребудут вечно... – Что такое счастье? – спрашивает Ницше: – Чувство растущей мощи". [10]

К этому счастью и звал своих рыцарей (но не Дон Кихотов!) Луначарский, не уверенный в достаточности научных историософских понятий. Сила сделать все по-своему оставалась для этого "марксиста" последним аргументом. [11]

"Мышление Булгакова телеологично", – писал он о Сергее Булгакове, в то время (1902 г.) идеалисте, полагавшем этические ценности ценностями высшими. Для самого Луначарского, чье мышление было релятивистским и волюнтаристическим, высшей ценностью была полнота жизни.

> "Полнота жизни – вот наш критерий, в котором примиряются правда-истина, правда-справедливость и правда-красота... Система желаний, внутренне согласованных, есть идеал... Человечество стремится не только к познанию высшей среды, но и к выяснению собственной программы действий: как должно изменить среду, чтобы все потребности (в том числе потребность в росте сил) удовлетворялись наиболее полно и роскошно? Вот основные вопросы п о з и т и в н о г о и д е а л и з м а. Критерий для сравнения идеалов – полнота жизни! Он гораздо определеннее пустых форм идеалистов. Бердяев тоже приходит к 'полноте жизни' как критерию идеалов, но заявляет, что понимает его не биологически, а этически.
>
> Мы же считаем жизнь в о в с е м е е о б ъ е м е явлением биологическим и даже видим в этом тавтологию. С п р а в е д л и в ы м общественным строем мы называем тот, который, удовлетворяя всем высшим и низшим инстинктам человека, разовьет в человечестве наибольшую сумму сил, наивысшую жажду мощи и обеспечит вековечный прогресс в необозримую даль вековечного совершенствования и углубления жизни". [12]

Дальнейшее течение событий XX века показало, к чему приводит "жажда мощи", "удовлетворяющая высшим и низшим инстинктам человека": высшие инстинкты перед низшими – все равно что колосья перед сорняками. Но Луначарский пренебрегал непрочными зерновыми культурами, которых теперь так не хватает России. В противоположность Василию Розанову, даже не знавшему, где нравственность живет и как она пишется, Луначарский знал, что нравственность живет в прислугах у буржуазии.

"Мы стремимся уничтожить коренное понятие морали – долг",

– призывал наши, а может быть, и еще не наступившие времена будущий ленинский нарком, уже тогда склонный называть свое учение аморализмом.

"Аморалисты не признают долга, не объясняющего себя. Но к чему же мы апеллируем каждый раз? К нашему желанию". [13]

С этой точки зрения вполне естественен разговор И. Солоневича, советского зэка, потом эмигранта, с Мануильским, крупным большевистским функционером.

В Киеве 1918 г. Мануильский так отвечал Солоневичу на его реплику о полном несоответствии всего происходящего вокруг, в частности, большевистских методов "углубления" революции с теоретическими выкладками Маркса:

– Мы не догматики, а тактики. Сначала нам нужно любой ценой повести за собой массы, удержать власть. Вот главное. Россией триста лет управляли подлецы и бездарности. Неужели ты думаешь, что мы, умные и любящие народ люди, не сумеем принести народу больше пользы, чем прежние правители?

При этом предполагалось, что и управлять-то Россией можно будет на льготных условиях по сравнению с прежними: революционные политические властители оказывались одновременно владыками народного хозяйства – банков, шахт, заводов, крестьянских полей...

Полнота власти грезилась невиданной. Разве не могли такие перспективы вдохновить молодых людей, решительных и плохо образованных?

Не помню, что ответил Мануильскому Солоневич, – его мемуаров у меня сейчас нет.

Но как ответила Мануильскому история, – всем известно.

Язвительность ее ответа впоследствии оказалась в буквальном смысле слова убийственной, – и, к сожалению, не только для таких, как этот Мануильский, будущий сталинский покорный слуга, по капризу вождя уцелевший, в отличие от многих других того же девиза.

Впрочем, дело тут не в девизах на знамени; в конечном счете и Мануильский, и более сильные особи той же породы занимались не обоснованием своих действий, а делом прежде всего. Они не подозревали, что подоплекой и единственно реальным для них самих оправданием их действий является "воля к мощи", как Журдэн не подозревал, что говорит прозой.

Сама по себе "воля к мощи" тщедушна и невзрачна, как Сулла, вместе со своими язвами задрапированный в красивую тогу.

От ницшеанства, адаптированного Луначарским, отлетал дух трагедии, и оно становилось маской уродцев.

И все же если Ленин был теоретиком революции, Троцкий – ее практиком, то Луначарский был ее лириком, ее романтиком. Наиболее "полно и роскошно" олицетворил эту романтику наш гофмановский герой, наш крошка Цахес, чьи преступления и подлости приписывались другим, зато таланты и добрые дела окружающих люди приписывали именно ему, коротышке Кобе со сталинскими усами. Именно Сталин наиболее прилипчивым и трудно узнаваемым, но и зато и самым последовательным образом выразил психоидеологический комплекс, который Луначарский живописно декорировал своим "позитивным идеализмом" с его успокоительной верой, будто "воля к мощи" "чрезвычайно редко бывает разрушительной".

От 1904 к 1916 гг. Луначарский прошел немалый путь. Одной из вех этого пути было то, что с боевой должности "вождя" Луначарский перевел Короленку на интендантскую, хоть и почетную должность "совести": в 1916 г. Луначарский писал Ромэну Роллану, что Короленко был

> "после смерти Толстого воплощением совести русской литературы". [14]

В 1918 г. Луначарский, уже Народный Комиссар просвещения, лишил писателя и этого звания: совести больше не требовалось. Короленко был уволен ото всякого общественного служения в отставку и переведен в разряд зрителей.

Произошло это так.

В № 228 "Известий Советов Рабочих и Солдатских депутатов" за ноябрь 1917 г. появилась статья Луначарского под библейским названием "Сретение".

На эту статью ответил Короленко ("Торжество победителей", "Русские ведомости", 3 декабря 1917 г., № 265).

Короленко начал с того, что министр-комиссар неудачно использует евангельскую символику. В статье "Известий" рассказывалось, как старый литератор Иероним Иеронимович Ясинский явился в Зимний дворец, "светясь снежными сединами", приветствовать советскую власть, подобно Симеону-Богоприимцу.

Симеон-Богоприимец так жаждал явления Мессии, что Господь решил не давать Симеону смерти до тех пор, пока Мессия не явится. Взявши на руки младенца Христа, опознав Мессию, Симеон обратился к Богу: "Ныне отпущаеши..." – и был отпущен в смерть.

Но кто был Христом-младенцем в ситуации, описанной Луначарским? Новорожденный министр-комиссар? Большевистская власть?

К тому же Ясинский ни в коей мере не просил отпустить его, наоборот, он предлагал свои услуги; прочел даже приветственные стихи, по словам Луначарского, "мускулистые, свежие, задорные и крылатые", которые свидетельствовали, что самый близкий к сверхчеловеку тип создается в России – это большевик".

Что могло больше, нежели такая характеристика, порадовать сердце бывшего Анат. Анютина!

Съязвив по поводу этой радости, Короленко напомнил читателям "Русских ведомостей" прошлое новоявленного Симеона-Богоприимца: на его прошлое Луначарский положил "министерскую сверхчеловеческую резолюцию: Пустое! Раз он с нами – значит он с восставшим народом!"

Однако, по мнению Короленки, к появлению Иеронима Ясинского в большевистском стане больше подошли бы сказания о блудном сыне, или о работниках последнего часа. Напомнив Луначарскому, что тот, еще в бытность свою критиком, написал статью "Чему нас учит Короленко?" – писатель в поучение наркому рассказал эпизод из жизни Ясинского, когда этот бывший радикал и последователь Чернышевского, ставший затем литератором охранительного направления, помог в девяностые годы утихомирить "Биржевые ведомости". Ясинский сам для этой цели предложил свои услуги начальнику Управления печати М.П. Соловьеву, который заставил владельца "Биржевых ведомостей" под угрозой закрытия газеты взять И.И. Ясинского на место благородного вольнолюбивого публициста Линева-Долина. Этот Соловьев решил лично возглавлять российскую прессу, заставив владельцев газет уволить нежелательных для него сотрудников и принять на их место благонадежных, законопослушных. "Разве М.П. Соловьев не был тоже сверхчеловеком реакционного насилия? – спрашивал Короленко и, наивно остерегая "бэков", продолжал: – Когда-то в газете Аксакова было напечатано стихотворение:

Да, наложить на разум цепи
И слово может умертвить
Лишь тот, кто властен вихрю в степи
И грому в небе запретить".

– А мы обучены этой химии, обращению со стихиями, – ответил бы Короленке герой песни Галича, почтенный отставник из высшего лагерного начальства.

Но Короленко не предполагал таких колоссальных возможностей за людьми будущего. Поэтому он объяснял наркому:

> "Итак, гражданин Луначарский, не следует обольщаться. С именинными стишками в Зимний Дворец явилась к вам не русская литература... в лице И.И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего Дворца вползла к вам только старая рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой..."

Рептилии – весьма живучие существа; вот и рептильный "Симеон-Богоприимец" не умер после того, как указал через "Известия Советов Рабочих и Солдатских депутатов" нового "Мессию"; наоборот, он процвел: стал редактором революционного журнала "Пламя", потом даже юношескую поэму Энгельса перевел на русский язык. Он умер в 1930 г., в то время, когда постоянные подписчики либеральных "Русских ведомостей"

в подавляющем большинстве своем уже погибли во время гражданской войны, оказались в эмиграции или надеялись– dum spiro spero – в Соловецких лагерях, а навстречу их надеждам медленно шел в числе прочих наступающих лет год двадцатилетия Октября, год 1937-й, ежовский.

Между тем Короленко предупреждал Луначарского:

> "Вы торжествуете победу, но эта победа, гибельная для победившей с вами части народа, гибельная, быть может, и для всего русского народа в целом... Ваше торжество зловеще и страшно. В минуту этого торжества Ваше сердце, гражданин Луначарский, поскольку Вы тоже были русским писателем, дрогнуло от тоски, ужаса и отвращения перед тем, что сделано", –

здесь Короленко имел в виду истерическую реакцию Луначарского на некоторые батальные эксцессы московских ноябрьских событий. Луначарский даже вышел было из состава правительства. Но великий Ильич утешил Луначарского, что послереволюционные свершения будут неизмеримо выше и прекрасней тех или иных старых зданий, разрушенных во время классовых битв. Луначарский подумал, успокоился и вернулся к власти. [15]

> "В минуту этого торжества от вас поспешил отмежеваться Горький, и, может быть, еще знаменательнее, что именно в эту минуту приходит Иероним Ясинский...", –

продолжал между тем упрямец Короленко, в конце статьи признаваясь, однако, в своей неуверенности насчет русского будущего:

> "И вот теперь я не знаю даже, куда направлять эти строки моего протеста и обращаю их ко всем, кому дорога свобода русской мысли, русского слова и русской воли! Да, и русской воли!"

Под "русской волей" Короленко разумел всеобщее избирательное право и учредительное собрание, которое большевики "хотят насильно подавить".

"Все" в качестве адресата – слишком неопределенное политическое множество. В смысле же отдельных лиц Короленко особенно надеялся на Максима Горького:

> "Горькие уходят, приходят Ясинские... И я поздравляю вас, бывший писатель, а ныне министр-комиссар, гражданин Луначарский, с этой символической заменой.
>
> *Владимир Короленко."*

Короленко не знал, что Алексей Максимович Горький, помимо туберкулеза, страдал еще и "перемежающимся кихотизмом", кихотизмом пароксизмальным, – так что, когда припадки болезни его отпускали, он становился реальным политиком. В результате его антибольшевистские "Несвоевременные мысли" обернулись апологетическим очерком "В.И. Ленин".

Луначарский не торопился с ответом Короленке. Да ему и некогда было. Статья Короленки в "Русских ведомостях" появилась 3 декабря 1917 г. и к 9 декабря Луначарский ее, вероятно, уже прочел. Но именно в этот день он подписал циркулярное письмо в культурно-просветительный отдел при Московском Совете Рабочих и Солдатских депутатов об условиях сотрудничества большевиков с издательской фирмой Сытина, печатавшего, кроме книг для народа, еще и газеты для либеральной интеллигенции. В этих "условиях", в частности, говорилось:

> "...5. Восстановление газеты 'Русское слово' допустимо лишь как органа чисто информационного и литературного.
>
> 6. Первая попытка воспользоваться возвращенным имуществом для борьбы с властью Советов поведет новую и окончательную конфискацию.
>
> 7. Газета фирмы обязуется помещать на первой странице официальную часть, то есть все распоряжения, декреты и декларации Правительства.
>
> 8. Те же требования должны быть обращены к газетам 'Утро России' и 'Раннее утро' ...". [16]

Очевидно, что "декларации" Правительства не должны противоречить "информации" о его деятельности, ибо такое противоречие было бы квалифицировано как "борьба с властью Советов".

"Биржевые ведомости," редакцию которых штурмовал Соловьев и укрощал Иероним Ясинский, будущий переводчик стихов Фридриха Энгельса, 14 декабря 1917 г. попросту закрыли.

Словом, Луначарский, "представитель самого близкого к сверхчеловеку типа", был занят важными делами. Он смог ответить Короленке лишь в августе 1918 г. К этому времени бумага и типографии перешли в собственность государства, "Русские ведомости" и другие такого рода газеты свое существование прекратили, так что Луначарский гордо и с полным правом мог ответить Короленке:

> "Ну вот, теперь уже немало именитых писателей с нами, хоть они все еще не без страха косятся назад, на стан шипящих и извергающих 'всяк зол глагол' "...

Очень полюбил этот недавний релятивист-позитивист звонкие библеизмы и церковнославянские обороты речи!

Что же до "шипящих и извергающих", то им пришлось не столько шипеть, сколько "пришипиться", – говоря тем приблатненным языком, который пришлось научиться понимать всем нашим "веховцам", "антивеховцам" и "сменовеховцам", когда наступило для них утро новых свершений на великих лагерных стройках.

В своем ответе в то время еще "близкий к сверхчеловеку" Луначарский обошелся с оппонентом безо всякого злопамятства. Ответ Луначарского Короленке появился в журнале "Пламя" в № 15 за 1918 г. (в следующем году журнал этот редактировал уже Иероним Ясинский). Одно-

временно та же статья, называвшаяся "Владимир Галактионович Короленко", была опубликована в "Петроградской Правде" от 11 августа 1918 г.

> "Имя Короленко, которому исполнилось 65 лет и который одновременно справляет сорокалетний юбилей своей писательской деятельности, дорого каждому грамотному русскому человеку. Нетрудно отдать себе отчет в том, чем дорог он нам; тут нет и не может быть никаких споров..."
>
> "На его произведениях лежит печать вечности..."
>
> "... Чему учит Короленко – учитель жизни? Он учит разумной любви. Он учит гуманности..." [17]

Но наркомовская гладкопись начала коробиться, едва речь зашла об отношении Короленки к большевистским способам преобразования жизни.

> "Горько, конечно, что во имя 'справедливости' и прочих обывательских почтенных вещей, так невыразимо жалких под грозой новой войны и революции, зачитал против нас проповедь и Короленко. Но как неверен был его голос! Какая скучная канитель его письмо, в котором он объявляет меня 'бывшим писателем, а теперь комиссаром' и с негодованием уездного пророка клеймит нас, радуется тому, что писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто пошел. Какая все это мелочь, какая моральная дребедень по сравнению с мировыми событиями, их горечью и их славой!" –

так писал Луначарский. [18]

Что же в статье Короленки Луначарский счел "моральной дребеденью"?

Я вернулся к статье "Торжество победителей".

Мне это было сделать проще, чем современникам событий: "Русские ведомости" холодной зимой 1918 г. у большинства, вероятно, пошли на растопку; те, кто уехал на теплый и помаленьку "белеющий" – но не от снега – Юг, не прочли, скорее всего, "Пламени"...

Пренебрежительную гримасу Наркома могли вызвать такие, например, строки Короленки:

> "У большевизма очень 'дурная пресса'. Материально он преуспел. В его руках сила, в его руках власть, в том числе над русской печатью, а сверхчеловеческая коренастая совесть позволяет ему пользоваться этой властью с такой беззастенчивостью, которой не знало даже царское правительство. Торжествующий большевизм не только закрывает 'неблагонадежные' газеты, но еще и сажает писателей в тюрьмы за 'противоправительственное направление'. Но в результате все партии, все направления общественной жизни отстраняются от него с той оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вокруг него уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью". [19]

Может быть, все это и было для Луначарского "моральной дребеденью" "уездного пророка"?

Ведь короленковские строки появились уже при красной власти, так что самый факт их появления опровергал их содержание.

Правда, к тому времени, когда Луначарский собрался, наконец, Короленке ответить, ничего подобного опубликовано быть уже не могло.

Но и тут: что мог противопоставить Короленко большевистской коренастой совести? Свою тщедушную, донкихотскую?

В то же время русским интеллигентам всех девизов пришлось пережить роковое разочарование (впрочем, многие его пережить не смогли: умерли, а иные и переживать не захотели и остались при своих прежних идеалах, как в дураках). Дело в том, что людям мыслящим всегда казалось, что у смысла есть своя особая, автономная от мира сила, и стало быть есть принуждение истиной, благороднейшее из всех принуждений. Но, когда после Февральской революции все слова были произнесены перед русской массой в самых разнообразных сочетаниях, как бессмысленных, так и глубоко осмысленных, то оказалось, что словесные смыслы самостоятельной силы почти не имеют. Сперва все упиралось в то, у кого посулы, потом решалось тем, у кого ружье. Оказалось, что для подавляющего – и всех подавившего – большинства людей тот или иной смысл слов "справедливость", "добро" и так далее и тому подобное обеспечивается физической силой лица, данные слова произносящего, а также жирными кусками, которые Произносящее Лицо может раздать или хотя бы с уверенностью посулить. Разумеется, смыслы многих слов были непонятны нашим глубоко внеренессансным массам. Но зато Нарком их Просвещения смог обеспечить классовой силой все свои оценки. Таков был факт. Для марксиста-"позитивиста" факт – это последняя инстанция. Поэтому Наркому не могло не показаться "уездным" такое рассуждение писателя:

> "В июльские дни, когда взметнулась первая вспышка большевистского кровавого безумия, на одном из красных знамен, с которыми ваши солдаты вышли на улицу, можно было прочесть следующую надпись: 'Капитал! Штык и пулемет тебя со свету сметет!' Эту чудовищную нелепость еще можно простить фанатизированным солдатам, которые еще могут обольщаться идеей, будто глубокие производственные отношения страны изменяются не творческой работой назревающих сил, а штыками и пулеметами. 'Владыка-народ' попал во власть того же заблуждения, от которого с таким треском рухнуло самодержавие. Вы не сказали народу правды о законах исторического развития. Вы этому помешали. Вы льстите гибельному предрассудку народного невежества, независимую мысль подавляете. Вам нет оправдания в неведении. В ваших собственных писаниях до революции русский народ прочтет опровержение ваших подстрекательств. К великому горю это будет слишком поздно..." [20]

Но теперь-то Луначарский мог рассчитывать, что человеку, "силе среди прочих сил", удалось, наконец, оседлать историю. Это была модная метафора. В знаменитом "Левом марше" Маяковский прямо призывал: "Клячу истории загоним!" Получалось, что бедная кляча-история должна была пасть где-то на крутой дороге в будущее. Тем самым оправдывалось пророчество Салтыкова-Щедрина, что после нивелляторов настанут в городе Глупове времена, когда история "прекратит течение свое".

С полной уверенностью в грядущем Луначарский отвечал Короленке:

> "Как ни много шлака и ошибок в том, что мы сделали, мы горды нашей ролью в истории и без страха отдаем себя на суд потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре". [21]

Но потомство вряд ли сможет вынести какой-либо приговор вождям Октября, не имея в руках их следственных дел тридцатых годов. Ведь и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, и Бухарин, не говоря уже о других вождях помельче, оказались разного рода изменниками родине, шпионами всех держав, диверсантами всех диверсий, и с тех пор не реабилитированы.

"Горе побежденным!" – вот как выглядит приговор Судьбы по отношению к тем, кого Луначарский называл "Мы". Ставить под этим суровым приговором еще и свою подпись было бы с нашей стороны, со стороны потомков, величайшим подхалимством перед Фортуной злою. С тем и отложим сей приговор.

Что же до приговора всякого рода партийных судов грядущего, то напрасно Луначарский был так уверен в оправдании таких, как он. Это уж кому как повезло.

Зато в нижеследующем своем утверждении ленинский нарком оказался и прозорлив, и совершенно прав:

> "Скучные филиппики Короленко против нас лавров в венок его не вплетут". [22]

Действительно, новых лавров в его венке не возникло.

Появились тернии.

Возможно, стремясь уберечь от них слабонервного, но уважаемого писателя, Луначарский и назначил его на должность постороннего зрителя большевистской революции. Вот текст Наркома об этом назначении, ознаменовавшем шестидесятипятилетие писателя:

> "Придет ли он к нам? К чему? С нами трудно. Людям чистой любви нельзя идти в ногу с людьми, одержимыми духом истории... Мы его любим и чтим, и гордимся его талантом и благородством, столь прекрасным в мирное время... Если мы падем, он скажет каннибалам, пляшущим на наших могилах: 'Стыдно', – не может быть, чтобы он совсем нас не понял. Победим, – тогда уж, конечно, не попрекнем, но нежно, любовно скажем: 'Отец наш, милый апостол жалости, правды, любви. Не сердись, что свобода и братство добываются гражданской войною. Теперь дело сделано. Вой-

ной подписали себе приговор палачи всех народов. Собирается всемирный конгресс Советов Труда. Россия, истерзанная борьбою, но победившая, всеми чтимая, заключает новые договоры со свободными странами.

Вот теперь наступает время красоты и любви, и правды: твори, отец, учи! Грозное время, когда ты, мягкосердый, невольно растерялся, прошло. Потоп схлынул. Вот, голубь с масличной ветвью, иди сажать розы на обновленной земле' ". [23]

Строки эти, политые сверхчеловеческими слезами умиления, сами стали паточными; не воспоминание ли о них сделалось причиною того, что Короленко казался потом наркому "сладеньким"?

Короленко обладал ясным и сильным разумом.

Луначарский был "одержим духом истории".

Для одержимого разум опасен и нестерпим.

Со временем уверенность большевиков, что власть – навсегда за ними, – окрепла.

Одержимость Луначарского все увеличивалась. Соответственно с ростом одержимости разрушалась память. В 1926 г., восемь лет спустя, в воспоминании Луначарского финал его ответа на статью "Торжество победителя" стал таким:

"Я говорил: Владимир Галактионович, пока Вы помолчите. Если Вы будете говорить, мы Вас слушать не будем. Нам некогда и даже вредно слушать", –

Этих мотивов в том тексте, который Луначарский якобы пересказывал, не содержалось. Дальше директивный пересказ (попробовал бы кто с "министром-комиссаром" тут поспорить!) выглядел так:

"Но когда мы победим, когда перейдем к социалистическому строительству, когда мы установим тот высший порядок существования, о котором Вы всегда мечтали и к которому Вы пассивно стремились и который построить можно только пройдя через Красное море революции, вот тогда мы Вас пригласим и скажем, – пожалуйте, Владимир Галактионович! Теперь солнышко обсушило всю землю, которая была омочена кровью и слезами. Мы строим великолепный голубой дворец идеального царства человеческого. Извольте порадоваться и вкусить от плодов рук больше наших, чем Ваших". [24]

В этом тексте, по-прежнему пышном и громозвучном, процент сахаристости резко упал. Короленко выбыл из благородных отцов-очевидцев революции, и перешел как бы в разряд бедных мужеством родственников, приглашенных на торжество незлопамятных победителей.

Образ "Красного моря революции", через которое надо было пройти, возник, видимо, как полемическая реакция на строки Короленки в "Торжестве победителей", что большевики готовят столь черные дни России, что людям придется еще, быть может, ностальгически вспоминать "о

египетском пленении царизма". Луначарский парировал библейский эпизод библейским же обстоятельством: ведь из египетского пленения пришлось уходить через Красное море.

Полемика была запоздалой: и Короленко умер, и события уводили все дальше от "голубого дворца идеального царства человеческого" к нынешней пивной-стекляшке, тоже зданию из стекла и металла. Может быть, Луначарский пророчески предчувствовал такое будущее – и потому его по-новому задел мотив о "египетском пленении царизма"?

Так или иначе "Красное море" в историческом контексте революции и Гражданской войны заиграло у Луначарского новым, кровавым отсветом.

Воспоминание Луначарского о статье 1918 г. и самую эту статью объединяла, пожалуй, лишь преемственность библеизмов.

Вскоре после 1918 г. стиль Наркома украсится еще и инквизиционной терминологией и приемами.

Но пока социальное землетрясение виделось ему, как и некоторым тогдашним поэтам, в грандиозных образах Книги книг.

Со временем в воображении Луначарского возник новый облик все того же текста. В 1930 г. Луначарский написал статью "Роллан как общественный деятель". В 1933 г. эта статья стала одним из предисловий к русскому изданию "Жана Кристофа" Ромэна Роллана. Теперь бывший нарком, разжалованный Сталиным в дипломаты, так вспоминал свой ответ Короленке:

> "Подождите, Владимир Галактионович, Вы не хотите пачкать в рабочей грязи и боевой крови Ваши сияющие одежды Праведника. Ну, что ж, – постойте в стороне, подождите, пока мы кончим нашу работу, пока на развалинах старого, на костях погибших врагов и друзей расцветет наш социалистический сад, – тогда мы пригласим Вас насладиться его цветами и плодами, и тогда Вы, конечно, не только найдете в себе силу духа простить тех, кто был жесток к врагу необходимой жестокостью и кто вместе с тем жертвовал собой, но и прославите их как лучших друзей человечества".[25]

Библеизмы исчезли, цветистый стиль Наркома поувял, да и сам Нарком стал бывший ...

Изменилось и положение Короленки в парадизах социализма.

В 1918 г. Луначарский его туда любовно позвал, обратился как к отцу, просил учить любви и правде.

В 1926 г. Праведника, Дон Кихота, – так теперь называл Короленку Луначарский, – Нарком пригласил суховато:

> "Извольте порадоваться и вкусить от плодов рук больше наших, чем Ваших".

При этом благодарности еще не требовалось. Вкушать разрешалось молча.

В 1930-1933 гг. , когда миллионы раскулаченных гибли нивесть где, а на Украине во время голода 1933 г. и нераскулаченные вымирали, – от

Праведника потребовали дифирамбов. Праведник уже должен был в садах социализма с их "цветами и плодами" (соловецкими "цветочками" и колымскими "ягодками", как сказали бы теперь мы) не только простить тех, кто был – необходимо – "жесток к врагу", но и "прославить их как лучших друзей человечества".

Так по этапам – от сыновней просьбы учить через милостивое разрешение помалкивать к начальственной уверенности, что Праведник будет прославлять, – провел Луначарский в душе своей Короленку. На этом пути менялся текст, в сознании самого автора приобретший характер едва ли не апокрифический.

Но что заставляло Наркома создавать легенду о собственном тексте для самого себя и для читателя? Почему было не процитировать своей статьи 1918 г.?

В 1930 г., по мнению И.В. Сталина, возникло "головокружение от успехов". По мнению Н.С. Хрущева, другого генерального секретаря той же партии, в то время имело место "головокружение от голода". *Хвалы были неуместны с любой из этих точек зрения. Именно поэтому хвалы, как витамины дистрофику, были остро необходимы государству.

К тому же – чем дальше в лес, тем больше дров; лес рубили, щепки летели, иные норовили попасть Наркому не в бровь, а прямо в глаз, – и только пуленепробиваемые официальные абстракции могли спасти. Бывший нарком и глядел вокруг сквозь эти бронированные стеклышки. Но при этом его "коренастой совести" почему-то все больше хотелось унасекомить тщедушную, короленковскую.

"Послужной список" В.Г. Короленки в мире Луначарского выглядел так:

– 1905 г. Короленко "всегда останется одним из наших вождей";

– в промежутке между революциями Короленко – совесть русской литературы;

– в 1918 г. – это благородный отец, страдающий зритель грандиозных событий "с их горечью и славой", которого победивший пролетариат пригласит в учителя добра и справедливости;

– начало 20-х гг. – Праведник, русский Дон Кихот;

– в начале тридцатых (в статье "Роллан как общественный деятель") Короленко был посмертно переведен на новую должность. Он стал

> "решительным теоретическим и моральным врагом ленинской революции", [26]

уже безо всякого упоминания о его благородном, хоть и неуместном донкихотстве.

В свою очередь сам Луначарский (он же Анютин, Левый, Новый) за это время побывал марксистом-вольнодумцем, большевиком, "приближающимся по типу к сверхчеловеку", ленинским наркомом, сталинским чиновником по дипломатической части.

---

* Я слышал это полемическое (по отношению к сталинскому) высказывание Хрущева по радио в 1964 г. в приветственной речи Яношу Кадару.

Тема русского "донкихотства" возникла у Луначарского не в связи с поведением Короленки, хоть оно и было вполне кихотическим, а по поводу позиции Максима Горького, который, как уже говорилось, страдал во время революции припадками пароксизмального кихотизма.

Горький даже и в начале тридцатых годов в предисловии к ролландовскому "Жану Кристофу", которое было помещено в книге рядом с предисловием Луначарского, писал в противовес бывшему наркому, обличавшему Роллана за "донкихотство":

> "Говорят: Ромен Роллан – Дон Кихот. С моей точки зрения, это лучшее, что можно сказать о человеке. В безжалостной игре непримиримо враждебных сил истории человек, который жаждет идеальной справедливости – тоже сила, потому что неустанно напоминает о том, как необходима справедливость прежде всего для трудящихся, ибо только они могут установить ее для всего мира". [27]

Сказано сильно, но под конец невнятно: справедливость может быть общая для всех, если же она – "прежде всего" для кого-то – значит, ее нет вовсе.

Но интересно, что Горький, как будто излечившийся от своей кихопатии к началу тридцатых годов, все же высоко ценил Рыцаря Бедного. Видимо, в нашем Буревестнике революции отчасти жила еще тоска по тем временам, когда им овладевали приступы пароксизмального кихотизма, отчасти же шевелилось предчувствие недалекого будущего, когда под его покровительством возникнет апологетическая книга о концлагерном Беломорканале.

Относительно смерти Горького ходят разные слухи.

Как бы то ни было, но я уверен, что смерть этого писателя огорчила тогдашнего великого вождя не более, чем гибель Кирова или Орджоникидзе. Ни один психиатр не может быть уверен, что "перемежающийся кихотизм" не сделался хронической болезнью. Ее неожиданный приступ вполне мог вызвать у Горького такой сильнодействующий фактор, как обострение классовой борьбы, которое гениально организовал великий Сталин.

Еще Ильичу Горький досаждал припадками кихотизма:

> "... Чудак Алексей Максимович, мудрый, сложный человек, а как иногда упрощает. Будто, кого захотели – арестовали, за кого попросили – выпустили... И доброта его здесь чудаковатая: мучительно тяжело живут все – и хорошие, и плохие, – всех жаль... Луначарский забавно называет это 'современным донкихотизмом' – ему приходилось быть свидетелем нелегких объяснений с этим непреклонным 'идальго', "–

так, если верить хронике В. Чикина, "На виду у всего человечества" говорил Ленин. [28]

Однако, не "на виду у всего человечества", а в приватных записочках чекистскому начальнику Уншлихту Ленин действовал несколько иначе.

Он, например, предлагал освободить свиновода Щепкина, в чьей "контрреволюционной работе" не сомневался, чтобы использовать его специальные знания. Что было делать! Мертвой враженины "бэкам" и так было девать некуда, а живой свинины не хватало.

По тем же чисто прагаматическим основаниям Ленин предлагал выпустить ученых, занимавшихся сапропелем – "штукой для хозяйства полезной". [29]

Надо отдать должное Сталину: это он догадался разводить свиней и совершенствовать "хозяйственные штуки" без отрыва специалистов от заключения, на тех же тюремных производственных площадях.

Великий Ленин еще не смог этого сделать.

Но и при нем выпускали и сажали не "кого хотели", а кого надо было в соответствии с воплощенной в Ильиче революционной волей, которая сама знала, когда и с кого ей начинать. Поэтому Горькому, досаждавшему Революционной Воле "ходатайствами о людях", от Ленина доставалось малое: "жалость, почти презрение". [30]

В ответ Горький в своих "Несвоевременных мыслях" обвинил "бэков" в щедрой, поистине царской жестокости. Он там писал, в частности, что "донкихотство" – благородное свойство русского народа (Гоголь в свое время судил об этом иначе), но что свойства этого почему-то вдруг стало очень не хватать России в годы испытания революцией.

Луначарский со своей стороны во время революции ощущал кихотизм как нечто такое, что он, революционер, был бы рад на всякий случай экспроприировать. Своими определениями кихотизма наш эссеист и литературовед А.Г. Горнфельд дал ему эту возможность.

Горнфельд в 1913 г. сказал, а в 1924 г. повторил, что творчество Дон Кихота – это волевые решения, это творчество в моральной сфере и притом "окрыленное ограниченной мифологией". После Октябрьского переворота большевики много говорили, что их миссия – создать нового социалистического человека из ветхого капиталистического Адама. "Ограниченная" или нет, но мифология эта и впрямь видела себя окрыленной.

Луначарскому вполне могло показаться, что у него есть все марксистские основания пококетничать с кихотизмом.

Марксизм Луначарского имел романтическую, волюнтаристскую основу.

Но кубинский марксизм, чилийский марксизм, маоистский марксизм, марксизм "красных кхмеров", марксизм "красных бригад" и другие марксизмы как слаборазвитых стран, так и промышленно передовых обществ, подтверждают то, о чем со всей бронетанковой твердостью заявил уже давным давно корифей Табуреткин всей своей теорией и практикой, а именно: источный марксов марксизм и есть чистой воды волюнтаризм, закамуфлированный, как пушки на маневрах, маскировочными "научными" покровами. Сейчас покровы эти обветшали до полной призрачности, так что волюнтаристская основа видна всем, кто не отворачивается от этого зрелища, весьма поучительного для самолюбивых умов.

Так что кихотизм – но лишь в горнфельдовском определении! – марксисты вполне могли присвоить себе. Это и случилось в последнее

двадцатилетие. Но тогда, в годы революции и гражданской войны, нашим марксистам-ткачевцам ленинской складки еще казалось, что за них – самая научная социальная наука. Дон Кихот им был ни к чему.

Луначарский же имел все основания заинтересоваться кихотизмом в горнфельдовских очертаниях. У Луначарского не было непоколебимой уверенности, что история будет продолжать течение свое именно по революционному, по ленинскому руслу: в статье о Короленко 1918 г. Луначарский, как мы видели, еще предполагал возможность поражения большевиков. Чем остаться просто в дураках, лучше было оказаться в Дон Кихотах.

Однако в поле зрения Луначарского все время находился противоположный горнфельдовскому горьковский вариант кихотизма, скорее кихотизма сердца, чем идеи (впрочем, в "Несвоевременных мыслях" Горький защищал и идею прав человека).

Так как кихотизм Горького был перемежающимся, то и не затрагивал глубоко личности писателя, что давало возможность Ленину надеяться на душевное выздоровление Буревестника революции. С дремучим Дон Кихотом из Полтавы Ильич не стал бы зря тратить времени. Ленин спорил с Горьким, а Луначарский имел перед глазами пример кихопата, который мог быть – и был! – полезен большевикам.

> "Идея современного донкихотизма особенно ярко возникла в моем уме, когда я присутствовал при беседе между Владимиром Ильичем Лениным и М. Горьким, –

вспоминал Луначарский в 1927 г. –

> Горький жаловался на обыски и аресты у некоторых людей из интеллигенции Петрограда.
>
> – У тех самых, – говорил писатель, – которые когда-то всем нам – вашим товарищам и даже вам лично, Владимир Ильич, оказывали услуги, прятали нас в своих квартирах и т.д.
>
> Владимир Ильич, усмехнувшись, ответил:
>
> – Да, славные, добрые люди, но именно потому-то и надо делать у них обыски. Именно потому приходится иной раз, скрепя сердце, арестовывать их. Ведь они славные и добрые, ведь их сочувствие всегда с угнетенными, ведь они всегда против преследований. А что сейчас они видят перед собой? Преследователи – это наша ЧК, угнетенные – это кадеты и эс-эры, которые от нас бегают. Очевидно, долг, как они его понимают, предписывает им стать союзниками против нас. А нам надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно.
>
> И Владимир Ильич рассмеялся совершенно беззлобным смехом". [31]

Напрасно разные очевидцы, а может быть, клеветники* рассказывали, будто чекисты заводили какие-то там моторы, чтобы заглушить выстре-

---

* Например, В. Катаев в повести "Уже написан Вертер".

лы во время казней. Совершенно беззлобного смеха Владимира Ильича было вполне достаточно для такой заглушки. Ведь именно этот беззлобный смех, а не стрельба, не крики, не проклятья казнимых стоял в ушах у заграничных ленинских благожелателей, – романтического Роллана и ироничного Франса, скептического Бернарда Шоу и вдумчивого Теодора Драйзера.

У "красного террора" было не только свое "человеческое лицо" – интеллектуальное, высоколобое, – но даже и "совершенно беззлобный смех".

* * *

Литература

1 Л. Андреев. "В переплете из ослиной кожи". Полное собр. соч., т. 6, СПБ, 1913, стр. 180.

2 Ю. Айхенвальд. "Силуэты русских писателей". М. 1911, стр. 224.

3 В.Г. Короленко. "Дневники" (1881-1893). Полное собр. соч., т. 1, Госиздат Украины, 1925, стр. 191.

4 С. Протопопов. "Материалы для характеристики В.Г. Короленко". "Былое", № 20, 1922, стр. 4.

5 В.Г. Короленко. "Из дневников". "Память" № 2, Париж, 1979, стр. 380.

6 А. Луначарский. "Этюды критические и полемические". М., 1905, стр. 35.

7 Там же, стр. 24.

8 А. Луначарский. "Этюды полемические. Против идеализма". М., 1924.

9 Там же, стр. 48.

10 Там же, стр. 18.

11 Там же, стр. 96.

12 Там же, стр. 54-55.

13 Там же, стр. 56 и 57.

14 Цит. по книге Н.А. Трифонов. "А.В. Луначарский и советская литература". М. 1974, стр. 155.

15 См. об этом "Литературное наследство", т. 80, М., 1971, стр. 46.

16 "Полиграфия" №№ 11-12, 1967, стр. 15.

[17] А. Луначарский. Собр. соч., т. 1, М., 1963, стр. 376.

[18] Там же, стр. 378.

[19] В. Короленко. "Торжество победителей", "Русские ведомости", 3 декабря 1917 г.

[20] Там же.

[21] Цит. статья Луначарского, собр. соч., т. 1, стр. 378.

[22] Там же, стр. 378.

[23] Там же, стр. 378.

[24] А.В. Луначарский. "Очерки по истории русской литературы". М., 1976, стр. 409.

[25] А.В. Луначарский. Предисловие к роману Р. Роллана "Жан Кристоф", Л., 1933, стр. 12.

[26] Там же, стр. 11.

[27] М. Горький. Предисловие к роману Р. Роллана "Жан Кристоф". Л., 1933, стр. 5.

[28] В. Чикин. "На виду у всего человечества". "Литературная газета" № 17 от 23 апреля 1980 г.

[29] И.С. Уншлихт. "О Владимире Ильиче". М., 1972, стр. 21 и 23.

[30] М. Горький. "В.И. Ленин", "Русский современник", кн. 1, 1924, стр. 239.

[31] А.В. Луначарский. "На Западе". М., 1927, стр. 84-85.

2. ДОН КИХОТ ПОЛТАВСКИЙ

9 мая 1920 г. Луначарский написал жене, что его направляют в Полтаву. Там Луначарский должен был переговорить с В.Г. Короленкой и вообще успокоить встревоженные сердца , ибо Украина

> "смущена и полна так называемыми бандами, т.е. непонявшими себя анархистами и патриотами". [1]

Патриотизм во время начавшейся борьбы с Польшей опять понадобился.

Красноречивый Нарком надеялся, что "так называемые банды", "поняв свои идеи", станут союзниками "бэков". В пьесе "Освобожденный Дон Кихот", уже наполовину готовой, Луначарский написал о красном разбойнике Вермильоне, набравшем революционный отряд из грабителей и убийц. Может быть, и Нарком надеялся проделать то же, что герой его пьесы.

Не знаю, сумел ли Луначарский уговорить "непонявших себя" "анархистов и патриотов" перейти с большой дороги обычного типа на столбовую магистраль истории.

Короленко оказался несговорчивым. Эту часть задания Наркому выполнить не удалось.

Зато, как справедливо утверждают советские исследователи, встреча с Короленкой и его письма Луначарскому дали последнему новый материал для пьесы "Освобожденный Дон Кихот".

7 июня 1920 г. Луначарский пришел к Короленке. От Писателя Нарком должен был направиться на митинг в Городском театре. Короленко, разумеется, не собирался идти на этот митинг.

Что интересного для себя мог услышать там в речи Луначарского шестидесятисемилетний Писатель?

Обыкновенно Нарком в своих выступлениях обличал всех, отдавших

> "свое сочувствие под разными соусами контрреволюции и ее желанному 'порядку' ", "всех сентиментальных, влюбленных в право, женственных обожателей красивого", отошедших от революции "в благородном негодовании". [2]

> "Что такое ваша 'красивенькая красота' по сравнению с бурной, стихийной красотой творимой жизни? Что такое ваша любовь по сравнению с плодотворной грозой революционной ненависти, которая с грохотом железной рукой распахивает ворота нового мира?" [3] –

в такие ряды обычно строил слова "близкий к типу сверхчеловека" Нарком. Созерцать эту маршировку фраз Писателю едва ли было интересно.

И все-таки Короленко поспешил на митинг в Городской театр: к писателю пришли родственники пятерых узников, приговоренных Чрезвычайной Комиссией к расстрелу. Имен всех, как заметил Короленко у себя в дневнике, он даже не знал. Короленко знал лишь имена Аронова и Миркина. Родственники Аронова даже принесли Короленке кое-какие оправдательные документы, не заинтересовавшие почему-то справедливых чекистов.

Для чекистов эта невнимательность к разным бумажкам была столь же естественна, как и для Рыцаря Печального Образа естественным было не поинтересоваться даже именами тех, кого он решился защищать: какая разница, кого и почему собираются предать бессудной казни? Важно спасти "первых встречных" от беззакония!

Это было тем более важно, что идеологи, вроде Луначарского, радовались, видя, что прежний свод законов худо ли, хорошо ли, но как-то защищавший людей друг от друга, теперь рухнул, и остались от этого свода одни обломки для баррикад мировой революции.

Луначарский еще в 1919 г. писал о новом правосудии:

> "Долой суды-мумии, алтари умершего права, долой судей-банкиров, готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить кровь живых. Да здравствует народ, создающий в своих кипящих, бродящих, как молодое вино, судах, право новое, справедливое для всех, право великого братства и равенства трудящихся". [4]

Право, которое кипело, бродило, как молодое вино, и, бросившись судьям в голову, могло Бог знает что натворить, очень тревожило Короленку, одного из первых наших кихотических правозащитников.

Чтобы спасти пятерых от нового "революционного права", если оно вдруг забурлит и закипит, словно адская смола для грешников, Короленко, Дон Кихот Полтавский, и поспешил в Городской театр на митинг.

> "И Луначарский, и Иванов (начальник Чрезвычайки) уверяли, что эти пятеро еще не расстреляны, и значит, может идти разговор об отмене приговора. Я успокоился и прослушал всю лекцию. Луначарский говорит хорошо и, по-видимому, убежденно. (...) По словам Луначарского, Россия теперь держит в руках будущее мира, ключ от всемирного катаклизма. В Европе она владеет сердцами всего пролетариата, в Азии и колониальных странах она может поднять азиатские орды лозунгом: 'Азия – для азиатов!' Россию поэтому все боятся... Вообще тон у докладчика был самоуверенный", –

записал Короленко в дневнике 8 июня 1920 г.

Луначарский оказался и для наших дней совершенно прав.

Хотя "ключ от катклизма" несколько заржавел, но, благодаря мужеству населения нашей страны и его поголовной занятости доставанием разных вещей (любая вещь, если она не дерьмо, в любой момент может стать дефицитом), здешняя Администрация всегда в состоянии, поднату-

жась, повернуть этот ключ в разные стороны, – закрыть катаклизм или открыть, в зависимости от поведения партнеров США по агрессивному блоку НАТО.

Митинг в Городском театре закончился пением "Интернационала", после чего Писателю предложили сфотографироваться на эстраде вместе с Наркомом Луначарским, Председателем Губчека Ивановым, Председателем Губисполкома Шумским и другими передовиками тогдашней русской истории.

> "Воображаю, как коммунистические газеты использовали бы эту карточку. Я снялся бы с теми самыми лицами, которые расстреливали людей по административным приговорам. Я наотрез отказался, –

записал Короленко в дневнике. –

> Затем (...) я еще раз подошел к Луначарскому, а затем к Иванову, передал ходатайство рабочих об Аронове и просил, чтобы ради приезда Луначарского они отложили террористическую бессудную казнь (...). Если нужно, пусть судят (...). Иванов пробормотал что-то вроде обещания. Это человек с зловеще бледным лицом, мутным взглядом и глухой речью. Луначарский подтвердил обещание ходатайствовать". :

Через несколько дней в первом своем безответном письме Луначарскому Короленко все это происшествие изложил не с дневниковой эскизностью, а обстоятельно и подробно:

> "Уже приступая к разговору с Вами (вернее, к ходатайству) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне придется говорить напрасные слова перед только что зарытой могилой. Но так хотелось поверить, что слова начальника Чрезвычайной Комиссии имеют же какое-нибудь основание, и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже по общему тону Вашей речи чувствовалось, что даже и Вы считали бы этот кошмар в порядке вещей... но ... человеку свойственно надеяться... И вот на следующий день, еще до получения Вашей записки,[5а] я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стесненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня тому назад мы узнали из местных "Известий" имена жертв. Перед свиданием с Вами я видел родных Аронова и Миркина, и это положило отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию официального заключения лица, ведающего продовольствием. В нем значилось, что в деяниях Аронова продовольственные власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я привез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулянтом. Таким образом, по вопросу об этих двух

жизнях были разные, даже официальные, мнения, требовавшие, во всяком случае, осторожности и проверки. И, действительно, в Чрезвычайную Комиссию за полторы недели до этого поступило предложение Губисполкома согласно заключению юрисконсульта освободить Аронова и передать его дело в революционный Трибунал. Вместо этого он расстрелян в административном порядке". [6]

Луначарский в статье "Праведник" 1923 г. описывал все это иначе:

"У Короленко было нежнейшее сердце, и я не забуду, как сморщилось его милое старческое лицо и как по нему текли слезы, когда вдруг он стал просить меня о каком-то заведомом спекулянте-мукомоле, к тому же уже расстрелянном накануне. Но эти движения глубочайшей сердечности не искажали души Короленко, которой всегда присуща была ясность и какая-то классическая правильность.

Именно поэтому некоторые взбаломошные натуры, среди них и очень крупные, находят Короленко сладким". [7]

Короленко, как видно из этого текста, стал просить за человека "вдруг" (вполне кихотическая импульсивность); просить при этом о "заведомом" для Луначарского спекулянте (тут слезливый старец проявил чисто "донкихотскую" неразборчивость); а самый спекулянт "к тому же был расстрелян накануне" (тут короленковское "донкихотство" просто уже перешло в маразм).

Однако, изо всего этого выводится, что "душе Короленко всегда присуща была ясность и какая-то классическая правильность".

Налицо явное желание защитить Короленку при очевидном стремлении его и осрамить.

Что же было на самом деле?

11 июня 1920 г. Короленко отметил в дневнике, что

"Иванов, говорят, в большом затруднении, как изложить известие о казни пятерых для газеты. По-видимому, они осознали, что есть 'ошибка' ", –

констатирует полтавский Дон Кихот.

В своем дневнике, как и потом в письме к Луначарскому, он упоминает о том, что еще до казни Исполком Полтавы обратился в ЧК с предложением освободить Аронова или передать его дело в ревтрибунал: заведующий Губпродкомом Генкин написал заключение, что Аронов не нарушил никаких государственных директив.

"Казнь вызвана не действительным нарушением и злостной спекуляцией, а только неудачно примененным желанием навести грозу на буржуазию". [8]

25 июня Короленко записывает в дневник, что Иванов ушел из ЧК и сделан комендантом тюрьмы. По сведениям, нелегально оттуда дошед-

шим, после его прихода тюремный режим ужесточился; новый комендант "не смотрит людям в глаза".

Переход с должности председателя Полтавской губчека на должность коменданта тюрьмы был явным понижением.

7 июля 1920 г. Луначарский вместе с первым письмом к нему Короленки (подробнее об этих письмах полтавского Дон Кихота к ленинскому Наркому будет ниже) послал Ленину и свое собственное письмо, в котором изложил всю ситуацию так:

> "Владимир Галактионович приехал в театр, когда я должен был выступить там с речью, и стал хлопотать в присутствии детей Аронова и Миркина за их судьбу"...

Короленко и в дневнике, и в письме Луначарскому утверждал, что видел "родных Аронова и Миркина" перед свиданием с Наркомом. Но, может быть, они присутствовали и во время встречи? Или Луначарский драматизировал ситуацию, чтобы оправдать свою снисходительность к Короленке?

> "... Я немедленно подозвал председателя ЧК тов. Иванова, –

продолжал Луначарский письмо Ильичу, –

> и просил его принять к сведению факты, передаваемые Короленко. Самым существенным была бумага от местного заведующего Губпродкомом, в которой этот заведующий (запамятовал его фамилию) констатировал, что преступлений за Ароновым и Миркиным нет. На эту бумажку председатель ЧК т. Иванов только пожал плечами и сказал: 'Разберемся'. Когда В.Г. отошел от меня, Иванов заявил мне, что эти лица уже расстреляны. Факт произвел на меня, конечно, тяжелое впечатление". [9]

По-видимому, Иванов сказал Луначарскому, что Аронов и Миркин расстреляны, после того, как Короленко подошел к Луначарскому со своей просьбой перед митингом. В ответ на просьбу Писателя Луначарский и Иванов, судя по короленковскому дневнику,

> "уверяли, что эти пятеро еще не расстреляны, и значит, может идти разговор об отмене приговора".

Но и после митинга, т.е. когда Луначарский уже знал о гибели пятерых, он снова заверил, что будет ходатайствовать об отмене казни, а Иванов "пробормотал что-то вроде обещания" (скорее всего все то же "Разберемся"). Потом обманщики пригласили обманутого Праведника сфотографироваться вместе с ними на эстраде.

Таким образом, для самого Луначарского, судя по его письму Ленину, бессудно расстрелянный человек в июле 1920 г. никаким "заведомым" спекулянтом не был; более того: факт произвел "тяжелое впечатление" на Наркома-просветителя.

В 1923 г. вся эта ситуация обрела под луначарственным пером совсем иное, отчасти даже опереточное освещение.

Под ворохом роскошных "анютиных", "левых" и "новых" слов очень скоро завелась ложь, серенькая, как сыпнотифозная вошка.

Полезно отметить и еще кое-что из этого письма Ильичу.

То, что тов. Иванов, председатель ЧК, сперва расстрелял, а потом сказал: "Разберемся", – оказалось очень характерным уже и для дальнейшего чередования здешних репрессий и реабилитаций.

Текст письма подтверждает также закон революционной баллистики, сформулированный еще корпусным генералом бароном Будбергом:

> "Всякая революционная морда, ударившись о государственность, сворачивает вправо".

Ведь для Луначарского "самой существенной" была бумага от председателя губпродкома. Короленко дважды – и в письме Луначарскому, и в дневнике – помянул о ходатайстве рабочих мельницы, принадлежавшей Аронову. Луначарский, Нарком рабоче-крестьянского Правительства, в письме Ленину, вождю пролетарской диктатуры, ходатайство мельничных рабочих в защиту Аронова вовсе игнорировал. По-видимому, это были, с точки зрения Наркома-министра, второсортные, несознательные рабочие. Истинно сознательный пролетариат никогда не станет просить за своего хозяина, каким бы тот ни казался "добрым". Классовое пролетарское сознание не может обращать внимание на достоинства отдельных классово-чуждых единиц.

Учитывая эту психологию Наркома, Писатель на ходатайство мельничных рабочих сослался лишь "во-вторых".

Зато Луначарский на это ходатайство совсем не обратил внимания.

О предложении Губернского Исполкома (т.е. собственно Советской власти) Нарком опять-таки ничего не сказал, поскольку предложение Губисполкома освободить Аронова и передать его дело в Ревтрибунал было сделано "согласно заключению юрисконсульта", т.е. человека, помнившего те, уже допотопные времена, когда законы еще не кипели и не бродили, как молодое вино, а худо ли, хорошо ли, – но все-таки действовали.

Зато "самой существенной" для народного комиссара оказалась "бумага" такого же, как он, доверенного государственного чиновника. И это было вполне по-ленински: в период "первой фразы" социализма

> "все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного 'синдиката' ", –

писал Ленин в 1917 г. [10]

> "При коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство без буржуазии", [11] –

подчеркивал Ленин в своей книге "Государство и революция".

"Диктатура пролетариата", таким образом, мыслилась в формах "буржуазного государства без буржуазии", причем "буржуазное право" не действовало в части так называемых "буржуазно-демократических свобод", т.е. не было конкурирующих общественных групп, гласно и свободно контролирующих друг друга и правительство.

Такое предельно централизованное общество, говоря словами Г. Спенсера,

> "ничто иное, как армия в бездействующем состоянии". [12]

У солдата каждой армии действительно нет ничего своего. Самая жизнь не принадлежит солдату, а принадлежит командованию. Но все это еще не делает солдата социалистом по психологии, а армию – социалистической организацией.

Общество государственных служащих, находящихся между собой в иерархических отношениях, из поколения в поколение передает социальные навыки субординации, а также весь накопляющийся опыт бюрократического увиливания от исполнения своих обязанностей. Гражданин диктаториального "буржуазного государства без буржуазии" в мирное время остается недобросовестным солдатом.

Из драконова зуба не вырастет социалистическая ромашка; еще во времена Спенсера это было ясно сколько-нибудь разумному человеку.

Дальнейшие события это только подтвердили.

В результате Короленко писал в первом своем письме Луначарскому:

> "Нам, инакомыслящим, приходится писать не статьи, а докладные записки",

а Ленин периодически жаловался в своих выступлениях, что вместо Советской власти возник огромный бюрократический аппарат с вывеской "Советская власть".

При такой системе все стало зависеть от личной добросовестности членов руководящего слоя, осуществляющих пресловутую "волю к мощи", от их способности к честному взаимоконтролю. Самым актуальным для такой системы сделался призыв государыни Екатерины II к своим чиновникам: "Перестаньте быти злыми, и настанет век златой!" Сейчас для дальнейшего совершенствования советской государственной системы этот призыв давно уже покойной императрицы не менее актуален, чем лозунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Но конструктивное предложение Екатерины II от марксистской теории общественного развития по-прежнему очень далеко.

На фоне конкретно-расстрельной, но и метаисторической для всех поармейски централизованных государств реальности любопытно продолжение дела Аронова и Миркина, которое, как мы видели, произвело на Луначарского "тяжелое впечатление".

Надо заметить, что "тяжелое впечатление" не помешало "близкому к типу сверхчеловека" Наркому снять сливки с уже снятого молока. Хотя

7 июня 1920 г. Луначарскому рядышком с Короленкой сфотографироваться не удалось, эту неудачу компенсировала заметка от 16 июня 1920 г., помещенная в московских "Известиях". В заметке говорилось о беседе с Луначарским, который сообщил, что имел длительную политическую беседу с "товарищем Короленко"; Писатель, по утверждению Наркома, проводит резкую грань

> "между джентльменским поведением Красной Армии и разбойничьим поведением деникинцев, которое он наблюдал в Полтаве".

"Вот что значит интервью, –

сокрушался по этому поводу Короленко в дневнике. –

> Немного исказит Луначарский, еще больше интервьюер, и получается полная ложь!" [14]

На самом деле Короленко говорил, что большевики быстро прекращают грабежи, а деникинцы открыто три дня грабили евреев. Но когда начинают работать Чрезвычайки с их бессудными расстрелами, то население начинает ненавидеть большевиков и ждать новой перемены.

> "И это превратилось в 'джентльменство'. Джентльменство людей, расстреливающих без суда своих ближних!" –

завершает Короленко дневниковую запись от 30 июня 1920 г. [14]

Но что бы там ни записывал Короленко в своем дневнике, из газеты "Известия" вся страна теперь узнала, что под красным знаменем воюют джентльмены.

За десять летних июньских дней двадцатого года Нарком дважды обманул Писателя.

Однако казус с расстрелом Аронова и Миркина Луначарский решил выяснить до конца. Урезонить Писателя Наркому не удалось. Возможно, он решил доказать, что виновата в этом неловкость полтавских расстрельщиков.

В цитированном выше письме Луначарский писал дальше Ленину, что передал всю эту историю

> "так, как передаю ее Вам, т. Дзержинскому. Он очень взволновался и заявил, что это дело не может пройти так: либо, сказал он, Иванов действительно расстрелял людей зря, и в таком случае он сам должен быть отдан под суд, либо он расстрелял их за дело, и тогда бумажка продкома является преступной бумажкой. Он затребовал при мне все это дело телефонограммой к себе и обещал рассмотреть его лично". [9]

Телефонограмма никакого результата не имела: не прислали Дзержинскому его воспитанники и однополчане дела Аронова и Миркина.

Пришлось Ильичу, заинтересованному, видно, в Короленке, лично обратиться к Дзержинскому с запросом по этому делу. [15]

Скорее всего, Дзержинскому дела не прислали просто за отсутстви-

ем такового. Бывает бюрократизм бумажный, традиционный, а бывает булыжный, революционный, когда решения выносятся по принципу тоталитарной задушевности и личной безответственности. Посмотрел тов. Иванов на неполноценных граждан Аронова Г.Я., бывшего первой гильдии купца, владельца мельницы, и Миркина С.М., по характеристике Короленки –

> "мелкого лавочника, покупавшего на мельнице Аронова муку для своей лавочки", [16] –

посмотрел на них Иванов своим хозяйским, проницательным, мутным глазком (так писал о взгляде Иванова Полтавский Дон Кихот) и мигнул соратникам.

О дальнейшем Короленко предполагал следующее:

> "В одном письме, полученном нелегально из тюрьмы и попавшем ко мне, пишут,что судьбу заключенных вплоть до расстрела решают 'трое', 'как им подскажет революционная совесть'. Вызывают жертву 'на так называемый допрос'. 'Часов в 11 ночи ведут двое под руки, третий сзади, в погреб и там расправляются. (Это, кажется, происходит в ЧК.) Арестованный кричит: 'О, товарищи, голубчики, я ж не виноват, что вы робите!...' Тогда задний бьет ручкой револьвера по голове, и крик смолкает ... (...). Обращение с арестованными отвратительное: все время слышна площадная отвратительная ругань". [17]

Конечно, исторически объективный читатель вправе мне напомнить, что бессудные расстрелы были в Полтаве всего-навсего "отдельными случаями". За конец августа – сентябрь 1920 г. таких отдельных случаев в Полтаве произошло 76. По сталинским масштабам, разумеется, пустяки.

Но мне и ленинских достаточно.

Легко себе представить, как протекало следствие по делу Аронова и Миркина.

Еще до расстрела этих несчастных к полтавским чекистам обратился Исполком с просьбой освободить Аронова или передать дело в Ревтрибунал; имелось и заключение заведующего губпродкомом, что Аронов не нарушил никаких декретов. Хотя от имени Губисполкома к чекистам обращался юрист, что могло быть сочтено чекистами за оскорбление, все же пуля в затылок в качестве ответа на оправдательные бумаги, приобщенные к делу, представила бы советскую власть уже вовсе невесомой по сравнению с чекистской самодеятельностью. Скорее всего, ни губисполкомовских, ни губпродкомовских бумажек в деле попросту не было. Нечего оказалось посылать в Москву т. Дзержинскому на проверку.

Дзержинский после ленинского запроса самого дела уже не требовал, а послал телеграмму, чтобы дело проверили, в Полтавскую губчека.

Так безо всякого бюрократизма обрисовался революционно-резолюционный путь будущих жалоб по краснопролетарскому принципу: "Перестаньте быти злыми и настанет век златой!"

Жалоба снизу идет вверх, потом вниз; и если жалоба с верховной резолюцией: Разобраться! – не попадет прямо в руки того, на кого жалуются, то она попадет в руки его непосредственного начальника.

По запросу Дзержинского дело Аронова и Миркина было направлено своим для полтавских чекистов людям: в Центральное Управление ЧК Украины.[18]

Начальники Украинского ЧК во всем этом деле разобрались быстро.

Аронова и Миркина расстреляли "за систематическую спекуляцию мукой и талонами на помол".

Центральное управление ЧК Украины постановило считать этот приговор Полтавской губчека правильным, о чем и известило Дзержинского.

Зав. губпродкома Генкин не нашел в действиях обвиняемых никакого нарушения закона.

Его не наказали, с ним согласились тоже.

В таких контурах: "Своих – не трогать, чужим пощады не давать! – вырисовывался "златой век" антибюрократической новой государственности.

Все в этой истории вышли не виноваты, кроме революционных обстоятельств и, пожалуй, самого Короленки, до смешного преувеличивавшего значение всякой "моральной дребедени" (Луначарский).

"До смешного" – в буквальном смысле:

> "Когда во время приезда Раковского,* –

записал Короленко в дневнике от 30 сентября 1920 г., –

> я заговорил о необходимости свободы и о вреде жестокостей, – то все уверенно и весело смеялись, как будто я сказал что-то наивное. Да это и действительно наивность. Один фальшивый шаг влечет за собой другой, третий..." [19]

Год от года, словно шаг за шагом, шествовал Христиан Георгиевич Раковский и дошел, наконец, до своего последнего слова на процессе право-троцкистского блока. 12 марта 1938 г. Раковский сказал:

> " – Я совершил тягчайшие преступления перед государством. Я – двойной шпион. В 1924 г. я вступил в преступные связи с 'Интеллидженс Сервис', а в 1934 г. – в преступные связи с японской разведкой..." [20]

Когда в 1917 г. Раковского публично обвинили в шпионаже в пользу немцев, Короленко защищал его в "Русских ведомостях".[21] Теперь Короленко умер. Защищать Раковского стало некому, да и "Русских ведомостей" не существовало более. Вдоволь посмеявшись над необходимостью свободы и вредом жестокостей, Раковский получил двадцать лет тюрьмы и там сгинул.

---

* В 1920 г. Х.Г. Раковский был Председателем Совнаркома Украины.

Между тем бессудные расстрелы в Полтаве 1920 г. продолжались. 21 августа был напечатан "длинный список расстрелянных" – 41 человек, как утверждают комментаторы короленковских дневников. [22] 30 сентября опять "длинный список расстрелянных", на сей раз заложников. Их 35 человек. В обоих списках много молодежи 18-22 лет.

Таков был "красный террор" с высоколобым "человеческим лицом" и даже "совершенно беззлобным смехом".

В этой ситуации, когда (опять-таки по дневникам Короленко) над новозаветной евангельской моралью, ставшей после захлестнувшей Россию утопии и впрямь допотопной, весело и уверенно смеялись как ленинцы, так и деникинцы, Писатель и Нарком решили, как сейчас принято говорить, "начать между собой диалог".

Подробности этой договоренности, однако, неясны.

В 1923 г. Луначарский излагал дело так: в 1920 г. в Полтаве Короленко предложил, что напишет Луначарскому несколько писем, в которых изложит свою точку зрения на события в России. Луначарский посоветуется в ЦК, удобно ли эти письма печатать. За Луначарским остается право отвечать на них "теми аргументами", которые он "найдет подходящими". Формулировка насчет аргументов довольно странная и предполагает полный произвол в выборе аргументации – от опровергающего письма до пули в затылок. Экспроприаторы с больших магистральных исторических дорог этим последним и, в сущности говоря, легковесным (девять грамм) аргументом не пренебрегали, когда нужно было окончательно сразить оппонента. Однако в диалоге с Короленкой ни одного из этих двух аргументов Луначарский не использовал. Вообще-то Нарком предполагал ответить Писателю опровергающими письмами с тем, чтобы письма Короленки были изданы вместе с ответами Луначарского.

Но помешала злая судьба.

> "К сожалению, какие-то особенности почты или передачи писем мне повели к тому, что я получил лишь первое, второе и четвертое письмо, –

объяснялся Нарком о письмах Полтавского Дон Кихота. –

> Я два раза просил Короленко дослать недошедшие до меня письма, но никакого ответа не получил. Затем последовала смерть писателя. Я вновь обратился к семье Короленко, прося дослать мне недополученные письма. Вновь никакого ответа. А потом появились за границей письма без всякого ответа на них". [23]

Разумеется, Нарком мог ответить Писателю уже на первое письмо или хотя бы на второе; не обязательно было ждать третьего и промолчать на четвертое. Но на вежливость в революционных, боевых условиях иной раз не хватает времени.

Впрочем, Ленин, да и сам Луначарский не считали такое положение естественным. Как раз в 1921 г. Луначарский в письме Е. Литкенсу вспоминал, как во время обсуждения вопроса о пребывании на ответственном

посту некоего лица, едва лишь Томский заметил, что лицо это умеет вежливо принимать посетителей, как Ильич живо откликнулся:

> "Если это так, то его следует оставить, потому что это одна из важнейших сторон настоящего администратора, и этим нас наши ответственные работники не балуют". [24]

Вот и Луначарский не побаловал Короленку своевременными ответами, хотя успел написать в 20-21 гг. немало публицистики.

Луначарский в карман или там в кобуру за словом не лез. С кобурой, впрочем, Нарком, как возвышенный трубадур чистой революции, вообще знаться не хотел. Луначарский умел не обращать внимания на такие мелочи, воевать исключительно в мире идей, видеть все обобщенно. Вот, например, за его словами, что Короленко на просьбы дослать письма ничего не ответил, потом умер, – стоят никак, разумеется, не опровергающие этой фразы, но до некоторой степени существенные события.

Доктор Хорошко, лечивший Короленку, объяснил на московском собрании в память писателя, что в числе причин болезни, приведшей Владимира Галактионовича к утрате речи, были "нервные потрясения", происшедшие за последние годы, в частности, именно утрату речи повлек некий "драматический эпизод".

Осторожность формулировок обусловлена тем, что воспоминания эти были опубликованы в подцензурном советском издании. [24]

Я еще в детстве, в семье, слышал, будто чекисты арестовали у Короленки зятя, который заболел в тюрьме сыпным тифом и умер. Недавно я узнал как свежую новость (попался журнал "Былое" за 1922 г.), что зять В.Г. Короленки, К.И. Ляхович, умер от сыпняка не в тюрьме, а дома: полтавские "бэки" разрешили вынести его, больного, домой из тюрьмы на носилках. Арестовали Ляховича в марте, а в апреле он умер. Может быть, этот эпизод и имел в виду д-р Хорошко?

Так или иначе, семье покойного Писателя было решительно не до того, чтобы досылать письма ленинскому Наркому. И если т. Луначарского с его планетарными хлопотами можно понять, то понятны и будничные, более похоронные, нежели праздничные заботы короленковской семьи.

Сам Короленко излагал свою договоренность с Луначарским несколько иначе, чем Нарком. 29 июня 1921 г. Короленко сообщил Горькому, что

> "написал шесть писем Луначарскому. Он обещал их напечатать со своими возражениями".

То же писал Короленко А.Г. Горнфельду. [25]

Никакой оговорки, что Луначарский сперва посоветуется в ЦК, удобно ли на письма Короленки отвечать, и эти письма печатать, – нет: Луначарский обещал, и все тут.

Но, может быть, Писатель не понял Наркома?

Может быть, пропустил его оговорку мимо ушей?

Однако, равным образом возможно, что Луначарский, близкий по самоощущению к "типу сверхчеловека", не захотел в глазах Короленки уменьшиться до размеров простого функционера.

Против этого, впрочем, говорит то обстоятельство, что в 1922 г. в своей обвинительной речи на процессе социалистов-революционеров Луначарский называл эту партию "гамлетовской", безвольной именно потому, что члены ее могли предпринимать самостоятельные политические шаги, не обязательно согласовывая их со своим ЦК. Партия же большевиков в противоположность эсеровской "кисельной" партии была, как с гордостью объяснял дальше Луначарский, железной, дисциплинированной, а потому победоносной.

Не мог же Луначарский в 1920 г. стыдиться своего функционерства, которым гордился в 1922 ?!

Или разумно предположить, что он "стыдился", либо "гордился", смотря по обстоятельствам, и важно ему было не столько "быть", сколько "казаться"?

На этот вопрос я не берусь ответить.

Возможно, впрочем, что сам Короленко на него отвечал в положительном смысле.

Дело в том, что еще в феврале 1921 г., т.е. до письма Горькому, Короленко написал доброму своему другу С. Протопопову:

> "... Свое мнение о происходящем я уже высказал в шести письмах к А.В. Луначарскому. При свидании здесь, в Полтаве, когда мы говорили об этом, он высказал намерение ответить мне и затем эту переписку напечатать. Но затем ни ответа, ни, тем более, напечатания не последовало. Моим знакомым он говорил, что писем еще не получил (он уезжал на месяц в Таганрог). Но теперь я знаю, что мои письма дошли все, но результат, по-видимому, тот же. Да я и не ожидал другого". [26]

Прав ли был Полтавский Дон Кихот в своем скептическом отношении к Луначарскому?

Лучше всего обратиться к фактам. "Факты –упрямая вещь", – учил нас вождь народов Табуреткин.

Первое письмо Короленки Луначарскому было приложено к письму Луначарского Ленину. Там излагалось дело Аронова и Миркина, а письмо кончалось вопросом, нужно ли сообщить о ходе этого дела Короленке?

Ответ Ленина мне неизвестен.

Текст второго письма Короленки, письма от 11 июля 1920 г., Луначарский снова отправил Ленину. В сопроводительной записке Луначарский просит Ильича вернуть ему первое письмо Короленки, которое Ильич, несмотря на просьбы своего народного комиссара, все так и не возвращал.

> "А теперь направляю вам копию второго, копию из предосторожности, чтобы и это письмо не оказалось потерянным, – не без

раздражения писал Луначарский. – Письмо, представляется мне, сравнительно мало интересно, но тем не менее заслуживает того, чтобы Вы его прочитали..."

Сверху на письме рукой Л.А. Фотиевой написано суровое: "В архив". [27]

Неизвестно, получил ли Луначарский какой-нибудь ответ , кроме этого. Так или иначе, Короленко ответных писем не получил.

> "Вероятно, публикация писем была признана Лениным преждевременной", –

пишет советский ученый Н.А. Трифонов. [28]

Я думаю, что это правильная гипотеза.

Короленко со своей стороны учитывал такую возможность, что бы ему Луначарский ни обещал. Поэтому он еще в 1920 г. передал копии писем корреспонденту американского журнала "Nation" Генри Альсбергу с просьбой пока не распространять их. Боюсь, что если бы писатель не передал писем Альсбергу, то они так и остались бы ненапечатанными.

Мне неизвестно, чтобы Короленко знал о том, что Луначарский оставил "за собой право отвечать теми аргументами", которые он "найдет подходящими". Однако Луначарский использовал-таки это право. И в результате ответил на письма Короленки, не нарушив ни в коей мере ленинских рекомендаций помалкивать.

В статье-некрологе о Короленке ("Правда", № 294 от 28 декабря 1921 г.) Луначарский, изложив договоренность с Короленкой в несколько иной редакции, чем два года спустя ("Я сговорился, что отвечу ему и что, может быть, мы решимся оба издать эту переписку"), написал об этом своем ответе на письма из Полтавы:

> "В виде ответов я послал В.Г. книгу Троцкого 'Терроризм и коммунизм', которая содержала в себе, на мой взгляд, победоноснейшее опровержение всех его, увы, обывательских соображений, которыми он переполнял все письма".

В 1923 г. в статье "Праведник" Луначарский снова написал об этом:

> "Вместо ответа на первые два письма я послал Вл. Галактионовичу блестящую книгу Троцкого о терроризме, которая, как бы заранее предвидя возражения Короленко, заранее на них победоносно отвечала". [29]

К этому времени письма Короленки к Луначарскому уже дважды вышли за границей (в журнале "Современные записки" № 9, 1922 г., и в том же году в парижском издательстве "Задруга" отдельной книжкой).

На все эти письма книга Троцкого "победоносно ответила".

Я не знаю, получил ли Короленко "Терроризм и коммунизм" Троцкого, аргумент, который Луначарский "нашел подходящим", и счел ли Писатель этот ответ Наркома удовлетворительным.

По мнению Луначарского, как он формулировал его на 1923 г. (в 1930 г. он прежнего своего мнения повторить не смел бы)

> "книга Троцкого о терроризме останется навеки памятником того благородства, того революционного рыцарства, которое жаждет не чистых одежд, не венка праведности, не похвалы сентиментальных сердец, а сознания бестрепетного проведения в жизнь всеми мерами, ни перед чем не останавливаясь, таких начал, которые являются единственно спасающими человечество от ада его прошлого и настоящего". [30]

После столь блестящей рекомендации нельзя не сопоставить писем Короленко и ответов "Троцкого – Луначарского": Луначарский сам санкционировал такое двуединство.

Диалог между Писателем и Наркомом все же состоялся.

Выделив основные вопросы Короленки и ответы на них в книге Троцкого "Терроризм и коммунизм", являвшей собою полемический отклик на книгу Каутского того же названия, нетрудно этот диалог построить.

* * *

Литература

1 "Литературное наследство", т. 80, М., 1971, стр. 199.

2 А. Луначарский. "В.Г. Короленко". А. Луначарский. Собр. соч., т.1, М., 1963, стр. 378.

3 Там же, стр. 378.

4 А. Луначарский. "Революция и суд". Тифлис, 1919, стр. 8.

5 В.Г. Короленко. "Из дневников 1917-1921 гг." Сб. "Память" № 2, Париж, 1979, стр. 398-399.

5 а Вот текст записки Луначарского Короленке: "Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор уже приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский". См. цит. публикацию в сб. "Память" № 2, стр. 399.

6 Первое письмо Короленки Луначарскому. И здесь, и в других случаях, когда цитаты приводятся по рукописям, библиографических ссылок я приводить не буду.

7 А.В. Луначарский. "Праведник", "Красная новь", 1929, № 1, стр. 19.

8 Цит. публикация "Дневников" Короленки в сб. "Память" № 2, стр. 401.

9 "Литературное наследство", т. 80, М., 1971, стр. 198-199.

10 В. Ленин. "Государство и революция". Л., 1924, стр. 96.

11 Там же, стр. 94.

12 Г. Спенсер. "Основания социологии". СПБ. 1898, т. 1, стр. 348.

13 "Литературное наследство", т. 80, М., 1971, стр. 198.

14 Цит. "Дневники" Короленки. "Память" № 2, стр. 402.

15 См. об этом цит. "Литературное наследство", т. 80, стр. 199.

16 См. цит. "Дневники" Короленки, "Память", № 2, стр. 401.

17 Там же, стр. 401-402.

18 Сведения обо всем этом деле даны по материалам "Литературного наследства", т. 80, стр. 199.

19 Цит. "Дневники" Короленки, "Память" № 2, стр. 406.

20 Судебный отчет по делу антисоветского "право-троцкистского блока", М., 1938, стр. 368.

21 См. "Русские ведомости" от 17 июня и 12 августа 1917 г. Ссылка дана по комментариям цит. сб. "Память" № 2, стр. 414.

22 См. цит. сб. "Память" № 2, стр. 419, 420.

23 А. Луначарский. "Владимир Галактионович Короленко". Примечание Луначарского на стр. 378. А. Луначарский. Собр. соч. т. 1, М., 1963.

24 Цит. "Литературное наследство", т. 80, стр. 696.

25 "Вестник литературы", 1922, №№ 2-3. "Тризна по вождю", стр. 32.

26 А. Луначарский. Собр. соч., т. 1, М., 1963, Прим. 9, стр. 584.

27 С. Протопопов. "Материалы для характеристики В.Г. Короленко". "Былое", № 20, 1922, стр. 18.

28 Цит. "Литературное наследство", т. 80, стр. 207.

29 Н.А. Трифонов. "А.В. Луначарский и советская литература". М., 1974, стр. 162.

30 А.В. Луначарский. "Праведник", "Красная нива" № 1, 1924, стр. 18.

31 А.В. Луначарский. "Пять лет революции", М., 1923, стр. 11-12.

3. ДИАЛОГ ГЛУХИХ

КОРОЛЕНКО. Казни без суда, казни в административном порядке – это было величайшей редкостью даже при царском режиме. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон, варшавский генерал-губернатор, расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только "одобрение" post factum неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно. (Первое письмо) [1]

ТРОЦКИЙ. Такие противоречия были именно на стороне белого террора, являющегося орудием тех классов, которые считают себя христианскими, покровительствуют идеалистической философии и твердо убеждены, что личность (их собственная) есть самоцель. Что же касается нас, то мы никогда не занимались кантиански-поповской, вегетариански-квакерской болтовней о "святости" человеческой жизни. [2]

КОРОЛЕНКО. В прошлом году мне пришлось описать в письме Христиану Георгиевичу Раковскому один эпизод, когда на улице чекисты расстреляли несколько так называемых "контрреволюционеров". Их уже вели темной ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может быть, они, действительно, пытались бежать (немудрено), и их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел еще лужи крови, которые лизали собаки, и слушал в толпе окрестных жителей о ночном происшествии. Должен сказать, что тогда и местный Губисполком и центральная Киевская власть немедленно прекращали (два раза) попытки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи дела Революционному Трибуналу. Суд одного из обреченных чрезвычайной комиссией оправдал, и этот приговор был встречен рукоплесканиями всей публики. Аплодировали даже часовые красноармейцы, отложив оружие. После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ. Впечатление было ужасное, – к тому времени они сами расстреляли без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних пределов. (Первое письмо)

С этим Троцкий соглашался: "Война создает новый человеческий тип. Над всеми нормами буржуазного общества с его правом, его моралью и его религией – вызвышается ныне кулак железной необходимости".

Железный кулак, Монбланом или даже Пиком Ленина возвышающийся надо всем... Каков аленький цветочек экстремистской символики!

Люди всегда ссылаются на необходимость, когда им это необходимо. Марксисты тут не исключение. Правда, почему-то насилие необходимо им больше, чем их демократическим оппонентам.

У Троцкого на это дан ответ: демократия, "чем дальше, тем больше усыпляла сознание людей, легализуя нужду, рабство и унижения: ибо как же восстать против порабощения, раз каждый имеет равное право голоса в определении народных судеб?"

В век все увеличивающихся скоростей никому не хочется по исторической дороге идти пешком; вот Троцкий и конструировал свою тоталитарную машину. Машина эта получилась вездеходной, поскольку применяется как в Северной Африке, так и в Юго-Западной Азии, не говоря о Южной Америке. В несколько видоизмененных вариантах ее применяли и другие конструкторы в Германии, Италии, Испании. Но в Европе из-за столкновения разноцветных тоталитарных механизмов, мчавшихся в разные стороны социального прогресса, вышли большие беды; впрочем, русская конструкция выдержала испытание, оказалась самой прочной и помчалась вперед в нынешнее непредвидимое будущее.

Но Короленко в отсталом полтавском культурном времени еще не предполагал столь блестящих достижений у оппонентов. Поэтому он продолжал: "Мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу "административной деятельности" ЧК в истории Первой Российской Республики и притом не в XVIII, а в XX столетии".

На это Троцкий с Луначарским так отвечали Короленке и Каутскому, у которого тоже были претензии к русским революционерам, что в XX столетии можно бы и помягче:

"Наши предки в прошлые столетия не позаботились подготовить путем революционного террора – демократические условия для смягчения нравов нашей революции. Этическому мандарину Короленко следовало бы учесть это обстоятельство и обвинять наших предков, а не нас".

У Троцкого "этическим мандарином" назван был Каутский, – но такие, как Короленко, безусловно, подразумевались.

Поэтому можно считать, что Дон Кихот Полтавский Короленко получил от шах-ин-шаха революции Троцкого прокитайский титул "этического мандарина". Так и несло смрадной азиатчиной от этой христианской, кантианской, четырежды проклятой морали. Зато от строчек самого шах-ин-шаха и его поклонника Луначарского несло не тяжким смрадом расстрельных ям, а освежающим бризом Западно-Европейского Передового учения.

–– Мы были революционерами в оппозиции, – объяснялся Луначарский устами Троцкого, – и остались ими у власти. Чтобы сделать личность священной, нужно уничтожить общественный строй, который ее распинает. А эта задача может быть выполнена только железом и кровью. Между красным и белым террором есть принципиальная разница: белый террор сохраняет старое несправедливое общество, красный террор открывает дорогу новому и справедливому обществу. Нужно быть

слепым, чтобы этого не видеть, – так отвечал вождь писателю и другим таким же интеллигентам.

Мне тут остается только вздохнуть.

Живут на свете специалисты.
Им не завидовать я могу ли?
Они отличать умеют по свисту
От всех других справедливые пули.
Но только пули на самом деле,
С каким бы соусом их ни ели
И как бы сладко о них ни пели,
В сущности, служат единой цели:
Наличие пуль в конечном итоге
Стирает различие идеологий.

Однако прежняя ситуация от этого моего комментария не изменится, а грядущая – тем более. Так что остается выяснять дальше, какие еще ответы мог найти интеллигент-гуманист у революционера-террориста.

Короленко писал Луначарскому в Первом безответном письме:

"В сообщении официальной газеты приведены только четыре имени расстрелянных 30 июня, тогда как определенно говорилось о пяти. Из этого встревоженное население делает заключение, что список неполон. Называют еще другие имена... Между тем, если есть что-нибудь, где гласность всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходимым, за что именно, по чьему приговору. Это самое меньшее, что можно требовать от власти. Теперь население живет под давлением кошмара".

Напрасно оппортунисты воображают, – отвечали на это Троцкий с Луначарским, – что "без кадетски-меньшевистской гласности советский аппарат разъедается бандитами и авантюристами... При помощи советского контроля и партийного отбора Советская власть справилась с бандитами и авантюристами, выплывшими на поверхность в момент переворота, несравненно лучше, чем справлялась с ними когда бы то ни было какая бы то ни было власть".

Так что напрасно Короленко беспокоился. Вполне приличные люди расстреливают, хоть и втихаря, тех, кого надо.

С этой точки зрения никакого сомнения нет и в том, что менее двадцати лет спустя Льву Давыдовичу Троцкому раскроил череп не бандит и не авантюрист, а рядовой солдат большевистской революции, получивший за это заслуженную награду.

Но Короленко, даже и не предвидя трагического конца Наркомвоенмора, все-таки беспокоился.

– Только мы, никогда не знавшие вполне достигнутых социальным прогрессом свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их "буржуазным предрассудком", лишь тормозящим дело справедливости, – сокрушался писатель в своем четвертом письме.

– Русские рабочие не проделали, подобно французским, долгой школы демократии и парламентаризма, которая в известную эпоху являлась важным фактором политической культуры пролетариата. Но с другой стороны, у русского рабочего класса не успели отложиться в душе горечь разочарования и отрава скептицизма, – отвечали вожди писателю.

Правда, Ленин, главный вождь, жаловался Молотову, что сильного, сознательного руководящего класса из российского пролетариата еще не получилось, хотя ни "горечь разочарования", ни "отрава скептицизма" не отложились в его душе. Судьба партии, по словам Ленина, попрежнему зависела от тонкой прослойки ее "старой гвардии", так что не совсем понятно, какое отношение "к диктатуре пролетариата" в России имел – по Троцкому – собственно русский рабочий класс. Но в те времена попытаться уточнить это темное место "Терроризма и коммунизма" у т. Троцкого значило попасть в ЧК за "кадетски-меньшевистскую" любознательность, тем более, что в другом месте своей книги Троцкий на этот вопрос ответил: "Рутина и косность жизненного уклада, гипноз мирной легальности утратили над пролетариатом власть. Но он еще не стал сознательно и беззаветно на путь открытой революционной борьбы. Он колеблется, переживая последние моменты неустойчивого равновесия. В этот момент психологического сдвига роль верхушки – государственной власти с одной стороны, революционной партии с другой, – получает колоссальное значение. Достаточно решительного толчка слева или справа, чтобы сдвинуть пролетариат – на известный период – в ту или другую сторону".

Короленко в ответ на это Луначарского с Троцким предостерегал: "Самая легкость, с которой вам удалось повести за собой наши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а наоборот, на незрелость нашего народа... Это огромная наша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем "народе-богоносце", и еще более нашу национальную сказку об Иванушке, который все превзошел и которому все удается без труда по щучьему велению... Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражений, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы".

Все это Короленко писал в четвертом безответном письме, а в пятом безответном письме пытался доказать, что массы, "сдвинувшись на известный период в ту сторону, в которую хотели большевики", теперь качнулись в противоположную:

"Один крестьянин, давно живущий в городе и занимающийся ломовым извозом, сказал мне как-то с горькой и злой улыбкой:

Як був у нас Микола-дурачок,
То хліб був п'ятачок.
А як прійшли розумні коммуністи,
То нічого не стало людям істи...

Этого не придумаешь нарочно, это то, что само рождается из воздуха, из непосредственного ощущения, из очевидных фактов.

И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы осуждаете в огромном большинстве западно-европейских социалистов: в ней явно усиливается меньшевизм, т.е. социализм, но не максималистского типа. Он не признает немедленного и полного социального переворота, начинающегося с разрушения капитализма, как неприятельской крепости. Он признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние."

Не здесь ли Ильич сказал о Короленке, что писатель этот рассуждает совершенно по-обывательски?

А может быть великий Ленин счел особенно мещанским рассуждение о диктатуре пролетариата, которое содержалось в том же пятом безответном письме?

– Как вы выражаете и откуда узнаете волю "диктатора-пролетариата"? – спрашивал писатель вождей большевизма.

"Свободной печати у вас нет, свободы голосования – также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем, отсутствие свободной печати делает вас слепыми и глухими на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди "слепо бредут врозь" (старое русское выражение) от голода. Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кишит ненавистью и гневом, и чрезвычайники уже подумывают о расстреле деревенских заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата."

Так Короленко обвинял "бэков" в дезорганизации общества и в создании наиболее активных, но и аморальных элементов воинской команды под названием "передовой отряд пролетариата".

При этом, по мнению писателя, пролетарские диктаторы, идя в ногу с темными экстремистами из числа рабочих, побаивались всех остальных: "Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, – продолжал Короленко, – коммунисты тотчас же принимают свои меры. Данное правление профессионального союза получает наименование "белого" или "желтого", члены его арестуются, само правление распускается, а затем является торжествующая статья в вашем официозе: "Дорогу красному печатнику" или иной красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явлений и слагается то, что вы зовете "диктатурой пролетариата". Теперь и в Полтаве мы видим то же: чрезвычайная комиссия, на этот раз в полном согласии с другими учреждениями, производит сплошные аресты меньшевиков. Все более или менее выдающееся из "неблагонадежной" социалистической оппозиции сидит в тюрьме, для чего многих пришлось оторвать от необходимой текущей работы (без помощи "неблагонадежных" меньшевиков вы все-таки с ней справляться не можете). И таким образом является новое "торжество коммунизма"... Торжество ли это?"

– Либо диктатура империалистической клики, либо диктатура пролетариата, – дружно отвечали писателю Троцкий с Луначарским. – К демократии не открывается путь ни с какой стороны.

И вообще формальное равенство всех граждан-избирателей мешает решать основные вопросы исторического развития, ибо в тяжбе между трудом и капиталом оказывается посредником мелкий буржуа. Пролетариат неизбежно должен овладеть аппаратом государственной власти против городской и сельской мелкой буржуазии, – настаивал Троцкий.

Но хотя пролетариат в лице Ленина, Троцкого и Клима Ворошилова овладел, наконец, государственной властью, Короленко все "мэкал", блеял по-меньшевистски, клеветнически и мелкобуржуазно оскорблял:

– В 1905 году, когда я был здоров и более деятелен, мне приходилось одно время бороться с нараставшим настроением еврейских погромов, которое, несомненно, имело в виду не одних евреев, но и бастовавших рабочих. В это время наборщики местной типографии, нарушая забастовку, печатали воззвания газеты "Полтавщина" и мои. Это невольно сблизило меня со средой наборщиков. Помню одного: он был, несомненно, левый по направлению и очень горячий по темпераменту. Его выступления навлекли на него внимание жандармских властей, и с началом реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть-Сысольск. Фамилия его Навроцкий. Теперь он в Полтаве и... арестован вашей чрезвычайкой за одно из выступлений на собрании печатников. В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК в северные губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои "докладные записки" по начальству не имели успеха. Теперь Навроцкий свободен, но зато выслан в северные губернии его сын, уже раз, еще в детстве, бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, "история повторяется". Когда я теперь читаю о "желтых" печатниках Москвы и Петербурга, то мне невольно приходит на мысль, сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе с царской реакцией свою преданность действительному освобождению рабочих, арестуется коммунистами чрезвычайки под видом "желтых", т.е. "неблагонамеренных" социалистов, – так, "темно и вяло, что романтизмом мы зовем", писал Короленко одному из революционных громовержцев-реалистов.

Да простит меня читатель за столь длинные отрывки, но коротки бывают только перебежки под огнем, да та одежка, по которой протягивали ножки старые "бэки" в сталинских лагерях.

Впрочем, короткими, как командирский окрик, бывают и фельетонные абстракции, большим мастером которых был не один Троцкий. Такими же мастерами стали потом и его противники, утверждающие, что главное не во всей этой канители из бытовых соображений, кровавых событий и пламенных заветов, а в том трагическом факте, что большевики убили народную веру в Бога и вместе с верою святую Русь.

Но я не верю в столь чудодейственную силу комиссаров. Разве могли комиссары справиться с Богом и верой в Него, если "мелкобуржуазные амебы" – и те были для большевиков до крайности опасны?

Троцкий так и писал: "Каутский и прочие мелкобуржуазные амебы жалуются, что большевики закрывают газеты меньшевиков и эсеров и иногда арестовывают их вождей", но "если бы за их спиной не стояли русские и иностранные империалисты, – тогда не было бы гражданской войны."

Вот это и есть фельетонная абстракция на крови, грохочущая, как "совершенно беззлобный смех", способный заглушить расстрелы по соседству. Эту абстракцию и предложил Полтавскому Дон Кихоту Народный комиссар советского просвещения.

А писатель все гнул свое, житейски конкретное, говорил не о мировых империалистах, а о мирном рабочем Навроцком, по-обывательски сводя мировые проблемы к судьбам отдельных людей.

Но сводить мировые проблемы к судьбам отдельных людей – значит помогать одним людям, мешать другим, а самые мировые проблемы открыто игнорировать. Для мирового проблемщика, чьего-нибудь тюремщика, – мысль невыносимая!

"Одно время шел вопрос даже о расстреле Навроцкого за его речь против новых притеснений свободы мнений в рабочей среде, – писал Короленко. – Чего доброго, это легко могло случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычаек и прежних жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать, – ваши чрезвычайки имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью."

В книге Троцкого Короленко мог найти на все это такой ответ:

"Чем ваша тактика отличается в таком случае от тактики царизма? – вопрошают нас попы либерализма и каутскианства.

Вы этого не понимаете, святоши? Мы вам объясним. Террор царизма был направлен против пролетариата. Царская жандармерия душила рабочих, боровшихся за социалистический строй. Наши чрезвычайки расстреливают помещиков, капиталистов, генералов, стремящихся восстановить капиталистический строй. Вы улавливаете этот... оттенок? Да? Для нас, коммунистов, его вполне достаточно."

Если не упускать из виду, что Навроцкий был рабочим, то из этого текста плюс революционная практика можно вывести такие уравнения и неравенства высшей алгебры революционного марксизма:

$$\text{Рабочий} = \text{Рабочему}$$
$$\text{Рабочий} < \text{Рабочего}$$
$$\text{Рабочий} = \text{Генералу}$$
$$1/2 > 1/2$$

О последнем, установленном самим Ильичом, неравенстве, будет подробнее сказано в главе "Освобожденный Дон Кихот".

Приведенные Троцким абстракции Короленко мог счесть неубедительными, поскольку подзащитный человек, Навроцкий, бесследно тонул в них, как в тумане. Но у Троцкого, шах-ин-шаха всех грядущих революций имени Че Гевары или во имя Аллаха, Короленко, "этический мандарин", мог найти и другии мотивации:

"Если парламентский режим даже в эпоху "мирного", устойчивого развития был довольно грубым "счетчиком" настроений в стране, а в эпоху революционной бури совершенно утратил способность поспевать за ходом борьбы и развитием политического сознания, то советский режим, несравненно ближе, органичнее, честнее связанный с трудящимся большинством народа, главное свое значение полагает не в том, чтобы статистически отражать большинство, а в том, чтобы динамически формировать его. Рабочий класс, встав на путь диктатуры, строит свою политику не на призрачном соревновании с хамелеонскими партиями, а на фактическом вовлечении крестьянских масс, рука об руку с пролетариатом, в дело управления страной в подлинных интересах трудящихся масс. Эта демократия поглубже парламентаризма!"

Т.е. арестовывать и убивать рабочих и крестьян, несогласных с Троцким, означало "динамически формировать" большинство народа. Органы власти набирались из тех, кто соглашался с Председателем РВС Республики. Так и функционировала эта "демократия поглубже парламентаризма".

Вот что видел Наркомвоенмор с ледяных вершин своих мечтательных обобщений. Ему и череп-то раскроили потом альпинистским орудием, ледорубом. Но что испытывал старый писатель, сопоставляя эту воодушевленную и вооруженную до зубов абракадабру с действительной жизнью в Полтаве?

Вот что видел Короленко:

– Ныне Полтава, центр хлебородной местности, окруженная близкими лесами, стоит перед голодом и перед лицом зимы беззащитная. И так всюду, во всех областях снабжения. Ваши газеты сообщают с торжеством, что в Крыму у Врангеля хлеб продается уже по 160 р. за фунт. Но у нас (т.е. у вас) в Полтаве, среди житницы России, он стоит 450 р. за фунт, т.е. втрое дороже. И так все остальное... Прежде ко мне приходили люди, притесняемые царскими властями. Теперь идут родные арестуемых вами. Среди этих последних много кожевников. Жизнь берет свое: несмотря на ваш запрет, кожевники-кустари то и дело принимаются делать кожи, удовлетворяя таким образом настоятельнейшей потребности в обуви ввиду зимы. Порой волостные исполкомы дают на это свою санкцию, и понемногу кожа начинает выделываться, пока... не узнают об этом преступлении ваши власти и не прекратят его. Вам надо, чтобы "сразу" производство стало на почву социалистическую, даже коммунистическую, и вы превращаете компромисс в "соглашательство с буржуазными формами производства". Конечно, вы можете сказать, что у вас уже есть кое-где "советские кожевни", но что значат эти бюрократические затеи в сравнении с огромной, как океан, потребностью? И в результате, посмотрите, в чем ходят ваши же красноармейцы и служащая у вас интеллигенция: красноармейца нередко встретишь в лаптях, а служащую интеллигенцию в кое-как сделанных деревянных сандалиях. Это напоминает классическую древность, – но это очень неудобно теперь к зиме. На вопрос, что будет зимой, ответом порой служат только слезы.

Троцкий с Луначарским могли вытереть слезы Короленке, плакавшемуся обо всех этих местных полтавских бедах в своем шестом безответном письме. Для этого вождям достаточно было обратиться к плодотворному опыту Парижской Коммуны:

"О разрушениях, которые ставились в вину Коммуне, как ставятся ныне в вину советской власти, Маркс говорит как о "неизбежном и сравнительно незначительном моменте в исполинской борьбе нового, нарождающегося общества с разрушающимся, старым."

Какие уж тут заплатки или подметки!

Поется же в революционной песне: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья". Значит, разрушенье предполагалось с кожевнями вместе. А может быть, просто подвела метафора, как это всегда бывает с метафорами, когда их принимают за руководство к действию?

– Нет топлива, нет металла, нет хлопка, разрушен транспорт, расстроено техническое оборудование, разметена по лицу страны живая рабочая сила при ее общей убыли на фронтах, – есть ли надобность искать дополнительных причин в хозяйственном утопизме большевиков? – патетически восклицал тогдашний вождь. Патетика не терпит уточнений. Короленко же писал не о том, что у полтавских кожевников нет хлопка, нет металла, нет транспорта, а о том, что с имеющимся материалом даже по разрешению местных властей им не дает работать начальство более высокое и потому более проницательное.

Что же это такое отсвечивало и вспыхивало в стеклышках пенсне товарища Троцкого?

Чудовищная лживость или паранойяльное безумие?

Скорее всего ни то и ни другое, а профетическая хитринка, пророческое лукавство, позволяющее называть вещи не так, как они называются, а по их обобщенному существу. И тогда возникала картина того же самого, только в других терминах. Другие термины, словно другие краски, делали происходящее не то чтобы прекрасным, но хоть как-то приемлемым: "Если задачу видеть в уничтожении частной собственности на средства производства, то единственным путем к ее разрушению явится сосредоточение всей полноты государственной власти в руках пролетариата, создание на переходный период такого исключительного режима, при котором господствующий класс руководствуется не общими нормами, рассчитанными на долгий период (например, на целую зиму, – *Ю.А.*), а соображениями революционной целесообразности", – так в революционном преображении выглядела ситуация, описанная Короленкой.

Надо ли говорить, что такое переименование мира ничуть не было "донкихотским"?

Короленко, подсоветский Дон Кихот, начал новую кихотическую традицию: теперь Рыцарь Печального Образа не переименовывал мир. Чистым "донкихотством" стало называть вещи своими именами.

Семнадцатилетнюю Людмилу Пищалку, которую полтавские чекисты решили расстрелять, Короленко именовал не "проблемой терроризма",

а всего только Пищалкой, и требовал ее освободить на том нищенском основании, что несовершеннолетних даже при царе не подвергали бессудной смертной казни.

Впоследствии, уже по сталинским законам, уголовные наказания вплоть до расстрела стали распространяться и на детей, начиная с двенадцати лет (Указ от 7 апреля 1935 г. /13/).

На заре русского междуусобия таких законов еще не было.

Но уже тогда Луначарский, адресуя Короленку к Троцкому за ответом, мог себе позволить такие троцкие рулады:

> "Кто отказывается принципиально от терроризма, т.е. от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной и вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от революции и ставит крест на социализме".

Короленко так громко, на все века сквозь всю историю вещать не хотел. Зато он настаивал, чтобы семнадцатилетнюю крестьянскую девчонку не расстреливали. И настоял. Ее отпустили. Расстреляли без суда, по "соображениям революционной целесообразности" других несовершеннолетних, как писал об этом Короленко в третьем своем безответном письме.

Нужно было терроризировать образованное общество, представителей которого Троцкий называл "доверенными или излюбленными людьми буржуазии", если только они смели возражать большевикам. Нужно было устрашить всех, кто смел возражать мероприятиям власти.

Пылкие и молодые полуобразованные горожане и профессиональные революционеры, люди кабинета и интриги, положили начало самоорганизации народа, при которой слово "интеллигент" снова стало ругательным.

Так, во всяком случае, казалось Полтавскому Дон Кихоту. Он писал Луначарскому, что большевистский переворот не просто принес экономическую разруху, а еще и духовно разрушил людей.

Этого никто не ожидал от демократической революции, которая должна была, по замыслу "белых лебедей" крыловской тройки, всех освободить и облагородить.

Короленко, по своему обыкновению, писал о фактах, т.е., с точки зрения революционера, о совершенно обывательских мелочах:

– О грабеже огородов, принявшем такие размеры, что лишает на будущее время побуждения к труду, не говоря уже, какую роль при этом играли красноармейцы. Порой хозяева огородов делали засаду на воров. Когда они застигали при этом людей штатского звания, те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали просто: что же нам сидеть голодными, что ли? И продолжали грабить, переходя с данного участка на участок соседа. Теперь еще такая же мелочь. Не далее двух недель назад из Полтавы уходил на фронт красноармейский полк. Штаб его помещался рядом с моей квартирой, и поэтому с утра вдоль нашей улицы

выстроились ряды солдат. Во дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. Это привлекло солдат, и в ожидании отправки наш двор переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут происходило. Влезали на деревья, ломали ветки, и, постепенно входя в какое-то торопливое ожесточение, торопясь, как дети, солдаты стали хватать поленья дров, кирпичи, камни и швырять все это в деревья с опасностью попасть в сидящих на дереве или в окна нашего дома. Несколько раз поленья попадали в рамы, к счастью, не в стекла. Вы ведь знаете, что значит теперь разбить стекло. Пришлось обратиться к начальству, но и начальство могло прекратить это только на самое короткое время. Через минуту двор опять был полон солдат, и мне едва удалось уговорить, чтобы не кидали поленьев и камней с опасностью побить окна. Все деревья были оборваны, и только тогда красноармейцы ушли после торжественной речи командира, в которой говорилось, что Красная армия идет строить новое общество. (Шестое письмо.)

– Передовые пролетарии и наиболее сознательные крестьяне борются и умирают в качестве командиров, комиссаров и рядовых Красной армии, – объяснял Наркомвоен Троцкий писателю Короленко, чтобы писатель впредь не верил глазам своим, зато увидел истину.

Но что значит гегелевское: "истина конкретна"?

По Марксу свойства конкретной истины определяются тем, кому именно истина служит. Истина Троцкого была вспыльчива, властолюбива, и служила, как самому Троцкому казалось, идейно передовой части пролетариата (отстающих подгонял конвой).

Истина же Короленки служила ореховым деревьям.

Можно ли сравнивать эти истины?

Однако Короленко, рискуя навлечь на себя обвинения в обывательской мелочности, настаивал в шестом безответном письме:

> "Теперь не хватает необходимого, и это растет, как лавина. Вы убили буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, и ваша коммуна является огромным паразитом, питающимся от этого трупа. Все разрушается: дома, отнятые у прежних владельцев, и никем не реставрируемые, разваливаются, заборы разбираются на топливо; одним словом, идет общий развал... Лучше всего живется всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержения. Докажите же, что вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, воздерживаясь от грабежа человека безоружного".

В отличие от воодушевленных "левых" тогдашнего Запада – Роллана, Франса, Шоу и других похожих, в отличие от "большевизан" нынешнего "свободного мира", которые никогда ничего знать не хотели и знать не могут, потому что не хотят, Короленко не позволял себе выспренней слепоты.

Рискуя навлечь на себя обвинение, что ему горсти орехов жалко для мировой революции, он писал все в том же своем шестом безответном письме:

"Может оказаться, что вместо социализма вы ввели только грубую солдатчину, вроде янычарства".

Для Короленки "история" была явлением по преимуществу бытовым, для Троцкого – явлением отчасти риторическим.

На все эти свои банальные рассуждения Короленко мог найти у Троцкого ответ однозначный и красочный, словно радуга над широкою Волгой-рекой:

"Несмотря на все политические испытания, физические бедствия и ужасы, трудящиеся массы бесконечно далеки от политического разложения, нравственного распада или апатии. Благодаря режиму, который наложил на них большие тяготы, но осмыслил их жизнь и дал ей высокую цель, они сохраняют исключительную нравственную упругость и беспримерную в истории способность сосредоточения внимания и воли на коллективных задачах".

Задача этих строк очевидна: схватить цепкими словами, как пальцами хватают за горло, как мороз схватывает землю, – схватить, поставить в строй, направить.

Понятия "правды" и "лжи" не имеют отношения к профетическому пафосу. "Желаемое – это возможное", – таков принцип магизма. Революционер Троцкий заговаривал реальность, как заговаривают кровь.

На что ему был реализм Дон Кихота!

Троцкий был человеком возвышенной организации, а возвышенная организация предрасполагает к циническим мыслям, благодаря одной только многосторонности своего развития, – говорил об этом Достоевский.

Честная, чистая, благородная вера – продукт скоропортящийся; зато щепотка цинизма и даже сознательной лжи делает чистую веру устойчивой к порче. Библейские времена, когда Господь шептал своим пророкам на ухо высшую правду, прошли. Но и теперь избранные, консервируя свою веру щепоткой профетической лжи, знали, какими дорогами штурмовать небо.

Поэтому на упрек большевистским вождям, что они – кабинетные максималисты, не знающие ни масс, ни закономерностей действительной жизни, Луначарскому с Троцким ответить было нетрудно.

В пятом безответном письме Короленко формулировал этот свой упрек так:

"Вожди европейского социализма в течение уже десятков лет легально руководили массовой борьбой своего пролетариата... Они принимали ответственность не только за самую борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих... Вы в таком положении не были никогда, потому что, благодаря бессмысленному давлению самодержавия, никогда не выступали легально. Вам лично тоже приходилось рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе было признано правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссыл-

ки, каторги заменял для вас в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность... И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному результату... и отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению к западно-европейскому социализму".

Эту же тему Короленко развивал в своем шестом безответном письме:

"Случайности истории внезапно разрушили перегородку между народом, жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, т.е. без связи с действительностью. И вот, когда перегородка рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного организма. И вы явились единственными представителями русского народа с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями 'всего сразу', с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества... Народ, который не научился еще владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальный грабеж (ваше: грабь награбленное), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему еще нужно учиться, а не учить других".

И не случайно, – пишет Короленко, – именно из Азии слышится громкое одобрение русскому опыту;

"если вы захотите себе ясно представить эту картину восточных митингов на площадях перед мечетями, где странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе с тем к приветствию русской советской республики, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского..."

(Второе письмо)

Ответ на все эти упреки у Троцкого с Луначарским был откровенен и по-буденновски прост:

"При известных условиях рабочий класс вынужден брать власть под угрозой политического самоупразднения на целую эпоху... Севши в седло, всадник вынужден управлять лошадью под страхом расшибить себе череп".

Коротко, ясно, хотя и не без спасительного для марксистской веры цинизма, отвечал Троцкий. В его ответе выражена социология наездни-

ка: главное – это вопрос власти, борьба за которую рисуется как чередование скульптурных групп на Аничковом мосту в Петербурге. Сперва лошадь сбросила седока, но вот вождь усмирил коня, – а продолжение и финал уже на берегу Невы, где застылые контуры Медного Всадника выражают историческую метафизику российского Рейха.

Что менялось? Знаки и возглавья...

Лично Наркомвоену Троцкому не удалось оседлать горячего коня: этому всаднику расшибли-таки череп.

А теперь у нас стальные кони, их и взнуздывать нечего: нажмут кнопку – и полетит стальная птица-тройка с разделяющимися боеголовками куда угодно, а иноземцы, как Гоголь и предвидел, будут только жаться к стороночке и спрашивать друг друга с ужасом и восторгом: "Господи, мы все еще живы? Куда ж это летит она?"

Даже и не предполагая еще этих коллизий, Короленко однако упрекал уже Луначарского и других таких же:

> "Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы... Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, ввели немедленный коммунизм. Вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности...
>
> Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы еще только у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь..."
>
> (Письмо шестое)

А сейчас, в восьмидесятые годы XX века, оглядываясь на прошедшее, можем ли мы перевести дух и с облегчением сказать: "Пронесло"?

Не могут этого сказать и в сторонних землях, где опечаленно топчется на месте эволюционный короленковский социализм, понимающий уже, что не единым хлебом жив человек, но не умеющий еще пробудить в людях пресловутую духовную жажду.

Но в деморализующем неведении мы оказались сейчас, более полувека спустя, а прежние вожди знали, что будет.

Короленко, например, пытался их потревожить перспективой одиночества, разумеется, ничуть не рыцарского:

> "Рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве.
>
> Куда? Что представляет собой ваш фантастический коммунизм?"

И дальше, в том же шестом письме, Короленко называет этот коммунизм "коммунизмом казармы", поминая придуманную в то время Троцким "милитаризацию труда".

Зато Троцкий видел силуэты будущего. Он ведь тоже напряженно вглядывался в историческую даль.

Троцкий отвечал Короленке, что принудительный труд был непроизводителен в эпоху перехода от феодального общества к буржуазному. В эпоху перехода от буржуазного строя к социалистическому милитаризованный, принудительный труд производителен, – так будет всегда. Более того:

> "Если это не так, тогда все наше строительство обречено на провал... Если бы оказалось, что идущая на смену империализму плановая, следовательно, принудительная организация труда ведет к понижению хозяйства, это означало бы гибель всей нашей культуры, попятное движение человечества назад к варварству и дикости", –

и дальше Троцкий раскрывал счастливые, радужные перспективы коммунистических трудовых армий.

Но хоть он и ввел в русский извод марксизма кавалерийские приемы Медного Всадника, – однако и коммунальные квартиры казарменного типа, и труд до смерти в концлагерях, и трудовые армии во время войны вместе с тогдашним трудфронтом, и многое, многое другое осуществил не Лев Троцкий, всю жизнь прогарцевавший на своем невидимом миру белом коне; нет, сухорукий пешеход Сталин привел людей ко всему этому счастью.

Политические соратники, о которых великий Ильич отозвался в своем "политическом завещании" безо всякого восторга, знали, чего хотели, но не предполагали, как оно для них обернется. В отличие от них Короленко мыслил фактами, хотя ориентировался на идеал. Поэтому он оказался дальновиднее вождей Октября. Троцкий с Луначарским гуманистических идеалов в принципе не оспаривали, но для них объяснение было действительнее факта, – объяснение, а не идеал. Поэтому, говоря словами Наума Коржавина, эти революционеры "смотрели проницательно, а видели умозрительно".

Исторически такой способ мышления себя дискредитировал уже давно. Однако он очень удобен в употреблении: не линяет, не мнется и не поддается никакому контролю действительности. От кихотического преображения мира он тоже далек; кихотизм предполагает терпение к спутнику, а экстремистский волюнтаризм – уничтожение несогласных.

Диалог Троцкого и Короленки был диалогом глухих. Не потому, что эти люди физически не слышали друг друга. Они существовали в не соприкасавшихся нравственно сферах. Сколько же столетий, – а может быть, тысячелетий – эволюции разделяло высоколобое безумие экстремиста и спокойный, светлый разум цивилизованного писателя?

А может быть, дело и не в эволюции вовсе, а в остолбенении мысли,

завороженной жаждой власти, – пусть даже власти во имя завтрашнего всеобщего совершенствования...

Так или иначе, Дон Кихот возник теперь на русской почве в совершенно новом качестве.

Прежде это был рыцарь порыва сердечного, рыцарь веры, пусть ограниченной, пусть не знающей, что куда приведет, но благородной и самоотверженной по своим побуждениям. В этом своем облике, порожденном XIX столетием, он продолжал существовать и в XX веке, уже в Стране Советов.

По-прежнему мировоззрение Дон Кихота мифологемы оставалось универсальным гносеологическим символом, дружеским шаржем на нашу преображающую способность в ее мифотворческой форме, – ибо самые научные социологические обобщения никогда не станут настолько научными, чтобы не обернуться вдруг опасными по ядовитости метафорами.

Но именно самоликвидация человеческой мысли в стремнинах экстремистской фразеологии создала в русской жизни совершенно новый тип кихотизма. Теперь Дон Кихотом оказывался человек светлого, строгого к себе и внимательного к жизненным фактам разума. Среди громоносных метафор, среди фраз на крови, вроде тех, что составляли книгу Троцкого "Терроризм и коммунизм", сама аналитическая мысль, стремившаяся помочь людям жить человечнее, беречь не свои идеи, а прежде всего друг друга, – сама эта мысль, христианская в своей основе, стала уже и мыслью "донкихотской".

Так и появился у нас Короленко, Дон Кихот Полтавский, а вслед за ним и другие такие же защитники прав человека, для которых честность, человечность, доброжелательность были эмоциональной основой рассуждений о стране и мире.

Нормальная, соединяющая сердечность с разумностью человеческая реакция на окружающее стала главным признаком кихотизма в новых условиях.

А.Г. Горнфельд утверждал, что в своих письмах В.Г. Короленко "читает проповедь землетрясению".

Короленко же обращался к людям в уверенности, что смыслы слов имеют свою, автономную от обстоятельств силу. Это можно назвать наивным заблуждением.

Но письма Короленки потому и ценны, что кроме катастроф, других обнадеживающих происшествий не было; и только разум, которому Пушкин провозгласил здравицу, мог, подобно ариадниной нити, вывести людей из лабиринта. Но сама по себе ариаднина нить бессильна, ее нельзя натянуть как тетиву: порвутся связующие смыслы, как это и случилось в книге Троцкого.

В 1921 г. Ленин писал наркомздраву Семашко, что Короленке и Горькому надо бы поехать за границу, полечиться. Горький уехал (16 октября 1921 г.), а Короленко не захотел.

25 декабря 1921 г. Короленко умер.

В.Н. Григорьев, друг писателя, рассказывал, что из окон и дверей полтавской тюрьмы, когда мимо нее проходила траурная процессия,

"слышалось пение 'Вечной памяти' тех, за которых В.Г. так много, так беззаветно боролся и так глубоко, мученически страдал". [3]

Пока в Полтаве пели вслед похоронной процессии "Вечную память", в Москве Луначарский продолжал работу над пьесой "Освобожденный Дон Кихот". 17 августа 1921 г. Луначарский уже читал эту пьесу в Московском Доме Печати (см. "Известия", 1921 г., № 183, 19 августа). Однако сам Луначарский говорил, что завершил работу над пьесой в начале 1922 г. Советский ученый Н.А. Трифонов полагает, что пьеса была доработана под впечатлением вести о смерти Писателя; эта весть вызвала новые раздумия Наркома.

"Одним из прототипов героя драмы явился, несомненно, Короленко, –

пишет Н.А. Трифонов. –

В восприятии Луначарского Короленко послеоктябрьских лет прочно ассоциировался с образом Дон Кихота. Он 'сделался во многом как бы благородным Дон Кихотом, защитником угнетенных', – говорил Луначарский в лекции о Короленко". [4]

В лекции о Короленко, прочитанной в 1926 г. в Университете им. Свердлова, тогдашней Высшей партийной школе, Луначарский дает характеристику Полтавского Дон Кихота, подчеркивая именно ту его особенность, о которой выше говорилось: идеальную нормальность Дон Кихота, призванного к действию жестокостями братоубийственной гражданской войны:

"Вообще элемента стройности, такого не от мира сего круглого бытия в Короленке было очень много. Вот как жидкость всегда стремится собраться в круглую каплю, так и он стремился собраться в прозрачную, красивую, спокойную среду примирения и равновесия... Эта большая ровность, которую я отметил в своих статьях, между прочим у Овсянико-Куликовского, который часто дает прелюбопытные и часто очень тонкие характеристики, выражена в таких словах: 'Это образцовые натуры, которые, возвышаясь над средним уровнем, воплощают в себе лучшие стороны нормального человека, не уклоняясь от нормы, а только возвышают и совершенствуют эту норму'. (Разрядка здесь и дальше Луначарского – *Ю.А.*).

Это очень глубоко сказано. Обыкновенно крупный, большой человек, великий человек куда-то отходит от нормы. Толстой, Достоевский, – какая это норма? Они были ненормальны до того, что в них можно было видеть психоз. Короленко необыкновенно в данном случае нормален, это как бы идеальный средний человек, даровитый человек, увеличенный известным образом, и получается такая фигура, необыкновенная по своей привлекательности, но вместе с тем, я бы сказал, это производит на меня впечатление

несколько с л а д к о в а т о е, несколько пресное, хотя и с большим запасом очарования". [5]

Двумя годами раньше Луначарский писал, что

"некоторые взбалмошные натуры, среди них и очень крупные, находят Короленко 'сладким' "

(цитировавшаяся выше статья "Праведник"). Теперь сам Луначарский оказался среди взбалмошных натур. Но нарком мог себя перемещать, куда хотел: на то и была ему дана сверхчеловеческая власть.

Например, С.П. Мельгунов, замечательный русский историк, говорил на собрании памяти Короленки в 1922 г., что Владимир Галактионович

"в Полтаве свои последние силы отдавал на борьбу со смертными казнями, этим старым бытовым явлением, принявшим в последние годы такие страшные размеры". [6]

А Луначарский на то же самое время, о котором говорил Мельгунов, на то время, когда Дон Кихот Полтавский писал Наркому безответные письма, переместил своего оппонента в кабинетные писатели. Короленко, по словам наркома,

"погрузился в интересные воспоминания, названные им 'История моего современника', которые он продолжал издавать и после революции".

Что касается борьбы писателя с палаческим произволом в Полтаве, то Луначарский охарактеризовал ее (в частности, и письма, которые он к тому времени уже все прочел), следующим образом:

"Как публицист Короленко является типичным демократом и идеалистом; он не примкнул к революции, и в своих суждениях о революции не поднялся над уровнем прекраснодушного мелкого буржуа". [7]

Случилась, как видит читатель, очередная луначарская странность: в причудливом мире наркома "уровень мелкого буржуа" оказался вдруг "идеалом человеческой нормы", даже "возвышающим эту норму".

Чего только не приключается иной раз с марксистами в пределах марксизма!

Облик "мелкого буржуа" Короленко получил для заграницы: Луначарский переместил прототипа своего же "Дон Кихота" с поля сражения в кабинетные писатели для немцев и сделал это по-немецки. Немецкие левые читатели "Das heutige Russland, 1917-1922" вполне могли удовлетвориться этими привычными для них политическими стереотипами. А письма Короленки Луначарскому, вышедшие в это же время в Париже, на другие языки переведены, насколько мне известно, не были. Впрочем, не на экспорт, а для внутреннего употребления, Короленко так и оставал-

ся "Праведником" (статья "Праведник" была напечатана в "Красной Ниве" в 1923 г.).

Еще кое-что любопытное вырисовывается из цитированной выше лекции Луначарского 1926 г. Он ведь там говорил, что подобные Короленке праведники, как и толстовцы, могут только разлагать тыл бойцов.

Получалось, что Дон Кихот отнюдь не бесноватый и даже не чудак, наоборот, идеально нормальный человек именно в силу своей нормальности мешает "бэкам" побеждать "мэков" и всех остальных; стало быть, если, по Ленину, самым грозным врагом революции был "идиот", как об этом говорилось выше, то для Луначарского большевизму мешал именно "человек необыкновенно, в данном случае, нормальный", – Короленко, Полтавский Дон Кихот, "образцовая натура", "совершенствующая собою норму", "даровитый человек". Так писателя характеризовал Луначарский.

Вот, значит, какие человеческие свойства оказались приметами подсоветского кихотизма, не нужного революции.

Но на какие же человеческие свойства собирались опираться строители нового мира? Отбросив лучшие свойства прежнего человека, каким они хотели видеть человека нового?

Революционеры еще до революции лишили Дон Кихотов своего воображения даже дворянства; большевистская революция, наоборот, наделила Дон Кихота свойствами Алонсо Доброго и не просто Доброго: Алонсо Доброго и Разумного. Нормой для этой революции должна была стать "одержимость духом истории", а ничуть не разум.

В "Правде" от 24 сентября 1922 г. есть заметка "Ленин на отдыхе", где говорится, что великий вождь среди прочего познакомился "с только что опубликованными письмами Короленко Луначарскому".

В том же 1922 г. в издательстве "Задруга" (Москва) были выпущены "Письма В.Г. Короленко к И.П. Белоконскому". В тексте "От редакции" говорилось, что Короленке в

> "последние его годы единодушный голос русской литературы присвоил имя *'совести русского общества'* ".[8]

Эти слова самим Лениным подчеркнуты, а на полях рядом с ними надпись: "А брошюра его **за** войну 1917 г.?" Ленин имел в виду брошюру В.Г. Короленки "Война, отечество и человечество". Дважды подчеркнутое "за" уже и самого Короленко как бы лишало совести.

Редакция издательства "Задруга", редакция народнически-эсеровской ориентации, сама по себе была у победившего "буржуазного государства без буржуазии" если не костью, то комом в горле, что со стороны редакции было бессовестно, – и ее вскорости государство сжевало, кое-кого выплюнув за границу.

Что же до брошюры Короленки "Война, отечество и человечество", написанной в августе 1917 г., то она в общих чертах содержала следующее:

Человечество – единая по природе семья народов (нет, не напрасно Мережковский сближал руссоизм с "донкихотством"), но пока и, вероят-

но, еще надолго человек принадлежит не ко всему человечеству сразу, а прежде всего к одной из его групп – к своему отечеству; человеческая же всеобщность реально существует через гуманистическое родство культур. Человеческие сообщества, "отечества", к сожалению, не уживаются мирно. Войны – трагедии, в которых человек нередко нравственно обязан участвовать: если его отечеству грозит порабощение, уничтожение культурных и социальных достижений, то это приостановит развитие народа. Политические свободы и социальные возможности, завоеванные революцией, необходимо поэтому отстоять от кайзеровской Германии. Мир должен быть заключен скорее, но только честный, т.е. мир без аннексий и контрибуций.

Ленин прочел эту брошюру в 1919 г.

> "Гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны...", –

писал он тогда Горькому. [9]

Император Александр III тоже оказался однажды недоволен Короленкой.

Государю понравился один из его очерков, и он захотел узнать подробности о писателе. Из департамента полиции царь получил характеристику Короленки, где говорилось о его революционных, антимонархических настроениях. На полицейском докладе император Александр III написал:

> "По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта". [10]

Ленин отозвался и о личности писателя, и о его брошюре куда более экспрессивно.

На то он и был пролетарский вождь.

Теперь Ленин припомнил брошюру о войне Полтавскому Дон Кихоту, "совести русского общества". Сам Ленин надеялся, как известно, превратить империалистическую войну в войну гражданскую, которая в 1919 г. как раз и была в самом разгаре.

По-видимому, Ильич предполагал, что во время Гражданской войны никто никого никуда не гонит, а все идут воевать друг против друга сами. И действительно, с тех времен и до сих пор у нас не считают Гражданскую войну национальной трагедией, катастрофой, а видят в этом междуусобии золотую страницу, гордость новейшей русской истории. На Гражданскую войну смотрят по-ленински, а не по-короленковски. Это обещает нам в будущем много новых героических страниц.

Ленин, прочтя в 1922 г. на отдыхе письма Короленки Луначарскому, отозвался о короленковской "донкихотской" реакции: "Обыватель самый естественный". [11]

Но было у Ленина и обоснованное возражение Полтавскому Дон Кихоту:

> "Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот

определенный 'уровень культуры', ибо он различен в каждом из западно-европейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а п о т о м уже на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы". [12]

Легко заметить, что Мануильский в разговоре с Солоневичем рассуждал в совершенно том же духе, но проще.

Ленинское возражение было адресовано Н. Суханову, но, как полагает советский исследователь Н. Трифонов, относилось и к Короленке.

Короленки тогда уже не было в живых.

А "уровень культуры", требующийся для "создания социализма", доселе никому неизвестен. В Англии, Франции, других странах центральной и северной Европы социализма нет, как нет, хотя и национализация, и тенденции к государственному контролю экономики налицо.

Зато в Анголе и Эфиопии социализм активно строится, а в Северной Корее, в Китае, на Кубе, кажется, даже уже и построен, – или достраивается.

Гениальное ленинское высказывание история прокомментировала до неприличия косноязычно.

Зато политические предначертания Ленина сбылись. Для него "рабоче-крестьянская власть" и "советский строй" первое время должны были существовать в формах "буржуазного государства без буржуазии". Эту цель можно считать достигнутой. В результате возникло государственное евразийское новообразование. "Европейское" по идеологической фразеологии, "азиатское" по способам истолкования и проведения в жизнь европейских словосочетаний, а также по географическому положению и геополитической ориентации.

В этом государстве Троцкий теперь принадлежит к числу "ненавистных мертвецов" (великолепное выражение В. Чалидзе), а Короленко – один из глубокоуважаемых писателей наших книжных шкафов.

Что же до диалога глухих, то он продолжается. Но теперь место писателя Короленки занял академик Сахаров.

В ходе "диалога глухих" и осуществляется преемственность истории Российской: свято место пусто не бывает.

* * *

Литература

1 И здесь, и в других случаях, когда цитаты приводятся по рукописям, библиографических ссылок я приводить не буду. В дальнейшем цитаты по рукописям в тексте вообще не будут отмечаться сносками. (Видимо, в результате цитирования по рукописям ци-

таты не всегда точны; отклонений от оригинала много, но мы не стали их выправлять, ибо ни одно из них ни в малейшей степени не искажает смысла цитат. – *Ред.*)

2 См. Л.Д. Троцкий. Терроризм и коммунизм". М.-Л., 1925. Страницы (в порядке использования) : 64, 41, 66, 27, 64, 65, 74, 62, 64, 86, 32, 62-63, 60, 47, 94, 126, 23, 26, 28, 10, 100, 138. Там, где текст Троцкого приводится как прямая речь в диалоге, я не ставлю кавычки; то же касается и текста В.Г. Короленки.

3 "Вестник литературы", 1922, №№ 2-3, стр. 32.

4 Н.А. Трифонов. "Луначарский и советская литература", М., 1974, стр. 165-166.

5 А.В. Луначарский. "Очерки по истории русской литературы". М., 1976, стр. 401.

6 "Вестник литературы", 1922, №№ 2-3, стр. 32.

7 "Литературное наследство", т. 82, стр. 220.

8 Цит. по "Литературному наследству", т. 80, стр. 724.

9 См. "Литературное наследство", т. 80, М., 1971, стр. 724.

10 Ф. Покровский. "В.Г. Короленко под надзором полиции". "Былое", № 13, 1918, стр. 9.

11 А.В. Луначарский. "Очерки по истории русской литературы", М., 1974, стр. 409.

12 В.И. Ленин. "О нашей революции". "Последние письма и статьи". М., 1977, стр. 38.

13 Р. Конквест. "Большой террор". Флоренция, 1974, стр. 276.

4. ДОН КИХОТ ОСВОБОЖДЕННЫЙ

"Друг друга едим, – и тем сыты" определял еще при Петре Великом основы русской экономики Посошков, специалист из народа.

На четвертом году существования республики Советов эта ироническая метафора обернулась бытовым репортажем:

> "До конца апреля по Уфимской губернии было опубликовано о тридцати случаях людоедства и трупоедства. Я имею в виду более или менее достоверные случаи, о которых получали специальные сообщения, –

писал В. Василевский в статье 'По следам голода' (журнал "Экономист", № 4, 1922 г.).

> Из общего числа голодающих кормятся в АРА 16892 чел., а всего получают общественное питание 300000 человек. Но 627177 человек обречены на верную смерть, на поедание друг друга", –

говорилось далее в статье о голодающих Поволжья. [1]

"АРА" – это организация Американского Красного Креста,* о которой наши историки впоследствии спорили, кому она служила на деле, – ЦРУ или Пентагону?

Отовсюду, – не только из небольшевистских журналов, даже из пакетов с продовольствием ползли на нашу малолетнюю республику внутренние и внешние классовые враги. И она, подобно младенцу Геркулесу в колыбели, безжалостно душила этих змей. В разгар голода были высланы во внутренние губернии, а потом и за границу, руководители Комитета Помощи Голодающим, чтобы эта беспартийная организация своей влиятельностью не подорвала авторитета большевиков. Деятельность империалистических филантропов из АРА все энергичнее контролировалась чекистами. В голодном 1922 г. началось изъятие церковных ценностей и уничтожение храмовых святынь. Наконец, фон "людоедства и трупоедства" показался самым подходящим для того, чтобы начать суд над побежденными политическими противниками – социалистами-революционерами. О социал-демократах – меньшевиках Ильич высказался на XI съезде своей партии весной 1922 г., что за публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать.

Для всех этих разнообразных дел не хватало надежных кадров. Поэтому партийный деятель Георгий Пятаков стал на время Председателем Верховного Революционного Трибунала, а народный комиссар просвещения Луначарский сделался одним из обвинителей на процессе эсеров.

---

* Точнее: American Relief Administration, Американская администрация помощи в 1919-1923 гг. – *Прим. ред.*

Возможно, что, завершая в начале 1922 г. работу над пьесой "Освобожденный Дон Кихот", Луначарский уже начинал готовиться к своей прокурорской роли.

Т. Тиль и В. Рыжов в комментариях к "Дневникам" В.Г. Короленко [2] пишут, что Луначарский не только читал в 1921 г. свою пьесу о Дон Кихоте в Московском Доме Печати, но даже называл ее ответом на письма Короленки. Таков был второй аргумент, который Луначарский нашел "подходящим" для ответа Полтавскому Дон Кихоту.

Книгу Троцкого "Терроризм и коммунизм" Луначарский снабдил, если верить этому комментарию, еще и художественным приложением.

Между тем, осенью 1921 г. в состоянии опасного для большевиков обострения пароксизмального кихотизма Горький уехал за границу на лечение.

25 декабря 1921 г. умер Короленко.

Летом 1921 г. казнили Гумилева.

В августе того же года умер Блок.

Большая убыль шла по ведомству наркома Луначарского.

Очень возможно, что новые раздумия над пьесой о Дон Кихоте, возникшие после смерти Короленки, были для Луначарского своего рода психологической разрядкой: разгромив в очередном выступлении интеллигенцию, Нарком душой отдыхал за писанием пьесы, приятным интеллигентным делом.

Луначарский придавал "Освобожденному Дон Кихоту" большое значение.

В январе 1923 г. он подарил эту пьесу, вышедшую отдельной книжкой, Ленину с такой надписью:

> "Дорогому Вл. И. Ленину с просьбой найти время прочитать.
> А. Луначарский. 3/1." [3]

По-видимому, у него не было уверенности, что Ленин вскорости эту просьбу выполнит. Поэтому на следующий день Луначарский подарил экземпляр жене вождя: "Дорогой Над.Конст. Крупской. Автор. 4/1".

В книге "На Западе" (1927 г.) Луначарский подчеркнул особое значение "Освобожденного Дон Кихота" для правильного понимания революции; в 1929 г. он написал японскому профессору Нобори Сему, что считает эту пьесу одной из своих пьес, наиболее глубоких "в отношении заключающихся в ней идей". [4]

Журнал "Печать и революция" отозвался о пьесе сдержанно из-за того, что участие "непротивленца-Дон Кихота" в политической борьбе "мало разработано", а также потому, что в пьесе

> "слишком много теоретических споров, лишенных драматической силы, и это сообщает отдельным сценам оттенок публицистический". [5]

"Освобожденный Дон Кихот", пьеса обобщений и символов, воспроизводила ситуацию революции и гражданской войны в России, но на материале условной страны, названной автором "Испанией".

Пьеса начинается с того, что по дороге ведут трех арестантов. Один – Дон Балтасар,

> "саламанкский студент лет 26, тощий, изголодавшийся... Лицо бледно и красиво: огромные глаза, высокий лоб, решительные губы";

второй – кузнец Дриго Пас,

> "грозный, мрачный, лохматый мужчина, смотрит исподлобья, брови косматые. Почти вся грудь голая и поросшая шерстью". [6]

Третий – разбойник Вермильон.

Так выглядит будущая революционная троица: недоучка из Саламанки – интеллигент, романтическая душа революции; кузнец, чья грудь поросла даже не волосами, а шерстью, – ее сила и воля; разбойник Вермильон – ее будущий полководец. Наша история знала такие трансформации: Котовский, например, до революции разбойничавший, как утверждают советские ученые, с филантропическими целями, стал выдающимся красным командиром.

Художественно преобразив таким образом себя и своих товарищей, прокурор и просветитель Луначарский столкнул их на пыльной "испанской" дороге с Дон Кихотом. Оставшись в "Испании", Рыцарь Печального Образа впервые за историю своего существования на русской почве оказался вне обстоятельств романа. Луначарский анализировал, если можно так выразиться, самую субстанцию кихотизма.

Дон Кихот, встретившийся с арестантами, вступает с ними в разговор. Студент с "решительными губами" говорит об обществе будущего, республиканском и справедливом. Рыцарь отвечает студенту:

> "Как соединить терпимость к чужой вере и страстное исповедание своей? Как быть паладином своего лозунга и не ранить бойцов другого девиза? Это трудно. Ум слаб. Власти сердца темны. Но будем делать непосредственное добро, не заботясь об остальном..."

Дон Кихот Луначарского – это рыцарь сердца, в отличие от автора пьесы не верящий в окончательные и высокие цели. Для него все происходит только попутно.

Защищая "первых встречных", арестантов, Рыцарь Печального Образа бросился на солдат-охранников. Охранники принялись бить Дон Кихота. Занятые этим легким и общественно полезным делом, они не заметили, как Санчо развязал революционеров. Они убежали.

Это важный оттенок: для революционера как-то зазорно быть спасенным Дон Кихотом.

Но Санчо и Дон Кихот теперь сами под стражей. Их приводят во дворец Герцога. Герцог – исчадие ада. При нем состоит граф Мурсио – тот еще хуже. В ужасающей мрачной компании герцогских приспешников страдает светлая и мятущаяся душа, Мария Стелла, знатная дама, понимающая возвышенный идеализм Дон Кихота. (А в то время, когда Луначарский еще витал за гранками "Освобожденного Дон Кихота" среди

этих своих реминисцентных образов, успевая, впрочем, спускаться на землю, за прокурорскую кафедру на процессе социалистов-революционеров, в городе Златоусте уже закончился суд, о котором писал Василевский: судили шестнадцатилетнего парня, который съел своего пятилетнего брата, умершего от голода).

Но что бы там ни было, а параллельно с неприглядной жизнью действие роскошной пьесы развивалось: Герцог, увидя Дон Кихота, решил повеселиться. Он устроил поединок Рыцаря без Страха и Упрека с профессиональным бойцом. Конечно, Дон Кихот побит. Все смеются, Мария Стелла огорчена. Эта Мария Стелла не станет Дульсинеей. Дон Кихот Луначарского – рыцарь без Прекрасной Дамы.

После поражения в поединке с профессионалом Дон Кихот берет реванш, одолев такого же дилетанта, как и он сам, Герцога. Видимо, по иерархии классовой борьбы Дон Кихот для Луначарского был все-таки выше Герцога, "испанского" тирана; поэтому победа и была автором пьесы Дон Кихоту разрешена.

Разгневанный деспот отправляет рыцаря вместе с оруженосцем в тюрьму, откуда обоих освобождает революция, во главе которой – поросший шерстью кузнец Дриго Пас и его помощник студент Балтасар, чье лицо, как мы помним, "бледно и красиво".

Живописуя "испанскую" революцию, народный комиссар позволил себе набросать несколько обобщенных картин тех событий, в которых сам он участвовал.

Вот Дриго Пас диктует приказ; кто не исполнит этого приказа народной хунты, объявляется врагом народа и при первой возможности будет повешен, как собака.

Дон Балтасар. Я напишу просто: "Будет повешен".

Дриго. "Как собака". Так лучше.

Матерный лаконизм т.т. Думенко, Дыбенко или Щаденко получил своего рода эстетическое очищение.

Однако студент Балтасар не был при этом кузнеце комиссаром-идеологом, как Фурманов при Чапаеве. Дриго Пас сам олицетворял революционное сознание и твердость. Комиссар-идеолог нужен был не ему, а его сотоварищу по аресту, теперь – соратнику по борьбе красному командиру Вермильону.

Случалось во время Гражданской войны, что красные формировали воинские отряды из бывших уголовников. Например, Мишка Япончик (Беня Крик "Одесских рассказов" Бабеля) сформировал в Одессе целую воинскую часть из налетчиков и громил. Паустовский в автобиографической повести "Начало неведомого века" рассказывает об аналогичной воинской части в Киеве.

Вот и Вермильон в пьесе Луначарского сформировал себе команду.

Кузнец Дриго Пас отчитывает бывшего разбойника за то, что тот со своими людьми грабил, насильничал, "выкидывал монахинь голыми из монастырей".

> "Я повесил бы тебя среди лагеря на высокой мачте, если бы ты... не был удальцом. Но вот тебе слово красного кузнеца: я рас-

правлюсь с тобой беспощадно, если ты позволишь себе или своим оборванцам еще хоть одну подобную штуку", –

говорит Дриго Пас разбойнику, но не грозит повесить его "как собаку". "Как собака" – это "враг народа". А Вермильон – "социально близкий". Народный комиссар просвещения хорошо разбирался в этих тонкостях.

– Но что же я могу поделать с моими подлецами? Я набрал их по каторжным тюрьмам, по таборам бродяг, – оправдывался меж тем Вермильон.

В ответ красный кузнец предупредил красного разбойника, что

"порядок в нашей полуденной стране может быть водворен только мерами свирепыми".

Красный разбойник – хотя он только что жаловался на свое бессилие – обещал исправиться.

Можно ли верить его обещанию? Почему единственной революционной армией в пьесе оказалась армия бродяг и преступников? Где угнетенные, но честные труженики-повстанцы?

На все эти вопросы в пьесе нет ответа.

Зато в "Освобожденном Дон Кихоте" апология революции незаметно для автора становится сатирой на нее.

Между тем из подвала приводят арестованного "желтого спеца" по имени Паппа дель Бабба. Этот человек, чье имя выражало ироническое поползновение наркома, был саботажник. В подвале саботажник перековался и согласился сотрудничать с новой властью. По профессии Паппа дель Бабба – врач.

С врачами у ленинской партии были сложные отношения.

Еще в 1913 г. Ленин писал Горькому:

"Известие о том, что Вас лечит *новым* способом 'большевик' (здесь и далее выделено Лениным. – *Ю.А.*), хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же, в 99 случаях из ста врачи-товарищи – 'ослы', как мне рассказал один *хороший* врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо *только* у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретения большевика – это ужасно!!" [8]

Когда же вся Россия по воле Ленина и других таких же попробовала на себе "изобретения большевиков", то врачи не "товарищи" отнеслись к большевистским изобретениям с тем же скепсисом, что и Владимир Ильич в письме к Алексею Максимовичу.

Этот скепсис нашел свое выражение и в рецензии Д. Лутохина на ученый труд профессора Оппела "Успехи современной хирургии". Рецензия была напечатана в первой книге альманаха "Утреники" (1922 г.). В рецензии говорилось:

"Книга поучительна не для одних интересующихся медициной... Отметим, что особенно полезно было бы ознакомиться с успехами

хирургии для представителей тех политических течений, которые являются сторонниками 'хирургических операций' над сложными социальными организмами. Лично мы не верим в плодотворность подобных опытов, но советуем познакомиться и с методами профилактики, и с техникой обезболивания". [7]

После второго выпуска "Утреники" закрыли.

Между тем весной 1922 г., в то время, когда Луначарский закончил уже свою пьесу о Дон Кихоте, происходил II Всероссийский съезд врачей. Но Луначарский, как истинный зачинатель метода социалистического реализма, силой своего воображения умел не только отражать события; он мог и предугадывать их. Луначарский показал в пьесе, как отвратительны "желтые спецы" от медицины еще до того, как на этом съезде сами они показали свое истинное лицо.

Врач – большевик Семашко, Народный комиссар здравоохранения доносил о важных и *опасных* (подчеркнуто в докладе Семашко Ленным – *Ю.А.*) тенденциях съезда врачей: врачи начали поход "против советской медицины и восхваление медицины земской"; потребовали "полной демократии в эсеро-меньшевистском понимании" (т.е. в том понимании, которое реализовалось в демократическом строе Швейцарии, откуда Ленин и писал Горькому осуждающее письмо насчет большевистских изобретений). Более того: врачи на съезде захотели "соорганизоваться на этой почве, между прочим, путем своего печатного органа". Врач-большевик Семашко послушал-послушал своих коллег, пожелавших заниматься подозрительной общественной самодеятельностью, да и сообщил Ильичу.

Ильич всегда знал, что делать.

"Тов. Сталин! –

написал великий Ленин, сочетавший в себе, быть может, и красного кузнеца и того студента из Саламанки. –

Я думаю, надо *строго секретно* (не размножая) показать это Дзержинскому и *всем членам Политбюро* и вынести директиву: 'Поручается Дзержинскому (ГПУ) при помощи Семашко выработать ряд мер и доложить Политбюро в ..... (2 недели?)' ". [9]

Все, что надо, в этом письме самим Лениным было подчеркнуто. И уже через два дня Политбюро поручило врачу Семашко и Дзержинскому, тоже в своем роде специалисту по выправлению всяких вывихов, "выработать план мер и доложить их в недельный срок".

Эти события и предвосхитило появление саботажника Паппа дель Бабба из подвала в пьесе наркома Луначарского.

Паппа дель Бабба заявил, что своих коллег-врачей он не может уговорить работать: они лечили богатых, а теперь богатых нет и жирных кушей за визиты – тоже.

Красный кузнец, лохматый и волосатый, совсем не похожий на тщедушного Дзержинского, пригрозил врачам, что силой заставит их работать.

Паппа дель Бабба подхалимски воскликнул, что воистину цель оправдывает средства.

И тут появился Дон Кихот. Он возмущен этой "безнравственной максимой". Рыцарь негодующий обращается к революционерам: зачем вы начали перестройку общества, имея негодный человеческий материал? (Об этом писал Луначарскому Короленко.)

– Из этих людей нельзя сделать благородного человечества! – восклицает Дон Кихот.

Дон Балтасар спокойно ответил Дон Кихоту:

> "Дон Кихот! Если бы вы были правы, и мы начали бы нашу дружную работу над незрелым материалом, знаете ли, как назвали бы нас в будущем? С ироническим почетом нас назвали бы Дон Кихотами".

Большевики не рисковали, что их так когда-нибудь назовут. Люди, ради каких бы то ни было целей борющиеся за власть между собою и с другими людьми, не имеют никакого отношения к кихотизму, пусть даже их иллюзии по своей прогрессивности близки к истинному безумию.

И Дон Кихот Луначарского мог бы в ответ спросить своего оппонента:

– Зачем вы подавили забастовку рабочих портового города Сантис-Педро и перебили моряков, восставших, чтобы помочь рабочим? Разве эти люди желали прежней власти? Нет, – они требовали только, чтобы вы, Дриго Пас, ваш друг Дон Балтасар и разбойник Вермильон не оказались главными вершителями судеб нашей Испании. Зачем вы огнем и мечом подавляете восстания крестьян, которые бунтуют, потому что ваши люди забирают у них зерно? Раз вы все это делаете, вас никогда и никто не назовет Дон Кихотами!

Дон Кихот Луначарского вполне мог бы все это знать, поскольку Ленин уже заявил с трибуны, что до введения новой экономической политики крестьянские восстания случались чрезвычайно часто. Что же до других событий, например, восстания в Кронштадте, начавшегося из-за петроградской забастовки, то свободный рыцарь в свободном споре мог бы дать этому всему свою, пусть даже неправильную оценку.

Но ничего подобного Дон Кихот наркома не сказал.

Он ответил:

– Гм... да... ваша острота меня колет, но я собирался исцелять отдельные несправедливости, вы же взялись перестроить сразу все, и вот я сдерживаю моих безумных, если уж вы ... Дон Кихоты.

По-видимому, хотя этот Дон Кихот не знал, как в Крыму большевики уничтожили многие тысячи сложивших оружие офицеров, даже этот рыцарь все-таки чувствовал некую затрудненность дыхания, когда пытался назвать недоучку из Саламанки и его товарищей "рыцарями".

Дон Кихоту помог тут Красный кузнец. В очень скучной и высокопарной речи он объяснил, что они все –вовсе не Дон Кихоты, а работники Всемирной, единой армии труда.

Заодно и Дон Балтасар получил отповедь за мягкотелость.

Однако Дон Кихот не успокаивался.

– Но если дело начато, ведите его правильно, – возражал революционерам Рыцарь Печального Образа. – Вы должны противопоставить наси-

лию старого мира милосердие нового. У вас же тюрьмы полны заключенными за убеждения. У вас всякий льет свою и чужую кровь. У вас смерть и казни. И я, старый рыцарь, вынужден выступать против вас, ибо теперь вы, вы, вы, – насильники, а они – угнетенные.

По-видимому, "они" – это не только вчерашние угнетатели, но и "арестованные за убеждения" или за протест против охотников разбойничать и лить кровь, вроде солдат товарища Вермильона, которого, верно, никто не смел назвать бандитом, раз уж сам глава революции называл его "товарищем". Троекратное "вы, вы, вы", касавшееся всей революционной троицы, вывело Дриго Паса из себя.

– Мне некогда слушать вздор... Надо победить, раздавить врага... Все для победы! – восклицает Красный кузнец, отвечая на аргументы защитника первого встречного так же, как на эти аргументы отвечали и тогда и теперь запевалы песни: "Мы кузнецы, и дух наш молод", – отвечали, не смущаясь тем, что разные поколения этих кузнецов забивали друг друга в колодки, а то и вовсе уничтожали.

Замечательно в пьесе то, что автор ее никак не пытается опровергнуть Дон Кихота. "Коренастая" совесть "сверхчеловека" спокойно выдерживает обвинения Рыцаря Бедного, что революция карает инквизиционно: не за действия, а еще только за мысль. Защищать это инквизиционно-революционное насилие Луначарскому в воображаемой Испании было тем легче, что в реальной России на процессе эсеров его обвинительная речь строилась по принципу инквизиционного обвинения.

– Самое бытие мелко-буржуазной партии является преступным, ибо она не может не вступать в конкуренцию с такой единоспасающей силой, которой является партия пролетариата, – говорил на процессе Луначарский Великолепный, просветитель-прокурор.

– Вся деятельность партии социалистов-революционеров, в особенности, начиная с Октябрьской революции и, можно сказать самое существование этой партии является сплошным политическим преступлением, [10] – настаивал он дальше.

То-то удивились, небось, на том свете убитые эсерами министры внутренних дел Сипягин и Плеве, услышав, как российские коммунисты одобряют их карательную деятельность против социалистов-революционеров! Ведь "особенно преступной" деятельность эсеров, по Луначарскому стала после Октябрьского переворота, а просто преступной была и до него.

Да что Сипягин с Плеве, – Иван Каляев, убийца Великого Князя Сергея Александровича, поразился бы тем фактом, что Луначарский, все-таки социал-демократ, назвав его членство в партии эсеров "сплошным политическим преступлением", ему же в ходе монументальной пропаганды 1918 г. поставил памятник. Почему же после осуждения на процессе всей классовой партии за ее преступную конкуренцию с большевистской "единоспасающей силой" не потребовал Луначарский от Моссовета переименования Каляевской улицы в прежнюю Долгоруковскую?

Но о чем можно было спрашивать нашего твердой души наркома, если, высказав политическую солидарность с жандармами, преследовавши-

ми политических преступников-эсеров, он осудил вслед за императором Александром III, а также сборником "Вехи" еще и российскую интеллигенцию:

> "Нужно было использовать героическое настроение интеллигентки Фанни Каплан, и нельзя было поручить рабочему Усову убить истинного вождя пролетариата, так как у настоящего рабочего не поднимется рука", –

разоблачал Луначарский героический идеализм эсеровской партии. *

Речь Луначарского на процессе эсеров обернулась шигалевским парадоксом: оценки крайнего революционера совпали с оценками императора, а поверх революционной риторики проступила плесень инквизиционных подвалов:

– Я буду иметь удовольствие предоставить вам целую серию цитат из Маркса и Энгельса, которые имеют самое прямое отношение к делу, – уличал Нарком Великолепный, недавний вольнодумец в марксизме, враждебную политическую партию перед Верховным Трибуналом. [11]

И еще:

– Если, таким образом, социализм народников есть ересический социализм, с точки зрения правильной постановки вопроса, причем эта ересь является неизбежной в определенной социальной обстановке, то нельзя отсюда сделать вывода, что он был лицемерием. Здесь я укажу на замечательную цитату Маркса, которая бросает много света на сознание мелко-буржуазной партии. [12]

"Революционный идеализм", которым гордился в себе Луначарский, воплотился в формулы инквизиционного процесса, когда люди обвинялись в ереси, а уликами оказывались священные тексты, которым противоречили еретики.

Вот эти-то "революционные идеалисты", наследники лучших сторон средневекового идеализма, как говорил о них впоследствии Луначарский, считали себя, по словам наркома, в некоторой степени наследниками Дон Кихота.

Поэтому Дриго Пас потребовал от Рыцаря Печального Образа понимания:

– Пойми же, старик, пойми, посмотрев в мои волчьи глаза, что казнить других мучительнее, чем страдать самому, или ты стал черств и не чувствуешь, что на нас венец терновый, что каждое насилие наше впивается иглой в наши виски... Довольно болтовни! С этим старым фофаном и сам станешь сентиментальным...

Советский литературовед Н. Трифонов угадал в Красном кузнеце некоторые ленинские черты. В первом варианте очерка Горького "В.И. Ленин" говорилось, что у Ленина

---

* Историк В.М. Орлов весьма убедительно показал (см. его статью в журнале "Время и мы", один из первых номеров журнала), что в Ленина стреляла эсерка Коноплева, а Каплан была лишь ее сообщницей.

"ходатайства о людях вызывали жалость, почти презрение". [13]

Острого, до крови ранящего сострадания, о котором говорит Дриго Пас, наш Ильич, видимо, не испытывал. В приведенном монологе Дриго Паса ленинских черт не проглядывает.

Зато черты эпохи налицо.

Романтика тюремная, воровская, романтика палаческая, полицейская – вот две важнейшие темы русской литературы, по крайней мере, последнего полувека. Разумеется, речь идет о подсоветской литературе. Снизу от охлоса идет тюремная тема, сверху от охлократов – полицейская. Обе эти темы, как поезда между пунктом "А" и пунктом "Б" школьной задачки, шли навстречу друг другу и встречались – не сталкивались, добродушно встречались – в каждом отдельно взятом читателе, охотно отождествляющим себя то с блатным, то с чекистом; работники уголовного розыска были все-таки не столь популярны. Символом этой встречи полицейской и уголовной романтики была общенародная блатная песня про Мурку, которую поручили убить одному из "урок" (бандитов), потому что она "зашухерила", т.е. продала воровскую "малину", т.е. притон. И вот мы, пионеры и школьники, пели эту песню. Не хором, конечно. Хором мы пели другие песни, пионерские. А эту мы пели по-отдельности каждый. В полное свое удовольствие. Каждый обращался как бы от себя к предательнице Мурке:

Здравствуй, моя Мурка,
Здравствуй, дорогая,
Здравствуя, дорогая, и прощай!
Ты зашухерила
Всю нашу малину,
А теперь маслину
Получай!

Это была высокодраматическая песня, я бы даже сказал истинно трагическая, потому что исполнитель казни жалел виноватую, но честно исполнял свой воровской долг.

Точно так же герой менее знаменитого, но тоже все-таки широко известного поэтического произведения Э. Багрицкого "ТВС" исполнял, страдая, свой долг преследователя:

Враги приходили,
На тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы...

"Струя" эта из "простреленной" головы искупала тот факт, что преследователь был и прокурором, и следователем, и судьей, и палачом в одном лице.

Кроме чекиста, героя стихотворения "ТВС", все эти функции в одном лице обычно совмещает разбойник с большой дороги, однако те, кто орудуют на магистральных путях истории почему-то присвоили себе исключительное право пользоваться узловыми метафорами и уверенно говорить о себе, призывая и других таких же:

А век поджидает на мостовой
Сосредоточен, как часовой,
Иди – и не бойся с ним рядом стать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься, – а кругом враги.
Руку протянешь – и нет друзей.
Но, если он скажет:"Солги", – солги.
И если он скажет: "Убей", – убей. [14]

"Век" – еще одно одушевленное понятие, еще один роковой божок человеческого воображения. Но "волчьи глаза" Дриго Паса, волчье одиночество человека, чьи заповеди: солги, убей, знай, что кругом враги, –разве весь этот чекистский, воспетый Багрицким комплекс, при всей своей близости к комплексу байроновского Каина, так уж далек от комплекса урки среди фраеров?

Одно из психологических таинств наших людей в том и состоит, что психология полицейских и узников сливается в каждом через общую для арестантов и оперативников романтику: романтику глобального одиночества, силы и права на все.

А кто там будет поджидать, – "век" на мостовой или Пахан на верхних нарах, – тут разница только для тех, кто ее понимает.

Но при этом все до одного сливаются в девизе:

"НАДО – ЗНАЧИТ НАДО".

Эту психологическую новацию, двуединую романтику полицейских и узников, чудовищно усилило в нас именно послеоктябрьское время, когда сыск и донос возведены были в высшую социальную добродетель.

А типом романтически страдающего полицейского от революции одарил нас первый нарком нашего просвещения, Луначарский.

Как не пожалеть кузнеца Дриго Паса, этого бедолагу, гуманиста из пыточной?

Палачи от революции – подвижники.

Палачи от реакции – палачи.

Вот один из печальных итогов истории общественного сознания людей XX столетия.

Воистину "не плоть, а дух растлился в наши дни", если западные левые интеллектуалы противопоставляют ленинские убийства сталинскому террору.

Не окажется ли в таком случае венец человеческой истории и впрямь мученическим, только не "терновым", а сплетенным из колючей проволоки планетарного концлагеря?

Зато сколько будет святых охранников и блаженных кнутобойцев!

По-своему счастливыми окажутся и верные себе узники совести. Так и сбудется усилиями мечтательных экстремистов и бессилием трусливых прагматиков чаемое царство социальной гармонии на земле.

– Ваше сердце – как свеча перед костром по сравнению с его сердцем..., – убеждает между тем рыцаря дон Балтасар, кивая на Дриго Паса.

"Это Луначарский мог сказать и от себя, сравнивая Короленко и Ленина", –

комментирует советский ученый. [15]

Но хвалы в адрес Дриго Паса не действуют на Дон Кихота.

– Что говорит моя совесть? Усомнилась ли она? Нет! Она говорит: борись против них, так как они отведали человечины. Балтасар, я вам враг.

Смел бы народный комиссар! Он ведь знал, что Дон Кихот клевещет на революционеров: там, в голодающем Поволжье, человечину ели только беспартийные. У коммунистов была другая еда.

Но Луначарский не обиделся на Дон Кихота. Устами Балтасара, недоучки из Саламанки, образованный нарком отвечал прекраснодушной интеллигенции:

– Дон Кихот, упрямец, я вам друг!

Однако Дон Кихот не оправдал доверия ленинского соратника.

Пока Рыцарь Печального Образа и дон Балтасар спорили на принципиальной основе, "желтый спец", как в двадцатые годы называли беспартийных специалистов, подобных из-за своей беспринципности проституткам с их "желтыми билетами", тоже не дремал. Паппа дель Бабба, предвосхитив в наркомовской пьесе и "шахтинцев", и "промпартийцев", и других таких же в советской действительности, создавал разветвленный контрреволюционный заговор. Правда, ни "шахтинцы", ни "промпартийцы" на самом деле ничего подобного не совершали, но в 1921 г. о них Луначарский знать еще ничего не мог, а в другие годы знать уже не захотел. Зато самый принцип отношения к специалистам он уже понял. Поэтому Паппа дель Бабба в его пьесе сослужил контрреволюционерам экстренную и важную службу.

Мария Стелла уговорила Дон Кихота принести в тюрьму изготовленный "желтым спецом" из врачей особый яд: граф Мурсио, отведав его, должен был на трое суток обмереть, чтобы потом, воскреснув на кладбище, как шекспировская Джульетта, воссоединиться со своим возлюбленным контрреволюционным мятежом.

Дон Кихот не смог отказать в просьбе Марии Стелле, тем более, что хитрый Мурсио обещал после побега чуть ли не в монастырь уйти. По доброте душевной и следуя кодексу рыцарской чести, Дон Кихот предает интересы революции. Впрочем, Луначарский подчеркивает, что все произошло не по доброте душевной Дон Кихота и не по законам рыцарской чести, а по Фрейду: старичок-рыцарь поддался сексуальному аффекту, увидевши вздымаемую волнением грудь и влажные глаза красавицы Марии.

Именем "донкихотства" Дон Кихот добивается разрешения посетить высокопоставленных "зэков". Но среди революционеров это рыцарское право помощи несчастным признает за Дон Кихотом едва ли не один только дон Балтасар. Поэтому недоброжелатели из революционеров говорят о нем: пустомеля Балтасар из глины, а Дриго Пас – из камня. Нарком Луначарский мог позволить себе пококетничать своей "мягкотелостью". Для процесса социалистов-революционеров он выковал формулировки, которым позавидовал бы сам Дриго Пас, обросший шерстью кузнец.

Трибунал на этом процессе вынес пятнадцать смертных приговоров. Президиум ВЦИК'а едва ли без рекомендации партийной верхушки, к которой Луначарский принадлежал, постановил приговор к высшей мере наказания утвердить, но исполнение приостановить. Дальше в постановлении ВЦИК'а говорилось:

> "Если партия социалистов-революционеров фактически и на деле прекратит подпольно-заговорщицкую, террористическую, военно-шпионскую, повстанческую работу против власти рабочих и крестьян, она тем самым освободит от высшей меры наказания тех своих руководящих членов, которые в прошлом этой работой руководили и на самом процессе оставили за собой право ее продолжать.
>
> Наоборот: применение партией социалистов-революционеров методов вооруженной борьбы против рабоче-крестьянской власти неизбежно приведет к расстрелу осужденных вдохновителей и организаторов контрреволюционного террора и мятежа".

Все это было напечатано в "Правде" 9 августа 1922 г.

Принцип заложничества, положенный в основу этого постановления, уводит нас еще дальше вглубь времен от инквизиционного процесса средневековья в эпоху варварства, еще незамутненного христианством.

Тем временем в пьесе о Дон Кихоте действие разворачивалось так: Дриго Пас, сделанный "из камня", велел передать Герцогу и иже с ним решение революционного правительства: революционеров не казнят, если их заокеанские союзники и коронованные родственники не пойдут войной на Испанскую республику.

Так нарком Луначарский исторически предварил и художественно преобразил еще до процесса эсеров правительственное решение по этому делу.

Дриго Пас предложил Герцогу написать своим коронованным родственникам в соседних землях, чтобы они, говоря языком постановления ВЦИК'а, прекратили всякую военно-шпионскую, подпольно-заговорщицкую, террористическую и прочую подрывную деятельность против власти рабочих и крестьян, в противном случае Герцога уничтожат.

Герцог готов подписать что угодно.

Ах, если бы все, кого большевики считали контрреволюционерами, вели себя наподобие этого Герцога!

А то ведь некоторые подсудимые на процессе эсеров очень обижали обвинителей, среди которых были уважаемая на Западе, почтенная революционерка Клара Цеткин, венгерский революционер Бела Кун. Иные из подсудимых третировали даже судей, а судьям и жить-то оставалось всего лет пятнадцать.

К 1937 г. само существование этих судей, подобно существованию партии эсеров, окажется "сплошным политическим преступлением". Пятнадцать лет пройдет – и во главе с председателем суда Пятаковым все эти будущие "троцкисты", "бухаринцы", даже и твердокаменные "сталинцы", торжествующие пока что в зале, кубарем покатятся по мукам мученическим в братские могилы без могильных холмов...

Но пока судьи на высоте положения.

Пока подсудимого Гендельмана Пятаков лишил последнего слова: чем-то задел этот Гендельман нежную душу Председателя Трибунала.

Однако подсудимому Тимофееву дали сказать, что напрасно Бухарин так гордится сравнением большевиков с якобинцами:

> "революция 1793 г. стремилась к предельным человеческим достижениям, а в результате дала мещанина-буржуа".

Те, кто еще свеженьким читал этот августовский номер "Правды" 1922 г. и выжил после всего, что случилось потом, видят и понимают уже в наши общие восьмидесятые годы, –

Что все теперь иначе.
Кто накопил – купил.
Как много это значит
Среди родных могил!
Как много в этом слове –
"Купить", а не "отнять".
– Товарищ, сколько стоит?
– Давай, товарищ, пять!
На этом и увязнут
Истории клыки:
Все мелкобуржуазны,
И все – большевики. [16]

Но и люди помоложе с этим спорить не будут, – разве только по служебному долгу...

Подсудимый Альтовский на вопрос, что он станет делать, если его освободят, ответил, что считает вопрос риторическим:

> "Если двери откроются, он окажется только в другой огромной тюрьме, какой он считает Советскую Россию" ...

Тогда такие вещи "Правда" еще печатала: чего бояться победителям, раз уж горе побежденным!

Но подсудимых-то никак не назовешь исторически близорукими. Не оправдывается в политике бытовая истина: чем выше находишься, тем дальше видишь. И в результате полный реванш над подлыми пленными контрреволюционерами удался Луначарскому только в пьесе. Там враги

брали на себя все, что угодно, – точь-в-точь как потом, в процессах тридцатых годов, оговаривали себя соратники самого Луначарского.

Итак, Герцог готов был подписать обращение к своим коронованным родственникам, чтобы те его не защищали и помирились с революцией.

Однако Дон Кихот категорически отказывается передать письмо Герцогу, выполнить просьбу Дриго Паса, Красного кузнеца, с одной стороны, и Герцога – с другой. Дон Кихот всегда норовит попасть между двумя стульями. Этот, говоря словами Троцкого, "этический мандарин" не хочет помочь ни реакции, ни революции.

Но он, погрязший в своем мелкогуманистическом идиотизме, отстранившийся от всякой "политики", настаивающий на своем прежнем девизе – помощи первому встречному – оказывается игрушкой в руках контрреволюционеров.

Приняв лекарства, коварный граф Мурсио три дня спустя вылезает из могилы навстречу друзьям (уже тогда Луначарский как бы предупредил: так надо хоронить "зэков", чтобы не могли друзья придти к могиле!). Враги народа подают беглецам коней, и вся компания вместе с Марией Стеллой улетает в объятия реакции.

Дон Кихот, разумеется, остается; Санчо, сочувствующий революционерам, зовет революционную стражу, но оказывается в тюрьме вместе с Рыцарем: революции пока проще посадить обоих, чем разбираться, кто прав.

Несмотря на голод и трудности, революция ежедневно посылает в тюрьму Дон Кихоту и его оруженосцу "сытные обеды и доброе вино" (видимо, это художественное обобщение довольно тощих "академических пайков", которые красная власть выделяла интеллигентам по своему выбору и, разумеется, не арестованным). К слову сказать, Полтавский Дон Кихот от академического пайка категорически отказался.

Нарком, посмеиваясь над Рыцарем, сообщает в своей пьесе, что Дон Кихот все рассказал следствию. Рыцарь настаивает, что это сделал один Санчо.

– Это сделал ты, – говорит Дон Кихот.

– Я бы настаивал на "мы", – скромно упорствует оруженосец. – Но вообще-то я хочу сказать, что нас оставили в покое, как будто мы ничего и не нашкодили.

В данном случае "оставили в покое" – значит "посадили в тюрьму".

Но читатель не успевает задуматься над глубокой диалектичностью этого утверждения. К узникам приходит Балтасар, и солдат Васко (т.е. Васька, солдат революции) рассказывает, что войска графа Мурсио Весконсина, вернее его "банды", продвигаются вперед. Когда солдат называет "бандами" войска графа Мурсио, мы, естественно, должны предположить, что к этому времени шайки Вермильона сделались пролетарской гвардией.

Возможно, впрочем, что Луначарский позволил себе иронию над стилем официальной информации. Так или иначе, с той поры и посейчас воинские соединения "реакционеров" у нас называются "бандами", сколько бы народу в них ни было. В том же духе не столько информации, сколь-

ко декламации, солдат Васко рассказал, что граф Мурсио заставляет мягкосердечную Марию Стеллу смотреть на казни рабочих и крестьян, отчего та страдает и скоро умрет.

Арестованных революционеров развязал Санчо, а не Дон Кихот; зато безжалостных реакционеров выпустил, словно змей из мешка, именно Рыцарь Печального Образа. Даже несчастной и обманутой Марии Стелле этот фантазер только повредил.

Вот как унасекомил Луначарский тощего рака в панцыре, вечно пятящегося от великих свершений к сиюминутному добру.

– Суровому Родриго пришло в голову в науку всем мягкосердечным, которые со своей филантропией суются в тяжелую, сложную, полную ответственности жизнь, опустить на вас грозную руку правосудия! – объявляет дон Балтасар.

Решение Дриго Паса, судя по рассказу дона Балтасара, было "эвристическим", оно "пришло в голову" словно спасительная импровизация; такого рода импровизации в трудные минуты любили всевозможные "красные кузнецы".

Однако до какой же степени все перепуталось в бедной голове Балтасара (и его автора?), если врагом филантропии оказывается не произвол, а правосудие, да еще "правосудие", "грозной рукой" которого владело не оно само, а "суровый Родриго", так что эту "грозную руку", как дубину, можно было опустить на чью угодно голову!

Но, по мысли Луначарского, Дон Кихот, услышав эти вполне бессмысленные, на птичьем языке сказанные фразы, отвечал:

– Всегда готов!

Тут дон Балтасар объяснил, что он уговорил кузнеца не опускать на голову Дон Кихота, и без того запертого в тюрьму, еще и "грозную руку правосудия", по-видимому, скрыто уподобленную кузнечному молоту.

Затем Балтасар подчеркнул, что республика существует в условиях осады.

О том, каким становится государство во время осады, писал Питирим Сорокин в своей двухтомной "Системе социологии" 1920 г. и в статье "Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную организацию". Статья была опубликована раньше, чем вышел в свет "Освобожденный Дон Кихот" Луначарского. По мнению Сорокина, когда государство обращается в осажденную крепость, то по типу оно становится военно-социалистическим. [18]

"Военный социализм" государства-крепости Сорокин определял так:

> "Под идеальным или предельным военным социализмом я разумею агрегат, характеризующийся:
>
> 1. беспредельно-неограниченным объемом правительственного вмешательства, опеки и регулирования всей жизни и взаимоотношений подвластных (разрядка П. Сорокина. – *Ю.А.*), начиная с отношений экономических и кончая отношениями религиозными, правовыми, эстетическими и т.д.;

2. ничтожным объемом автономии и самоопределения подвластных во всех сферах поведения и взаимоотношений;

3. в известной степени уравнительным деспотизмом.

В таком обществе власть неограниченна. Нет границ объему вмешательства в жизнь граждан и ее регулировки... Как солдаты в строю, подвластные имеют только одну обязанность: безусловно повиноваться велениям власти". [17]

Все это соответствовало утверждению Троцкого, одного из вероятных прототипов Дриго Паса, что принудительный труд и связанная с ним государственная регламентация частной жизни при социализме неизбежны.

К приведенному описанию страны в "осадном положении" надо добавить еще одно: у тогдашних вождей нашего "государства-крепости" нервы были на пределе. Поэтому легко понять Дриго Паса, который едва не раздавил Дон Кихота железной рукой своего "правосудия".

Луначарский жил и работал в среде, воистину наэлектризованной революционной подозрительностью. Ленину, например, казалось, что даже у себя в цитадели, в Кремле, он и другие "бэки"

"окружены меньшевиками, полуменьшевиками и шпионами". [18]

Сталину было у кого унаследовать манию преследования.

Из-за этого шпионского окружения великому Ильичу приходилось нередко вести общегосударственную деятельность, руководствуясь правилами кружковой конспирации. То он отправлял своим соратникам директивные записочки с требованием уничтожить эти записочки сразу по прочтении; то приказывал некоторые директивы Политбюро давать доверенным людям только для ознакомления, чтобы, ознакомившись, они текст вернули, директивы выучили и выполняли, но нигде

"ни в бумагах, ни в шифровках о них не упоминали". [19]

Точно так и поступили оставшиеся без Ленина ленинцы с его письмом партийному съезду, с его политическим завещанием: познакомили с "завещанием" делегатов и взяли с них слово об этом письме помалкивать.

Интересно при этом, что от империалистов Ленин требовал полной откровенности: публикации всех тайных договоров. Это было вполне последовательно: наших секретов не существовало на бумаге. Нечего было публиковать.

К сожалению, Луначарский не нашел художественных средств, чтобы передать эту раздражающую атмосферу тревоги за свою власть и за свои тайны, окружавшую "кузнецов революции" даже за выкованными ими самими дверьми. Такая атмосфера при малейшей опасности предрасполагала к самым скоропалительным решениям.

Впрочем, в этом диалектическом зазеркалье иной раз и впрямь происходили большие странности, так что опасливых "бэков" можно понять.

Вот пример.

Весной 1922 г. Ленин написал записочку Дзержинскому, чтобы тот со своими пролетариями из ЧК обратил особое внимание

"на питерский журнал 'Экономист'. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 (только в третьем! Это nota bene!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все законченные кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлители учащейся молодежи". [20]

Из этого текста видно, что сталинские соколы, зорко угадывая в своих оппонентах шпионов и диверсантов, честно следовали заветным ленинским метафорам. Ибо в составе редакции были не "слуги и шпионы", а почтенные профессора и ученые, юристы и экономисты; растлителем молодежи Ленин назвал, как мы увидим ниже, всемирно известного социолога Питирима Сорокина.

Для Ленина отсутствие на обложке списка сотрудников было важным доказательством злодейской, белогвардейской конспиративности "Экономиста".

Между тем и первый, и второй номера журнала вышли со списком сотрудников редакции (одиннадцать человек) на обложке. В таком виде я получил эти номера в библиотеке им. Ленина.

Почему же сам Ленин, в отличие от библиотеки его имени, располагал явно дефектными экземплярами?

Первый номер "Экономиста" Ленин (как он сам писал в статье "О значении воинствующего материализма") получил от одного молодого коммуниста.

Может быть, молодой коммунист в надежде ударить по нэпманам держал этот номер как нож за голенищем, – и вот обложка от журнала отлетела?

Но, по словам Д.А. Лутохина, имевшего к журналу ближайшее касательство, первый и второй номера были посланы Ленину Н.П. Горбуновым, управделами Совнаркома (см. "Архив русской революции", т. 12).

Неужели управделами ободрал с журналов обложки?

"Осажденные крепости" полны интригующими тайнами.

И этих тайн не разгадать.

Одно из обстоятельств фантастической нашей действительности Луначарский отразил в своей пьесе о Дон Кихоте. К ленинским "законченным кандидатам на высылку за границу" Луначарский присоединил своего Рыцаря Печального Образа.

Дон Балтасар говорит ему:

– Дон Кихот, вам нельзя быть с нами. Кто знает, какая еще блажь, благороднейшая, благостнейшая, войдет в вашу голову?

Дон Кихот. Изгнание?

Дон Балтасар. Да.

Но тут же Дон Балтасар обещает, что когда, наконец, революционеры завоюют обетованную землю, они "позовут Дон Кихота под завоеванные ими кущи" творить добро.

"О, тогда вы станете поистине освобожденным Дон Кихотом. Но и тогда вы, зажмуриваясь, будете глядеть назад на пропасти и ужасы, которые не вами пройдены. Ах, вы не можете понять, что

мы платим ту цену, не уплатив которой не войдешь в ту страну, где освобожденный Дон Кихот найдет гармонию и свет".

Но рыцарь не хочет примириться с тем, что в его интересах Дриго Пас орудует, как дубиной, и "грозной рукой правосудия", и обычным оружием. Этому новому способу производства новых ценностей нового общества рыцарь противопоставляет свои сомнения: пусть, делая непосредственное добро, человек может посеять огромное зло. Все равно, –

"ваша вера – не моя. Но что вообще делать нам, людям? ... Поистине я – как слепец".

Так Рыцарь Печального Образа сыграл с Наркомом в поддавки.

Но мог ли Нарком этим удовлетвориться? Мог ли он, гордившийся тяжким трудом своих друзей-чекистов, не разоружить противника окончательно?

Правда, Дон Кихот перед изгнанием и без того безоружен: при аресте оружие у Рыцаря Бедного наверняка отобрали, а вот вернули ли ему при высылке деятели революции даже шлем Мамбрина, – неизвестно. О щите, копье, мече и говорить не приходится. Дриго Пас уже наверняка успел перековать донкихотский меч на свое орало.

К тому же "простого разоружения" врага настоящим марксистам-ленинцам всегда было мало. Еще до первой русской революции их традицией стало, по выражению Ленина, лепить оппоненту на спину "бубновый туз", знак каторжника, да так крепко лепить, чтобы от этой каторжности никакой Дон Кихот человека уже спасти не мог. После Октября "бубновые тузы" эти, отличительные знаки ленинских оппонентов, обернулись мишенями для ворошиловских стрелков в составе войск ЧК – ОГПУ – НКВД.

"Бэкам" всегда была присуща уверенность, что честный, серьезный человек против них не пойдет; кто с ними не согласен, – тот куплен врагами. При такой психологии "бэки", к тому же по-ленински подозрительные, не удивлялись тому для многих удивительному обстоятельству, что Н. Суханов и другие русские социал-демократы вдруг оказались шпионами, диверсантами, подрывниками. Для Ленина слова "полуменьшевик", "меньшевик", "шпион" стояли в одном ряду. И вот теперь уже не слова, а люди, которых Ильич называл этими предпоследними словами, сидели рядышком на скамье подсудимых.

Что тут было удивительного для твердокаменного "бэка"?

Казалось бы, не нужно большого ума, чтобы победоносные результаты следствия в герметических подвалах ЧК показались подозрительными. Однако "бэкам" психологически легко было согласиться с тем, что Суханов и другие социал-демократы могли организовать у себя в стране голод и разруху. "Бэки" и Троцкого, своего всесоюзного вождя, без особенного раскола между собой выбросили за границу. А потом по собственной недоверчивости пересажали друг друга.

Чтобы дискредитировать Дон Кихота по всей форме, следовало обвинить его в том, что он объективно являлся агентом графа Мурсио и знал об этом; вдобавок полезно было бы доказать, что Санчо по приказу своего господина занимался спекуляцией на черном рынке.

Но изо всего этого не могло получиться сколько-нибудь интересной философской игры. Получалась только игра обухом по голове. А Луначарского пленяли олимпийские приключения.

Такого солдафонства, чтобы связывать Дон Кихота с иностранными разведками, нарком, во всяком случае, в пьесе, допускать еще не желал. Тут он отставал от жизни: в жизни повстанцы, кронштадтские "братишки", были объявлены черной агентурой "Интеллидженс Сервис".

Однако унасекомить Дон Кихота все-таки надо было.

Не хватало у Луначарского простодушия допустить в противнике истинное благородство.

И нарком стал разоблачать Рыцаря Печального Образа.

Дон Кихот не слепец.

Дон Кихот – сознательно безответственная марионетка.

Показано это так:

Дон Балтасар. Куда пойдете вы?

Дон Кихот. Не знаю.

Судя по нижеследующей реплике дона Балтасара, у Дон Кихота в тюрьме не отобрали лат, хоть и помятых, но все же стальных; или же доспехи вернули рыцарю незаметно для зрителя.

Дон Балтасар. Опять раскаленные латы, и под жгучим небом из лазури и расплавленного золота, опять, отбрасывая тень, движутся всадники, длинный и круглый, в неизвестность. Мне жаль вас, Дон Кихот. Быть может, оставить вас у нас на мой риск?

Дон Кихот. Нет, я уйду. Я не даю вам обещанья, что завтра не скрою у себя в постели вашу жертву. А почем я знаю, не будет ли это второй Мурсио?

Дон Кихот благороден, он не хочет повредить Балтасару. Это так.

Но разве он раскаивается, что спас врага народа?

Как будто, да.

Однако, если бы Дон Кихот и вправду захотел застраховать себя от ошибок, он пошел бы на выучку к Красному кузнецу.

Дон Кихот этого не хочет.

Луначарский показал: Рыцарь Печального Образа – злостный слепец. Он настаивает на своем праве путать злодея со святым. Он кокетничает своей слепотой, а сам является марионеткой страсти к сиюминутному добру.

Своей луначарственной молнией драматург попал в самую сущность кихотизма. Но – увы! – в мире духовном, в мире сущностей испепеляющие молнии бессильны.

Кихотизм – это защита каждого в ущерб всем.

Кихотизм антисоциален.

Луначарский сам это подчеркнул: Дон Кихот бросается в бой освобождать узников старого мира, не зная о них почти ничего.

Кихотизм – социально конструктивное явление.

Наша способность именем сердца противопоставить правому и даже правовому обществу во имя виновного страдальца – не говоря уже о невиноватом – персонифицирована в Дон Кихоте. Без этой способности

цивилизованные общества превратились бы в самоуправляющиеся овечьи стада.

Дон Кихоту, не пожелавшему отличать овнов от козлищ в ситуации, когда бедную скотину ведут на убой, пришла пора уезжать с русской почвы вон.

В пьесе Луначарского Дон Кихот принимает свою участь с грустным спокойствием.

Ах, если бы так же чинно, благородно и благодарно, как Дон Кихот у Луначарского, уезжали из России высылаемые профессора-идеалисты, священники, общественные деятели – все неисправимые ревматики-кихотики, у которых кости болят, когда других бьют.

Эти калеки, неизлечимо больные своим гуманистическим, мелкобуржуазным "идиотизмом", "болезнью князя Мышкина" (в сущности то же, что и "болезнь Блейера") уезжали отнюдь не "разоружившись".

Питирим Сорокин как раз был одним из таких.

Перед своей высылкой он успел заявить на выпускном акте Петербургского Университета, что большие общественные перестройки нельзя начинать извне: общество подобно организму, а не зданию. Начинать нужно с фундаментальной клетки общества: семьи. Создать семью, создать прежде всего в семье здоровую эмоционально, умственно и нравственно атмосферу – вот первейшая социальная обязанность молодого интеллигента наших дней, дней, когда грандиозные порывы привели к столь же грандиозным катастрофам.

В статье "Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную организацию" ("Экономист", № 1, 1922 г.) Сорокин (прим. к стр. 83) жаловался, что на 10000 браков в Петрограде приходится только в течение одного года 92,2 развода. Сорокин из этого делал вывод, что сексуальная распущенность населения во время русской революции, как, впрочем, и других революций, увеличивалась. Это огорчало Сорокина, так как по его тогдашним представлениям русский интеллигент должен был вырабатывать в себе гордый "англосаксонский комплекс" независимости от государства. Так Сорокин писал об этом, полемизируя в "Вестнике литературы" со "сменовеховцами". А в "англосаксонский комплекс" включалось нерусское чувство: "Мой дом – моя крепость". Крепкая семья была тут необходима.

Ильич орлиным взором все это заметил:

> "Буржуазно-демократическая революция (развод и крепостник Сорокин. "Экономист", № 1)", –
>
> – записал Ленин. [21]

В ходе пролетарской революции Ленин и его соратники вдребезги, до последнего винтика разбили прежние общественные механизмы. А теперь Сорокин тщился сохранить последний винтик, даже не винтик, – "молекулу" прежнего общества: буржуазную семью, которая и без частной собственности, и при пролетарском государстве оставалась потенциальным источником буржуазно-демократических тенденций. "Молекула" эта молоту не давалась: выскальзывала из-под молота, мчалась по наковальне

после удара, была непроницаема, норовила улизнуть. Семья оставалась опасностью для государства: ведь если в стране нет молока и даже тем более, если нет молока, государственному служащему, т.е. военизированному гражданину все равно нужно добыть где-то что-то ребятишкам на молочишко...

Сорокин пытался удержать последнее достояние "буржуазного общества", с тоскою махнув рукою на его свободы. Этого последнего достояния – семьи – они с Лениным и не поделили.

В марте 1922 г. – в это время в пьесе Дон Кихот пересек уже границы воображенной наркомом Испании – журнал "Под знаменем марксизма" опубликовал статью Ленина "О значении воинствующего материализма".

Сперва в ленинской статье шла отповедь, а потом резолютивная часть. Каждая из этих частей по-своему интересна.

Отповедь начиналась словами: "Некий г. П.А. Сорокин...".

Ильич, как и другие аналогичные полемисты его времени, очень любил словечко "некий", сразу уменьшавшее человека до микроскопических размеров. То обстоятельство, что сам же Ленин написал о Сорокине статью еще в 1918 г. ("Ценные признания Питирима Сорокина") значения уже не имело. В статье 1918 г. Ленин высказывал удовлетворение, что член ЦК партии социалистов-революционеров, Сорокин отказывается от своего эсерства и от звания депутата Учредительного Собрания. Но при этом Ильич остерегал, что в науке, занятие которой Сорокин противопоставлял теперь политической деятельности, тоже можно наделать больших ошибок.

Вот Сорокин их и наделал, и сделался "неким" для великого Ильича.

Для Ленина Сам Господь Бог был бы "неким господом богом", если бы Ильич не дал ему другого определения:

> "Всякий боженька есть труположество", –

писал В. Ленин Горькому в 1913 г. [22]

Вот какой силы полемист обрушился на Питирима Сорокина. Причем обрушился именно на примечание к стр. 83, хотя было в статье Сорокина много чего еще, невыносимого, казалось бы, для революционера.

Чего, например, стоил хотя бы такой пассаж о человеческой "слякоти", которая будто бы только и выживает после революции и войн:

> "Выживающая 'слякоть' не может бороться с тенденцией власти к абсолютному подавлению общества и личности так, как могла бы бороться погибшая на войне лучшая кровь народа. У остающихся людей 2-го и 3-го сорта нет ни той энергии, ни тех талантов, ни той любви к свободе и умения отстаивать свои права, какими обладали погибшие. С этой 'слякотью' умные властители могут делать что угодно, не встречая энергичного отпора. 'Слякоть' будет роптать, но ропот не перейдет в восстание, а если и перейдет, то даст только неорганизованные вспышки. После двух-трех неудачных попыток 'слякоть' покорно наденет ярмо и примирится со своей долей. От нее и потомство будет второсортное, а это обстоятельство еще более благоприятствует росту опеки власти", –

пересказывал Сорокин в статье свою же "Систему социологии". [23]

Цитата длинна, но она ведь и захватывала большие исторические пространства впереди. Можно спорить с тою схемой последующего вырождения, которую Сорокин предлагал. Он и сам ее, по всей видимости, в конце жизни отверг: к старости Сорокин одобрил, говорят, Страну Советов, но подробностей этих я не знаю. Мне неизвестны аргументы Сорокина последнего времени против ранних его работ.

Приведенный выше, а также и другие полемические пассажи статьи Сорокина оставались без Ленинского ответа: вождя не интересовала теория, когда власть была уже в руках. Но вот практическая попытка пропагандировать буржуазную побасенку "Мой дом – моя крепость", – была нежелательна. Разумеется, любой пролетарский революционер знал: "Нет таких крепостей, которые большевики не возьмут". Но зачем воздвигать на исторических дорогах победителей еще и крепости в виде крепких семей?

"Большевистская революция, –

отвечал Сорокину Ленин, –

> является единственной последовательной демократической революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и положение внебрачных детей. А это вопрос, затрагивающий самым непосредственным образом интересы большей половины населения в любой стране".

Затем Ленин обобщил Сорокина, налепил ему, как и полагается, бубновый туз на спину: такие, как этот Сорокин, "образованные" крепостники. "Образованные" у Ленина было в кавычках, крепостники – без: в буквальном смысле был крепостником тот, кто отстаивал крепость семейных уз. Дальше Ленин писал, что "образованные" крепостники, состоящие на государственной службе для просвещения юношества,

> "годятся для этой цели не больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста". [24]

Сорокина, пытавшегося сберечь семью, протестовавшего против половой распущенности, Ленин назвал "растлителем".

Так Ленин обогатил диалектическую большевистскую группу уравнений еще двумя; он открыл:

1/2 $\succ$ 1/2 (Вопрос о незаконных детях

> "затрагивает самым непосредственным образом интересы *большей половины* населения в любой стране";

так что "половина больше половины").

Отстаивающий семью, как социальную единицу = Растлителю малолетних.

Напомню систему остальных уравнений:

Рабочий = Рабочему.
Рабочий < Рабочего.
Рабочий = Белому генералу.

Если умело пользоваться этой системой, то можно решить любые исторические задачи (разумеется, степень убедительности решений обеспечивается превосходством вооружения).

Рассуждения Сорокина – это рассуждения мирного Алонсо Киханы. Но Алонсо Кихане пришлось покинуть свою родину вместе с Дон Кихотом: в сущности, это две стороны одной личности. Кроме того, когда безумеет мир вокруг, Дон Алонсо Кихана своей добротой и разумностью так же вреден, как и Дон Кихот.

И вполне естественно, что в резолютивной части ленинской статьи предлагалось таких, как Сорокин, крепостников "вежливенько препроваживать в буржуазные страны".

"Вежливенько препроваживать" на языке Ленина значило "препроваживать", предварительно арестовав. Дон Кихот в пьесе Луначарского был выслан за границу непосредственно из тюрьмы.

После этой статьи о Сорокине начались в 1922 г. высылки русских интеллигентов за рубеж. "Освобожденный Дон Кихот" был закончен еще до начала этих высылок. Стало быть, Луначарский, как и подобает высокопоставленному социалистическому реалисту, предвосхитил будущее. Это ему нетрудно было сделать, поскольку он как нарком участвовал в его создании; в пьесе "Освобожденный Дон Кихот" Луначарский высказал свою точку зрения на вопрос, который в начале 1922 г. в общих чертах был уже решен.

Уехать пришлось не одному Дон Кихоту.

Даже отказавшийся от героизма Алонсо Кихана в новой системе равенств и неравенств оказался приравнен к Рыцарю без Страха и Упрека.

В пьесе Луначарского с ее обобщениями и символами, с ее игрой преображений все выглядело аккуратно, благообразно, трогательно, – и, разумеется, без новой системы равенств и неравенств.

Дон Балтасар захотел даже поцеловать на прощание Санчо (не с Дон Кихотом же, в самом деле, революционерам целоваться!). И тут Дон Кихот Луначарского полез к революционеру целоваться сам.

Дон Кихот. И я поцелую вас, Дон Балтасар! (Целуются.) Оправдать я вас не смогу, осудить – не смогу, не смогу благословить вас. Только поцеловал вас поцелуем, в котором сознание нашей общечеловеческой слабости и нашего в ней братства.

Дон Балтасар отвечает на этот непрошенный, по отношению к революционным целям прямо-таки иудин поцелуй:

– Сейчас или позднее, но мы добьемся власти человека над судьбой. В гибели и победе – конечные победители мы...

Однако Луначарскому мало было этого идиллического прощания. Дальше Дон Кихот пророчит, что Дриго Паса и Балтасара "назовут сумасшедшими", сочтут рыцарями. Даже кихотическое безумие по воле Луначарского оставил Дон Кихот у Балтасара на таможне.

Питирим Сорокин возразил дону Балтасару (или как его там звали в Политбюро), что само по себе переустройство промышленного капита-

лизма в военный социализм – это грандиозный переворот, подобный геологическому сдвигу; только вот неясно, какие цветочки будут расти, кто будет жить и радоваться в этом обновленном мире? И насколько он вообще будет пригоден для жизни?

Сорокин в своей "Системе социологии" приводил слова Боссюэта: "Люди волнуются, а законы необходимости руководят ими".

Но мог ли предвидеть Питирим Сорокин, что в его стране возникнет гигантское сообщество государственных служащих, которые служат сперва – себе, потом – государству, что эта система прочна и фундаментальна, сколько бы костей в фундаменте ни лежало, что сам Сорокин впоследствии оценит это великое множество соучастников и сообщников как структуру, социально перспективную?

Воистину, ничто не вечно под луною, даже из того, что казалось долговременным луначарственному воображению.

Только Дон Кихоту суждено было странствовать по векам и дорогам.

Финал пьесы Луначарского разъяснил, что означало освободить Дон Кихота в Стране Советов.

Дон Кихот Освобожденный – это Дон Кихот высланный.

* * *

Литература

1 Л. Василевский. "По следам голода", "Экономист" № 4, 1922, стр. 246. и 248.

2 См. цит. сб. "Память" № 2, стр. 418.

3 См. "Библиотека В.И. Ленина в Кремле. Каталог". М., 1961, № 6133.

4 Литературное наследство, т. 82, стр. 560.

5 "Печать и революция", кн. 5, 1923, стр. 286.

6 Здесь и дальше пьеса "Освобожденный Дон Кихот" цитируется по изданию: А.В. Луначарский. "Пьесы". М., 1963.

7 "Утреники", кн. 1, Пг. 1922.

8 В.И. Ленин. Полное собр. соч. Изд. 5, т. 48, М., 1964, стр. 224.

9 В.И. Ленин. Полное собр. соч., изд. 5, т. 54, стр. 270. О съезде врачей см. там же, стр. 437.

10 "Обвинительные речи на процессе эсеров". М., 1922, стр. 3.

11 Там же, стр. 4.

12 Там же, стр. 3.

[13] М. Горький. "В.И. Ленин". "Русский современник", кн. 1, 1924, стр. 239.

[14] Э. Багрицкий. "Избранное". М., 1948, стр. 98.

[15] Цит. книга Н.А. Трифонова, стр. 167.

[16] Ю. Айхенвальд. "Високосный год". Мюнхен, 1980, стр. 43.

[17] П. Сорокин. "Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную организацию". "Экономист" № 1, 1922, стр. 105.

[18] В.И. Ленин. Полное собр. соч., изд. 4, т. 45, стр. 378.

[19] Там же.

[20] В.И. Ленин. Полное собр. соч., изд. 5, т. 54, стр. 265-266.

[21] В.И. Ленин. Полное собр. соч., изд. 5, т. 44, стр. 415.

[22] В.И. Ленин. Полное собр. соч., изд. 5, т. 48, стр. 227.

[23] Цит. статья П. Сорокина, "Экономист" № 1, 1922, стр. 105.

[24] В.И. Ленин. "О значении воинствующего материализма". "Под знаменем марксизма", № 3, 1922, стр. 4.

5. ОДЕРЖИМЫЙ ДУХОМ ИСТОРИИ

Среди многих исторических фигур, увлекавших Луначарского, роскошного наркома, после создания "Освобожденного Дон Кихота" была одна незаметная, серенькая на фоне "мировых событий с их горечью и славой", ничтожная и ненужная никому фигура "праведника". Кроме Луначарского этими "праведниками" заниматься было некому: другие вожди находились при деле, на мелочи не отвлекались.

Троцкий – любимый герой Луначарского – выявил себя как военных дел мастер, а в таких делах праведники не нужны.

Ленин называл тех, кто помогал отдельным людям, а не борющимся сторонам, "идиотами", и как описывал это Луначарский, "беззлобно смеялся", когда славные чекисты волокли "идиотов" к себе в тюрьму.

Зато Луначарский отнесся к "идиотам" с профессиональной серьезностью: ведь многие из них были его прежними коллегами, нынешними подданными.

В качестве интеллигентного большевика у власти Луначарский после революции стал очень осторожен, ни к каким оппозициям не примыкал, старался выгородить себе удел – ниву просвещения – и там либерально княжить, выращивать золотые культурные колосья для большого советского герба.

Но по натуре своей Луначарский был человеком Возрождения. Трудно ему было ограничить себя таким полеводством. Ему бы во Флоренции состоять в звании Лоренцо Великолепного, – строить палаццо, меценатствовать художникам, гарцевать с круглым щитом в руках на бронзовом белом коне, философствовать с философами, проводить ночи с гетерами, – словом, жить "удовлетворяя всем низшим и высшим инстинктам", развив в себе через это "наибольшую сумму сил" и "наивысшую жажду мощи". Так Луначарский писал еще во время революции 1905 г., а в 1924 г. он эти свои "анютины" экзерсисы переиздал. Разумеется, ренессансный комплекс включал не только яд, влитый дружеской рукой в кубок соседа-недруга, пока шел пир, но и беседы с Эразмом Роттердамским о добре, зле и свободе воли.

Хотя Луначарский, шатровый человек, родился в другое время, но свою ренессансную натуру после Октябрьского переворота он сумел кое в чем реализовать.

Это при нем воздвигали по всей Москве гипсовые монументы, – он их принимал, он их понимал, он их заказывал. Что значил хоть и прославленный, но одинокий Давид по сравнению с могучим коллективом скульптур, разбросанных по всем московским перекресткам, – тут была и голова Дантона, и Иван Каляев среди языков пламени, и Степан Ра-

зин во весь рост... Потом, правда, непрочный гипс распался, и статуи, иные из которых были созданы знаменитыми нашими мастерами, пошли в куски, в прах и на помойки.

Но зато каков был замысел!

Нарком, вообще-то человек не злой, может быть, несколько близорукий, еще чувствовал себя в то время "близким к типу сверхчеловека". Так что пушкинские строки из "Скупого рыцаря" безо всякой обиды наркому во многом описывали ситуацию.

Что не подвластно мне? – спрашивал Скупой Рыцарь, –
Как некий демон отселе править миром я могу.
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги...

Чертогов, правда, не было. Были чертежи. Но монументальная пропаганда уже велась.

В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою...

И верно: открывались первые Парки Культуры и Отдыха. Что же до балетных нимф из Большого, бывшего Императорского театра, то именно под крылышко наркома они и сбежались. А он их спас, отстояв от идеологов пролетариата барскую затею, балет. Большой театр не закрыли.

И музы дань свою мне принесут, – продолжал между тем хвастаться пушкинский Барон у себя в подвале, –

И вольный гений мне поработится,
И добродетель, и бессонный труд
Смиренно будут ждать моей награды.

– Сперва от имени муз пришел ко мне со стихами Иероним Ясинский, потом написал нам поэму "Двенадцать" Александр Блок, – мог подтвердить большевистский нарком у себя в Кремле.

"Вольные гении", которые не эмигрировали, вынуждены были смириться перед фактом:

"Мы нисколько не испугались необходимости цензуровать даже изящную литературу, ибо под ее флагом, под ее изящной внешностью может быть внедряем яд еще наивной и темной душе огромной массы, ежедневно готовой отшатнуться и отбросить ведущую ее среди пустыни к земле обетованной руку из-за слишком больших испытаний в пути... Необходима цензура, приостанавливающая даже великие художественные произведения, если в них таится очевидная контрреволюция", –

писал в 1921 г. Анатолий Великолепный, наш Нарком – Золотое Перо.[1]

Последующие большие начальники не понимали библеизмов.

Последующие большие начальники любили мат.

Ведя своих зеков среди колымской пустыни к золотым рудникам,

они довели-таки подконвойных до того, что з/к-з/к ценой собственной жизни добывали из мерзлой земли "обетованное" золотишко. И с тех пор нам есть, на что покупать американскую или аргентинскую пшеницу.

Но и в ранние, "библейские", так сказать, времена Октября тяжела была судьбоносная рука, если "ежедневно" – и не реже! – массам хотелось "отшатнуться" от нее и и ее "отбросить".

Только сделать это было невозможно. Жестока была рука и ловка. Даже на Пегаса сумел товарищ Луначарский, ренессансный человек, наложить бронзовую узду!

Пришлось "вольному гению" по меньшей мере хотя бы сделать вид, что он "поработился".

> И добродетель, и бессонный труд
> Смиренно будут ждать моей награды.
> Я свистну – и ко мне послушно, молча,
> Вползет окровавленное злодейство...[2]

Но "окровавленное злодейство" – это была уже другая контора. Не Луначарского, а по соседству.

Что же до "бессонного труда" какого-нибудь ученого или бывшего "вольного гения", засевшего за переводы, то и тут Луначарский был прав: ничего им всем не оставалось, кроме как смиренно ждать его награды: академического пайка.

Вот с Добродетелью было хуже.

То Добродетель болталась между враждующими станами и помогала, кому могла, без разбора, то сидела молча в своем углу и без страха (вот что было особенно обидно!), но с упреком глядела, как Троцкий и Луначарский гарцуют на своих бронзовых, белых и бессмертных конях. "А ведь какие были умные, добрые интеллигентные детки!" – думала, возможно, эта Добродетель, и никакой награды смиренно не ждала. Вместо этого она внушила Максу Волошину написать советскому функционеру-журналисту следующие строки:

> "Разумеется, красных при белых и белых при красных я защищал не из 'филантропии', а потому, что массовое взаимоистребление русских граждан в стране, где культурных работников так мало и где они так нужны, является нестерпимым идиотизмом".[3]

Владимир Ильич, вождь, называл тех, кто не понимает всей естественности гражданской войны "идиотами".

Максимилиан Волошин, поэт, самую гражданскую войну оценивал как "нестерпимый идиотизм".

Так вождь с поэтом обменялись любезностями.

Пытался Луначарский Великолепный выманить Добродетель из ее затвора, апеллируя (нарком любил это слово) к ее интеллигентности и разуму.

> "Когда дело идет о морально-этической стороне, интеллигент окрылен. Так как он мелкий буржуа, который живет исключитель-

но оригинальным трудом своей личности, ее занятиями, талантом и т.д., то он бесконечно ценит личность и выдвигает ее на первый план".[4]

А рабочие живут массой, им индивидуализм ни к чему, – объяснялся нарком. Справедливо ли, что интеллигент будет купаться в своем индивидуализме, в то время как пролетарии ведут массовую, классовую, трудовую и международную борьбу?

Но как раз с точки зрения Добродетельной Справедливости интеллигент, для которого "идея свободной личности есть идеал наиболее желанный", был прав, когда расщеплял классы и массы именно на эти "свободные личности". Ведь и хороший мастер жил, как интеллигент, "оригинальным трудом своей личности, знаниями, талантом", – ну, положим, как слесарь-лекальщик живет своими лекальными работами.

Однако Луначарский норовил противопоставить самодовольную мелкобуржуазную "личность" именно нивелированному, неквалифицированному рабочему. Именно такие рабочие были любимцами русского марксизма. Их совокупность составляла безликий, лишенный индивидуальностей "пролетариат", "массу". С этой "массой" обращаться было просто: ее легко было месить, прессовать, репрессировать... "Личности" такой "массе" по штату не полагались. По штату только вышестоящим органам диктатуры пролетариата разрешалось иметь свои "личности".

Могла ли добродетельная Справедливость клюнуть на такую блесну?

Однако Луначарский примириться с этим не желал, он, как только мог, старался унасекомить Добродетель, приструнить Праведников.

В брошюре "Пять лет революции", вышедшей в 1923 г., он и попытался это сделать.

> "Мы не отрицаем справедливости страниц об отдельных эксцессах, записанных нашими врагами, а иногда и благородной рукой какого-нибудь великодушного, но и слабодушного свидетеля, вроде того же Короленко. О, тут есть чему ужасаться!"[5] –

–писал нарком, знавший о бессудных расстрелах ЧК не только из писем Короленки. Менее чем за полтора месяца, судя по короленковским дневникам 1920 г., в Полтаве случилось восемьдесят этих "отдельных эксцессов", бессудных расстрелов.

Стоило ли доверять "слабодушным" или, тем более, "врагам" "справедливые страницы" об этом? Почему бы не написать "справедливых страниц" о себе победителям?

> "Но есть и такие прекраснодушные Дон Кихоты, – продолжал между тем Луначарский, – которые каждый раз стенают над повергнутыми и каждый раз ужасаются мероприятиями победителя, единственными, однако, которыми он может закрепить свою победу".[6]

Если кровь монархиста и кровь коммуниста слились в общей крова-

вой луже, то как отличить, чья там кровь – "красная", а чья – "белая"?

Или – тот же вопрос в другой формулировке – как отличить "великодушного, но и слабодушного свидетеля" от "прекраснодушного Дон Кихота", а "отдельный эксцесс" от "революционной необходимости"?

Текст Луначарского не дает возможности разграничить "великодушие", "слабодушие", "прекраснодушие" и "донкихотство".

Зато Рыцарю Печального Образа Луначарский противопоставляет революционное рыцарство.

Великодушные, слабодушные, прекраснодушные Дон Кихоты не замечают, по мнению Луначарского, что новая диктатура "борется за самое священное знамя, какое когда-либо держала рука человеческая". Они

> "... заслонили перед собой все это образом правительства, при помощи террора расправляющегося с 'гражданами'. Для них это была не необходимо жестокая борьба революционного паладина с клубящимся под его ногами чудовищем (в лице полтавского наборщика Навроцкого – *Ю.А.*), а расправа с проявлениями общественности".[7]

Очень хотелось прокурору-просветителю украситься еще и рыцарским званием. Как помнит читатель, Дон Кихот перед самым освобождением, т.е. перед высылкой, дал на это право своему луначарственному автору.

В 1924 г., на следующий год после того, как брошюра "Пять лет революции" вышла в свет, Луначарский опубликовал статью "Праведник", снова о Короленке и кихотизме.

Начиная с этой статьи, Луначарский употреблял в одном ряду слова: "Дон Кихот", "Праведник", "Короленко".

Возможно, самое слово "Праведник" применительно к Полтавскому Дон Кихоту Луначарский заимствовал из очерка С. Протопопова "Материалы для характеристики В.Г. Короленко" ("Былое" № 20, 1922 г.). В этом очерке приводится цитированное выше письмо, где Короленко выражает уверенность, что в распоряжении Луначарского есть все его письма, но что никакого ответа на них из Кремля он у себя в Полтаве все равно не дождется.

В большевистских партийных "верхах" из бывшей интеллигенции "Былое" читали внимательно и придирчиво. Весьма вероятно, что Луначарский обратил внимание на материал, опровергающий его версию о переписке с Короленкой.

Очерк С. Протопопова начинается отрывком из письма давней сотрудницы писателя:

> "Со слезами на глазах прочитала в газете, что умер Владимир Галактионович. Это, несомненно, праведник перед Господом. Утешаю себя только тем, что он, наверно, будет в Царствии Небесном...'
>
> Цитата из письма приведена мною из-за чрезвычайно удачного слова 'праведник', – продолжал Протопопов. – В Короленко дей-

стительно были все черты праведника, святого и даже мученика: доброта, любовь к людям, справедливость, бескорыстие и непреодолимое стремление, как выражаются, реагировать на неправду. Из-за этого свойства Короленко попадает и в тюрьму и в ссылку. Название мученика заслуживают не только смертью, но и страданиями без смертельного исхода. Ведь не называют солдат, павших на полях сражений, мучениками. И, наоборот, вполне правильно так называть жертвы жестоких гонений. Была в Короленко и более мелкая черта праведников – любовь и жалость к животным. Он и скот миловал. Это видно из его очерка о бойне в Чикаго и его неприязни к охоте. Однажды Короленко выстрелил в птицу, которая была вне всякого выстрела.

– Вот и отлично, – сказал он весело. – И ей не вредно, и нам удовольствие".[8]

Не знаю, был ли Протопопов человеком верующим. Но слово "праведник", которым женщина религиозная охарактеризовала писателя, показалось ему точным. Протопопов даже принялся уточнять понятие "праведник" применительно к Полтавскому Дон Кихоту. В том же очерке Протопопов, как уже говорилось мною выше, задавшись вопросом, можно ли считать Короленку Дон Кихотом, отвечал: все-таки скорее "да", чем "нет".

Основные составляющие характеристик, которые в дальнейшем Луначарский давал своему "Праведнику – Дон Кихоту – Короленко" уже содержались в очерке Протопопова.

Но оценка всего этого у Луначарского была, разумеется, совершенно иной, чем у С. Протопопова, демократа в классическом, незамутненном тоталитарными уточнениями смысле.

Сближение понятий "Дон Кихот" и "Праведник", возникшее в начале 20-х гг. у Протопопова, а затем и у Луначарского, еще в одном отношении показательно.

У кихотизма в России были свои, национально-русские духовные источники, – не одни сказки об Иванушке-дурачке, не только юродство Христа ради и странничество, но прежде всего страстотерпчество, важная особенность русской святости, как об этом писал Г.П. Федотов (см. "Святые Древней Руси", Нью-Йорк, 1959).

Чем катастрофичнее складывалась европейская (и русская) история, тем очевиднее становилась эта связь. Яснее всего она прослеживается не на примерах литературных интерпретаций, а на примерах человеческих воплощений кихотизма. Способность человека пострадать за правду всегда заново связывала распавшиеся было русские времена. Зато для таких, как Луначарский, не двуединая правда-истина и правда-справедливость, а неделимая правда доброты каждый раз оказывалась помехой.

Луначарский в статье "Праведник" попытался объяснить самую природу праведности. Статья была тем более своевременной, что безнадежно зараженные мелкогуманистическим кихопатизмом больные были уже

высланы на Запад, а остальным таким же светили только Северные сияния в дальних лагерях.

В статье "Праведник" Луначарский сделал сногсшибательное для марксиста открытие: бывают люди, "обладающие особыми свойствами ума и сердца", свойствами "чисто биологическими". Эта особая биологическая природа дает таким людям больше прав на доброту или ненависть, чем остальным. Она определяет и особую историческую судьбу "талантов и гениев, которые заслуживают восторженного поклонения" (без деления на классы – *Ю.А.*). Эти выродки, но выродки в лучшую сторону, вырабатываются общественной жизнью, становятся "вождями и представителями" "тысяч, а иногда даже миллионов" именно потому, что они являют собой "тот изысканный, исключительный материал".

Возможно, еще недавно Луначарский полагал, что вот этот-то "изысканный, исключительный материал" идет на изготовление "большевика, близкого к типу сверхчеловека". А, может быть, он имел в виду другой "изысканный исключительный материал". Теперь оказалось, что какой-то из этих дефицитных материалов природа использовала, чтобы создать праведника, "слабодушного" Дон Кихота, Владимира Короленку, одного из тех, чья "сила, широта и глубина", "внешне выражая идеологию данной группы", "поражает в хорошем или дурном смысле все остальные группы, является нотой мощной, включающей в себя мировую симфонию".

Что, однако, считалось в этом лесу метафор смыслом "хорошим" и что наоборот "дурным"?

Короленко получил, казалось бы, наилучшую аттестацию:

> "Вот если мы суммируем все это полное соответствие Короленко всему лучшему и только лучшему, что имелось в среднем русском интеллигенте, разительное умение давать сразу какое-то благородное утешение в жизненных скорбях самой формой своих творческих произведений, – и, что не менее важно, не только глубокое сознание себя критической личностью, которая не смеет молчать, видя общественное зло, но и реально необыкновенно чуткую совесть, то мы получаем облик этого жреца интеллигенции в чистых одеждах, этого незапятнанного праведника".[9]

Однако важно, что ко всему этому Короленко именно самой биологией, самой матерью-материей был предназначен (монахи сказали бы: самим небом). Чтобы возмутиться арестом ребенка, или ссылкой большевиками революционера-рабочего, пожалеть бессудно расстрелянных, надо было – по Луначарскому – "иметь необыкновенно чуткую совесть", надо было быть прямо-таки чудом природы.

То обстоятельство, что обычный человек с нормальной совестью самым естественным образом страдает, видя, как люди мучают других людей, беззащитных и даже не собиравшихся защищаться, Луначарский категорически отрицал. Как и у всякого революционера-насильника с большим стажем или как у опытного спекулянта контрабандой, у Луначар-

ского, по-видимому, было пониженное представление о моральных качествах людей. Поэтому, с его точки зрения, угрызения совести и боль за другого были привилегией Праведника, выродка в сторону будущего. Обычный человек, в частности, "заурядный интеллигент" определен в своей политической и нравственной позиции своими экономическими интересами; он должен знать это и помалкивать, ибо

> "...праведническое воркование вовсе не есть исполнение своего социального долга в наше время... И прекрасно понимая, что именно воины, а не праведники нужны сейчас священнейшим знаменам отечества, мы можем осудить с должной суровостью (сроком до десяти лет – *Ю.А.*) этические нарекания или укоризненно воркующие советы праведника".[10]

Хорошая все-таки вещь – цензура!

Никто ведь в СССР не мог безопасно для себя прочесть письма Короленки Луначарскому и убедиться, что метафора "воркование" характеризует не эти письма, а самого наркома, для которого разумная аргументация все в большей мере становилась "птичьим языком".

Впрочем, в полемике с Праведником Нарком ради идеализации бессудных казней применил прием идиотизации их противников. Ведь именно в этой статье Короленко изображен слезливым старцем, умоляющим пощадить заведомых преступников, причем уже расстрелянных.

В результате к Короленко прилагалась такая серия определений: маразматический старец в белых одеждах; "необыкновенный прозрачный кристалл, в который сложилось л у ч ш е е" (разрядка Луначарского), что было в интеллигенте; чудесная игра природы; славнейший выродок, праведник, слабодушный Дон Кихот.

При этом как раз "слабодушие", а не сила духа оказывалось неотъемлемой чертой "праведничества".

Слабодушие праведника в том, что он

> "... никак не может понять, что любовь жертв искупительных просит, да не только жертв со своей стороны (это-то праведник, пожалуй, и поймет), а и принесение в жертву других, как это водится во всякой жестокой сече. Мы для него палачи, а он для нас – болтун".[11]

Но, формулируя этику тоталитаризма, этику сегодняшнего насилия во имя завтрашнего, вечно ускользающего добра, (завтрашнего, как известно, всегда еще нет), Луначарский не учел важного обстоятельства.

В наше время – да и в его тоже – палачи были весьма обидчивы.

Ты ему:

– Палач!

а он тебе:

– Клеветник! –

и тут же тебя же в смирительную рубашку куда-нибудь на полюс холода.

"Болтуны" при таком обращении либо замолкали, либо умирали, чему Луначарский и бывал свидетелем, разумеется, не "слабодушным". На что же он надеялся в утро тотальной победы, когда праведничество станет нормой человеческого поведения, как сам же нарком обещал? "Болтунов"-то к тому времени могла вовсе извести соседняя с Луначарским контора, где, говоря словами Пушкина, "послушно, молча" пребывало "окровавленное злодейство". "Праведники", "Дон Кихоты", "образцы человеческой нормы", "болтуны" могли выжить лишь вопреки "революционному паладину" и копытам его коня.

Чувствуя эту печальную для социализма перспективу (что же это за социализм, в котором начисто вывелись "праведники" и "образцы человеческой нормы"?) Луначарский вдруг развернул свою прямую в зигзаг.

Начал он это таким образом: для пришествия светлого будущего "нужно много предпосылок, политых человеческой кровью".

Не метафора – находка для воодушевленного бюрократа!

Стиль Луначарского на этих "политых кровью предпосылках" – увы! – не расцвел.

Все чаще приходилось наркому втыкать в свои грядки писчебумажные розы на проволочках.

Однако необходимостью упомянутых "предпосылок", – так развертывалась в зигзаг наркомовская прямая, –

> "... не отвергается значительность короленковской гармонической красоты. Этим он даже не отсылается в будущее время. Наоборот, сейчас, в наше время, когда сердца наши немножко обросли шерстью, когда и молодежь-то наша – волчата, – очень не мешает прислушаться к чудесным и благородным мелодиям, родственным тому будущему, к которому мы стремимся".[12]

То все "бэкал" Луначарский, как и подобает большевику твердой души, а теперь вдруг раздалось потустороннее "мэканье", – потустороннее, ибо уцелевшие "мэки" блеяли теперь только за границей. И даже не "мэканье" слышалось за этими строчками, а золотая мелодия флейты екатерининских времен: "Перестаньте быти злыми...".

Но возможно ли было вот так, по произволу, смягчить сердца классовых борцов, отвердевшие под воздействием законов исторической необходимости?

Ведь сам Луначарский называл в своей статье и Толстого и Короленку "псевдохристианами", ибо они

> "... принимают норму любви за нечто, могущее быть установленным сейчас же и зависящим от доброй воли людей".[13]

Толстой и Короленко никак не были "псевдохристианами". Они оба знали, что никакие законы истории не мешают человеку совершить добрый поступок, – не один, так другой. И даже не обязательно во вред себе. Более того: история "учит нас", как любят выражаться ее второгод-

ники, что великие дела в планетарном масштабе чаще всего кончаются ничем. Зато каждый человек, куда чаще, чем он замечает это, может сделать великое дело для другого такого же.

Но победившие классовые борцы замечали "отдельно взятых" людей чаще всего, когда брали их под арест или чтобы выдвинуть по службе. Они прилежно мыслили классами, массами, столетиями и континентами. Еще Плеханов их учил, что забота об отдельном человеке – презренная филантропия.

Сочетать плехановский и короленковский стили мышления невозможно.

Ужели Луначарский хотел добиться, чтобы чемпионы пролетарской революции воспитывали в себе противоречие между сердцем и разумом?

Такой подход был бы, несомненно, псевдомарксистским.

Видимо, Луначарский Великолепный крупицу вольномыслия все еще сохранял в себе. Для него по-прежнему человек был силой среди прочих сил, а не безвольной игрушкой необходимости. К этой силе он и "апеллировал", предчувствуя, быть может, что "волчат" с "обросшими шерстью сердцами" соберет вожак, и тогда...

Оценки человека Луначарский, нарком, прокурор, драматург, философ пока не изменил; но в 1924 г. после эссе о праведниках в этой оценке появился некоторый надрыв.

Луначарский объявил печатно, что человек на земле пока что вообще не появлялся:

> "Все люди, как выражался Маркс, живут в истории человечества, они – полулюди, дробь человека. Мы только мечтаем о настоящем человеке и лишь кое-кому, главным образом, из революционеров, удается приблизиться к истинному человеческому облику. Дон Кихот и Санчо Панса – великие полулюди потому, что у них великое доброе сердце, потому что они оба, каждый через свои предрассудки, один дворянского, а другой мужицкого воспитания, устремлялись куда-то, к общественности и любви".[14]

Прежде, в 1918 г., Луначарский гордился тем, что большевик приближался "по типу к сверхчеловеку". Теперь "недолюдком" оказался даже большевик: к "истинно человеческому облику" большевику удается не более, чем "приблизиться".

"Великие полулюди", может быть, и созданы природой из особого биологического материала, – но меняет ли это что-нибудь в судьбах человечества? Является ли оно, состоящее из "недолюдков", целым человечеством или дробью его? Остается ли получеловек "силой среди других сил"?

От своего волюнтаристского вольнодумства, как и от некоторых других своих вольнодумных утверждений, Луначарский не собирался отказываться: в том же 1924 г. он перепечатал "этюды полемические" "Против идеализма", где прежние – начала века – утверждения еще содержались.

Повторение самого себя не было, конечно, ответом на свои же новые

вопросы. Но вопросы и не ощущались особенно остро: то были вопросы, скорее, литературного стиля, чем стиля жизни. Луначарский был не из тех, кто способен потерять аппетит из-за того, что не может решить, бессмертна душа или нет.

Однако вера наркома в способность "полулюдей" в короткие сроки построить социализм на земле явно ослабела. В 1918 г. он еще верил, что Короленко успеет дожить до прекрасного нового мира, куда его и можно будет пригласить в учителя жизни. В 1924 г. вышла "История Западно-Европейской литературы в ее важнейших моментах", одобренная в качестве учебного пособия для ВУЗ'ов и составленная из лекций в Университете им. Свердлова. Студентам обычных институтов, а также слушателям Свердловки, будущему начальству, нарком авторитетно объяснял, что социализма им не построить: умрут до того времени. Говорил он об этом в связи с Дон Кихотом:

> "Пройдут еще сотни лет, а Дон Кихот и Санчо Пансо будут в этом мире задыхаться; пройдут сотни лет, пока начнет осуществляться социализм".[15]

Мне экземпляр цитированного выше труда наркома попался в исторической библиотеке Российской республики со штампом: "Из книг Л.М. Кагановича. № 1892".

Возможно, что, когда в 1937 г. социализм оказался, в основном, построенным, виднейший сталинский холуй Каганович отдал луначарскую книгу в библиотеку как устаревшую и чтобы быть от греха подальше.

Правда, социализм был построен по эскизам Сталина, и многие из слушателей лекций наркома в Свердловском Университете в ходе строительства этого социализма погибли, так как одной из ведущих строительных организаций оказался ГУЛаг, – но что из того?

Такие глубокие и в то же время тонкие европейские художники, как Шоу, Роллан, потом Сартр в целом одобрили сталинский циклопический комплекс.

Чем отчетливее Луначарский все это предчувствовал, тем ортодоксальнее, как мы увидим ниже, становился.

В 1923-1924 гг. нарком измерял сроки наступления социализма столетиями, а потому считал полезным среди "полулюдей" маленьких иметь "полулюдей великих", – Санчо Пансу и Дон Кихота.

В 1924 г. ощущение, что Дон Кихоты на пути к социализму необходимы, ибо путь этот будет длиться не одно поколение, Луначарский выразил вполне определенно:

> "Мы имеем такое время, когда в нашей среде и Дон Кихоты, и Санчо Пансы являются очень желательными типами и делаются подлинными борцами за будущее", –

вот как звал теперь Луначарский назад, в свободную Республику Труда, недавно освобожденного им оттуда Дон Кихота.

Но – увы! – это был совсем не тот Дон Кихот. Это был рыцарь "ак-

тивного революционного идеализма" или "практического идеализма",[16] – уже не Праведник с его сиюминутным добром, а Рыцарь Идеи в горнфельдовских очертаниях: окрыленный "ограниченной мифологией" борец с внешним злом, любящий насилие, – разумеется, не насилие само по себе, а благородное насилие освободительного боя.

Встать над кровавыми спорами мира сего, обойтись вовсе без своего бессильного насилия Дон Кихот мифологемы и впрямь никак не мог и не может. Поэтому он не страшен, а смешон. Но отказаться от насилия, одним лишь словом преобразить людей Рыцарь Бедный не в состоянии. Впрочем, этого не мог и Сам Христос. Его Слову всегда помогало Чудо, – высшая сила среди других сил.

Дон Кихот не чудотворец: чудо – наше уважение к нему, уважение тех, кого Рыцарь без Страха и Упрека заведомо не может защитить. Но это чудо мало кто ценит и замечает.

Да, кихотическое добро само по себе недолговечно, как удачная операция, сделанная столетнему старику.

Многим казалось и кажется, что долговременное торжество добра на земле обеспечивают социальные революции.

Однако революциям не хватает благородства, на которое они всегда претендуют. И Луначарский решил вообразить себе подходящего для дела революции Дон Кихота:

> "Если Дон Кихоту, с отмеченной уже Тургеневым отвагой его, его активностью, стремлением всякое слово сейчас же переделать в дело, – если этому Дон Кихоту дать полное понимание действительности и дать ему, как Архимеду, точку для приложения его рычага, разве он не стал бы прекрасным общественным деятелем и борцом?" – спрашивал нарком.[17]

Для Луначарского в романе Сервантеса

> "...средневековая романтика не только отпевала себя, но и вновь с печальной улыбкой утверждала свою моральную высоту и как бы завещала кому-то более далекому будущее возрождение подлинного идеализма, великодушия и любви".[18]

Частично Луначарский попытался принять это наследство Средних веков, что и видно из его речи на процессе эсеров перед Верховным Трибуналом. Что же до "подлинного идеализма, великодушия и любви", то уточняющее словцо про "подлинность" все тоталитарно испортило; Луначарский не знал еще этого "нового слова", которое, пусть непроизнесенное, формировалось именно его декретным временем. Выслав традиционного российского Дон Кихота вон, нарком сделал, однако, первый шаг к нашему светлому будущему, которое сейчас уже может вспыхнуть ярче тысячи солнц. Второй шаг в том же направлении он сделал, посулив коммунистам звание Рыцарей без Страха и Упрека.

Но что за рыцарь в результате получился?

Этот Дон Кихот одинок, как пахан на верхних нарах или как (по Баг-

рицкому) рыцарь из ЧК. Он романтичен, словно тот самый "век" из стихов Багрицкого, что создал обоих этих своих героев – блатаря и чекиста – а теперь поджидает их "на мостовой, сосредоточен, как часовой". Этого нового Дон Кихота вполне можно вознести над прочими "полулюдьми". Но получится не Рыцарь Бедный и даже не Всадник Медный, а просто Победивший Хам.

По признакам одиночества и силе противостоять дозволенному некоторые, как со справедливым сарказмом пишет А. Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг", восхищенно определяли даже блатарей:

– "Патриоты"! "Дон Кихоты"!

По тем же признакам коммунистическому Дон Кихоту поставили в социалистической Гаване памятник.

Вот в какие крайности обоснованное сперва Горнфельдом, а потом Луначарским словоупотребление бросает теперь донкихотово имя-притчу!

Но те, кто такому Дон Кихоту ставят памятники, и на мир смотрят слепо, его бронзовыми глазами; впрочем, эти "вперед смотрящие" хитрей, чем кажутся: для надежности они просверливают в металле смотровые отверстия.

Но взгляд сквозь смотровые отверстия – это не кихотический взгляд на мир: шлем Мамбрина не имел забрала.

"Бронетанковая" интерпретация картонных доспехов Дон Кихота возникает сейчас оттого, что победителям приятно чувствовать, что воюют они не за власть и спецпайки, а за бескорыстную возвышенную мечту.

Так развилось намеченное еще Луначарским противопоставление Дон Кихота Высланного и Дон Кихота Засланного или еще не засланного, но уже тяжело вооруженного для далеких походов с целой армией своих оруженосцев.

Реальным воплощением "Дон Кихота Засланного" можно считать, например, Че Гевару, высадившегося со своим небольшим, правда, отрядом в чужую страну, чтобы установить там свой Новый порядок. Н. Коржавин построил даже диалог между этим Дон Кихотом и местным мужиком Санчо, которого коммунистический рыцарь заставляет вступить в ряды оруженосцев. (См. статью Н. Коржавина "Психология современного энтузиазма" в восьмом номере "Континента".)

Однако должно было пройти время, чтобы революционеры вновь сочли для себя лестным имя "Дон Кихота". А в год смерти Ленина Луначарский, пригласив к большевикам Дон Кихота, революционного идеалиста, все-таки не нашел еще его полноценных человеческих воплощений.

> "Кафе больших городов полны донкихотской интеллигенцией, которая, жестикулируя и вопя, толкует о великих идеалах. К сожалению, многие из этих Дон Кихотов – Гамлеты, по выражению Тургенева, и остаются по сю сторону дела", – писал Луначарский.[19]

В этих строках Дон Кихот оказался на мгновение отождествленным с Гамлетом, чего в дореволюционной России с Рыцарем Печального Образа не случалось.

Впрочем, В.С. Библер говорил мне, будто в Дон Кихоте есть нечто "гамлетовское", – например, когда Рыцарь Бедный замечает, что одному Богу известно, существует Дульсинея или нет. Но это скорее пример гностической дерзости верующего, чем сомнение скептика по натуре, каким был Гамлет.

"Гамлетические" Дон Кихоты, обнаруженные Луначарским в кафе для интеллектуалов, соседствуют там с такими, "которые готовы броситься в свалку жизни, но под ложным, фантастическим именем". Однако и тем и другим мешает недоверие к единственному истинно рыцарскому знамени – красному:

> "Как часто интеллигенты (возьмем, например, немецких экспрессионистов в нынешней полуотчаявшейся Германии) отталкивают от себя красное знамя потому, что слишком много химер бродит в их воспаленном фантастикой и испорченном лживыми книгами мозгу".

В Советской России "лживые", с точки зрения Народного Комиссариата Просвещения, книги были запрещены; однако, русских интеллигентов Луначарский для примера не брал. Обломав свои громкозвучные аргументы об их тощие бока, нарком глубоко и горько в русских интеллигентах разочаровался.

Зато из своего кремлевского далека он заманивал в большевизанство интеллектуалов западных, прежде всего немецких, более других угнетенных войной:

– Сколько таких Дон Кихотов можно спасти и сколько их будет спасено в победоносном марше пролетариата! – воскликнул Луначарский, быть может, сладостно предчувствуя высадку кубинских воинов не только в Анголе, но и в Англии.

Зато Санчо Пансу без Дон Кихота Луначарский быстренько пристроил к месту.

> "Часто человек совсем панчовского типа, такие же золотое сердце и здравый смысл, который всю жизнь был водовозом, откликается на призыв революции, и иногда даже становится губернатором, – каким-нибудь председателем Губисполкома и не ударяет лицом в грязь".[20]

Санчо со своим "золотым сердцем" и "здравым смыслом" годился в председатели Губисполкома, но не в секретари Губкома. Луначарский понимал принципы подбора и расстановки кадров. Санчо Панса без Дон Кихота не мог существовать, – он должен был оставаться при ком-то. Если не при славном Рыцаре, то при доверенном ответственном партийце, первом секретаре Бараторийского Губкома РКП(б) т. Самсоне Караскове.

Хотя Луначарский и заявлял в лекции Свердловского Университета, что Дон Кихот и Санчо Панса в "нашей среде" являются желательными типами, однако, в этой среде они вряд ли могли бы появиться. Каждый из будущих партийных работников знал, что Дон Кихотом быть невыгодно, а Санчо Пансой – непрестижно: партийный пост давал куда больше реальной власти, чем должность на советской работе.

Что же касается какого-нибудь Дон Кихота, существовавшего вне этой аудитории и вне этой трактовки, то по причине своего беспробудного одиночества ни в какие такие партийные ряды этот Дон Кихот войти не мог.

Призыв Луначарского, предупреждавшего, что хотя еще сотни лет Рыцарю Печального Образа суждено задыхаться в досоциалистическом мире, он обязан бодро-весело явиться на смотр сил "практических идеалистов" РКП(б), доказывал только, что жить среди людей, чьи сердца "обросли шерстью", Луначарскому надоело. Хотелось поговорить с кем-нибудь по-человечески. Марксистское положение о том, что общественное бытие определяет индивидуальное сознание ("с волками жить – по-волчьи выть") влияло пока на рассуждения Луначарского о Дон Кихоте в ограниченной степени.

В 1925 г. Луначарский назвал Дон Кихотом героя драмы А.Н. Островского "Лес" Несчастливцева (лекции в Университете им. Свердлова).

За двадцать лет до этого Луначарскому показался Дон Кихотом короленковский герой Андрей Иванович, не столько даже благородный человек, сколько невротик с большими кулаками. Двадцать лет спустя приметой Дон Кихота-Несчастливцева, "сумасбродного актера, нищего и смешного", "который пылит по большой дороге и повторяет свои монологи", сделалось то, что он

> "...неизмеримо выше по своему нравственному облику, чем избранное общество".[21]

Оценка кихотизма как идеи несомненно повысилась. Впрочем, это касалось только дореволюционного общества. Дон Кихот Освобожденный (в смысле высланный из Совдепии) по-прежнему у Луначарского симпатий не вызывал. Тощая прямота Рыцаря Бедного по сравнению с барочными картушами роскошного наркома и впрямь проигрывала в глазах людей изысканного ума.

В 1926 г. Луначарский в цитировавшейся выше лекции о Чехове и Короленке, сказал, что такие, как Короленко, хотя и возвышают, совершенствуют человеческую норму, но в наши трудные времена праведники эти (Луначарский употребил слово праведники без кавычек) "разлагают тыл борцов", "заявляют, что насилие – вещь нехорошая" и при этом "хнычут".[22] К концу лекции кихотическая нормальность под пером рефлектировавшего наркома стала обретать черты маразматической расслабленности.

В 1927 г. рядом с традиционным Полтавским Дон Кихотом на страни-

цах книги Луначарского "На Западе" появился новый "современный Дон Кихот" – Ромэн Роллан. Еще в 1916 г. Луначарский посвятил его именно в этот род рыцарей за пацифистскую позицию "над схваткой" во время Первой мировой войны. По этому поводу у Луначарского и возник замысел пьесы о современном Дон Кихоте, с особенной силой напомнивший о себе во время разговора Ленина с Горьким уже в годы революции. Об этом разговоре я уже писал выше.

Теперь Роллан попал в Дон Кихоты, – разумеется, старорежимные; для Дон Кихотов революции Луначарский так и не нашел человеческих воплощений, – за тот непростительный грех, что этот писатель двойственно относился к революции:

> "Он уважает ее за то, что она есть самоотверженный путь к великому расцвету правды на земле.* Он ненавидел ее за то, что путь этот есть борьба, власть и террор".[23]

Из пьес Ромэна Роллана о Великой Французской революции явствовало, что борьба за власть и якобинский террор привели революцию к гибели. Но ленинская гвардия считала, что Керенский-то и был незадачливым русским Бонапартом. Занятые борьбой за власть как друг над другом, так и надо всеми остальными, они слишком поздно догадались, что Бонапарту не обязательно быть бритым, как Керенскому. Бонапарт может случиться и усатый.

Книга "На Западе" демонстрировала, что прокурорское чутье Луначарского, чутье на ересь, проявленное на процессе эсеров, не ослабело. Луначарский теперь в собственном просвещенческом ведомстве сделался ловцом еретиков, кихотистов, "короленковцев". С возмущением рассказал нарком читателям, что в московской школе им. Короленко учительница на вопрос, какая именно используется методика для обучения школьников ненависти к империалистам, ответила:

– Мы, короленковцы, никого не ненавидим и никого не учим ненавидеть.

Торжественный гнев наркома обрушился на эту учительницу, которая, мешая "побеждающим детям света", утверждала, что "святые идеалы прогресса" несоединимы "с такой ужасной вещью как террор". Теперь эти якобы "лучшие" интеллигенты "втягиваются в обозное обслужива-

---

* А также к невиданному расцвету кашек и ромашек на "Спуске Марьи Ивановны". "Спуском Марьи Ивановны" местные жители одной из лагерных Российских палестин называли насыпь над братской могилой бессудно расстрелянных в 1937 г. Марьей Ивановной звали лагерного врача; теперь по этому спуску бегает к реке и обратно ничего не помнящий молодой народ, сохранивший однако все черты поколения победителей, обеспечившего Советской России столь блистательное прошлое. (*Примечание автора.*)

ние" врагов победившей революции, "в контрреволюционный Красный Крест".[24] Нашел нарком-громовержец для своих молний цель! На десятом году победы большевиков Луначарскому стала казаться опасной помощь политическим заключенным, хотя он прекрасно знал, что люди попали в ссылки, а очень часто и на Соловки не по решению судов, а волей административных "троек" при органах госбезопасности. Пора тройки "крыловской" сменилась временем тройки "крыленковской", тройки имени генерального прокурора республики Крыленко, одного из организаторов процесса меньшевиков. Эту "бешеную тройку" из песни и приходилось теперь интеллигентному наркому одышливо догонять.

В непосредственной близости к 1929 г., году "великого перелома", "социалистической революции в деревне", Луначарский сделал строгое замечание "современному Дон Кихоту" Ромэну Роллану, попытавшемуся отстоять Советскую культуру от эмигрантских вылазок, но сделавшему это уже не в духе времени.

Роллан ответил в журнале "Европа" (февраль 1928 г.) на открытое письмо Бальмонта и Бунина, обращенное к французским писателям.

Недовольный ответом Роллана Луначарский напечатал в журнале "Вестник иностранной литературы" свой "Ответ Ромэну Роллану", хотя именно к Луначарскому Роллан и не обращался.

Почему, собственно, Луначарскому понадобилось отвечать на письмо, адресованное не ему?

Письмо задевало Луначарского и как революционера, с надеждой приближающегося "к истинно человеческому облику", и как наркома просвещения, в чье ведомство входил литературный фронт с окопавшимися там писателями.

Что бы стоило кучке недовольных из числа этих писателей прийти к Луначарскому – про него же все годы говорили, что он не "хамодержец", а интеллигентный человек – и прямо сказать:

– Глубокоуважаемый гражданин Нарком! Поглядите, что делается у нас на ниве просвещения: идеализм, огромное направление русской мысли и русской литературы, считается, можно сказать, государственным преступлением. Классики этого направления изымаются из библиотек, как и философы и историки. Сами эти люди отовсюду изгоняются и лишаются средств жить. Предварительной цензуре подлежит все, – даже работы по химии и математике...

Но вместо того, чтобы все это прямо сказать, недовольные писатели все это написали и отправили окольными путями анонимное письмо общественному мнению Запада, – Запада, о котором известно, что в той стороне угасает даже солнце.

Между тем нарком просвещения Луначарский вполне компетентно мог бы объяснить этим недовольным, по каким принципам составлялся "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя". Горький об этом "Указателе" еще в 1923 г. писал В. Ходасевичу и возмущался, что

"... Надеждою (Крупской – *Ю.А.*) и каким-то Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауер, Владимир Соловьев...".[25]

С этой поры прошло шестьдесят лет. Платон у нас переиздан, Кант у нас переиздан, Владимира Соловьева собираются частично переиздавать, а Шопенгауер пока советским издательствам вовсе не нужен, вследствие чего и стоит на "черном" книжном рынке бешеные деньги.

Но недовольные писатели не предвидели этого прогресса, посоветоваться с Луначарским тоже не пришли, а вместо этого анонимно пожаловались в пространство, в пустоту, "Писателям мира" (так это обращение называлось):

"Почему Вы, воспитанные в творениях также и наших гениев слова, молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и в ее зародышах?"[26] –

писали анонимные авторы обращения, которое в "Правде" от 23 августа 1927 г. было названо "фальшивкой".

По мнению Н. Берберовой, авторами обращения были русские писатели из окружения Иванова-Разумника, Чулкова или Волошина.

"Обращение" напечатали только милюковские "Последние новости". Откликнулись на него только русские же писатели Бунин и Бальмонт. Но откликнулись-то они по-французски, хоть и в маленьком, а все-таки французском издании!

Изо всего почетного легиона писателей Франции русским ответил один Ромэн Роллан.

Роллан писал в таком роде:

– Нет, о Бунин! Нет, о Бальмонт!

В России 9/10 населения – рабочий люд, его интересы важнее эгоцентрической илюзии интеллигента, что только его интересы – это интересы человечества.

На всех произвел огромное впечатление Всероссийский съезд работниц и крестьянок, – "эти тысячи женщин, показавшие колоссальный прогресс, достигнутый в вашем народном сознании и организации труда".

Луначарские мотивы отчетливо звучат в ролланов ском противопоставлении высоколобого интеллектуала массоидному "люду".

"Каков бы ни был идеал человеческого благородства, представляемый цветом русских эмигрантов, среди которых Вы, Бальмонт и Бунин, являетесь самыми выдающимися, – Вы это хорошо знаете, о, люди с ясными очами, утомленные разочарованиями, – не этот идеал привлек к вам в Европе союзников. Ваши союзники вербуются среди худшей реакции 'нравственного строя' буржуазии и деляческого империализма. Вы являетесь не более как орудием в их руках...".[27]

Показательно, что в этом же духе, хоть и полвека спустя, отвечали новым нашим эмигрантам европейские "левые", т.е. люди справедливо недовольные буржуазной общежительностью, но до сих пор почему-то симпатизирующие государственным евразийским новообразованиям, несмотря на их злокачественный характер.

Луначарскому, понятное дело, эти строки Роллана не понравились.

Роллан должен был безоговорочно обличить и уничтожить Бальмонта и Бунина.

Но чего же хотели безымянные, и, может быть, даже не существовавшие отщепенцы? Интервенции? Блокады против СССР?

> "Мы знаем: кроме сочувствия, кроме моральной поддержки принципам и целям свободы, кроме морального осуждения жесточайшей из деспотий, вы ничем не можете помочь ни нам, ни нашему народу, – говорилось в обращении. – Большего, однако, мы и не ждем... Ваш голос нужен не только в России. Подумайте и о самих себе: с дьявольской энергией, во всей своей величине, видимой только нами, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов, крови, на который в роковую минуту своей истории был столкнут и наш народ, надорванный войной и политикой дореволюционной власти. Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем Вас о нем".[28]

Но можно ли сказать, что германский народ втащили на Голгофу национал-социализма штурмовики? Что одни только "черные гвардейцы" удерживали испанцев на вершине "евангельской демократии" Франко? Что чернорубашечники загнали итальянцев, как баранов, на Палатинский холм под руку Дуче с его синдикалистским государством?

Вот и на Вторую мировую войну, которая уж точно обернулась "Голгофой народов", народы эти шли под собственной своей командой.

Когда же война кончилась, то оставшиеся в живых европейские умницы стали классифицировать:

– опыт гитлеризма – это немецкий национальный опыт;
– опыт фашизма в Италии – итальянский национальный опыт;
– опыт франкистского режима – испанский национальный опыт;
– опыт сталинизма – русский национальный опыт.

На самом деле все это – общеевропейский национальный опыт; это опыт кризиса христианской культуры в Европе. А суммируя его, мы получаем не "нечто", а "ничто"; провал, в который, если верить Шпенглеру, все и провалится.

Русские писатели – анонимщики, не суммировали, а пророчили. Они просили сочувствия, "морального осуждения жесточайшей из деспотий".

Иными – советскими газетными – словами они просили применить против Страны Советов идеологическое оружие.

И тут Ромэн Роллан нашел для этих людей слова успокоения: он осудил цензуру.

Он написал, что осуждает всякую цензуру, что "не делает различия

между цветом тряпки, которой затыкают рот". Он против всех душителей, – белых, красных, черных (в последнем случае Роллан имел в виду не лидера пробудившейся Уганды Иди Амина, а итальянских чернорубашечников). Но при этом Роллан подчеркивал, что и на Западе цензура была, что если "она на время и отлучилась, то все равно вернется на Запад".

Тут Роллан словно в воду глядел: во Францию, как и в другие европейские страны, цензура вернулась вместе с войсками гитлеровского Рейха. А из некоторых европейских стран она с тех пор так и не ушла, стерев, впрочем, со своих красных знамен белый круг со свастикой.

Но всего этого Роллан предвидеть не мог: так уж у этого писателя-мыслителя глаза были устроены.

Между тем порицание цензуры в 1928 г. не могло нравиться Луначарскому, хоть он шесть лет назад и считал ее временной мерой: пришли другие времена, ленинский нарком стал ленинско-сталинским.

А Роллан не умел в соответствии с новыми требованиями момента прославлять Страну Советов.

Он, например, допускал такие выражения:

> "Этот новый строй весь в крови, весь испачкан, как плод человеческий, только что извлеченный из утробы матери. Несмотря на отвращение, несмотря на ужас, несмотря на страшные ошибки и преступления, я иду к ребенку, я беру в руки новорожденного: он – надежда, жалкая надежда человеческого будущего".[29]

А это будущее, прогресс, покупается ценой "миллионных жертв".

> "... И все-таки человечество движется.
> Движется сегодня.
> Вопреки вам. Вопреки нам." [30]

Миллионные жертвы, как цена прогресса – это обычная цифра на мировой идеологической бирже. Можно считать, что "антифашист" Роллан предвосхитил многих оптовых торговцев пушечным мясом во имя добра. Ни Гитлер, ни Мао Цзе-дун не стали бы с ним торговаться, сбивать его цены.

И все же как ни мчался Роллан на своих превосходных фразах вперед, по пути прогресса, – не догнать ему было русской бешеной тройки. Тройка была уже не крыловская, не гоголевская, а крыленковская и сталинская. И был в ней "заложен", говоря словами незабвенного Аркадия Белинкова, не мирный мошенник Чичиков, а стоящий превыше всех эпитетов вождь народов генералиссимус Табуреткин.*

---

* Напоминаю, что у себя в сумасшедшем доме в Ленинграде на Арсенальной Сталина мы называли "Стулиным", а для пущей конспирации именовали его еще и "Табуреткиным". См. об этом ч. 1, гл. 17. (*Примечание автора.*)

Луначарский за этой тройкой сам теперь едва поспевал.

Как в доме повешенного не говорят о веревке, так в доме палача не говорят о казненных, а предпочитают говорить о цветах. Теперь требовалось не "признание", а славословие; теперь наркому стал чужд тот луначарственный пафос, с каким он сам некогда писал о трагическом величии революции в своих романтически-директивных эссе.

Теперь следовало правильно употреблять слова "благодаря" и "не смотря на".

Благодаря Партию и лично товарища Сталина за достигнутые успехи, не смотря на братские могилы по всем сторонам света, где русские убивали русских, не смотря себе под ноги, если кого швырнули потоптать, – топчи, гляди только не поскользнись об него! – благодаря судьбу, что остался цел, – вот так теперь требовалось жить.

"А вместо сердца пламенный мотор!"

Поэтому Луначарский в непрошенном ответе Роллану корил его, что тот признает Советскую власть "с христианскими оговорками", "повторяет ахи и вздохи по поводу периодов нашего террора".

Выявились таким образом некие "периоды", – а не один период "красного террора", и это только за десять лет! Чего же было ждать дальше?

Луначарский успокаивал и насчет цензуры, и насчет террора:

> "Все это, разумеется, кажется нашему белоручке, как и всякому другому моральному чистюльке, ужасными нравственными пороками, которые ставят нас, видите ли, на один уровень с буржуазией и, конечно, принижают святость нашего дела. На все это можно ответить теми же словами, которыми я отвечал когда-то родному брату Ромен Роллана в морали, – покойному В.Г. Короленко".[31]

Вот как опять попало Дон Кихоту!

Покойному В.Г. Короленке Луначарский отвечал словами Троцкого, но Роллану Луначарский уже не стал рекомендовать его книги. Положение Троцкого пошатнулось, а словосочетание "вождь-оппозиционер" в роллановской голове благородных очертаний могло бы и не уместиться: симпатизировавшие советскому евразийскому новообразованию писатели были, как правило, на стороне "генеральной линии" против оппозиций.

Так, во всяком случае, пишет Н. Берберова в книге "Курсив мой". И ей можно верить: противно было западным большевизанам видеть тошнотворные склоки в монолитной и целеустремленной партии. От буржуазных "свобод" их и на Западе мутило.

Луначарский напрасно отождествил Дон Кихота Полтавского и Ромэна Роллана, которого тоже титуловал "Дон Кихотом". Не были они "братьями в морали". И не был в то время Ромэн Роллан Рыцарем Печального Образа.

Т.е. для Луначарского-то, может, и был. Ведь по одному из определений наркома лохматые интеллигенты из кафе, не знающие, под какое знамя

им беззаветно податься, и были Дон Кихоты.

Но это определение нарком не потдвердил ничем, кроме упрека в "гамлетизме", обращенного к этим потрясателям основ, боящимся же однако красного знамени. К тому же Роллан не был лохматым интеллигентом из кафе и красного знамени не боялся.

По существу мифологемы о Дон Кихоте никакого сходства в то время между Короленкой и Ролланом не было.

Начать с того, что фразам своим Роллан словно бы делал подкожные инъекции, вспрыскивал им почти эйфорическое воодушевление, стимулируя их мчаться вперед, по пути прогресса, очертя голову и теряя смысл по дороге.

> "Каков бы ни был идеал человеческого благородства, представляемый Вами, Бальмонт, и Вами, Бунин," "Вы являетесь не более как орудием..."

Вот какие это были скакуны.

Не угнаться было за ними короленковскому Россинанту. Он на первой такой бессмыслице споткнулся бы. Фразы Короленки существовали не для стиля, а для смысла; его слова в защиту были будничны, как женская нога в ажурном чулке, которая торчала из-под брезента, накрывшего груду расстрелянных заложников.

Короленко заступался за людей; Роллан защищал абстракцию.

Ромэн Роллан в то время закрывал глаза на русские факты, зато широко их открывал на пропагандистские фразы; высокопарная слепота Роллана тех лет отвратительна.

Короленко, как и Дон Кихот Сервантеса, а не одной мифологемы, шел в бой с открытым забралом: так уж был устроен цирюльничий тазик, шлем Мамбрина. Короленко не закрывал глаза на факты и пропускал мимо ушей фразы о трагической и неотвратимой поступи истории: людей топтала не "история". Люди топтали людей. Короленко пытался спасти – и спасал иногда – одних людей от других кихотическим оружием: словом, убеждением. Луначарский, прибегая к полемическому приему "идиотизации" оппонента, называл это "умением мелодично стенать под ударами". Луначарский даже показал различие между дореволюционными и послеоктябрьскими "ударами". Дореволюционный враг "удары наносил все-таки монотонные" и писатель "необыкновенно красиво стонал". Когда же пришли чекисты,

> "... а удары стали часто болезненны и беспорядочны, Короленко не выдержал и запротестовал с большой и глубокой болью".[32]

Каков однако комплимент чекистам!

Получилось, по луначарским метафорам, что заплечных дел комиссары были пострашней прежних заплечных дел мастеров.

Из текста Луначарского следовало, что когда Короленко заступался за мордовских мужиков или за Бейлиса, или за украинских крестьян, над

которыми в 1906 г. издевались каратели, – он все это делал без "большой и глубокой боли"...

Роскошный луначарский стиль, стиль Нового, Левого, Анат. Анютина пообтерся об острые углы революции до самой своей основы, и вышло наружу нечто, совершенно ни на что не похожее.

Короленко же, как и подобает Рыцарю Печального Образа, был органичен и целен; борясь с "красным" и "белым" террором в Полтаве, он не искал социальной опоры, он вел борьбу с положения полной беспочвенности.

Он был одинок, совершенно нормален, разумно и трезво видел реальность, – и потому стал одним из первых Дон Кихотов в Стране Советов.

Роллан двадцатых годов искал, во что бы ему поверить, на что опереться; когда он узнавал, что люди топчут людей, он утешал себя, что это одни "исторические силы" сталкиваются с другими "историческими силами". Оставалось только выяснить, чьи ноги в сапогах "прогрессивны", – и затянуть в их честь трагическую эпиталаму. Как и любой человек, превращающий факты в метафоры и абстракции, Роллан не понимал смешной и зловещей нелепости своего положения. Он видел некую кровавую беспредметность, а ему мерещилось, что это открылась перед ним новая историческая даль.

Но пришло время, когда Роллан, еще при начале Первой мировой войны поддавшийся кихотическому импульсу и ставший оттого пацифистом, снова заболел кихотизмом уже в неизлечимой форме.

Напомню здесь читателю, что, по справедливому слову Тургенева, "полных Дон Кихотов", как и "полных Гамлетов" не бывает; земные воплощения Дон Кихота всегда не буквальны. Роллан, например, во время Второй мировой войны, когда с ним случился приступ кихотизма, ни в какое странствие не отправился. Он умер у себя дома, как Алонсо Добрый или как Дон Кихот Полтавский. Роллан не мог отправиться в какое-либо странствие, потому что нацисты, разгромившие Францию, взяли его под домашний арест. К этому времени Роллан пережил уже крушение многих своих социальных мечтаний; писателяю осталась лишь одна реальность в мире: "симфония великих душ". Бетховенская тема в этой симфонии давно уже была особенно близка Роллану. Он жил затворником в этих своих возвышенных сферах. Потом к затворничеству прибавился домашний арест.

Нацисты не собирались морить знаменитого арестанта голодом. Но пищу он мог получить только через немецкую охрану. Из рук оккупантов, своих тюремщиков, Роллан отказался получать еду; ел то, что ему тайком совали через окно, как карцернику в концлагере. Последние дни перед смертью они жил впроголодь, жевал кофейные зерна и дописывал "Жизнь Бетховена". Он жил в мире бетховенских созвучий, и этот мир противопоставил тому жалкому зрелищу, которое все называли реальностью. Он в одиночку противостоял Рейху, погиб раньше времени и боролся с жерновами, которые его перемололи, тщетным оружием, – словом.

Если эта легенда верна, если смерть Роллана была и впрямь так жа-

лостна и нелепа, то писатель погиб в блистательном донкихотском бою.

Легенду о такой именно смерти Роллана, которго вся наша компания в сумасшедшем доме на Арсенальской улице очень любила – я даже считал себя некоторое время правоверным "ролландистом" – мне рассказал один советский писатель. Некогда он был большим парадоксалистом, потом стал парадоксалистом-приспособленцем, а после дальнейшей обработки шлифовкой и резкой по живому сделался ироничным мэтром с блистательным прошлым. Он-то и изложил мне, когда я вышел на волю, эту легенду о смерти Роллана в качестве назидания: не следует сопротивляться государственным машинам таким нелепым способом, потому что государственным машинам не следует сопротивляться вообще. В конце семидесятых годов, лет двадцать спустя после разговора со мной о гибели Роллана, писатель этот, говорят, создал новый вариант экранизации Дон Кихота. Интересно, как там решен эпизод со свиньями: "попирание Рыцаря свиными ногами" по Тургеневу – непременный элемент мифологемы о Рыцаре Бедном.

Двадцать с лишним лет назад будущий автор последней по времени интерпретации "Дон Кихота" меня убедил: смерть Роллана долго была для меня символом бесполезной – и потому бесславной – гибели борца. Но ведь Роллан, если все так, по легенде, и было, боролся за свою душу.

В XX столетии, когда дураков нет, а умным все равно не верят, человеку с честью и совестью не надо бояться быть битым, нелепым, неловким. Мифологема о Рыцаре Бедном – мысль и об этом тоже.

А, может быть, прежде всего об этом?..

В двадцатые годы Сталин, Гитлер, Мао Цзе-дун были просто людьми и не стали еще лицами историческими, именами нарицательными. Тогда не было до такой степени, как сейчас, явлено, что личные нравственные устои, а не общенародные политические вожди играют в жизни каждого отдельного человека первенствующую роль: отношение к своей собственной чести и совести определяет, кого я выбираю на самую ответственную в мире должность, – на должность самого себя.

Луначарский, как и другие того же стиля, хотел выбрать власть, но с тем, чтобы "коренастая совесть" была удовлетворена или хотя бы стоически помалкивала.

Этого, увы, пока не просиходило.

В канун переломного 1929 г., в канун великого наступления, в результате которого каждый крестьянин перестал быть самостоятельной экономической единицей, а сделался зависимым от государства работником, как и городской человек, – в это ответственное время Луначарский дрогнул.

В книге "Искусство и молодежь" (1929 г.) Луначарский заговорил вдруг с революционной молодежью так:

> "Есть еще одна черта в комсомольской лирической поэзии, о которой немало спорили. Дело в том, что революция приучила нас к чрезвычайной безжалостности. Иначе и быть не могло... Война

заставляет сердца порасти довольно грубой шерстью, и мы все за время военных забот потеряли гуманный облик".[33]

Тут, казалось бы, можно было утешить наркома: именно революционер максимально приближается к "истинно человеческому облику". Пусть себе "гуманный облик" валяется где ему угодно: облик революционный – вот образ человеческий!

В таком духе в 1928 г. Луначарский и возражал Роллану. И вдруг все эти соображения перестали утешать Луначарского; не обращая на них внимания, он внушал молодежи:

> "Я помню, как старик Короленко мне говорил: 'Анатолий Васильевич, Вы вот все говорите: „вынуждены, вынуждены„ , – но Вы вызвали целое море вражды, отгрызаетесь от целой стаи врагов и сами ожесточаетесь. У Вас есть палачи, у вас есть люди, которые стали военными для того, чтобы рубить человеческое мясо так же просто, как рубят конину. Вы хотите неклассового общества, общества коммунистического содружества; для вас человеческая личность должна быть святее, чем для кого-нибудь другого, а вы ее топчете'.
>
> Я после этого, даже не ссылаясь на эту беседу, в одной статье о Короленко (Луначарский имел в виду свою статью "Праведник" 1923 г. – *Ю.А.*) писал, что даже для настоящего времени его стоит рекомендовать как писателя, будящего гуманность. Нам нужно выработать марксистское отношение к делу..."

Между тем Роллана Луначарский выругал, а "марксистского отношения" к "ахам и охам" по поводу "периодов нашего террора" еще не выработал.

Все шло по поговорке: что дозволено революционному олимпийцу, того не дозволено мелкобуржуазному бычку, которого вскорости поведут на бойню.

> "Белогвардеец – тот же волк, – глубокомысленно и как бы даже с грустным спокойствием луначарствовал теперь нарком, – убивать белогвардейца надо, как и волка, но нет особой надобности его ненавидеть. Конечно, в пылу борьбы просыпаются инстинкты животного... Опасность очень велика". Возникает "своеобразный военный нигилизм. Некоторым кажется чрезвычайно хорошей бравадой рассказывать о бесценности человеческой жизни, о том, как легко расстреливать осужденных; они думают, что это и значит быть молодцом-коммунистом. Это очень худо. Это не марксистский подход, а солдафонский".

Слова-то какие отыскал Луначарский в своей творческой кладовой, – вялые, линялые, лежалые... "Это очень худо!" – словно он обращался к гимназистам четвертого класса, а не к молодым революционерам-победоносцам, готовым ломать крестьянству хребет. Их партия потом жури-

ла за "головокружение от успехов" (Сталин), из-за которого пошло по стране "головокружение от голода" (Хрущев). И вот – совсем не ко времени! – понадобилось наркому просвещения убеждать лихих разрубщиков вражьих тел в некоторой пользе политического вегетарианства...

Но теперь прежние "волчата" стали мощными особями с ярко выраженными боевыми инстинктами. Все они рвались к власти, и вожак их, Сталин, именно им ее обещал за счет революционеров в пенсне и с бородками, иногда перед сном подумывавших, как бы это приблизиться к "истинно человеческому облику" в то время, как облик этот от них удалялся все более и более, а социалистическая революция в деревне, ликвидировавшая крестьянство как класс, высвободившая дешевую деревенскую "р а б силу" наоборот наступала неотвратимо.

Луначарский, чувствуя эту ситуацию, пустил в ход единственное, что у него осталось: "донкихотское" оружие слова. Слово это оказалось предсмертным словом "коренастой совести" ленинско-сталинского наркома.

В том же 1929 г. страницы октябрьского номера массового журнала "Огонек" украсила и статья Луначарского "Современный Дон Кихот", – все о том же Ромэне Роллане,

> "... чьи протесты против революционного насилия играют очень маленькую роль в изменении судьбы человечества". Идет "смертельная борьба двух классов", а потому "затруднительно сказать, плюсом или минусом является публицистическая деятельность этого превосходного человека".[34]

Революционному строю через двенадцать лет после его победы "превосходные люди" все еще не были нужны, как признал один из лидеров этого строя.

Что же это за строй?

Что за лидер?

Какие люди тогда нужны?

Можно себе представить, как товарищ Сталин ответил бы на эти вопросы со своим мягким славянороссским и грузинским в то же время акцентом:

– Нужны прастые, савэцкие люды. Такой лыдэр – ны в городэ Багдан, ны в сэлэ Сэлыфан. Как строй назвать – я падумаю.

Что-то в этом роде, наверное, и было сказано.

Ибо в том же номере "Огонька" содержалась информация о том, что Я.Б. Гамарник назначен членом Реввоенсовета СССР и начальником Политического Управления Красной Армии на место Бубнова, ставшего теперь народным комиссаром просвещения.

Не догнал Луначарский сталинской бешеной тройки: часто спотыкался о страх перед "солдафонами".

Зато Бубнова, Селифана из военных, вождь хоть и не посадил кучером – правил всегда сам! – но в бричку взял на восемь лет, до самого Большого террора. На этом повороте и Бубнов, и Гамарник погибли.

Однако Луначарский не собирался сдаватться и окончательно от времени отставать.

Вопрос о добродетели теперь потерял для него всякий смысл.

Надо было возвращать утраченное доверие руководства.

В 1930 г. Луначарский пишет предисловие к "Жану Кристофу" Роллана, увидевшее свет в 1933 г.

Там в числе прочего говорится, что в конечном счете "мы все социально обусловлены",

> "...с высокосоциологической точки зрения нет заслуги Ленина в том, что он революционер, как и вины белогвардейца, что он – белый офицер. Однако понять – не значит простить, это 'буддизм', 'азиатчина'... В наше время опаснее перепростить, чем недопростить".[35]

Остаточное вольномыслие Луначарского сказалось в том, что он упомянул имя Ленина в контексте до некоторой степени рефлектирующем. А Ленин в 1930 г. уже начал существовать прежде всего в контексте памятников ему..

Однако Луначарскому, несостоявшемуся сталинскому наркому, милосердие стало казаться "азиатчиной", между тем опасность "перепростить" Особым Совещаниям, заочно в административном порядке отправлявшим людей в концлагеря, никак не грозила...

Так Луначарский, бывший Анютин, уже не публицист, иной раз выходивший даже за рамки партийности, уже не ленинский нарком, а сталинский порученец при Лиге Наций, обосновывал Большой Террор, едва ли, впрочем, представляя себе его грядущий размах. Все эти идеологи в пенсне и с мефистофельскими бородками шили свои громкие и грозные фразы режиму на вырост. Когда сталинская государственность доросла до своих естественных сверхъестественных размеров, то фразы о трагической жестокости революции или о благородстве несвоевременных праведников сделались ей ни к чему. Пришла ей пора переодеваться в другие совсем фразы – о торжестве гуманизма, о прекрасном, отлично-благородном Октябре: "Осенняя пора, очей очарованье", – как писал об октябре гениальный поэт-революционер Пушкин, которого советское правительство посмертно наградило за это памятником.

При всем этом пышном фасаде действительные основы сталинской государственности оказались уже описанными задним числом именно теми, кто с "высокосоциологической точки зрения" считал себя особо понятливыми марионетками. Их-то Сталин и уничтожил в первую очередь.

Теперь для недавнего романтика "близкого к типу сверхчеловека", человек оказался даже не "дробью" себя самого, – а марионеткой истории, марионеткой, движущейся исторически верно и потому полезной, или же марионеткой исторически вредной.

Владимир Соловьев говорил об "антихристовом добре".

Бывший волюнтарист, а теперь слуга покорный исторических обсто-

ятельств предложил свой новый тип добра: добро "марионеточное".

Но может ли "с высокосоциологической точки зрения" "марионетка" творить самовольное "добро" и "зло"?

Судя по тексту Предисловия, марионетка "Дон Кихот", вообразившая, что у нее есть свободная воля, не подчинившаяся исторической необходимости, виртуозно дергающей ее за веревочки, – такая марионетка приносит зло.

Зато марионеточное добро привело человечество на порог блаженства. Не лишним будет привести строки Луначарского об этом. В скобках я позволю себе прокомментировать высказывание бывшего наркома фактами, отчасти ему современными.

> "Никогда на земле еще не было таких сил, которые есть сейчас (Муссолини у власти; Гитлер почти у власти; Сталин у власти). Никогда еще человечество не располагало такими производительными силами, реально обеспечивающими ему всеобщее богатство при правильном употреблении (на Западе послекризисная депрессия; в России высылка миллионов крестьян, падеж скота, голод в деревне, карточки в городах)... Никогда еще человечество не подходило к порогу новой, обновленной жизни (шесть лет спустя после публикации началась Вторая мировая война). Мы впервые у этого порога, и ничто в мире не заставит нас вновь потерять путь и вновь блуждать по бесплодным пустыням морализирующих проповедей исправления человеческой натуры и т.п."[36]

Что это? Профетическое лукавство или бронетанковая наивность?

А ведь и сейчас не трудно найти либерал-прагматика, который слово в слово применительно к нашим дням все это повторяет, хотя мир стоит уже не у порога, а на краю...

Так видел в свое время Луначарский, политический реалист, противопоставлявший свою понятливость послушной марионетки непослушанию "праведников", "Дон Кихотов", вроде пацифиста Роллана или Короленки. Впрочем, как уже говорилось выше, теперь Короленко был объявлен "гораздо более решительным врагом ленинской революции, чем Ромен Роллан". Луначарский писал, что в ряде своих заявлений "и в длинном письме" (вот во что теперь обратились шесть короленковских писем) Короленко упрекнул революцию за кровь и насилие.

Короленко упрекал конкретных людей в конкретных несправедливостях, а правительство в ошибках.

Но эти детали не интересовали Луначарского. Главным преступлением Дон Кихота Полтавского, как и его французского собрата по оружию, было то, что "коммунизм в движении" они путают с "коммунизмом триумфирующим". "Борющемуся коммунизму" "праведники", "Дон Кихоты" только мешают.

Впрочем, Роллана Луначарский вскоре счел выздоровевшим от кихотизма. В 1933 г. бывший нарком сделал радостную приписку к прежней статье, что Роллан "почти перешел" на правильную, научную, большевистскую точку зрения.

К 1933 г. Соловецкие лагеря уже отпраздновали десятилетие; уже прошли липовые процессы над "промпартийцами" и бывшими меньшевиками; уже был превращен в пересыльную тюрьму для раскулаченных кафедральный Тобольский собор, где нары шли в пять этажей от нижнего ряда росписей к архангельским крыльям вверху, а люди грелись друг о дружку; со многими храмами в России случилось такое же превращение. А энтузиасты, юноши и девушки, всегда готовые к труду и обороне, весело грозились с плакатов закрыть все церкви. Быть священником означало почти наверняка сесть в тюрьму; число беспризорных резко увеличилось, снова началось междоусобие.

Сведения о тогдашней ситуации в России за рубежом были.

Но сталинизм, родившись в России, стал явлением общеевропейским: прогрессивная Европа сочувствовала социализму в сталинских контурах всеми своими прогрессивными силами, помогая тем самым евразийскому государственному новообразованию становиться злокачественным.

Удивительной была не только слепота "свободолюбивых интеллигентов", как называл друзей сталинского социализма Ромэн Роллан, – удивителен был парадоксальный "бюрократизм" этих свободомыслящих и прогрессивных. Как Луначарскому в случае с Ароновым и Миркиным, им было мало живых человеческих свидетельств. Важнее была бумага от начальства. Сколько живых свидетельств накопилось к 1933 г. о предыдущих пятнадцати годах.

Все пролетало мимо ушей или отбрасывалось звонкой фразой, как отрубленную голову сарацина мог отшвырнуть ногой Рыцарь Храма Господня.

Но вот факт незаконных массовых репрессий и применения пыток при социализме был удостоверен Большой лиловой Государственной Печатью СССР.

Что после этого началось!

Все, кто знали, но знать не хотели, вынуждены стали знать. "Архипелаг ГУЛаг" украсил книжные полки тех, кто по поводу этой же самой книги до двадцатого и двадцать второго съездов КПСС только пожал бы плечами: очередная клевета на "новорожденного".

Но официальная санкция сделала свое дело: людям, почитавшим себя "свободомыслящими", "непредвзятыми", книга Солженицына (а также и другие свидетельства) помогла если не стать, то хотя бы становиться таковыми.

Произошел к 1978 г. даже некоторый прогресс: достаточно оказалось всего-навсего трех миллионов камбоджийцев, уничтоженных "красными кхмерами", чтобы западные "либералы", эти ясноглазые "голуби", открестились от "красных кхмеров" уже без санкции правительства Пол Пота.

К сожалению, вынужденное знание уступает знанию, добытому сознательным усилием; вынужденное знание так же легко приобрести, как и потерять.

В то время, о котором идет речь, государственного советского штампа на "антигосударственных" свидетельствах еще не было, и Роллан в числе других таких же (компания была хорошей: Шоу, Уэллс, Цвейг, Драйзер, Эптон Синклер, Томас Манн, Генрих Манн, Лион Фейхтвангер) отметали как несущественное все то, что рассказывали о России бежавшие из нее русские. А беленькую книжечку, о которой в "Некрополе" писал Ходасевич, "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы...", короли мировой интеллектуальной биржи не прочли. Мелко-мелкогуманистический кихотизм был чужд этим знатным европейцам, ожесточенным войной, ошеломленным экономической катастрофой, начавшейся в буржуазной Европе, как и в Советской России, в 1929 г. Дефицитную человечность эти властители дум расходовали в личной жизни, а также как необходимый химикат для художественных анализов, без которых писатель не может состояться. Для низкой жизни у них были метафоры "путей", "целей", "социальных механизмов", а то и реакции, пострашней метафор.

Н. Берберова вспоминает, что Жан Кокто даже писал:

> "Диктаторы способствуют протесту в искусстве, без протеста искусство умирает".

– Хотелось спросить, а как насчет пули в затылок? – комментирует это высказывание Н. Берберова.[37]

– О, Бальмонт! О, Бунин! – ответил бы на это тогдашний Роллан. – Не верьте клевете! История идет по нас – по вас! по мне!

Потом в Германии победил национал-социализм; его метафоры были эмоциональнее, пламеннее, неожиданнее традиционных демократических.

Свободолюбивые голуби остались при лагерях смерти как в Треблинке, так и на Колыме.

Нельзя было и нельзя будет остановить "триумфирующий тоталитаризм", обладая неиссякаемыми запасами нравственного кретинизма, осложненного всесокрушающей верой в социальный прогресс, резко опережающий духовное совершенствование каждого.

А, может быть, все дело в том, что политически экспансивным людям присуща мазохистическая тяга к сильной власти, к сильной руке, которая заставит буржуазную изнеженную Европу жить по-новому?

Между тем на историческом пути к вышеописанному будущему под палящими лучами восходящего сталинского солнца ренессансная натура наркома усыхала все более и более.

Близкому "к типу сверхчеловека" лидеру пришлось пойти в дипломатические марионетки.

Сталинским наркомом Луначарскому остаться не удалось. Он, может быть, все готов был для этого сделать, но требовалось больше, чем он имел. К тому же Сталин всегда подозревал, что такие, как этот бывший

нарком, интеллигентные говоруны, утаивают от него остатки совести и чести, которые надлежало сдать лично вождю, разумеется, безо всякой расписки. Этих недоверчивых скупердяев Сталин особенно охотно уничтожал.

Луначарский умер во-время.

Примерно за три месяца до смерти он снова вернулся к теме Дон Кихота и кихотизма.

В то время во Франции был поставлен фильм-опера "Дон Кихот". Дон Кихотом был Шаляпин.

В молодости Луначарский, будучи в эмиграции, зарабатывал на жизнь, печатая театральные рецензии о парижских премьерах в лучшем русском театральном журнале "Театр и искусство". Теперь бывшему наркому захотелось тряхнуть стариной; возможно, захотелось потому, что ситуация молодости повторилась вдруг в неожиданных формах: Луначарский был не нищим эмигрантом, но послом, – однако не столько послом, почетно посланным в Испанию, сколько нежелательным для Сталина лицом, почетно высланным за границу.

И вот в "Вечерней Москве" (5 сентября 1933 г.), газете второразрядной, бывший сиятельный нарком поместил рецензию "Шаляпин в 'Дон Кихоте'." В этой рецензии Луначарский объяснял причины бессмертия Дон Кихота; оно обеспечивалось, по Луначарскому, даже и при двух взаимоисключающих воззрениях на роман: "при историко-реалистическом и при морально-идеалистическом". С реалистической точки зрения, роман высмеивает рыцарские иллюзии уходящего под натиском буржуазии дворянства; но любой разумный реалист понимает, что этические идеалы рыцарства антибуржуазны, и потому борьба за них против буржуазной действительности человечески необходима и величава, хоть и смешна.

> "Дон Кихот смешон, но ведь это потому, что он так неизмеримо лучше всех окружающих", – пишет Луначарский.[38]

Дон Кихот смешон, потому что олицетворяет романтическую способность человечества к высокой иронии, – к иронии над собственным исходным и несчастным несовершенством, – несовершенством хромца, погнавшегося за Синей Птицей.

Однако Луначарский к Дон Кихоту относился со всей серьезностью реалиста; поэтому он осудил среду, в которой Рыцарь Бедный действует, лишь бы превознести Дон Кихота. В Луначарском жила все-таки потребность к уважительному отношению к самой идее кихотизма. Но по долгу службы он сочетал превознесение Дон Кихота XVII века и осуждение тогдашней испанской почвы с развенчиванием вплоть до ареста русского Дон Кихота XX столетия, и превознесением над этим Дон Кихотом почвы советской, пусть даже почва эта примет форму могильного холма.

Впрочем, и то хорошо, что кихотизма как идеи Луначарский не осудил, раскритиковав авторов фильма, в их числе Шаляпина – Дон Кихота за то, что духовная мощь и трагизм кихотизма в фильме не показаны.

Любопытно при этом, что финального кадра фильма бывший нарком

не смог оценить. В финале на экране возникла книга, сгорающая в пламени, которая на зло пламени возрождалась, восстанавливала себя сама; она душила, гасила пламя, чтобы остаться победоносной и вечной книгой о Дон Кихоте.

Луначарский к запрещению и уничтожению книг как народный комиссар просвещения имел безусловное отношение. Прямолинейность такого финала ему, как цензору, не могла понравиться: самовосстанавливающиеся книги В.С. Соловьева или Н.К. Михайловского могли только помешать той культурной политике, которую продолжал теперь на месте Луначарского военный человек Бубнов.

"Дон Кихота", впрочем, сжигать не собирались: художественная культура Запада по самую маковку XIX столетия осталась дозволенной в подсоветской России.

Луначарский предложил в своей статье даже поставить советский фильм о Дон Кихоте.

Фильм с участием Шаляпина Луначарскому не нравился за оперную условность, которая, донесенная до зрителя в деталях крупными планами экрана, оказывалась для трагической коллизии Дон Кихота эстетически фальшивой. Не "арии ", что-то другое, как-то иначе надо было петь в фильме... Нужен трагикомический фильм, а не опера, – настаивал Луначарский; жанра "мюзикла", который предугадывал Луначарский в этом своем требовании, еще не существовало.

Так и не уточнив жанра, в котором следовало экранизировать роман Сервантеса, Луначарский призывал, "прямо конкурируя с Западом, поставить говорящий фильм: 'Дон Кихот и Санчо Панса', потому что у нас значение второй фигуры должно было бы быть сильно поднято". Луначарский высказывал убеждение, что этот фильм серьезно обогатил бы мировую кинематографию.

Это завещание Луначарского двадцать с лишним лет спустя советские кинематографисты выполнили.

Но к этому времени Сталин со своими полководцами победоносно завершил Большую внутреннюю войну за унасекомливание человека; победоносно завершил Большую внешнюю войну за победу над гитлеровской Германией; победоносно начал еще одну внутреннюю войну за дальнейшее унасекомливание русских людей с помощью вознесения их надо всеми народами мира, а также войну против евреев, – но тут вождь упал в обморок и от переутомления умер, оставив историкам совсем другой народ, чем тот, которым он начал управлять.

Так что из читателей "Вечерней Москвы" 1933 г. мало кто увидел в 1957 г. фильм "Дон Кихот", – разумеется, без "Санчо Пансы" в заголовке. Сервантес назвал свой роман "Дон Кихот", а советские люди, уцелевшие после сталинской школы, стояли и стоят за бережное отношение к классике.

Статья Луначарского "Шаляпин в 'Дон Кихоте' " была одной из последних, если не самой последней публикацией Луначарского.

Статья была напечатана 5 сентября 1933 г., а 26 декабря 1933 г. Луначарского не стало.

Он умер от приступа грудной жабы в Ментоне, где побывал еще в юност молодым необученным суперменом.

Может быть, сердце у него сжалось в предчувствии, что его понижения ведут к посадке, – не мягкой, самолетной, а жесткой и окончательной. Ведь в своих очерках о деятелях Октября он даже силуэтно не обозначил Сталина, зато Троцкого расписал весьма картинно.

По мере своего пребывания у власти Луначарский стремительно уменьшался в размерах.

Когда его не стало вовсе, на земле остались: кучка псевдонимов, звонкие, противоречащие друг другу тексты, плащ сверхчеловека и шляпа с пером (как драматург Луначарский был большой романтик).

Пример Луначарского, интеллигента европейского стиля, и сейчас не утратил свежести.

Я уже приводил закон революционной баллистики, сформулированный генералом бароном Алексеем Будбергом: "Всякая революционная морда, ударившись о государственность, сворачивает вправо".

Применительно к Луначарскому и другим таким же формулу следует уточнить и расширить:

"Всякая интеллигентная революционная морда, ударившись в свою победившую государственность, расшибается в лепешку, если хочет уцелеть".

* * *

Литература

1 А.В. Луначарский. "Свобода книги и революция". "Печать и революция" кн. 1, 1921, стр. 7-8.

2 А.С. Пушкин. "Скупой рыцарь", "Полн.собр. соч.", т. 5, М., 1957, стр. 342-343.

3 "Письма Волошина". "Время и мы". 1978, № 28, стр. 207.

4 А.В. Луначарский. "Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем". 1924. Изд. "Новая Москва", стр. 42.

5 А.В. Луначарский. "Пять лет революции". М., 1923, стр. 11.

6 Там же, стр. 11.

7 Там же, стр. 11.

8 С. Протопопов. "Материалы для характеристики В.Г. Короленко", "Былое", № 20, 1922, стр. 1.

9 А.В. Луначарский. "Праведник". "Красная нива", № 1, 1924, стр. 20.

10 Там же, стр. 20.

[11] Там же, стр. 20.

[12] Там же, стр. 21.

[13] Там же, стр. 20.

[14] А.В. Луначарский. "Послесловие" к кн. Сервантес. "Дон Кихот". Изд. "Красная нива", 1924, стр. 251.

[15] А.В. Луначарский. "История Западно-Европейской литературы в ее важнейших моментах". М., 1924, стр. 180.

[16] См. цит. "Послесловие" А. Луначарского к "Дон Кихоту", стр. 251, а также цит. "Историю Западно-Европейской литературы в ее важнейших моментах", стр. 180.

[17] Цит. "Послесловие" Луначарского, стр. 351.

[18] Там же, стр. 246.

[19] Там же, стр. 251-252.

[20] Цит. "История Западно-Европейской литературы в ее важнейших моментах", М. 1924, стр. 180.

[21] А.В. Луначарский. "Очерки по истории русской литературы". М., 1976, стр. 265.

[22] Там же, стр. 401, 408-409.

[23] А.В. Луначарский. "На Западе". М., 1927, стр. 88.

[24] Там же, стр. 84-85.

[25] В. Ходасевич. "М. Горький" в кн. "Некрополь", Париж, 1976, стр. 268.

[26] См. Н. Берберова. "Курсив мой". Мюнхен, 1972, стр. 267.

[27] Р. Роллан. "Ответ К. Бальмонту и И. Бунину". "Вестник иностранной литературы" № 3, 1928, стр. 133.

[28] Цит. по кн. Н. Берберовой "Курсив мой", стр. 271.

[29] Цит. "Вестник иностранной литературы", стр. 134.

[30] Там же, стр. 137.

[31] Там же, стр. 140.

[32] Цит. ст. А.В. Луначарского "Праведник", стр. 20.

[33] Здесь и далее см. А.В. Луначарский "Искусство и молодежь". М., 1929, стр. 86, 87, 88.

[34] А.В. Луначарский. "Современный Дон Кихот". "Огонек", № 52, 1929, стр. 4.

[35] А.В. Луначарский. "Предисловие" к роману "Жан Кристоф" в кн. Р. Роллан "Жан Кристоф", Л., 1934, стр. 15-16.

[36] Там же, стр. 13.

[37] Цит. кн. Н. Берберовой, стр. 265.

[38] Здесь и дальше см. А.В. Луначарский. "Шаляпин в 'Дон Кихоте' ". "Вечерняя Москва" от 5 сентября 1933 г., стр. 3.

6. ПЕШЕХОНОВ, РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ

Не мне пытаться определить, что же такое в конечном счете кихотизм. Я только описываю бурную жизнь имени-притчи "Дон Кихот" в России.

А "конечный счет" будет на Страшном Суде, когда обнаружится, что, хоть и казалось каждому, будто он несет свой крест, но многие несли не свои кресты, а свои дубины. Полагаю, что Рыцарю Печального Образа такая ошибка не грозит.

С опрелеления, данного Луначарским Дон Кихоту, начался для Дон Кихота в России новый этап – "новый этап" не только в философском, но и в каторжно-колымском смысле.

Ведь искать с холодным оружием в руках злых волшебников в стране, которой совершенно открыто руководил товарищ Сталин со своим политбюро, было проявлением совершенной уже слепоты, не говоря о преступности замысла. Преступление усугублялось его групповым характером: мало было Дон Кихоту оруженосца. Он состоял еще и членом Организации (Ордена) Странствующих Рыцарей, связанных если не с ЦРУ, то с разведкой республики Гондурас.

Луначарский объявил, что Дон Кихот не просто абсолютно нормальный человек, но что он даже возвышает, совершенствует собою норму. Вождь пролетарского просвещения лишил таким образом Дон Кихота права на невменяемость и тем окончательно подвел Дон Кихота под монастырь, как у нас говорят, имея в виду не пострижение, а стрижку наголо после ареста.

Правда, прежние русские Рыцари Бедные были вполне нормальными людьми. Радищев с его ненавистью к рабству; Лунин, сражавшийся с российсикми беззакониями даже из безнадежного положения глухой ссылки; доктор Гааз, не только приносивший каторжникам апельсины, но и добившийся существенного уменьшения веса арестанстких оков, – что во всех этих людях было ненормального, кроме патологической надежды на человеческий разум и доброту?

Поэты, пожалуй, могли своей герметичностью спровоцировать психиатра на разговор о странностях кихотического миротворчества. Но беседа о странностях души не предполагает непременно психиатрического диагностирования.

Однако после того, как императорская Россия сделалась ленинско-сталинским евразийским новообразованием, борьба с одиночеством интеллигентных одиночек была поднята до небывалых высот, до невиданных-неслыханных ледовых широт.

В жесткой, ежовской ситуации Дон Кихоту Невменяемому все-таки светили бы не Северные Сияния, а возможность освободиться пусть даже под милицейский присмотр. Зато Дон Кихоту со вмененною виной (попытка террора и участие в организации) могло достаться только одно: нетленно, как Ленину в мавзолее, дожидаться Страшного Суда в вечной мерзлоте.

До Октябрьского переворота и до наркома Луначарского русская действительность, чьи Дон Кихоты были нормальны, определила русскую мысль, почитавшую Дон Кихота тронутым. Теперь в публицистике Луначарского русская мысль о Дон Кихоте догнала русскую жизнь и даже предварила целую галерею идеально нормальных, более того, совершенствующих собою норму традиционно русских Рыцарей без Страха и Упрека.

Впрочем, руководящие граждане, успокоившиеся на своих должностях подле уже мемориальной сталинской мясорубки, вовсе не ожидали, что опять возродится вдруг неизвестная им традиция и появятся с того света больные кихопатией личности. Поэтому для начала их просто сочли психами. Трудно простому человеку признать нормой отказ ученого от денег, дипломов, занятий наукой ради абстракции "права человека", как это сделали, например, Юрий Орлов или Сергей Ковалев. Психологически проще посадить беднягу не в концентрационный лагерь, а в дурдом, как уже сделали с генералом, пожертвовавшим своим генеральством ради абстрактной справедливости.

Но потом в начальстве подумали, и теперь солидарно с Луначарским (хотя у меня нет сведений, чтобы его читали) решили нагло кихотирующих одиночек помешанными не считать, а выпроваживать их из страны навеки вон или, как родных, трудоустраивать в ИТЛ.

Впрочем, можно надеяться, что в тиши научно-секретных лабораторий разработают у нас вскорости новую нозологическую единицу: "болезнь князя Мышкина". Больной,в то время, когда все жрут, что дают, нарушая нормы социального поведения ("когда я ем, я глух и нем"), говорит, будто ему "есть стыдно".

Это свидетельствует о глубоком нарушении эмоциональной сферы и отсутствии контакта с реальностью при возможной формальной сохранности интеллекта.

Эти теоретические разработки, несомненно, еще найдут себе практическое применение и поэтому их начнут и продолжат.

В нашей фантастической или, как сейчас любят говорить, "неоднозначной" ситуации с прежней назойливостью, но с новой силой встают вопросы: может ли кихотическое добро иметь хоть какое-нибудь значение в масштабах исторических, где действуют законы больших чисел? Не оказывается ли это сиюминутное добро в таких масштабах добром совершенно абсурдным?

Я думаю, что смысл добра вообще непостижим. Но это мое личное обстоятельство не отменяет необходимости попытаться ответить на вышеозначенные (и вполне естественные!) вопросы.

Соперничая с Богом, люди надеются довоеваться и доработаться до Золотого Века на земле. В этих масштабах они и склонны оценивать свои действия.

Однако Золотой Век недостижим.

Поэтому исторически не менее полезно, чем любое глобальное мероприятие по достижению этой недостижимой цели, добро попутное, кихотическое, мешающее, конечно, всеобщему целенаправленному движению.

Благородное стремление помочь "первому встречному", пусть даже бесполезно рискуя собой, противоречит бесчеловечной патетике больших чисел.

Напрасно думают, что "капли добра" или поступки более осознанные и последовательные – "добро кихотическое" – не имеют социально-исторического значения в противоположность великим реформам, гражданским и прочим войнам или перемещению значительного лица с должности "А" на должность "Б".

И здесь я снова повторю: Дон Кихот – это мысль христианского человечества о том, что Добру не надо бояться быть битым, неловким, непрестижным и безрезультатным. Добру не нужно бояться остаться бесследным. Может быть, в наши дни именно здесь – главная мысль о Дон Кихоте. Смелость творить такое добро – исторически значимое свойство современного человека.

Откуда оно берется?

Кихотическая доброта импульсивна, близорука, – это детская доброта.

Но сказано же: "Будьте, как дети!"

Кихотическое добро – великое дело для одного человека.

Психология "взрослого", электронным мозгом рассчитанного добра очень часто приводит к тому, что люди разучиваются нищим подавать во имя борьбы с нищетой.

Добро от детского простосердечия, от простоты и доброты душевной – вечное начало в человеке (боюсь, что это касается и детской жестокости).

Как проявление этого вечного кихотический акт спасения одного-единственного так же важен для правильного функционирования людской природы, как и акт спасения многих.

Тот же источник – неиссякаемая детскость – дает Дон Кихоту опасную веру, что, уничтожив злых волшебников, он подарит миру Золотой Век.

Смех над Дон Кихотом – это смех над нашей собственной неизбывной и напрасной жаждой победительного, абсолютного Добра, которого мы надеемся добиться в планетарных масштабах, как только наши представления о мире станут достаточно совершенными, – настолько совершенными и научными, что ни в каких формах не будут они повторять наивных донкихотских сказок.

Но едва ли человеческая мысль избежит метафор и успокоится когда-нибудь на абсолютном знании. Недовольство предшественниками останет-

ся источником ее развития.

К тому же мечта об абсолютном и победительном Добре – попытка отобрать у Бога Ему принадлежащее. Нельзя скопировать на земле в натуральную величину человека образы Божественной Любви и Справедливости. Абсолютное Добро нам не под силу. Нам под силу – да и по достоинству! – мятежная вера Иова.

Дон Кихот со своей мистической, а стало быть, на взгляд многих, всегда несовременной картиной мира неизбежен и как герой, и как объект насмешек.

Отношение к Рыцарю Печального Образа зависит прежде всего от душевных свойств и склонностей наблюдателя.

Важным аспектом кихотического героизма является то, что героизм Дон Кихота нередко антисоциален.

Это раздражает всех, кому кажется, что они живут в обществе самодостаточном, не имеющем, в сущности, нужды развиваться. Это раздражает и тех, кто надеется создать на земле Рай без Второго Пришествия.

Кихотизм – резерв общественного развития, хоть какая-то возможность спастись от ада на земле.

Детское простосердечие, наивная доброта – вечный источник кихотизма в человеке, и это – постоянное препятствие для всех "одержимых историей".

Формы кихотизма разнообразны. Ситуация Пешехонова – тому пример.

Алексей Васильевич Пешехонов не был Дон Кихотом сердца, подобно Короленке, с которым он много лет дружил, а также сотрудничал в журнале "Русское богатство".

Пешехонов был Дон Кихот того же рода, что и Чернышевский в ссылке.

Как и Чернышевский, Пешехонов идеализма чурался; по убеждениям он был позитивистом: непоколебимо верил, что окружающий мир таков, каким люди его воспринимают, в гносеологию не вдавался, но ценность научного знания сомнению не подвергал. В столь мощном эмоционально позитивизме, как и в духовидчестве, когда оно выходит на уровень научного эксперимента, живет воистину кихотическая наивность и завидный для меня здоровый оптимизм.

Среди реалий столь же безусловных, как законы Ньютона, для Пешехонова существовали "совесть" и "честь".

Каким образом Алексей Васильевич Пешехонов это установил, имея в качестве эмпирической действительности общемировую быстротекущую клоаку?

Пешехонов оставил нам на этот счет свои объяснения.

Но из них, как, впрочем, и из всяких убедительных философских объяснений, виден прежде всего сам человек; он понятнее и бесспорнее предложенных им решений.

Возражая авторам сборника "Проблемы идеализма", с чьей точки зрения нравственность, должное, не могло иметь иного основания, кроме Аб-

солюта, Пешехонов противополагал этому Абсолюту биологическую природную основу человека, в числе потребностей которого имеются

> "... столь различные, как потребность в воздухе и пище, с одной стороны, и стремление к истине, и жажда нравственного подвига, – с другой. Откуда взялось это многообразие потребностей, – продолжал Пешехонов, – и, в частности, каким образом возникли высшие из них?
>
> Вопрос о происхождении и эволюции потребностей, к сожалению, до сих пор остается мало исследованным".[1]

Но "причинами причин" Пешехонов, которому всякая метафизика, как он сам писал, еще в духовной семинарии набила оскомину, не интересовался. Если бы ему напророчил кто-нибудь, что двадцать лет спустя он окажется в эмиграции и притом в результате революции и что его назовут в эмигрантской прессе Дон Кихотом за нежелание видеть русскую действительность, как она есть, – Пешехонов с его трезвым разумом просто пожал бы плечами в ответ, даже обсуждать не стал бы такие глупости. В безосновательных суждениях он не видел смысла, а к игре словами не имел вкуса. Все тайное старался он сделать для Разума явным:

> "... стремиться к сохранению своей личности со всеми ее силами, способностями и потребностями, стремиться к сохранению ее в настоящем и будущем, пользоваться для этого всеми доступными средствами и, стало быть, всеми возможными для дальнейшего ее развития, – это, если хотите, действительно 'естественное', – и притом в буквальном смысле этого слова, – право человека. Ничего метафизического, сверхопытного и сверхестественного в его происхождении и содержании нет".[2]

Однако все вышеизложенное – не столько "право", сколько "свойство" всякого человека. "Право" обороняет людей от их же собственных "свойств". Эта поправка ставит совсем новый вопрос: не о свойстве и, очевидно, праве удава быть собой, а об его обязанности самоограничиваться, хоть ему и свойственно пожирать крольчат. Человек, разумеется, не змей, а змееборец, – однако ж не зря говорил Жюль Ренар, что, был бы человек в силах, он создал бы шедевр разума и естества: змее приделал бы шипы. Пешехонов не мог предвидеть, что жестокость, растворенная в бытовых семейно-уличных нравах деревень и городов, даст концентрированный осадок в виде Тайшетского (литературные места Мамина-Сибиряка) и Веймарского (Бухенвальд, Гетевские окрестности) концлагерей.

Впрочем, Пешехонов понимал, что саморазвитие потребностей может привести человечество к беде.

> "Обособившиеся и получившие самостоятельное значение потребности могут ... оказаться в противоречии с другими потребностями и в конце концов сделаться даже гибельными для индивида

или вида... Из всех таких противоречий особенно легко возникают и особенно большое значение имеют те, которые возможны между двумя разветвлениями основной потребности, – между потребностью самосохранения и потребностью сохранения вида, – писал Пешехонов. – Сохранение и развитие жизни таким образом не представляет из себя чего-то прямолинейного, предопределенного, абсолютно неизбежного; оно осложнено целым рядом возможностей, среди которых наряду с такими, которые способны обеспечить личности бессмертие, встречаются и такие, которые теперь или в потомстве могут привести ее к гибели... На страже целости личности и общества здесь стоят уже честь и совесть".

Для Пешехонова честь и совесть были проявлениями инстинкта самосохранения биовида "человек". Более того, Пешехонов, несмотря на все свои сомнения, верил, что все доброе и разумное в конце концов восторжествует и непобедимо не потому, что он преувеличивал силу разума, а потому, что самое торжество разума – "дело нашей совести и чести. И ни к каким абсолютам за подкреплением этой уверенности мы не обратимся", – вот как неколебимо верил в честь и совесть наш позитивист-прагматик.

В том же духе семьдесят с лишним лет спустя отвечал о. Сергию Желудкову Кронид Любарский из Владимирской тюрьмы.

Люди уходят.

Мысли остаются.

Сейчас переписка с тогдашним з/к Любарским священников и верующих опубликована в Европе; не знаю, как для Европы, а для России это важно.

За три года до цитированных выше строк Пешехонов написал статью "Из истории чести и совести" (1900 г.). Речь в статье шла о чести и совести в народной среде. Носителем этих качеств, распространителем заразы, был, в частности, юродивый Парамон ("Парамон Юродивый" Г. Успенского) с его яркими образами рая, ада, совести, подвига. Мужик-подвижник принес в нищую, оглушенную вечными заботами семью новые понятия справедливости и правды. Однако перед лицом квартального, полицейского, вооруженного правом протокола, восхищение обывателей Парамоном Юродивым сменилось страхом перед полицейской властью, и люди, неприятно удивленные, что этот человек, владеющий одними только словами, спорит с реальной силой, предали его в сердце своем...

Анализируя очерки Глеба Успенского, А. Пешехонов не только показывает, что в пореформенные времена в самой народной среде возрождались чувства совести и чести вопреки народной же мудрости, что "стыд глаза не выест", "брань на вороту не виснет", "бесчестье не позорит"; он обращает внимание читателя, что представление о совести и чести очень часто приходит к людям, никаких таких тонкостей не знавшим, еще и извне. Их привносит интеллигенция. Так учительница отравила душу

сельского дьякона, для которого, по характеристике Гл. Успенского, " только рубль было настоящее дело, только кусок в желудке, да жена ночью рядом – настоящее удовольствие, а все остальное т а к ..."

Учительница заронила в бедную дьяконову душу бациллу совестливости.

> "Это характерная особенность почти всех драм чести и совести переходного времени, – пишет Пешехонов. – Разрушительная для 'свиного элемента' критическая мысль не сама собою зарождалась, а заносилась извне, часто помимо воли и участия лица, ее воспринимавшего, а иногда и лица, ее занесшего. Благодаря этому заболевания имели видимый характер случайности, внезапности".[3]

"Капли добра" не сливались в России в море-окиян или даже в стоячий пруд. Они исчезали в почве. Поэтому кихотизм казался неожиданной сторонней "инфекцией". Чувство чести, огненный рыцарский дух, противопоказан влажности материнского лона, "вечно бабьему в русской душе", – как об этом (по меньшей мере, дважды) писал Бердяев ("Судьба России", 1918 г. и "Философия неравенства", 1922 г.) и как это показал уже в 1980 г. фильм Н. Михалкова "Обломов" (по одноименному, но написанному совсем про другое, роману Гончарова).

Пешехонов изо всех героев современной ему литературы особо выделил д-ра Штокмана, – в большой книге "На очередные темы" статья " 'Доктор-Штокман' на русской сцене" – единственная посвященная литературе. "Литературе", а не театру, ибо Пешехонов, отчасти соответствуя образу того интеллигента, который обруган был "Вехами", а также Народным артистом СССР, лауреатом сталинской премии В.И. Немировичем-Данченко в его книге "Из прошлого", не увлекался особенно узорами художества. В театре он видел литературу. А в современной ему литературе отметил одного борца за истину доктора Штокмана. Для Пешехонова этот ибсеновский герой был не просто борцом за истину; он защищал честь истины. А тем самым – собственную честь.

Однако символический смысл ибсеновской драмы еще и в том, что истина и справедливость, как правило, оказываются вредоносными для насущнейших интересов данного людского сообщества. Горожанам, врагам штокмановской истины и справедливости, ради каких-то других безымянных и абстрактных людей, придется терпеть бедствия: с закрытием курорта, целебная вода которого на самом деле отравлена, одни впадут в нищету, другие окажутся на ее краю, третьи сильно обедняют. Правдолюбец собрался своей правдой, как пробкой, заткнуть источник чужих жизненных благ.

Справедливость и истина – это бешеная парочка, всегда задевающая прохожих, которые мирно прошли бы мимо справедливости и истины, оставшись в душе людьми хорошими (никто ведь в точности не знает, что это за зверь: "хороший человек"). Но бешеная парочка всегда когонибудь да ушибет...

Поэтому пьеса Ибсена –пьеса о Враге Народа во все времена. Однако у

нас при всех властях к народу относились с большой щекотливостью; сохранить декларативное ибсеновское название пьесы ("Враг народа") постеснялись. К тому же какой "народ" – "сплоченное большинство" домовладельцев в сюртуках?..

Но сейчас, в конце двадцатого века, у "нас" – "все мелкобуржуазны, и все большевики"; у "них" – чуть не все, если не домо- , то квартировладельцы, да еще и шоферюги на собственных авто. Что ниже этого – то не народ, а "беднота". Вообще слово "народ" принадлежит романтическому позапрошлогодью; точнейшая социология этот монолит – "народ" – распылила и привела к бессмыслице.

Так что, если не вечная, то очень долговечная и прочная драма доктора Штокмана формулируется теперь так: "Враг 'своих людей' ". Но если "свойство" объединяет целый народ, то вполне может выйти, что Штокман – по-прежнему романтический "враг народа".

Такого всенародного, даже антинародного одиночества Истины и Справедливости Пешехонов никак не мог принять за историческую действительность.

> "... Резким диссонансом для русского зрителя звучит последнее 'открытие' доктора.
>
> – Я открыл, – говорит он, – что самый сильный человек в этом мире тот, кто более всех одинок.
>
> Да! Для великого дела истины и справедливости нужнее всего мужественная и развитая личность. Но силы ее – не в одиночестве, а в союзе с другими личностями и с народом",[4] –

заключил Пешехонов свою статью; а уже двадцать лет спустя одни поклонники этой стилистики заключали (но не в столь эпическом смысле) о других поклонниках в тех же словосочетаниях; после чего заключали (еще в третьем смысле) любомудров-народолюбцев в бывшие кельи бывшего Савватиева скита бывшего Соловецкого монастыря. Обнадеживает ли на фоне этих булыжных омонимов тот факт, что эпитет "развитой" недавно вновь обрел свое высокое иерархическое место, – раньше он прилагался к "личности", а теперь – к слову "социализм"?

Пешехонов не был исторически дальнозорок. Но близорукость его можно понять. С философических, хоть и семинарских эмпирей, он спустился в дольнюю область обыденных, серенькых цифр и фактов, застилавших все, словно облако соринок, – и каждая норовила попасть в глаз. Нужны были защитные очки. У либералов они традиционного розового цвета, а этот оптимистический цвет как раз и способствует развитию исторической близорукости.

Означенные очки, сказочно расцвечивая перспективу, не смягчают, однако, красок близлежащего, – так, во всяком случае, происходило с Пешехоновым.

> "Самарский мужик, – писал он в 1900 г., – начал голодать раньше других и до сих пор голодает чаще других. Почему голодает мужик, – на этот счет существуют разные мнения. Одни во всем

винят тучи, как будто бы несвоевременно появившиеся на небе; другие заподазривают в мужике прирожденную склонность к дармоедству и мошенничеству; третьи готовы возвести голодовки чуть ли не в неизбежный закон экономического развития...".[5]

В наши дни появились четвертые, с чьей точки зрения голода тогда вообще не было, а мужики воображали только, будто голодают, не предвидя, что настоящий голод будет у них при большевиках. Эту точку зрения я упомянул не в силу каких-либо ее достоинств, а по причине агрессивности ее носителей, для которых всякие эти пешехоновские заботы о мужике продиктованы были избыточной сентиментальностью.

Впрочем, упреки нашим тогдашним народолюбцам в данном случае вызваны скорее неведением, чем злобой. На съезде землевладельцев (в основном дворян) в г. Орле (1899 г.) вполне благонадежный в смысле легитимного монархизма докладчик констатировал, что в 1891 г. погибло от голода 656 тысяч человек.[6] Возможно, он преувеличивал, но причин беспокоиться о духовном и физическом состоянии русского крестьянина было множество.

Вот Пешехонов и писал, – писал снова и снова о голоде в деревне, приводя статистические выкладки и набившие оскомину факты; статьи его были скучноваты по меркам современной беллетристики или даже историософской публицистистики поры "великого искуса", но доказательны и подробны. Писал он и о беззаботности земских организаций по части мужицкой жизни; и о необходимости отменить телесные наказания, все чаще производившиеся над крестьянами по приговору волостных судов ("Недоделанное дело", 1900 г.), и о народном просвещении, и о "современных аргонавтах", господах крупных землевладельцах, колдовавших на своем съезде, как бы понизить цену крестьянского труда к собственной выгоде (среди этих колдунов был и защитник русского народа от жидомасонов и социалистов, издатель газеты "Русский труд" Шарапов).

Каждая из близлежащих проблем русской общественности и деревенской жизни (ею Пешехонов особенно усиленно занимался) была как глыба многотонного веса. Совокупными усилиями кое-как удавалось это поднимать, хотя бы в печати, – но именно "кое-как", да и усилия получались надрывающими (см. очерк о цензуре "Пора решить", 1901 г., в цит. книге Пешехонова).

О конструктивных решениях и речи не было.

От перенапряжения и бесперспективности зрение опять-таки портилось, и являлась одушевляющая надежда на помощников, на "народ". Почитатель Глеба Успенского, Пешехонов относительно крестьянского "мира" старался иллюзий себе не создавать. Но одинокое положение ибсеновского доктора Штокмана (при всей инстинктивной симпатии, которую он к этому борцу за истину и справедливость питал) Пешехонова не привлекало.

Пешехонов не был Дон Кихотом и одиночества не искал. Более того, как только после манифеста 17 октября 1905 г. легальные партии в Рос-

сии стали возможны, он основал свою партию Народных Социалистов (энэсов).

Пешехонов был типичнейший интеллигент-труженик, но с рыцарской совестливостью. Именно как интеллигент-труженик он и занял свое место в русской истории.

О партии Народных Социалистов в "Краткой таблице важнейших современных политических партий в России (издание 'неофициальное')" есть сведения. "Краткая таблица..." была издана московским градоначальством для чинов тогдашней государственной безопасности и содержала отчетливые, по графам расписанные характеристики партий, как они существовали на 1907 г.

На примере партии Народных Социалистов видно, что тогдашние жандармы для тогдашних жандармов составляли настолько объективные характеристики своих поднадзорных, что тут было чему и поучиться жандармам будущих расцветок.

На стр. 6-7 в разделе "Левые партии" "Краткой таблицы..." читаем: в графе "№№ по порядку" – "13". Неудачный номер выпал самым разумным из российских социалистов!

Графа "Название партий и их фракций": "Народные социалисты (во 2-й Думе большей частью примкнули к 'Трудовой группе')".

Графа "Сокращенное название партии": "Эн-эсы. Н.-С.".

Графа "Программа": "Демократическая республика, социализация земель и т.п. Партия близка по программе к партии с.р.-ов, но официально отрицает террор, как средство борьбы, и экспроприацию, как способ добывания денег на партийные нужды".

Графа "Тактика": "Пропаганда".

Графа "Организация": Во главе фактически стоит основатель партии, литератор Пешехонов. Формально существуют комитеты: центральный и местные".

Графа "Преследуются ли законом": "Преследуется".

Нигде в этой жандармской инструкции не говорится, что "Н.-С." существует на средства западных разведок.

А почему бы не сказать?

Но тогдашние охранители государственной безопасности считали такую клевету неприличной. Не случайно провокатора Малиновского, которому Ленин, вопреки предупреждениям своих же соратников, доверял, как родному, разоблачил и предложил прогнать из Думы шеф корпуса жандармов генерал Джунковский.

У русских людей – даже из числа жандармов – было в те времена чувство чести, впоследствии почти атрофировавшееся.

Впрочем, Джунковский из-за своего поступка потерял должность.

Пешехонов все время состоял под полицейским надзором, по большей части надзором "негласным". Опасность административной ссылки, которая лишила бы Пешехонова средств к существованию, оторвав от "Русского богатства", была постоянной.

Партия Народных Социалистов была невелика и наименее влиятель-

на из левых партий. Эн-эсы были социалистами-эволюционистами; наделение крестьян землей в их программе сочеталось с государственным контролем над промышленным капиталом, широкими правами профсоюзов, восьмичасовым рабочим днем, – словом, всем тем, что налицо сейчас во многих странах, считающихся у нас отсталыми капиталистическими.

Социализм Пешехонова был социализмом благородным и разумным, требовавшим не "грабежа награбленного", а приумножения и справедливого распределения имеющегося.

Василий Розанов, который иногда позволял себе роскошь оценивать людей по достоинству, даже вопреки тем своим политическим страстям, которые у него имелись в данный момент, отозвался о Пешехонове с похвалой.

Розанов вообще умел, когда хотел, отличать в человеке органическое, достоверное, "д о п о д л и н н о е", – от позы. Правда, если чужая духовность слишком ярко и сухо била в глаза, мешая добраться до самой последней подоплеки, Розанову это умение изменяло. В той же заметке "Уединенного", где говорилось о Пешехонове, Розанов отозвался о В.Г. Короленке, что тот человек "угрюмый и, может быть, не умный"; даже "несколько сумасшедший" и вообще "уклончив и непрям". Зато Пешехонову, которого Розанов предварительно обозвал "пешехонкой" (возможно, вспомнив захолустное "пошехонье", а также "пшонку", безотказную солдатскую еду) достались от Розанова похвалы за простоту, прямоту, понятность:

> "Пешехонка – последняя значущая фигура в с.-д. Однако значучесть эта заключается единственно в *чистоте* его. Это – 'рыцарь бедный', о каком говорит Пушкин, когда-то пылкой и потом только длинной борьбы, где были гиганты, между прочим, и по уму: тогда как у П. какой ум? 'Столоначальник', а не министр. Конечно, это не отнимает у него всех качеств человека. Замечательно, что, раз его увидев (в Калашниковской бирже), неудержимо влечешься к нему, зная, что никакого интересного разговора не выйдет (к Мякотину, Петрищеву, Короленке – никакого влечения и интереса). В нем доброе – натура, удивительно рожденная. Без мути в себе. На месте Ц... я бы его поставил во главе интенданства... 'Пиши, писарь, – тебе не водить полки. Но ты не украдешь и не дашь никому красть'. И ради 'службы и должности' смежил бы глаза на всякую его с.-д. 'Черт с ней. Этот хороший министр у меня с дурью'."[7]

Как раз в "министры" Пешехонов пять лет спустя после издания этой заметки в книге В. Розанова "Уединенное", и попал. А разобрались с ним, как рекомендовал Розанов Царю, не Царь, а коммунисты: на первых порах Христиан Раковский решил "смежить глаза" на пешехоновский пешеходный мелкобуржуазный демократизм и взять Пешехонова к себе в писаря-специалисты. Но мы увидим, что из этого вышло.

Именно в силу своих качеств, – открытости, честности и, главное, чи-

стоты, Пешехонов был понят и принят грамотным петроградским рабочим людом, когда, уже после февральской революции, интеллигенты, склонявшиеся к истинному народовластию, начали создавать по районам Советы Рабочих Депутатов. Дело в том, что Городской Петроградский Совет Рабочих Депутатов, родившийся почти конспиративно, уже существовал и даже функционировал, а районных Советов еще не было; "верхи" появились раньше "низов". Это упущение следовало исправить.

Пешехонов оставил очень дельные, спокойные, разумные воспоминания о том, как он организовывал Совет Рабочих Депутатов своего района.

Вскоре Пешехонов стал министром Временного Правительства; ему достался самый взрывоопасный портфель: министра продовольствия. Тем не менее, после того, как в июне 1917 г. Пешехонов выступил с отчетом о работе своего министерства на Первом съезде Советов, никто иной как Троцкий сказал:

> "Если бы Временное Правительство состояло из двенадцати Пешехоновых, то большевики не вели бы с ним борьбы".

Пешехонов именно в такой редакции вспоминал потом эту фразу. М.П. Якубович, делегат съезда рассказывал мне, что Пешехонов сразу же заявил: он отчитывается перед съездом, а не просто информирует его. Съезд Советов, сказал тогда Пешехонов, в данный момент – единственно народная, выборная власть.

Всякая идеология – религиозная или иная – исторически существует как единство определенного круга идей и людей, согласных с этими идеями. "Человек" и "идеология" всегда выбирают друг друга. Даже в "браке по расчету" тут существует элемент взаимности. Но в быту, – а, значит, тоже в истории – идеология всегда олицетворена. Идеология всегда существует на уровне интеллектуального и духовного опыта данного лица. И может случиться, – хотя случается гораздо реже, чем хотелось бы, – что человек обживает, очеловечивает свою идеологию, которая сама по себе, без него или в другом человеке осуществляется как весьма жесткая и жестокая концепция.

Поэтому человек, даже и приверженный к тоталитаристской системе взглядов, может впасть в кихотизм, не как в идеологическую ересь, а просто как в ошибку поведения. Тоталитарные государства, какая бы пышная гуманистическая фразеология ни украшала их фасадов, терпеть не могут слишком энергичной защиты отдельного человека, пусть даже случайно затянутого государственной машиной на перемол. В чересчур энергичном, хоть и вполне законном заступничестве, администраторы тоталитарной складки видят покушение на важнейшее право тоталитарного государства.

Речь идет о праве государства на произвол.

В идеологии это право обычно не фиксируется. Так что никакая идеология не может гарантировать человека от заболевания кихотизмом. Гарантировать человека от перемежающегося кихотизма может только

сам человек.

Но даже последняя сволочь не может гарантировать себя от своей же собственной "капли добра".

В лице Пешехонова идеология простосердечного позитивизма, включавшего и реформистский социализм, и веру в Разум народный, – облагородилась и утончилась, потому что оказалась безоговорочной по отношению к тому истинному и доброму, что в ней было.

Во время Гражданской войны все партии "взлетели" над своими программами; народные социалисты не были исключением. Пешехонов же стоял на своем и обстоятельствам не поддавался. В результате он оказался, сам того не желая, не просто в критическом, но даже в кихотическом одиночестве: он сделался самоотверженным рыцарем идеалов, которых ни для кого уже не существовало.

Троцкий совершенно напрасно польстил Пешехонову на первом съезде Советов: ни один из "двенадцати Пешехоновых" не потерпел бы разгона Учредительного Собрания, как не потерпел этого и один единственный реальный А.В. Пешехонов, оставшийся со всем своим достоянием: ни с чем.

На юге России, в Одессе, Пешехонов попытался возобновить издание "Русского богатства". Журнал этот в 1918 г. запретили большевики. Возобновить издание не удалось. Пешехонов оказался на Кубани, в казачьей республике. Судя по цитировавшемуся в первой части этой книги отчету Екатеринодарского съезда кадетов, Кубань стала превращаться

> "... в какую-то Швейцарию, где находят себе приют бегущие с Дона, благодаря принятым против них мерам, социалисты".[8]

Троцкий в книге "Терроризм и коммунизм", не стесняясь по обыкновению допустить передержку, заявлял, что меньшевики и эсеры Кубанской Рады создавали армию Деникина. На самом деле ядро Добровольческой армии создавали генералы Алексеев и Корнилов. Кубанские казаки действительно воевали в Добровольческой армии, уплатив предварительно "опрометчивым", по оценке Орджоникидзе, товарищам деньги за снаряды, истраченные на обстрел кубанских казачьих станиц из пушек большевистских бронепоездов. Впрочем, может быть, вспыльчивые кубанцы решили отогнать большевиков от своих станиц и не уплатив денег за эти снаряды.

Но после операции генерала Покровского по уничтожению социалистов – членов Рады кубанцы стали воевать существенно хуже, как отметил это в своих приводившихся выше воспоминаниях Виктор Краснов. Кубанцы обороняли Новороссийск уже совсем вяло. Зато, как вспоминает другой мемуарист, небольшое время спустя те же есаулы, что воевали у Деникина, лихо вели кубанских казаков в бои против Польши.

Для того, чтобы понять положение А.В. Пешехонова на Юге, нужно иметь в виду соотношение социальных движений в тогдашней России. Л.З. Копелев совершенно прав, выделяя три главных силы: демократическое революционное движение, движение за реставрацию прежних по-

рядков, большевистское движение. Демократическое революционное движение ("мелкобуржуазное", "буржуазно-демократическое" по терминологии большевиков), ничуть не кончилось после свержения Временного правительства. Оно продолжилось в 1918 г. в деятельности Самарского Правительства Комитета Членов Учредительного Собрания, а затем и в деятельности Уфимской Директории, объединившей областные правительства Сибири, Урала, Средней Азии и даже Эстонии.[9]

В эту Директорию вошли два социалиста-революционера Н.Д. Авксентьев и В.М. Зензинов, кадет В.А. Виноградов, бывший эсер, представитель сибирского правительства П.В. Вологодский и генерал В.Г. Болдырев, которого называли "эсеровским" генералом.

Директория была ликвидирована переворотом 18 ноября 1918 г. Переворот установил диктаторскую власть Колчака. Директория со своей демократической программой не просуществовала трех месяцев. Однако движение за демократическую революцию постоянно вспыхивало в разных городах Сибири; оно окончилось только в 1922 г., когда пала Дальневосточная Республика.

Ведущую роль в движении за демократическую революцию играли группы социалистов-революционеров. Социалисты-революционеры пытались консолидировать антибольшевистские силы на демократической основе, пытались найти компромисс с движением за реставрацию. Хотя движение за реставрацию было очень пестрым, от крайних правых до бывших умеренных левых, кадетов (в "Краткой таблице основных политических партий..." кадеты открывали собой список левых партий), компромисса не получилось. Да и какой компромиссный союз мог существовать между русскими социалистами и адмиралом Колчаком, которого, по воспоминаниям Г.К. Гинса, убежденного "колчакиста" и министра Верховного Правителя, среди битв и государственных дел "особенно занимали" "протоколы сионских мудрецов", "ими он прямо зачитывался".

Хотя адмирал очень интересовался этими протоколами, а "голова его была полна антимасонских настроений", эта ядовитая мифология, которую шестьдесят лет спустя воодушевленно переняли уже и некоторые большевистские историки (см. Н. Яковлев "1 августа 1914". М., 1974), ничуть не была остатками прежнего адмиральского кихотизма.[10] Рассуждать политически здраво она, разумеется, мешала. Никаких альянсов у Колчака с движением за демократическую революцию не получилось. В рамках антибольшевистской борьбы две эти силы – движение за демократическую революцию и движение за реставрацию – только мешали друг другу.

Существовала в те времена еще и четвертая сила, чей маркий зеленый цвет равно пачкал антиподов, – и движение за реставрацию и большевистское. "Атаманщина" разъедала и "красный", и "белый" тылы, независимо от того, были ли эти монархисты атамана Семенова или анархисты "батьки" Махно.

Через неделю после колчаковского переворота атаман Семенов отправил ультиматум Колчаку; атаман потребовал, чтобы Верховный Прави-

тель немедленно сдал дела генералу Хорвату или Деникину.[11] Только вмешательство генерала Жанена, командующего союзными войсками в Сибири, и переброска восьми эшелонов чехословаков успокоили этого удельного казачьего князя. Только сила заставила прояпонски настроенного атамана несколько присмиреть.

Многие и сейчас считают атамана Семенова лихим и легитимным белым казаком; а иным кажется, что атаман Махно, бывший каторжник на царской политической каторге, был истинным и чистым анархистом.

Но это все сейчас так кажется. И сейчас об этом можно спорить. А тогда не спорили; просто спорные места объезжали стороной, если было возможно.

В политический ландшафт Юга и Востока России Пешехонов решительно не вписывался.

Расправа деникинцев с деятелями Кубанской Рады возмутила Пешехонова:

> "Их предали всенародной казни в Екатеринодаре и еще привели жену и детей одного из казненных, чтобы те посмотрели, как он болтается на виселице", – писал Пешехонов в книге "Почему я не эмигрировал?"[12]

Это вечно зеленый вопрос для русского интеллигента, – вопрос, можно сказать, на все советские времена. Я, разумеется, имею в виду интеллигента в традиционном смысле этого слова, т.е. человека социально чувствительного и оттого всегда прищемленного. Есть и другой тип образованного человека:

> "... интеллигентный гвоздь, который вбивает на известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать все, что эта посторонняя рука на него повесит", – так Глеб Успенский определял этот тип.[13]

О таких речи нет. Но интеллигентный человек, не закаленный образованностью гвоздь, живет в России с большой оглядкой, а это утомляет. Вопрос: "Почему я не эмигрировал?" – в те периоды, когда эмиграция из страны становится совершенно невозможной, встает перед интеллигентом тем острее, чем больше друзей у него уехало, пока эмиграция разрешалась с большим трудом.

Жизнь, которую Пешехонов себе выбрал (а в 1919 г., побывав некоторое время у "красных" в Одессе, он перебрался к "белым" в Ростов, так что возможность сопоставлять у него имелась) – жизнь эта была фантасмагорической, как в дурном сне:

> "Аппараты предшествовали полю деятельности. Сперва появлялись Губпродкомы, Собесы, Губздравы, – без продовольствия, без возможности чем-либо обеспечить, без лекарств. Реально работало только то, что было связано с армией и ЧК. Все, что сколько-нибудь знало и умело, было придавлено, разогнано во имя того, чтобы вместе с этими знаниями и умениями не возвратилось старое. Од-

нако 'аппараты' должны же были что-нибудь делать, и от этого развилися бюрократизм, бумагофилия, прожектерство и фантастика. 'Аппараты' держались хоть каким-то довольствием; массы – заботой о сегодняшнем вечере – где было думать о завтрашнем дне! – и социальными надеждами, а также гордостью наступившего равенства, хотя бы равенства в нищете. Это последнее было тем отраднее, что уничижало в первую очередь вчерашних имущих, 'образованных'.

Несбыточные директивы и разделение по довольствию, эфемерная деятельность (по необходимости ситуации) создавала то, что люди держались в 'аппаратах' круговой порукой и силой поддержки сверху. Однако усталось низов и бесперспективность белого движения в соединении с ощущением того, что новые начальники все-таки 'свои', из народа, создавали снизу почву, которую можно было при условии активной пропаганды, жестокой карательной политики и хоть какого-нибудь снабжения (но непременно недостаточного: чтобы было, о чем заботиться прежде всего другого!) сделать, пусть временно, но прочной.

Эти расчеты оправдались, да не совсем: пришлось все-таки вводить НЭП".

В этой России работу интеллигентов-тружеников Пешехонов оценивал так: люди работают честно, хотя некоторые из них пошли работать из-под палки. Культурные и добросовестные специалисты втягиваются в работу и работают хорошо потому, что их работа нужна людям, России, хотя власть оказывается неприятным, даже ненавистным посредником. Случаи саботажа крайне редки среди "спецов". Вот и Пешехонова насилия и расстрелы большевиков не смогли выжить за границу. Он тут рассуждал отчасти по анекдоту о мужской логике, когда жена просит мужа закрыть форточку, потому что на улице холодно, а муж отвечает:

– Если я закрою, разве на улице станет теплее?..

В этом духе Пешехонов и отвечал тем, кто торопился уехать от большевистских насилий прочь:

– Если я уеду, разве меньше станет в Совдепии расстрелов и несправедливостей?

О себе он не думал.

> "Даже с загаженной Россией я не хотел расставаться", – писал Пешехонов.[14]

Эпитет "загаженная" не был метафорическим: пламенными послеоктябрьскими революционными зимами канализация в больших городах замерзла, перестала работать. Солдатские казармы превращались в Авгиевы конюшни. Интеллигентные люди деликатно выносили из своих промерзших квартир свертки с неароматным содержимым. Свертки клали по обочине тротуаров, потом все присыпал снежок, а по весне "культурные слои" таяли.

Говоря обо все этом, Пешехонов все-таки настаивал, что эмигрантам

нужно, по возможности, возвращаться в Россию. Авгиевы конюшни кому-то нужно было чистить. Смельчаков Пешехонов в своей книге "Почему я не эмигрировал?" предупреждал, что ни личной безопасности, ни сносных условий работы в России их не ожидает.

> "Однако культурные силы и политически развитые люди нужны России сейчас и еще нужнее будут они в дальнейшем. Но они должны быть связаны с русской почвой. Иначе не пользу они принесут, а вред. Это ведь мы по опыту знаем. Русская революция, вероятно, имела бы совершенно иное течение, если бы в конце первого же месяца ее не нахлынули и не начали руководить собраниями в качестве левых партий эмигранты и ссыльные, в общем очень мало знавшие русскую действительность и, главное, непосредственно не ощущавшие ее. Мне кажется, что даже Ленин, если бы он все время жил в России и находился в непосредственном общении с нашим рабочим классом, не был бы маниаком коммунизма и социальной революции... И я с ужасом думаю, что в ближайший ответственный момент русской истории в Россию может нахлынуть еще большая масса людей, уже потерявших ощущение русской действительности, – в том числе маниаки собственности и реставрации. Нужны очень большие культурные и политические силы там, на месте, чтобы эти утратившие и не восстановившие своих связей с Россией люди не захватили руководства событиями".[15]

По мнению Пешехонова, в эмигрантской среде напрасно полагали, что "дела в России идут все хуже и хуже и что не сегодня – завтра произойдет катастрофа". Наоборот: народ постепенно "начинает вылезать из ямы, в которую свалился".

Бывшему министру Временного Правительства казалось, что "народ" будет "вылезать из ямы" тем же путем, по которому в нее соскользнул. Поэтому Пешехонов и беспокоился, что "в ближайший ответственный момент" в Россию могут "нахлынуть" недавние эмигранты.

Но "вылезать из ямы" стали по-особому, сперва – по троцкистско-ленинскому, потом – по ленинско-сталинскому пути; историческое развитие, как всегда, в своих конкретных формах обмануло человеческий разум, которому осталось утешаться тем, что общую тенденцию развития событий он все же предугадал. Прогнозы Пешехонова, о которых речь пойдет в следующей главе, – яркий тому пример.

История помогает предугадывать будущее. Но, в отличие от гадалки, пользующейся картами или кофейной гущей, Клио, муза истории, будущего не предсказывает.

Люди, покинувшие в разные времена Советскую Россию, были уверены, что вскорости "все это" кончится, что по-существу все живое – с ними, за границей, а в России – кладбище, в лучшем случае "человеческая слякоть". Пешехонов был верен русской идее, понимая, что Русь как идею оторвать от России эмпирической невозможно. Случился очередной наш парадокс: в то время, как многие радетели русской идеи с отвраще-

нием отвернулись от Советской России, как от мертвого тела (эту позу некоторые "патриоты" пробуют повторить и сейчас), настоящим-то почвенником, не фразистым "русофилом", а человеком, приверженным к России, как к собственной судьбе, оказался умеренный социалист, интеллигент-труженик, Рыцарь Бедный в пенсне на шнурочке.

Но как мог он, этот Рыцарь Бедный, признать Советскую власть, оставаясь нравственным человеком?

Пешехонов отвечал на эти упреки, что с его стороны признание Советской власти было не актом, а процессом. Когда в декабре 1917 г. его ограбили, – он к ней обращаться не стал. Но в 1918 г. выполнил все требуемые формальности, когда попытался издавать газету в Москве.

> "Это признание складывалось постепенно и делалось тем более полным, чем более сама Советская власть становилась действительной властью", –

писал Пешехонов, и мы вправе тут себя спросить, не был ли он слишком приспособляем, слишком конформен для Рыцаря без Страха и Упрека?

Правда, Короленко, получивший звание Рыцаря Печального Образа от наркома Луначарского, тоже признал Советскую власть, – иначе он не обращался бы к ее носителям с ходатайствами.

Но, может быть, и он, да и вообще всякий, – в том числе А.Д. Сахаров, обращающийся к Советскому правительству, – конформист? А истинный Рыцарь стоит в стороне и помалкивает, сардонически поджав губы?

Такая позиция – и бездействие, и оправдание бездействия в одно и то же время – налицо в русской жизни и теперь, как прежде.

Зато начальство к словесным эскападам относится как к применению против него ядовитого идеологического оружия и очень часто отвечает на требовательные письма о законности или там демократии оружием совсем другого рода.

И если помнить, что Дон Кихот в стране Советов – это, по определению советского же идеолога, с которым и я согласен, – человек идеально нормальный, то дальнейшие мотивировки Пешехонова не вызовут возражений:

> "Как я могу не признавать улицы, на которой я живу? – как-то характеризовал мне наше положение один из моих знакомых. – Я могу находить ее грязной, небезопасной, могу желать переменить ее на другую, но не ходить по ней я не могу. Разве только безвыходно буду сидеть дома...
>
> ...Но в вопрос о признании власти некоторые вносят моральный элемент. 'Как можно, – говорят нам, – признавать власть, которая вся в крови? Ведь это же не власть, а палачи, разбойники!'
>
> Но, позвольте! А царская власть разве не была обрызгана кровью? Однако же мы признавали ее, – правда, неустанно боролись с нею и в конце концов свергли ее, но, пока она была, мы считали ее

властью и относились к ней, как к власти. Но оставим царскую власть... Не признавали ли Вы власть Деникина? (Беру именно Деникина, потому что подобные разговоры мне пришлось вести именно на Кубани.) Или Вы не замечали крови на этой власти? Если у большевиков имеются Чрезвычайки, то у Деникина были ведь контрразведки, а по-существу – не то ли же это самое?

О, конечно, большевики побили рекорд и количеством жестокостей намного превзошли деникинцев. Но кое в чем и деникинцы перещеголяли большевиков...

Лично мне самые ужасные ощущения пришлось пережить именно у деникинцев. Никогда не забуду, как в Ростове метался я между повешенными. На первого из них я, помню, наткнулся на углу Б. Садовой и Б. Проспекта. Сначала я даже не сообразил, в чем дело: вижу, небольшая кучка окружила и стоит около человека, прислонившегося к дереву. Этот человек показался мне необычайно высоким. Подхожу, а у него ноги на пол-аршина не достают до земли, и не на них он держится, а на веревке, привязанной к суку... Я шарахнулся в сторону, вскочил в трамвай, и уже на нем доехал до вокзала, куда шел. О ужас! И тут виселица: повешена женщина, и к ней пришпилен ярлык с надписью 'шпионка'. У того – опорки на ногах, у этой – чуть не новенькие башмачки...

Бросаюсь обратно в трамвай и еду на нем до Нахичевани. Выхожу на площадь – и здесь импровизированная виселица! По всему городу и пригороду – на страх приближающимся врагам – в этот день властями были повешены люди, и мы должны были жить и ходить среди них, пока архиерей не упросил избавить нас от этой муки. Ради праздника Рождества Христова жителям Ростова была дана амнистия, и трупы были убраны... Я не стал бы писать об этом, если бы этот случай был в своем роде единственным. Но ведь публичные казни – в порядке белого террора – практиковались и в других местах... А погромы! А резня в городах, отбитых у большевиков, – хотя бы, например, в Майкопе! О, крови и жестокостей было достаточно, даже чересчур!

Всю жизнь я мечтал о власти, которая не обагряла бы руки в крови, и не перестану к этому стремиться. Я продолжаю думать, что даже в наше жестокое время такая власть возможна... Но вопрос о признании власти решается не этим, во всяком случае, – не этим только одним...".[16]

Дальше Пешехонов написал в своей книге, что, приняв Советскую власть как факт, он ее отнюдь не санкционировал. Власть, разумеется, в пешехоновской санкции не нуждалась, но и Пешехонов жил в оппозиции к ней; это его положение и отношение к большевизму противопоставляло Пешехонова "сменовеховцам" с их одобрением и приятием красной власти. В анкетах, которые Пешехонову приходилось по правилам советской службы заполнять, он писал, что состоит членом партии Народных социалистов и является членом ее ЦК.

Пешехонов не участвовал ни в советских манифестациях, ни в субботниках.

Когда украинские власти (Пешехонов жил в тогдашней украинской столице Харькове) предложили ему перейти на службу в Народный Комиссариат по продовольствию, – он отказался.

После этого осенью 1920 г. Пешехонову предложили стать председателем Комиссии по исчислению убытков, причиненных империалистической войной, гражданской войной и блокадой. Пешехонов написал в Совнарком, что не принадлежит к правящей партии и принципиально с ней расходится, отчего и не может принять назначения. Пешехонов был человеком принципа, как Дон Кихот, а не человеком ситуации, как большинство нормальных людей.

Пешехонов работал в Центросоюзе, в Потребительской кооперации, существовавшей до большевиков и ими захваченной.

Он оставался идеалистом; идеалистом не потому, что был наивен, а потому, что вообще сохранил прежние свои идеалы, те самые, скучные, книжные, опровергнутые самой жизнью, которые он безо всякого блеска излагал в своих изысканиях по истории чести и совести на Руси – свойств, уже совершенно никому не нужных и даже опасных.

Не принадлежа к "сменовеховцам", к "большевикам", к "антибольшевикам" при ком же, собственно говоря, он оставался?

Ни при ком, – а, стало быть, и ни при чем, кроме собственных своих устарелых идеалов.

Титул члена ЦК Народной Социалистической партии значил не более, чем звание Странствующего Рыцаря во времена Сервантеса.

Между тем ростки будущего уже являлись в тогдашнем настоящем. Пешехонов рассказывает, как органам ЧК понадобился статистик. Никто в ЧК не пошел. Тогда чекисты арестовали статистика и стали его возить из тюрьмы "на принудительные работы по специальности". Потом его освободили на условии, что он останется работать в ЧК. С трудом его "удалось освободить от этого рабства", – пишет Пешехонов.

Из Центросоюза Пешехонову пришлось уйти: наладить там ничего не удавалось. Он окончательно перешел на государственную службу (Пешехонов уже был членом Статистической коллегии). Ему предложили работать в Центральной Комиссии помощи голодающим при украинском ВЦИК'е. Он отказался из-за недавней расправы с Общественным Комитетом помощи голодающим в Москве из-за того, что украинские власти поставили общественным организациям, желающим помогать голодающим, совершенно неприемлемые условия.

Так он брезгливо донкихотничал, а Раковский, украинская советская власть, и его сподвижники это терпели: дело не только в знаменитой фразе Троцкого о Пешехонове-министре. По мнению Пешехонова, авторитет демократического "Русского богатства" еще существовал для старых "интеллигентных большевиков".

И все же Пешехонову пришлось заниматься помощью голодающим, которую большевики организовывали весьма политично, себе не в ущерб.

Вот как об этих занятих рассказывал сам Пешехонов: в Комиссии помощи голодающим, где он работал от ЦСУ Украины, командовали 2-3 коммуниста, проводившие директиву, что на Украине голода нет, а надо помогать Поволжью. С представителями крестьян голодающих украинских губерний не считались. Все было как в продовольственном совещании под председательством калужского губернатора Горчакова, который

> "... не взирая ни на что, проводил директиву, полученную от тогдашнего министра внутренних дел Горемыкина: никакого голода нет, есть только недород... Атмосфера была совершенно такая же. Впрочем, теперь она была еще хуже, – все было грубее и по отношению к голодающим бесцеремоннее. Я попытался предъявить имевшиеся в моем распоряжении статистические данные о продовольственном положении некоторых украинских губерний, но к ним отнеслись совершенно так же, как в свое время к статистике в горчаковском совещании".[17]

Новорожденные советские чиновники оказались в родстве с заматерелыми царскими: их роднила директивная любовь к очкам, которые они себе сами же втирали.

Пешехонов в комиссию ходить бросил, но у него запросили все-таки статистические данные. Пешехонов их дал, однако же в комиссию так и не пошел.

Когда нужно было помочь России, Пешехонов, как и другие такие же, работал на большевиков. Иногда от этого была некоторая польза, часто помощь оказывалась бесполезной, ибо своему классовому чутью новые начальники доверяли больше, чем чужим специальным знаниям.

А порой попытка помочь не оставалась безнаказанной.

Летом 1921 г., когда неурожай на Украине в ряде губерний только еще обозначился, при смене продразверстки продналогом украинским властям пришлось самим определять размеры налога. Пешехонов заведовал текущей статистикой.

> "Были известны лишь 'виды' на урожай, – вспоминал он, – и пришлось по соотношению между 'видами' и урожаями в прежние годы заключать о вероятных размерах урожая в этом году".[18]

К концу июля 1921 г. налоговые ставки были установлены, декреты изданы.

И тут из Москвы приехало начальство – управляющий Центральным статистическим управлением П.И. Попов.

– Приехал поучить вас...

Слова т. Попова были многообещающими; мандат с подписью Ленина, где Попову поручалось настоять на увеличении общей суммы продналога по Украине, не останавливаясь даже и перед введением дополнительного налога, никаких сомнений не оставлял.

Разумеется, человек с мандатом нашел налог низким; но доказатель-

ства свои он строил "на статистической почве", и Пешехонов оказался его главным оппонентом. Совещание статистиков согласилось с Пешехоновым. Пошли к Раковскому, Предсовнаркома Украины. Тот согласился с Пешехоновым. Дело перенесли на Политбюро Украины. Ради интересов "селян" Пешехонов туда пошел. В ходе спора Попова с Пешехоновым член Политбюро Мануильский сказал Попову:

– Оставьте вы в покое статистику! Скажите нам прямо, в чем дело... Мы люди дисциплинированные, и сделаем все, что нужно.

Мануильский говорил за три года до этого Солоневичу, что Россией триста лет управляли подлецы и бездарности, а теперь будут управлять они, люди, любящие народ. И вот романтическая фраза обернулась рептильной реакцией, – причем, не просто рептильной: то было приглашение к сообщничеству. Впоследствии Мануильский, дисциплинированный романтик власти, сделался сталинским ножом при уничтожении деятелей Коминтерна.

Попов, хоть и восторгался, верно, в молодости благородными шиллеровскими "Разбойниками", предпочел мафиозному сообщничеству честное сотрудничество, и вместо того, чтобы ответить Мануильскому от чистого сердца по правилам тоталитарной задушевности, начал качать научные права. Остался, как пишет Пешехонов, "на почве статистики". И только когда Пешехонов убедил политбюро, что налогов повышать нельзя, Попов заерзал, занервничал, закричал, что сейчас же сообщит все Ленину по телефону и что украинские статистики не смели действовать самостоятельно.

Этот Попов почел было ниже своего достоинства стать сообщником "не подлецов и не бездарностей", которые теперь правили трудовым народом; но когда прищемило, он вспомнил, на каком свете живет, и повел себя как баскак из Золотой Орды.

Раковский, однако, не испугался, а "спокойно и с достоинством" ответил Попову, что тот должен был, если он претендует руководить украинскими статистиками, своевременно их проинструктировать. Раковский заявил, что он тоже доложит Москве о соображениях украинцев.

На следующий день пришло распоряжение московского Политбюро следовать указаниям Попова.

Статистика была побеждена вместе со здравым смыслом; но это была не кихотическая победа.

Пешехонова искали, чтобы он в новой ситуации помог своим опытом, – но не нашли. "Очевидно, так искали", – саркастически замечает Пешехонов.

"Собрать 60 миллионов пудов нам (т.е. Москве) и 60 миллионов пудов вам (т.е. Украине)" Комиссариат продовольствия оказался не в состоянии. Юг Украины уже голодал. Но Москва все не верила украинскому голоду, и в декабре 1921 г. или в январе 1922-го – Пешехонов не помнил точнее – из Москвы прибыла комиссия, чтобы проверить расчеты Украинского Наркомпрода и добиться от Украины хлеба. Пригласили и "статистику" в лице Пешехонова. Пешехонов сообщил, что по ста-

тистическим данным урожай не оправдал даже "видов" на него, и что хлеба не хватит самой Украине. Комиссия уехала ни с чем.

> "А в своем докладе московскому Политбюро один из ее членов объяснил неуспех ее миссии тем, что сельскохозяйственная статистика на Украине находится в моих руках, т.е. в руках человека, известного по своим народническим тенденциям. Но я узнал об этом много позднее", – рассказывает Пешехонов.[19]

Он не знал, что 20 января 1922 г. московское Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение об отстранении Пешехонова от работы: в нем, специалисте, был корень зла.

Решение это было истинно революционным: Ленин писал в "Философских тетрадях", что человеческое сознание не только отражает, но и переделывает мир. Для революционера естественно было переделывать реальность всю до основания, – от учреждений, дворцов, фабрик – до цифр, равнодушно и косно фиксирующих положение дел.

Однако опыт военного коммунизма показал, что руководство сельским хозяйством, доведенное до рукоприкладства (Наркомфину пришлось циркулярно запретить телесные наказания при взимании налога с крстьян, т.к. такие случаи имели место)[20] для сельского хозяйства разрушительно. Для советской власти на тот период такое руководство было опасно. Кроме того, украинские начальники наивно полагали, что перед тем, как переделывать косные, равнодушные к коммунизму цифры, их все-таки нужно знать. Украинские руководители к тому же верили в свое право на самостоятельный отбор кадров.

Поэтому события в Харькове развивались так: в середине февраля 1922 г. Пешехонову под секретом сообщили, что возбужден вопрос об его высылке, что среди коммунистов по этому поводу есть разногласия. Вероятно, Пешехонова переведут в Москву.

> "Через несколько дней действительно в ЦСУ, где я служил, от имени ЦК коммунистической партии поступило требование о немедленном откомандировании меня в Москву. Требование донельзя странное: я – не член коммунистической партии; какое же право ее ЦК имеет распоряжаться мною?"– удивлялся Пешехонов.[21]

Однако не все были столь наивны; нашелся некто, немедленно настучавший в Москву, что Пешехонову дали повод удивиться "донельзя странному требованию": распоряжение ЦК не подлежало оглашению, Пешехонова должны были административно уговорить выметаться из Харькова.

Для формирования молниеносно действовавшего ленинско-сталинского аппарата еще требовалось время. К февралю 1922 г. аппарат этот строился, не срабатывал в полную силу. Поэтому ЦСУ Украины ответило Москве, что откомандировать Пешехонова в Москву не может, ибо Пешехонов в Харькове занят важными делами. Пешехонов же в это самое

время поехал в Москву на статистическую конференцию. Тут, как Пешехонов вспоминал в своей книге, на имя председателя конференции Попова из Политбюро стали поступать телефонограммы: приехал ли Пешехонов? Надолго ли? Если не насовсем, то когда окончательно переедет?

По соглашению с Пешехоновым Попов отвечал, что Пешехонов должен еще вернуться в Харьков для сдачи дел и что на это нужно не менее двух недель.

Тем временем, в феврале 1922 г., великий Ильич, горный орел, все замечавший со своих кремлевских высот и Пешехонова из виду не упускавший, написал Каменеву, другому вождю, записочку, о которой Пешехонов не знал:

"Т. Каменев!

О Пешехонове предлагаю Политбюро принять следующее решение:

1) Обязать Попова дать ему работу в статистике торговой и санитарной, не иной;

2) Возложить на Попова лично ответственность, чтобы Пешехонов не касался политики;

3) Объявить Попову параграфы 1 и 2 устно, под расписку, без дачи бумажки, с серьезным предупреждением, что за огласку прогоним и под суд;

4) Уншлихту предписать серьезно следить за Пешехоновым;

5) Харьковскому Губкому и Украинскому ЦК объявить выговор (за огласку) с записью в партбилет.

Ленин".[22]

Говоря об "огласке", Ленин, великий магистр государственной конспирации, имел в виду разглашение харьковским Губкомом и ЦК КПБ (У) январского постановления Политбюро об увольнении Пешехонова.

Между тем Попов приватно предупреждал Пешехонова:

– Берегитесь! Арестуют!

Ах, сколько же нужно было перестрелять таких Поповых, чтобы они превратились в "попок", как на лагерных вышках, так и на высших должностях!

И ведь до сих пор процесс этот не доведен до победного конца...

Телефонограммы и вся эта нервозная обстановка Пешехонову надоели; он добился аудиенции у Каменева и прямо у него спросил: в чем дело? Почему в Харькове ему говорили, будто ЦК требует его перевода в Москву? Почему в Москве к нему пристают с телефонограммами?

Каменев на все это ему ответил, что ЦК большевиков, конечно, не мог требовать перевода Пешехонова из Харькова в Москву, что это дело государственных учреждений, а если Пешехонова беспокоят телефонограммами, то они посылаются по недоразумению какими-нибудь служащими барышнями. Вообще с переездом в Москву Пешехонов может не спешить, а в Москве он будет совершенно свободен в выборе занятий.

Так Каменев самого Ильича для успокоения Пешехонова переодел в "служащую барышню".

25 февраля 1922 г. московское Политбюро приняло предложение В.И. Ленина, изложенное в записочке Каменеву.

Пешехонов же беспрепятственно уехал к себе в Харьков, успокоенный каменевскими объяснениями.

Ленин не забывал о Пешехонове. В апреле 1922 г. он записал:

> "... 7. *Центральное Статистическое Управление* превратить из академического органа в помощь управлению.
>
> Нота бене: *Пешехонов*".[23]

Мало было Ильичу написать ясно и просто, безо всяких латинских букв: "Нота бене: Пешехонов". Ему понадобилось еще и подчеркнуть этого Пешехонова.

Ибо самая эта фамилия уже как бы содержала в себе вопрос: кто кому, в конце концов, служит, – коммунизм статистике или статистика коммунизму?

Прекрасно написал об Ильиче наш прозорливец-песнопевец Пастернак:

> Когда он бращался к фактам,
> То знал, что, полоща им рот,
> Его голосовым экстрактом
> Сквозь них история орет.[24]

Получается, что – в ленинском представлении – истории не нужно было, чтобы факты говорили сами за себя: история "полоща рот" дурно пахнущим фактам, орала "сквозь них" не своим голосом, – ленинским голосом, – утешает нас поэт.

Но нужно ли разрешать фактам говорить самим за себя?

Чем факты лучше людей? Если людям запрещены антибольшевистске реплики, почему их следует позволять фактам?

Однако сколь сложным было положение мудрого Ленина!

"Академической", т.е. беспартийной, но точной статистики ему не нужно было. Статистики лживой он тоже, наверное, не хотел. Но какой же тогда должна была быть статистика, помогающая в управлении?

Не зная обо всех этих сложных переживаниях и настоятельных постановлениях, Пешехонов оставался в Харькове до июня 1922 г. Украинские власти пытались отхлопотать Пешехонова у Москвы, но успеха не имели. Тут Пешехонову дали понять, что надо ехать, иначе плохо будет. И Пешехонов поехал, – не из страха, а потому что работать стало негде.

Ведь он, "пешехонка", по розановскому прозвищу, был настолько наивен, что надеялся на какой-то смысл своей работы для России, был настолько невнимателен, что прямо-таки по-царски не видел особой разницы между Великой, Малой и Белой Русью, полагая, что, защищая интересы украинских селян, он на эту общеславянскую "Россию" и работает...

В Москве Попов (по указанию самого Ленина, о чем Пешехонов не

знал) предложил ему работу в ЦСУ. Но Пешехонов предпочел занять должность научного сотрудника в Народном Комиссариате земледелия, т.е. именно там, куда Ленин его пускать не велел.

Едва ли Каменев не знал, что народный комиссар земледелия взял Пешехонова к себе. Видимо, не было единства "наверху" в отношении к Пешехонову, и поступили было вопреки ленинскому слову. Получился зазор между секретной записочкой и возможностью исполнить ее над живым человеком. Чтобы такое не повторялось, надо было научить людей слушаться и не спрашивать. А пока Ильичу, дабы привести своих большевиков к повиновению, пришлось обратиться к Уншлихту – в ЧК.

Пешехонова арестовали прямо на улице в июле 1922 г. и выслали за границу.

> "История повторяется, – философически писал Пешехонов в книге 'Почему я не эмигрировал?' – в 1898 г. в связи с тогдашними 'продовольственными настроениями' администрация потребовала моего увольнения от должности заведующего земско-статистическим бюро. Тогда я перебрался в Полтаву, но пробыл там всего два или три месяца. По распоряжению министра внутренних дел я в числе других двадцати шести ответственных земских служащих был выслан оттуда за то, что мы отказались иметь дело с одним из сослуживцев, который оказался политическим доносчиком, при этом всем нам земская служба была запрещена навсегда. Это совершенно беззаконное распоряжение Горемыкина, когда Сенат потребовал от него объяснений, его императорское величество соизволил одобрить и таким образом санкционировал. После этого я сделался литератором".[25]

По мнению Пешехонова, в 1922 г. все произошло так же, как в 1898-м: столкновение с властями по продовольственному вопросу, переезд на короткое время в другой город, – "и я, как тогда, делаюсь литератором". Однако Пешехонов, как не раскаивался прежде, что работал в Земстве, которое в атмосфере произвола делало свое дело, так и теперь не раскаивается:

> "Когда нет других путей, то хотя бы в качестве советского служащего надо пытаться служить России".[26]

Этот Дон Кихот русской идеи, как и подобает Рыцарю Печального Образа, только дискредитировал своим примером дело, которому служил. Служебная жизнь Пешехонова в Советской России показала тщетность его же призывов. Но этот Рыцарь Бедный упрямо призывал других попытаться повторить его путь служения Отечеству в советских канцеляриях. Его упорство было следствием рыцарской преданности русской идее. Это была вполне нормальная реакция на окружающее, – нормальная в то время, когда нормою стало безумие. В такое время мы должны дорожить и в себе и в других не практической правильностью, не хитроумием, а нормальностью своих реакций.

Победителей не судят. Но победителям и не сочувствуют.

Без сострадания нет нормальной человеческой реакции на мир..

Хотя бы по одному этому благороднорожденный Дон Кихот необходим. Верный своим безрелигиозным идеалам чести и совести, бывший семинарист Пешехонов был из благороднорожденных.

После того, как Пешехонова выдворили из России, он, несмотря на то, что вышла в свет книга "Почему я не эмигрировал?", а также другие крамольные, с точки зрения большевиков, статьи, был приглашен работать консультантом советского Торгпредства в Прибалтике. На дурное дело ради России "пешехонка", то ли "писарь честный", то ли "Рыцарь Бедный" не согласился бы.

А консультантом Торгпредства он стал.

Видимо, в советском правительстве были люди, уважавшие этого своего противника.

Пешехонов умер в 1933 г.

Он завещал похоронить себя, если удастся, в Петербурге.

Даже в 1933 г. – а годы с 1929 по 1933 оказались для страны целой эпохой – Пешехонова кто-то из власть имущих в Кремле уважал и помнил.

Дон Кихот Освобожденный, т.е. высланный, вернулся в Россию мертвым.

Его похоронили, как он и хотел, в Ленинграде, на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Могила состоит на государственной охране.

Цветов на эту могилу в России носить пока некому.

* * *

Литература

1 А.В. Пешехонов. "Проблемы совести и чести" в сб. "На очередные темы". СПБ, 1904, стр. 412.

2 Там же, стр. 414.

3 Там же, стр. 382.

4 А.В. Пешехонов. " 'Доктор Штокман' на русской сцене". Цит. сб. стр. 369.

5 А.В. Пешехонов. "Самарский мужик в новом освещении". Цит. сб., стр. 344.

6 А.В. Пешехонов. "Современные аргонавты". Цит. сб., стр. 76.

7 В. Розанов. "Уединенное". СПБ. 1912, стр. 48-49.

[8] Цит. по статье Н. Устрялова "Из прошлого". См. "Русская жизнь". Альманах, вып. 3, Харбин, 1922, стр. 50-51.

[9] См. об этом в статье В. Утгофа "Уфимское государственное совещание". "Былое". № 16, 1921, стр. 15.

[10] См. об этом рецензию А.Аргунова на 2-й том мемуаров Г. Гинса "Сибирь, союзники и Колчак" в "Современных записках", 1921, т. VII, стр. 393-396. Ссылка на эту рецензию содержится в статье И. Попова-Ленского "Английская интервенция и сибирские дела в 1918-1919 годах". "Былое". 1924, № 26, стр. 248.

[11] См. "Английская интервенция и сибирские дела". И.Попова-Ленского. "Былое", 1924, № 26, стр. 249.

[12] А.В. Пешехонов. "Почему я не эмигрировал?", Берлин, 1923. стр. 32.

[13] Цит. по статье А.В. Пешехонова "Из истории чести и совести", см. цит. сб., стр. 387.

[14] А.В. Пешехонов. "Почему я не эмигрировал?" Берлин. 1923, стр. 24.

[15] Там же, стр. 29.

[16] Там же, стр. 32-33.

[17] Там же, стр. 11.

[18] Там же, стр. 44.

[19] Там же, стр. 46.

[20] См. об этом Д. Лутохин "Советская цензура". "Архив русской революции", т. XII. Берлин. 1923, стр. 164.

[21] Цит. книга А.В. Пешехонова "Почему я не эмигрировал?" в том же издании, стр. 46.

[22] В.И. Ленин. Полное собр. сочинений, изд. 5, т. 54, стр. 182. См. также прим. на стр. 618.

[23] В.И. Ленин. Полное собр. сочинений, изд. 5, т. 45, стр. 420.

[24] Б. Пастернак. "Стихотворения в одном томе". Ленинград, 1933, стр. 326 ("Высокая болезнь").

[25] А.В. Пешехонов "Почему я не эмигрировал?", стр. 48.

[26] Там же, стр. 49.

7. ПРОГНОЗЫ ПЕШЕХОНОВА И РУССКАЯ БЫЛЬ

В своей книге "Почему я не эмигрировал?" Пешехонов подводит итоги и делает прогнозы.

За год, прошедший после Октября, былое Российское государство разрушилось не просто до основания, а до того, что самая идея государственности стала бесплотной, отлетела от мира сего и витала теперь над голой, голодной, во все стороны пологой землей. А по ней, словно шарики, скатывались куда попало шалые всадники. Всадникам казалось, что это они с шашками наголо скачут друг другу наперерез, но боги смеялись над ними.

Большевикам ни к чему был этот невыносимый мираж. Они стали восстанавливать государственность. Для этого, по словам Пешехонова, они

> "... избрали латышей, венгерцев, китайцев, и при их помощи начали управлять Россией и воссоздавать русскую армию".[1]

Воссоздание армии было главным условием сохранения власти. Однако вполне понятное мне стремление Пешехонова доказать алиби русского человека в тогдашнем междуусобии едва ли исторически правильно; не следует преувеличивать действительную роль "изобретенных" "бэками" инородцев. Несколько десятков тысяч русских офицеров служило в Красной Армии; в то же время у белых были свои "голубые чехи".

Я думаю, что дело воссоздания русской армии благоприятно разрешили прежде всего большевистские представления о людях, позволившие организовать армию так, как армии еще никто не организовывал. Эта организация была виртуозна, как игра Паганини на скрипке с одной струною.

По описанию полковника Данилова, оказавшегося временно красным военспецом,[2] новая организация к 1920 г. выглядела так.

Во главе армии – командарм и два члена Реввоенсовета, без согласия которых ни одно серьезное решение командармом принято быть не может. Все трое назначаются Москвой, Реввоенсоветом Республики, т.е. Троцким.

Начальник Особого отдела опять-таки утверждается Москвой, – причем "особисты" могут схватить, кого надо, без ведома командарма и членов РВС.

При армии есть трибунал, чей приговор вступает в силу через 48 часов, если по телеграфной жалобе подсудимого приговора не отменят из центра, т.е. из Москвы.

На командном "верху" никто никого сместить не мог. Все присматривали друг за другом. Подле каждого командира – от командира роты до командира армии – стоял политический комиссар.

Надо всеми царил наблюдательный чекист-особист.

Рядом ждал своего звездного часа ревтрибуналец.

Особоотдельцы, политотдельцы, ревтрибунальцы состояли на особом вещевом и продуктовом довольствии, лучшем, чем прочие командиры и бойцы.

Красная Армия стала в ходе гражданской войны удивительным по тем временам административным сооружением.

Троцкий, образованный человек, понял, что Салтыков-Щедрин напрасно высмеял Угрюм-Бурчеева с его идеей, что шпион должен быть подле каждого.

Организационный принцип армии сделался организационным принципом общества предельного военного социализма.

Можно ли считать, что бдительный взаимный надзор в такого рода социальной организации держится на страхе?

И да, и нет.

Сам по себе страх, страх в химически чистом, природном, так сказать, виде, – это нечто ледяное, липкое, черное, убийственное. Но на примере Пушкина мы видели, как страх может оказаться созидающей силой, может даже помочь поэту писать стихи, если только страх сублимирован, подвергся своего рода психологической переработке, как нефть – крекингу. Из страха в качестве исходного сырья при помощи отлаженных социальных механизмов перегонки человеческая психика, поскольку она содержит представления о добре и зле, о долге и недолжном, способна создавать тончайшие психоидеологические продукты, столь же непохожие на исходное сырье, как не похожи на нефть духи, созданные из нефти в процессе крекинга.

Солдат-пехотинец во время танковой атаки может в зависимости от своего характера пустить в ход противотанковое оружие или убежать. Но если он знает, что за самовольное отступление его все равно пристрелят свои, то скорее всего он будет обороняться до последнего, погибнет с ощущением боевого напряжения, с патриотическим возгласом или матерной руганью на устах. И все это может оказаться смелостью, так сказать, вторичной, – продуктом "перегонки" страха. Робкая человеческая душа, стиснутая как тисками альтернативой смерти от своих или смерти от врагов, но знающая, что такое солдатский долг, вполне способна преобразить физиологический тошнотный страх в матерное мужество и получить свою награду: удовлетворение, что человек, ее хозяин, поступил подобающим для мужчины и солдата образом.

Поэтому имела свой смысл сталинская железная, а точнее – из колючей проволоки сплетенная – организация прифронтовых линий. Заградительные отряды, знаменитый приказ "Ни шагу назад", право командующих расстреливать на месте, все это давало эффект сублимации страха.

Увы, одними убежденными смельчаками в XX столетии не обойтись.

Времена трех королевских мушкетеров прошли.

Зато психическую энергию самосохранения можно, преобразив в самые разнообразные чувства, направить против человека, да так, что его сознание этого превращения даже и не заметит.

Наилучшим вариантом отчуждения энергии самосохранения является такой, когда сублимация этой энергии происходит до того, как возникает чувство страха; так происходит у смелых людей и смелых животных. С людьми это возможно, когда они пьяны или целиком захвачены каким-либо идеальным порывом. Но эффект опьянения кратковременен. А для идеального порыва нужна неколебимая вера в идеал, способная подавить даже уже и появившийся страх. Если этой веры нет, то без сублимации страха, которой помогают внешние социальные механизмы, человека трудно заставить рисковать собой.

Армейская структура, единая для всех социальных ячеек общества предельного военного социализма, была прочной. Опора партийной власти, армия, организованная описанным выше способом, не бунтовала потому, что социально активные люди, чья активность и агрессия развивались в надлежащем троцкистско-ленинском русле, сеяли в пассивном большинстве страх и в то же время способствовали процессу сублимации страха: актив не только карал и нейтрализовывал, но и вовлекал. Гибель прежнего общества с его привилегированными классами обнадеживала вовлекаемых: ведь на прежнем месте должно было возникнуть общество небывалое. Сравнительно легко можно было заставить людей внушить себе, что новая иерархия начинает собой общество равных. Активисты, как служащие в армии, так и прочие руководители, тщеславились своими новыми чинами, готовились шагать вверх; они не спорили с командирами, а шли вперед во главе своих подвластных подавлять рабочее восстание в Ижевске или крестьянское на Тамбовщине.

Тех, кто открыто противился процессу вовлечения людей в это сообщничество командующих и подчиненных, уничтожали. Тех, кто противился скрыто, разоблачали или терпели до поры.

Тоталитарный режим начинается с того, что террор подавляет душу страхом. Но залежи страха не просто трансформируются в энтузиазм; они дают побочные и очень ценные для властителей продукты: яростную ксенофобию, наслаждение насилием, наслаждение освобождающим ощущением полной личной безответственности, если решение принято Властью; но это еще не все: чувство преданности Власти, особое ощущение сообщнической спайки, садистское удовольствие от расправы с несогласными, – все это довершает характеристику человека толпы в ситуации предельного военного социализма. В якобы мирных обществах этого типа психология сообщничества в сочетании с перечисленными выше качествами – непременные социально-психологические свойства и власть имущих, и подвластных. В таких обществах сограждане – это солдаты, распределенные на постой в собственных семьях.

Возможность трансформировать страх в целый спектр других эмоций, в частности, в энергию сообщничества Пешехонов в расчет не брал.

Поэтому он писал, что "никакого цемента в советской государственности нет", и держится она только силой давления:

> "Скованный ею народ представляет из себя буквально людскую пыль... Эти же самые опасения мы высказывали в свое время относительно старой государственности. Но тогда все-таки в населении, – по крайней мере, в верхних его слоях, – было больше связности. Было довольно много обществ научных, просветительных, благотворительных и т.д. Имелись сильные уже экономические организации, достаточно разветвленная сеть кооперативов. Были профессиональные союзы, хотя и преследуемые. Были политические партии, пусть даже загнанные в подполье...".[3]

Пешехонов подробно перечисляет достоинства минувшего по сравнению с наступившим: "какие ни есть", но были общественное мнение, печать, съезды, собрания, идеи, объединявшие людей, было – пусть даже уродливое и безвластное – "народное представительство, достаточно свободное все-таки в своих суждениях". Подобно Аверченке, перечислившему в каком-то из своих фельетонов изысканные блюда, которые после легендарного залпа "Авроры" испуганно исчезли из ресторанов, Пешехонов со вкусом перечисляет пропавшие с поздней осени 1917 г. учреждения.

Что же возникло вместо них?

Описывая государственное здание большевиков, Пешехонов подчеркивал, что, на первый взгляд, всюду "организованность поразительная": советы, съезды советов, профсоюзы, выборность снизу доверху...

> "Если бы только она не была совершенно безжизненной! – восклицает он. – Если бы только эти организационные формы не были лишены соответствующего им, а то и всякого содержания!... Советские кооперативы и профсоюзы, автономные и братские республики, даже пресловутые советы, – это не больше, чем декорация... Никакой жизни, свободной и независимой, идущей из себя, в них нет. Все диктуется, начиная от выборов и кончая торжественным пением Интернационала при окончании сессии.
>
> Вся власть Советам! – с этим лозунгом большевики устроили свою революцию. 'За власть Советов!' – распевает их Красная Армия. Но такой власти не было и нет".[4]

Еще в те идиллические революционные времена члены "советов", как утверждал Пешехонов, назначались заранее. Если собрание избирателей не желало рекомендованного кандидата выдвигать, то собрание разгоняли или назначали перевыборы, – но по прежнему принципу выдвижения сверху. Председателя Губисполкома, ВЦИК'а, Совнаркома республики тоже не выбирают, а назначают заранее. Голосование открытое, и кого коммунистическая фракция выдвинет, тот проходит. Поэтому так быстро решают Съезды Советов все проблемы: они предрешены партией.

Но и партия не свободна.

> "Это ведь чисто военная организация, приспособленная для того только, чтобы передавать и приводить в исполнение приказания сверху. Каждый коммунист обязан подчиняться им не рассуждая. Никакого вольномыслия не допускается. Всякая оппозиция беспощадно подавляется. Декорации, правда, и тут имеются: съезды, конференции и т.д., но постановления и резолюции местных партийных конференций не больше как перифраз, а иногда и буквальное повторение приказов сверху. Получили и приняли к руководству. Таков смысл этого партийного единодушия и единомыслия. Таковы же и партийные выборы".[5]

Управляет всем, писал Пешехонов, Центральный Комитет, но и тут не вся правда: на самом деле во главе страны "стоит Политбюро из пяти человек".

Пешехонов был из побежденных крамольников. Луначарский – из победителей, обладающих единоспасающей верой. Тем не менее, описание русской ситуации, данное Луначарским, вовсе не противоречит пешехоновскому.

> "Каким образом можно объяснить, – спрашивал себя и других Луначарский, – то, что 400 000 коммунистов при 2 1/2 миллионах рабочих удерживают уже в течение нескольких лет громадную страну в 130 миллионов населения на своем пути? Это объясняется тем, что у нас есть опора в западно-европейском пролетариате, который идет к мировой революции; с другой стороны, мы опираемся на угнетенные массы Востока, которые стремятся освободиться от угнетателей... Это предвидел величайший и гениальнейший ум Ленина, который создал возможность проводить идеи коммунизма, опираясь на поддержку рабочих Запада и угнетенных национальностей Востока, отсталых стран Азии и Африки". [6]

В основе этого рассуждения лежит смелая метафора: 400 000 коммунистов и рабочие при них "удерживают" массу в 130 000 000 на некоем пути, с которого указанная масса иначе, видимо, сойдет. Возникает образ оцепления, конвоя.

Оцепление, победоносно сопротивляясь напору населения, находит себе опоры вне России.

Однако западно-европейский пролетариат после Версальского мира пошел не столько к мировой революции, сколько в магазины за разными покупками. Западный пролетариат оказался для оцепления скользкой опорой.

Что касается отсталых стран Азии и Африки, то до этих стран нашему поступательному сапогу было еще не дотянуться.

Диспозиция Луначарского ставит конвоира в очень неустойчивое положение; в таком положении долго не простоишь. Вряд ли Луначарский правильно объяснил описанную им ситуацию.

Для нашего времени объяснение Луначарского еще менее пригодно: угнетенные массы Востока, Азии, Африки и даже Латинской Америки скорее опираются на нас, чем мы на них. Они платят нам за поддержку главным образом апельсинами, а мы кряхтим, да поддерживаем. Но даже если опора получается взаимной, то все равно это опора единственная. Ведь западно-европейский пролетариат с прежней неуклонностью стремится в магазины, по дороге бастуя, если денег на покупки не хватает.

При этом хозяйство наше раскинулось по всем континентам земного шара. Нам удалось освободить множество племен, живущих в разных местах. Где-то наивный, в чем-то не по-хорошему жестокий усач Сталин с таким планетарным хозяйством нипочем не справился бы. Хотя отдельные случаи побегов из нашего сектора соцлагеря есть, но в основном мы развиваем дальше свой развитой социализм совершенно бесконвойно.

Метафоре "оцепления", сравнивавшей государство с движущимся людским множеством, у Пешехонова соответствовала метафора: "сила давления", – представлявшая государство в виде здания. Для "одержимого историей", в отличие от осторожного прогрессиста, метафора походная была естественней архитектурной.

Пешехонов, описав пирамидальное строение нового Российского государства, пришел к выводу, к которому Луначарский по характеру своих убеждений прийти не мог.

Пешехонов полагал, что новую государственность большевики построили "по монархическим принципам", поэтому советский строй после смерти Ленина естественным образом разовьется в монархическую структуру. Большевики монархию

> "... поднесут монархистам, как облупленное яичко... Но пусть наши легитимисты не очень рассчитывают, что это яичко достанется им и что именно они скажут, как говорили когда-то: 'Мавр сделал свое дело, мавр может уйти'. Нет! Охотник скушать яичко найдется и среди мавров, и он сделает это с большевистской ухваткой,* не ломая советского аппарата и не разваливая советской армии".[7]

Один белый офицер иронически пророчил, что, если большевики победят, то они создадут "пугачевскую монархию".

Но неграмотному Емельке Пугачеву до генералиссимуса Табуреткина было очень далеко.

Пешехонов в своем прогнозе оказался ближе к истине, чем этот офицер.

И все-таки как же мог просуществовать столько десятилетий этот "с виду совсем живой организм"? Пешехонов резюмировал его сущность:

> "В действительности – это маски, которые говорят и движутся потому, что кто-то дергает их за нитку. Такова эта государствен-

---

* Ср. книгу В. Чалидзе "Победитель коммунизма", Нью-Йорк, 1980.

ность. (Как тут не вспомнить обосновывающую такую государственность идею Луначарского, что люди – марионетки истории?.. – *Ю.А.*) И то, что в действительности чувствуют и думают многие миллионы соорганизованных в ней частичек, – никто не знает и узнать не может".[8]

Пешехонов говорил о "декорациях", "манекене"; Василий Гроссман в эссе "Все течет" – о безжизненных "макетах" разных объявленных, но реально бездействующих организаций.

Однако вот уже шестьдесят лет прошло со времен Пешехонова, а система работает как живая.

Может быть, все эти якобы "неживые" ее органы живут, – да только иной жизнью, чем та, которую Пешехонов с Гроссманом считали единственно возможной на земле?..

Смелая мысль Пешехонова не залетала далее правления большевистского Бонапарта.

Но течение времени увлекло нас за пределы той поры.

Опять у нас, как и в двадцатые годы, коллективное руководство, – и все та же, описанная Пешехоновым, структура.

Разумеется, эта структура возникла в результате перманентной войны с собственным населением за унификацию и единомыслие, – войны, с большей или меньшей силой продолжавшейся всегда. Однако сейчас ясно, что не силой оцепления "удерживают", – если вспомнить слова Луначарского, – семь с лишним миллионов коммунистов на "своем пути" остальные 262 000 000 населения, мчащегося в метро по своим делам, улыбающегося, плачущего, пляшущего, вкалывающего, филонящего, – состоящего из 262 000 000 разных людей и совершенно непохожего на те постные схемы, которые получаются из антисоветских, но советологических описаний.

Несомненно, наши конвоирующие организации играют свою роль в создании хорошего настроения у советских людей по утрам. Эти организации охраняют людей от разочаровывающей, неприятной информации, а, кроме того, спасают их от унизительного чувства страха, так как самый факт давным-давно уже существующего оцепления трансформирует страх в осознанную политическую индифферентность (как минимум), а как правило – в полное равнодушие к правде о стране и мире и склонность верить пропаганде, когда этого хочется или когда это выгодно.

Но, разумеется, дело не в одних только озабоченных государственной безопасностью учреждениях.

Правители, в чьих руках оказалось и национальное имущество, и политическая власть при помощи своих подвластных разных иерархических ступеней создали к настоящему времени небывалую "добровольно-принудительную" государственность.

В основе это по-прежнему структура армейская. Но войны нет, а промышленность работает на военные нужды. Длящаяся более полувека хроническая нехватка разных потребительских товаров и небольшие зар-

платы создали в совокупности такое положение, что на всех ступенях этой структуры работники не могли обеспечить себя честным трудом. Поэтому на всех ступенях иерархии шел взаимовыгодный обман. Одни, истинно власть имущие, получая отнюдь не самую большую зарплату в стране, ограничивались тайным потреблением дефицита и сознательным дозированием неприятной информации (неосторожных референтов поэтому не держат). Впрочем, они не самые богатые люди в стране: в южных республиках есть скромные работяги побогаче их. Другие берут, что плохо лежит. Третьи кладут государственное так, чтобы плохо лежало; четвертые неукоснительно ловят сравнительно мелких воришек, – в отдельных случаях и среднего калибра воров.

Без утайки не живут.

Так возникла психология сообщничества уже не просто армейского, но еще и мафиозного, "приблатненного". А.И. Солженицын справедливо говорил о влиянии преступного мира на "волю" и "вольных". Только еще неизвестно, кто на кого влияет. Тут необходимы специальные социологические исследования. Боюсь, что "воля" в такой же мере влияет на уголовный мир, в какой лагерная психология на психологию свободных граждан.

Сообщничество вместо сотрудничества естественным образом возникает тогда, когда люди сорганизовываются за пределами нравственных норм и делают это сознательно. Залежи страха, даже при его сублимации, нравственно ослабляют человека. Он старается не оказываться наедине с самим собой. Но зато возникает "тоталитарная задушевность".

Сообщничество у нас очень часто бывает изнанкой официальных отношений.

"Тоталитарная задушевность" – особый стиль общения при сообщничестве; она метаисторична, поскольку является признаком сообщничества при всех государственных формах.

У нас это форма главенствующая.

На службе интонационный смысл тоталитарно задушевной фразы, обращенной сверху вниз, примерно таков:

– Надо, парень, надо. Надо – значит, надо!

Главное в тоталитарной задушевности – не содержание приказа, а музыка, интонация; потому тоталитарная задушевность – сила всесокрушающая и всеобъемлющая. Противостоять ей может только Дон Кихот, потому что он не душевный человек, а формалист, – покорный слуга рыцарских форм поведения и чувствований.

Интонационный смысл тоталитарно задушевной фразы, направленной снизу вверх:

– Надо – значит, надо! Будет сделано!

Тоталитарная задушевность между равными (иногда между лицом одной ступенью выше и его подчиненным) может быть смягчена:

– Надо – значит, надо. Но, сам понимаешь, что лично я тут ни при чем, –

с такой интонацией мог, вероятно, друг-патриций передать философу Се-

неке приказ Императора покончить с собой.

Тоталитарная задушевность обеспечивает работу системы "вась-вась". В переводе со слэнга родных осин на общечеловеческий язык система "вась-вась" означает: "ты – мне, я – тебе".

Никакие правительственно-государственные директивы не возникают и не осуществляются без посредства системы "вась-вась" на подкладке тоталитарной задушевности. Руководящие указания соратников и сотрудников оборачиваются телефонными звонками сообщников.

– Иван Иваныч, значит, ты мне выделяешь десять тонн цемента, я завтра подошлю человека, а я тебе во втором квартале обеспечу тридцать тонн металла...

В таком духе изъясняются между собой люди на самых различных руководящих уровнях. В данном случае "мне" – "тебе" означает: "ты – моему предприятию, я – твоему".

Если бы некий бессильный нездешний дух, изучающий однако земные отношения, задал бы вопрос в обе стороны телефонного шнура:

– Уважаемые, откуда у одного Ивана десять лишних тонн дефицитного цемента? Откуда у другого Ивана – металл? Откуда такие возможности комбинаций, если у вас плановое хозяйство? –

то оба администратора вместо ответа грубо прервали бы разговор, ибо в него ввязалось существо не от мира сего, заговорившее с ними хоть и на русском, но в то же время на совершенно неуместном – официальном – языке.

А на официальном языке много не скажешь; его деловые возможности ограничены газетными штампами. Язык же сообщнический, язык тоталитарной задушевности, во много раз богаче интонационными оттенками, откровенней, содержателей, – словом, удобнее для дела.

Поэтому задушевная наша система "вась-вась" очень часто помогает работе, и люди, ею пользующиеся (а не пользоваться ею практически невозможно), вкладывают в нее искреннюю заинтересованность в своем деле. Ибо совершенно абсурдно было бы думать, будто командиры советской промышленности – в первую очередь бюрократы и очковтиратели. Как правило, эти люди действительно заинтересованы в своем производстве, хотя при этом вынуждены жульничать и втирать очки вышестоящему начальству, злоупотребляя как тоталитарной задушевностью, так и системой "вась-вась".

Понятно, что система "вась-вась" широко употребляется в личных целях точно так же, как тоталитарная задушевность присутствует в быту.

Женщине продали в "Кулинарии" блинчики с тухлым мясом. Она приносит их продавщице.

– Мы несвежими блинчиками не торгуем! – агрессивно кричит продавщица.

– Да я же не на принцип иду! Их есть нельзя, – оправдывается покупательница, которой не повезло.

Поворотная фраза ситуации: "Я же не на принцип иду". "На принцип идти" нельзя. Принципиальность – враг задушевности, как и кихотизм.

Только когда принципы отброшены, вы можете по законам тоталитарной задушевности перейти к существу дела, сказать:

– Блинчики есть нельзя.

Тогда, может быть, вас пожалеют.

В данном случае продавщица всю эту совершенно непонятную для свежего человека сигнализацию смыслами великолепно поняла и позвала шеф-повара. Шеф-повар пришел, понюхал и сказал:

– Да. Блинчики несвежие. Вам деньги вернуть, гражданочка, или свежие блинчики принести?

– Деньги, – сказала женщина.

Тоталитарная задушевность помирила людей, недовольных друг другом.

Почему она "тоталитарная"?

Потому, что противоречит нормам разума и требует их самоупразднения.

Мои сограждане друг другом руководят, друг с друга требуют, работают на государство, – и очень многие работают честно.

Но те же самые люди в качестве сообщников друг друга покрывают, друг с другом договариваются, обворовывают государство.

При этом они пьют водку и жалуются на жизнь.

Возникает положение, вызывающее у некоторых советских писателей пристрастие к абсурдистской прозе.

Но я помню по карагандинской ссылке, как начальник большой шахты устраивал какие-то манипуляции с железнодорожными контрольными весами, – каждый день набегали липовые тонны несданного в действительности угля. Выполнение и определенное перевыполнение плана было необходимо начальнику, чтобы его не сняли.

– Да и людям надо дать заработать, – сказал мне экономист, объяснявший мне детали этой комбинации, которых я так и не запомнил.

Для карагандинского начальника "забота о людях" существовала, хотя отнюдь не была на первом месте. Зато сами люди иной раз заботились о себе весьма своеобразно. Например, техника безопасности на шахтах обыкновенно оставляла желать лучшего. Но рабочие со своей стороны не настаивали на соблюдении правил этой техники, если надо было приостанавливать "до́бычу" (ударение – по-шахтерски – на первом слоге). Рабочие не хотели терять в зарплате.

Наум Коржавин, замечательный, по-моему, русский поэт, ныне гражданин Соединенных Штатов, в бытность свою после ссылки мастером по вентиляции на одной из карагандинских шахт, закрыл было опасный по газу участок. В ответ работяги, в основном, женщины-откатчицы, одним только матом едва не пришибли бедного поэта: они теряли заработок, а на "безопасность" чихали, чем могли.

Возможно, сейчас шахтерская лихость поубавилась.

В мое время карагандинские шахтеры вкалывали, махнув рукой на себя, – лишь бы заработать!

А начальство в ответ давало заработать, махнув рукой на них.

Получался парадокс, устраивавший обе стороны. Согласие на риск работать в загазованных штреках у рабочих и администрации было обоюдным.

Сообщничество возникало и здесь.

Возникало оно не от хорошей жизни.

Оно возникало от желания жить лучше.

Ничего абсурдистского в этом не было.

С обеих сторон было торжество социальной невменяемости.

Ибо сообщничество не обособляет человека в единицу, а сводит до нуля. Социальные механизмы уже не для него.

То, что казалось Гроссману "макетом" общественных и советских учреждений, что называл "декорациями" Пешехонов, было на самом деле сперва – начальными, потом – развитыми формами жизни людей в сообщничестве. Сообщничество дает "связность", о которой писал Пешехонов.

Сообщничество на определенном уровне воплощается уже и в государственных формах.

Поэтому, когда наши "парламентарии" непринужденно дарят чужеземной общественности свои обаятельные улыбки, когда наши дипломаты свободно, с широким жестом и ото всего сердца отвечают на каверзные вопросы так, что и зацепиться не за что, – настолько их плоский ответ еще и отшлифован, – то тут со стороны наших людей обычно нет ни лицемерия, ни даже холопства. И даже если делегаты на своих высоких сессиях подремывают, – они все равно душу положат за это свое сидячее спальное место в сообщнической иерархии.

Главной цементирующей силы нашего общества западным злыдням не понять, как не смог предвидеть ее развития Пешехонов.

Если не упускать из виду эту всеобъемлющую психологию задушевного сообщничества, то проще ответить на тяжкий вопрос, традиционный для интеллигентов разных поколений (и моего тоже): на чем же у нас в России все это держится? Почему разумные слова "свобода" или "равноправие" люди у нас понимают в пол-смысла, в четверть смысла, в ноль смысла, – а то и вовсе вне всякого смысла, о чем свидетельствует приведенная выше система равенств и неравенств?

После любого ответа на эти вопросы хочется себя же самого переспросить: как же все-таки может существовать общественно-государственная система, где Администрация говорит людям, что все равны и свободны, где люди говорят друг другу то же самое (на собраниях) и своим детям (дома, не без досады, что ребенок переносит политические темы из своей служебно-школьной жизни в домашнюю, личную); где те же самые люди выстроились в такой строй наблюдения друг за другом и сотрудничества, создали такую систему взаимоподчинения, взаимопомощи и самоугнетения, что гуманистические и демократические определения, даваемые этой системе этими же самыми людьми, совершенно не влияют на их сознание и не разрушают через это влияние самой системы?

Ответ на этот длинный, как вся наша подсоветская история, вопрос

можно предложить такой:

– во-первых, в советском штатном расписании предусмотрены "взаимопомощь" и "сотрудничество", а это до некоторой степени обнадеживает;

– во-вторых, разумные слова люди у нас понимают в пол-смысла, в четверть смысла, а то и вовсе вне смысла, потому что эти слова до них не касаются. Каждый при своем деле, при своем сообществе, – при сообществе родственников, при сообществе сослуживцев, при сообществе друзей и знакомых (сокращенно – "ЗиС": механизм "Знакомства и Связей").

Системы "вась-вась" и "ЗиС' на фоне задушевности обеспечивают и личную жизнь граждан и работу всякого рода государственных учреждений. Все это позволяет людям жить в состоянии более или менее полной социальной безответственности и даже невменяемости, зато как у Христа за пазухой.

Однако жизнью этой не все довольны.

Многим нашим высокопоставленным специалистам по коммуникативным системам "ЗиС" и "вась-вась" тоталитарная задушевность опротивела до мата: "Бардак!" – говорят они, определяя этим словом производственные отношения, сложившиеся высоко над нашими производительными силами, но тем не менее существующие независимо от воли и сознания высшего руководства.

Противостояние возникает не только в душе начальника и не только в столь деструктивной форме; за послесталинский период именно система подсоветского сообщничества выработала и вырабатывает свои "антитела". Эта система выбрасывает несогласных за границу, сует их за решетку, – но и Сахарова, и Солженицына вызвала к жизни в качестве общественных деятелей не только душа каждого из них, но и та Россия, которую эти люди критикуют.

На это мне возразят, что людей, понимающих, насколько этические проблемы важнее экономических, у нас, вот именно, раз-два – и обчелся.

Справедливо.

Но человек из Ламанчи существовал вообще в полном одиночестве, однако не боялся фантомов, которые подсовывала ему действительность, превращая в мельницы злых великанов.

Идеал действительнее факта.

Развитию сообщничества как государственно-общественной скрепы способствовали победы граждан СССР друг над другом в тридцатые годы, – победы конвоиров и идеологов оцепления над крестьянами, духовенством, интеллигенцией. Это были гигантские селекции 1929-1934 гг. (война за коллективизацию) и 1935-1939 гг. (большая война за унификацию). О последствиях для народонаселения междуусобий и войн писал еще Питирим Сорокин; но некоторое время последствия внутренних и внешних войн у нас смягчались тем, что 28 000 000 людей, родившихся между 1900 и 1914 гг., в 20-30 гг. постепенно вступали в жизнь (в дан-

ном случае я исхожу из приводившихся выше цифр Кэйнса). Сейчас этот резерв истощился. Гигантские и количественно и качественно человеческие потери еще долго будут давать себя чувствовать. Рассуждения Питирима Сорокина о "человеческой слякоти" едва ли уж совсем неверны. В свою очередь, наши унифицирующие органы тоже не дремлют, поддерживая в обществе чистоту от сорных, лишних мыслей.

Подавляющее большинство выживших сделалось большинством сплоченным и жестковыйным.

Лагерный и армейский опыт создали (и создают) матерное сообщество крутых мужчин, которые слезам не верят, – точнее, верят пьяным слезам, да и то, пока сами пьяны; общество, где спор готов сорваться в ругань, ругань перейти в драку, где ксенофобия стала эпидемическим заболеванием. Ни уличные компании подростков, ни лагерь, ни армия другому порядку ведения дискуссий не учат.

Зато люди при этом получаются, хоть и невменяемые социально, но зато ушлые, способные не то что пройти огонь и воду и медные трубы, но эти медные трубы еще и украсть. За это многие при Сталине получали большие сроки по указу "два-два" 1947 г. ("Хищение государственного и общественного имущества"), но потом откупались или же были амнистированы.

Зато люди, которые попадали в концлагеря "за политику", т.е. за слово, не так сказанное, освобождались при Сталине только условно: "Нельзя 'отсидеть' неотсидимого – 58-й статьи", – гласила лагерная шутка, родившаяся еще на Соловках.

Многие из тех, кого при Сталине потоптали, а потом реабилитировали, об этом детям, если дети не знают, и не говорят. Дети, если знают, ничего не рассказывают внукам. В семьях бывших "раскулаченных" даже пятьдесят лет спустя очень многие скрывают это прошлое от потомков.

Семьи растут вне истории, хотя история была семейным делом, семейными событиями.

Прошлое старшие поколения от младших скрывают потому, что излишняя памятливость помешает молодым участвовать в сообщничестве. У нас шершавых не любят. У нас все гладкие. А потоптанных – тем более, если они о своей родовой потоптанности сами помнят – не уважают.

Между тем, ни горький, ни "сладкий" опыт сами по себе ничему не учат. Учит только осмысленный опыт. У подавляющего большинства населения его нет. Поэтому при всем пережитом оно остается исторически неопытным, а, стало быть, в перспективе рискуя сделаться и подопытным.

А пока для здешней жизни нужна "коренастая совесть", которая и глазом не моргнет, если понадобится.

Поэтому наши жулики-сообщники совершенно честно глядят в глаза друг другу, и другим таким же.

Чем очевиднее жульничество, тем агрессивнее жулик, тем запальчивее он объясняет, что обстоятельства виноваты, а не он, начальство, а не он , – вообще, Пушкин, а не он!

А потом человек опять начинает мухлеж, – поневоле, если это школьный учитель, вынужденный "тянуть" кретинов из класса в класс; или по свей инициативе, как моряк, провозящий контрабандой что-нибудь сверхмодное.

Казалось бы, железный характер надо иметь, чтобы при всем этом чувствовать себя порядочным человеком, любить "душевное" и безмятежно улыбаться детям.

Но подавляющее большинство не воспринимает всего этого особенно драматически. Люди живут как бы мимо собственных поступков; в этом искусстве жить мимо себя самих народ у нас достиг большого совершенства.

Очень часто жульничество является формой самозащиты от государства; но это не мешает политическому индифферентизму и конформизму обороняющегося лица.

Сообщничество придает человеческим душам удивительные формы, как и писал об этом Шварц в своем "Драконе" (о пьесе "Дракон" будет ниже).

Но возникает своеобразный психологический климат общества: никто здесь не рабы. Все при деле. Каждый при своей работе плюс при доставании денег, вещей, еды. На все это уходят значительные усилия. Занятость в нашей стране очень плотная, а некоторый дефицит разных нужных предметов для поддержания такой занятости, освобождающей человека от лишних мыслей, – только полезен.

Напуганные люди, выросшие за последние тридцать-тридцать пять лет, вносят в эту психологию сообщничества дополнительную ноту искреннего цинического простодушия: власть права, потому что она – сила. Однако официльная идеология им тоже нужна: она подсказывает самооправдательные фразы, когда надо и выгодно.

Каждый здесь знает, кто он, – когда он – сообщник, когда – согражданин, когда – патрон, когда – клиент; где поможет государственный закон, где система "ЗиС". На этих струнах люди у нас играют целую жизнь и не устают сочинять новые трехголосные инвенции, варьируя тему дележа: "мине – тебе – начальничку". Эта считалочка очень важное дополнение к системе "вась-вась".

Но чтобы охватить масштаб "считалочки", нужно знать, что такое начальство, т.е. номенклатура.

Номенклатур у нас много: есть номенклатура райкома, обкома, ЦК КПСС, Совмина, отдельных министерств. Номенклатура – что клавиатура. Есть там своя "черная" и "белая" кость. На этой черно-белой клавиатуре и разыгрывают свои административные концерты виртуозы высших инстанций. Номенклатурная должность – не только привилегия, но и ответственность. Привилегии могут быть с ноготок; например, директор школы – номенклатура райотдела народного образования, утверждаемая райкомом партии. Но у директора любой московской школы хлопот больше, чем выгод. Поэтому отнюдь не все "рядовые" учителя хотят выдвинуться в директора. При этом номенклатур-

ный работник не имеет права на трудовую юридическую защиту. У юристов есть список таких номенклатурных должностей. Рабочий, по его мнению, незаконно уволенный, может подать в суд на директора завода. Уволенный начальством номенклатурный директор может только жаловаться одному начальству на другое. Обычный суд его иска не примет. Возможно, такой порядок существует для защиты "тайн кабинета", чтобы в суде не обсуждались мотивы принятия решений и планирования вышестоящих организаций и т.п.

"Руководящий работник" у нас имеет власть, но бесправен. И это определяет его поведение. Без системы "вась-вась" и системы "ЗиС", одними своими заслугами он, скорее всего, не продержится особенно долго на посту руководителя предприятия. В результате в пределах министерств и ведомств сложилась не просто круговая порука, – человеческие связи свалялись, слиплись, срослись, получился колтун, пульсирующий, живой, но едва ли полезный для развития производства. Это произошло после того, как не стало Сталина, который за хозяйственный просчет мог и расстрелять. Правящая элита обезопасила себя, и зона безопасности оказалась очень широкой.

Если к "номенклатуре" разных уровней прибавить работников умственного труда, начиная со счетовода, а также офицеров, то цифра получится увесистая, не в один десяток миллионов. Все эти сограждане-сообщники зависят от высшей Администрации куда больше, чем простые работяги. В этой среде служащих оппозиция практически очень слаба, хотя именно там она обыкновенно и зарождается. Оппозиция сильна идеологически, но сплоченное жестковыйное большинство существует на уровне сообщничества ближнего расчета и декларативной верности "своему" государству; среди других социальных ролей у каждого в запасе есть этот текст – текст роли искреннего, преданного государству человека. Такое большинство невосприимчиво к силе каких-либо идей. Зато на него действует обрядовое заклинание. Кроме того, мужская его часть склонна к "огненной воде", которой некогда колонизаторы опаивали дикарей, а мы опаиваем ею себя сами.

Среда "служилых людей", в которую входит и чуждая ей духовно количественно небольшая интеллигенция, формирует общий для всех социально желательный идеал образа жизни.

В результате не одни служащие номенклатурные и неноменклатурные охраняют вместе с солдатами остальных, а все наши двести семьдесят миллионов вовлечены в общее потребительское движение. И почти никто не думает, что от этих семечек, которые они лущат на своем историческом пути, может произойти всеобщее засорение окружающего ландшафта. И никто, кроме редких и часто героических одиночек, не озабочен будущим самой людской колонны. Большинству не до того. Все при деле, – каждый при своем.

Так что причина сейчас уже не в передовом отряде как оцепляющей силе (Луначарский), и не в силе давления на людскую пыль (Пешехонов), а в остервенелой жажде каждого поживиться. Членов пар-

тии у нас миллионы; конвойное начало пропитало самую людскую толщу. Говоря словами поэта

Все давно уже забыли,
Кто украл, а кто украден.
И одна попона пыли
На коне и конокраде.

Возникает внутренняя сила взаимосцепления, только увеличенная тем, что в традиционной системе "вась-вась" люди постоянно меняются местами.

Например, слесарь-водопроводчик может оказаться "патроном" академика, у которого отказал спусковой механизм чешского голубого унитаза.

– Уж вы, Федор Иваныч, найдите, пожалуйста...

– Поищем, поищем, – покровительственно отвечает слесарь не отцу, так отчиму современной бионики.

О таком ли равенстве мечтали поэты социализма?

Общество сделалось во многих отношениях однородным; это облегчило формирование психологии сообщничества.

Теперь в России даже слово "партейный", прежде вносившее в народ рознь, потеряло свою эмоциональную (положительную или отрицательную) окраску, которую имело еще на моей памяти в тридцатые годы. Зато сейчас ярко окрашено другое и всех объединяющее понятие:"русский". Все понимают, что "нерусский" – это если и не плохо, то все же подозрительно. Я говорю, разумеется, о русской части населения СССР.

На фоне этой спевшейся капеллы всякий голос, звучащий правдой или принципиальностью, кажется особенно диссонирующим. Поэтому Дон Кихоты, одинокие странствующие Рыцари Добра, кажутся здесь "беззаконными кометами"; самая попытка их вырваться на свою высокую стезю вызывает сильнейшее возмущение в плотно сцепленной среде. Самые разумные реформаторские предложения противопоказаны мафиозной задушевной сплоченности.

Охраняют всю эту житейскую толчею, словно острые шипы нежную розу, межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме того, как во время гражданской войны "белые" помогали "красным" (см. гл. 22-ю ч. 1), так и "свободный мир" помогает "несвободному": "съесть", "выпить", "поцеловать", "проехаться", "покрасоваться", "развлечься", – на эти действия для большинства людей распадается глагол "жить" по обе стороны Берлинской Стены. Девизы на знаменах выглядят, разумеется, иначе: респектабельно и благообразно.

Но если в качестве идеала налицо сладкая жизнь, то разумнее ею пользоваться, чем ущемлять ее ради расчетов разных тактиков и архистратегов.

Так в Западной Европе и поступают.

Пешехонов не предвидел такого развития не потому, что его поня-

тия были слабы; просто нашему разуму свойственно ставить предел скверным предчувствиям.

Время же не считается ни с какими пределами, течет себе прямолинейно вдаль, история вместе с ним продолжается; и то, что в одном случае было только возможностью, в другом оказывается течением событий.

У Некрасова в поэме "Кому на Руси жить хорошо" есть песня о Кудеяре-разбойнике:

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.

Потом Кудеяр перестал разбойничать, начал праведничать, – но не выдержал и приколол помещика-угнетателя. За освободительное убийство все прошлые грехи Кудеяру Бог простил.

В поэме Александра Блока патрульных было, по числу апостолов, двенадцать; каждому "на спину б надо бубновый туз", как сам же Блок и пишет. Но этим козырным тузам революции никаких грехов замаливать не придется: в поэме их атаман – сам Христос.

Все эти поэтические красоты получили неожиданное историческое продолжение и воплощение, которого Пешехонов и предположить не мог, хотя все прочее он предполагал правильно.

В сообщничестве есть, конечно, своя простота и прелесть; сообщничество сплачивает людей. У нас, например, люди сплотились так, что вместо государственного корабля получился огромный государственный плот, непотопляемое сооружение, потому что трюмов у него нет.

Но именно по той причине, что наша общественная жизнь заменяется сплошь и рядом сообщнической, особенно полезным для России оказалось кихотическое правозащитное движение, не занесенное извне злодеями-западниками, а выработанное самым ходом русской послесталинской жизни. Это, конечно, не был только кихотизм идеи: наши кихопаты-правозащитники начали с заступничества за людей.

Органом правозащитного движения фактически был самиздатский журнал "Общественные проблемы". Этот журнал был аристократичен и высокомерен по отношению к эмпирической действительности, как, впрочем, и его редактор-издатель, отличавшийся подозрительной по кихопатизму склонностью к старинному холодному оружию, украшавшему стены его апартаментов. Сам его рыцарский замок был удачно встроен в коммунальную квартиру на пятом этаже старорежимного московского дома.

Журнал "Общественные проблемы" рассматривал эмпирическую действительность с дистанции юридических понятий. С этой дистанции были видны не житейские детали – склочность, сплоченность, бегство, погоня, – а законы, которых ни гончие, ни гонимые по большей части всерьез не принимали. Выяснилось, однако, что законы существуют и как пред-

мет размышления, и как объект защиты. Последнее оказалось ошеломляющим: беззащитные законы как-то трудно себе представить. Тем не менее, журнал, не просто редактором-издателем, но и душой которого был Валерий Чалидзе, убедительно доказал в нескольких вышедших номерах, что законы бывают столь же беззащитны, как и живые люди, для которых беззащитность законов чрезвычайно опасна. Кихотизм идеи обернулся, таким образом, и кихотизмом сердца; к тому же Чалидзе заступался и за людей, которым приходилось плохо не по их вине, а из-за беззащитности законов. Законность – первый враг тоталитарно-задушевного сообщничества.

А такое сообщничество, в отличие от собаки, отнюдь не друг человека.

Начальство борется с нашими Рыцарями правозащитного движения по-разному. Валерий Чалидзе, например, поехал на два месяца читать лекции в США, а его едва ли не через месяц лишили советского гражданства, сочтя, что для странствующих Рыцарей какое бы то ни было гражданство не обязательно. Но этот странный человек опять обманул чужие ожидания, – не стал дальше странствовать и обосновался в Соединенных Штатах.

Но какой будет дальнейшая русская судьба правозащитной кихотической идеи?

Как будут дальше развиваться события в нашей стране?

Лучше не спрашивать.

Какими будем мы с тобой, читатель? – вот вопрос...

* * *

Литература

1 А.В. Пешехонов. "Почему я не эмигрировал?". Берлин, 1928, стр. 56.

2 См. об этом "Архив русской революции", т. XIV, Берлин, 1924; И. Данилов. "Воспоминания о моей подневольной службе", стр. 94.

3 См. цит. книгу Пешехонова, стр. 64.

4 Там же, стр. 66.

5 Там же, стр. 67-68.

6 А.В. Луначарский. "Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем". М., 1924, стр. 70.

7 Цит. книга Пешехонова, стр. 77.

8 Там же, стр. 70.

8. ДОН КИХОТ ОСМЕЯННЫЙ

Семь лет новой экономической политики, когда жизнь, как показалось многим, оставшимся в России, образованным людям, снова вступила в свои права, ущемляя претензии фанатиков экстремы, на самом деле отнюдь не были перерывом в деле созидания "буржуазного государства без буржуазии".

Короленко оказался неправ, пророча "бэкам", что революция их окажется, как и прежние революции, только политической. Октябрьский переворот привел к социальному перерождению страны. Правда, вместо бесклассового общества возникло общество деклассированное, – общество государственных служащих и рабочих. Но общество получилось стратифицированным, снабженным системами социального взаимодействия (системы "вась-вась" и "ЗиС"), которые отчасти ограничивали советско-партийную власть, отчасти осуществляли импульсы этой власти.

Но во время НЭП'а это удивительное государственное новообразование еще только формировалось. Поэтому многое казалось оптимистам реликтами военного коммунизма; между тем, в действительности реликты военного коммунизма оказались ростками будущего.

В двадцатые годы продолжалась обработка общественного сознания всеми средствами, – от художественной пропаганды до расстрела в Соловках, чтобы оно, это сознание, согласилось аннигилироваться и уступить место замороченному беспамятству "проваренного в чистках, как соль" "содержителя" "жены и детей". На государственном фасаде голубизной и золотом сияли лозунги о воспитании нового человека с социалистической психологией интернационалиста, для которого благо советского общества важнее собственного не потому, что он муравей-строитель, а потому, что он – творческая личность, и в своей профессиональной сфере и в сфере социальной. Однако творить следовало плечом к плечу со всеми, а кто забывался, того для начала клеймили "индивидуалистом"; если же индивидуализм оборачивался скепсисом к свежевыкованным троцкистско-ленинским доктринам, человеком занималась уже политическая полиция, называвшаяся неоткровенно и туманно "Государственное политическое управление" (ГПУ), а затем "Объединенное Государственное политическое управление" , в сокращении ОГПУ. "Гепеушники" сохранили за собой имя "чекистов" и своего прежнего вождя Дзержинского.

Уцелевшая интеллигенция была ошеломлена революцией, голодом, увенчавшимся голодным мором 1921 г., который охватил далеко не од-

но Поволжье. Однако, несмотря на суровую (в сравнении с прежней) цензуру, русские интеллигенты из тех, кто тяготел к движению за демократическую революцию, все-таки поднимали голос. Но чекисты-гепеушники, а также партработники на голоса эти были и чутки, – и до 1923 г. интеллигенты противовольно "освобожденные", т.е. высланные, появлялись на разных европейских елисейских полях.

Однако доля эта выпадала, как проигрыш или выигрыш в рулетку. Каждому по случайности.

Пример тому – ситуация Юлия Айхенвальда и Густава Шпета.

В первом номере "Утреников" (1922 г.) появилась рецензия Ю.И. Айхенвальда на книгу Г.Г. Шпета "Философское мировоззрение Герцена", изданную в 1921 г. Ю.И. Айхенвальд писал:

> "Не откажем себе и читателю в удовольствии выписать следующие необычайно сильные и художественные строки Густава Шпета, посвященные мировоззрению тех фантастов и фанатиков, которые 'поворачивают свою фантазию в сторону будущего и лепят его, подстегиваемые неудачами настоящего, снедаемые ненавистью к достигнутому... Без предков, без истории в прошлом... люди такого миросозерцания становятся жестокими мечтателями, готовыми за свои фантастические „идеи„ ... жертвовать чужою и своей жизнью... Несвоевременные ни в каком времени, они грезят о никаком времени; неуместные ни в каком месте, они грезят о никаком месте; без племени и рода, они грезят о роде безродных; без лика индивидуального они живут грезой об универсальном безличьи... Кто однажды продумал смысл и психологию этого мировоззрения, враждебного настоящей – и в настоящем – жизни, тот с осторожностью и опаской будет прислушиваться к звукам марша, призывающего в бездушный град безликого будущего, ибо эти звуки только для того, чтобы заглушить стон и рыдания тех, на чьих настоящих слезах и на чьей настоящей крови воздвигается в настоящем этот бездумный и бессердечный град'."[1]

Так они и цитировали друг друга, интеллигенты, умники, люди, русские по культуре – а это важнее, чем по крови – еврей Юлий Исаевич Айхенвальд и немец Густав Густавович Шпет.

Юлий Айхенвальд не хотел эмигрировать из России – и его выслали за границу в том же 1922 г., когда он написал рецензию на книгу Шпета.

Густав Шпет не хотел эмигрировать из России и его, несмотря на неприязнь к "бэкам", не выслали; он продержался в России до 1937 г. В тот год Шпета, сосланного в Томск, арестовали там, – и он исчез.

В России Шпет успел побывать вице-президентом Академии Художественных наук и помочь русским эстетикам, психологам, философам еще немножко понежиться в лучах заходящего уже Разума. Когда последний его луч потонул в повсеместном сталинском марксизме, Шпету запрети-

ли заниматься идеологической работой, разрешив только переводить с иностранных языков, да и то под партийным контролем. После разгрома ГАХН'а Шпета и выслали в Томск.

Нет, все эти люди не были Дон Кихотами в том смысле, какой этому имени-притче придавал XIX век; это были вполне нормальные, вполне разумные люди. Если иной раз они и попадали в Дон Кихоты, то исключительно из-за непопулярности Разума в XX столетии.

Советская власть "освободила" некоторых, заболевших кихопатией, по-луначарски, – но все-таки не по-царски: при царе после революции 1905 г. человек, высланный в места "не столь отдаленные", имел право предпочесть пребывание за границей на тот же срок, а потом вернуться в Россию. Дон Кихоту, высланному из СССР, возвращения не полагалось.

Однако остались в России неучтенными потенциальные Рыцари буржуазной человечности. Так что Луначарскому было с кем сражаться своей расписной дубиной.

Партийная общественность двадцатых годов продолжила борьбу с пережитками кихотизма. Это было тем более актуально, что с 1923 по 1929 гг. вышло одиннадцать новых сокращенных изданий "Дон Кихота" для детей. Дон Кихот в его человеческом воплощении, хоть и был выслан из революционной республики, как это показал Луначарский, но в качестве идеи Рыцарь Печального Образа остался популярен больше, чем хотелось начальству, – и на Рыцаря Бедного натравили, словно сторожевую собаку, детский смех.

Читатель помнит, с какой бережностью редакция дореволюционного журнала, посвященного проблемам детской литературы, относилась к Рыцарю Печального Образа. Интеллигенты, члены редакции, боялись, что сокращения и упрощения могут исказить облик Дон Кихота, так что дети окажутся вместе с теми, кто над ним смеется.

На зло этой традиции воспитывать в детях уважение к смешному Человеку из Ламанчи Ленинградский Театр юного зрителя беспощадно высмеял Дон Кихота. Авторы пьесы попытались расправиться с самой мифологемой, задавить ее именно тогда, пока она западает в пока еще только удивленную жизнью душу: задавить ее в детстве.

Пьесу эту написали два автора: Александра Бруштейн и Борис Зон. Поставили ее в 1926 г.

Александре Бруштейн было в то время 42 года; Борису Зону – 28. Бруштейн в молодости была радикалкой из "бестужевок", питерских курсисток. После Октября она служила в политотделе 7-й Армии. Движение за демократическую революцию в ее глазах было "буржуазным", отжившим, никому не нужным.

Борис Зон, поставивший спектакль, был юношей, когда произошла революция; он видел, как развивались события после Октябрьского переворота; как очень многие из его поколения, он мог убедиться, до чего не влиятельны слова и идеи; это ощущение силы маузера, мазута и страстей человеческих в сопротивлении с бессилием Слова, которое,

как интеллигентный мальчик, несомненно, помнил, все-таки было "от Бога" и даже "было Бог", сперва ошеломляло, а потом подсказывало то циническое, легкое отношение к этическим истокам жизни, которое характеризовало многих из числа интеллигентной молодежи начала двадцатых годов.

Однако при всей демонстративной легкости жизнеощущения – живем один раз, прожить надо без родительского занудства – молодые люди прекрасно знали, что идти по жизни следует осторожно, обходя многочисленные ямы глубиной от Невского до самых Соловков.

Потом из числа этой молодежи получились жизнеспособные крепкие старики – Народные художники СССР, Народные артисты СССР, писатели-лауреаты. Борису Зону не повезло так роскошно, он впоследствии стал Заслуженным артистом РСФСР и профессором Театрального института в Ленинграде. Вот эти-то люди, – недавняя служащая (лектор) армейского политотдела, для которой русло великой русской культуры существовало лишь левою своею отмелью, и энергичный молодой режиссер написали о Дон Кихоте пьесу-фарс.

Дон Кихот

> "...в тонком черном трико, отчего его рост выделялся еще заметней, в доспехах из самой что ни на есть натуральной кухонной утвари, смешных сапожищах с раструбами важно восседал на коне, представлявшем загадочное сооружение из детского трехколесного велосипеда и лошадиной игрушечной головы. А венчал эту странную и смешную фигуру сплющенный по краям таз для варки варенья с воткнутыми в него для внушительности гусиными перьями. Головному убору вполне соответствовал поржавевший и гнутый противень, исполнявший обязанности рыцарского щита".[2]

За игровую фарсовость этот спектакль и хвалили:

> "Вечные идеи сведены к задорной насмешке над 'фантазерством', над героями бабушкиных сказок (спектакль для среднего возраста) и в этом вся 'общественная установка' псьесы", – радовался один критик.[3]

> "Надо было смотреть на грохочущий зал, чтобы оценить остроумие режиссера, когда Дон Кихот и Санчо Панса выезжают на сцену верхом на ... трехколесных велосипедах с лошадиными головами и автомобильными гудками", – восторгались авторы рецензии "Удар по рыцарскому романтизму".[4]

> "Тонко развенчивая смешное и беспочвенное донкихотство, режиссер до краев переполняет спектакль жизнерадостной игрой", – отозвался на спектакль журнал "Рабочий театр".[5]

А сам товарищ Луначарский написал в книге отзывов:

> "Спектакль очаровательно веселый. Великолепно угаданный педагогически".

Еще бы!

Дон Кихот осмеянный был Луначарскому куда больше по душе, чем даже его собственный, всерьез разоблаченный Дон Кихот.

Я уже говорил выше: Наркому мучительно хотелось, чтобы Добродетель, даже и попранная ходом истории, как Рыцарь Бедный свиньями, приползла все-таки искать у Луначарского награды.

Этого не происходило.

Но дети над дурачком Дон Кихотом смеялись, и в этом был неоценимый залог будущего.

Н.К. Черкасов, исполнявший роль Дон Кихота в этом спектакле (впоследствии он, Дон Кихот Осмеянный, сыграет Дон Кихота в пьесе Булгакова, а потом окажется и Дон Кихотом Евгения Шварца) – писал о своей роли:

> "Образ Дон Кихота развивался в плане гротеска и буффонады".[6]

> "На одном из спектаклей, – вспоминал Н.К. Черкасов, – присутствовала Мария Валентиновна Ватсон – переводчица романа Сервантеса на русский язык в конце прошлого века. Она пришла ко мне за кулисы и сказала: 'Черкасов, почему вы такой страшный? Ведь Дон Кихот был красавец. Я бывала в Мадриде на заседаниях, посвященных великому творению Сервантеса. Там принято говорить о Дон Кихоте стоя. Один академик сказал: 'Дон Кихот – наш Христос'."[7]

Но зачем был Христос советским пионерам и школьникам двадцатых годов? Это потом школьная программа не смогла обойтись без произведений, о Христе упоминающих, и без романа Сервантеса о Дон Кихоте...

Мария Валентиновна Ватсон перевела Дон Кихота в начале XX века, а ничуть не в конце XIX. Она переводила стихи Сервантеса и его новеллы; ее перу принадлежала биография Сервантеса для детей, целый ряд других оригинальных и переводных работ. Среди них была упомянутая выше, в главе 20-й, статья 1916 г., напечатанная в журнале "Школа и жизнь". Напомню главную мысль статьи: М.В. Ватсон писала, что подвиги самопожертвования Доброго Рыцаря развивают зачатки благородных альтруистических чувств и стремлений, что для большинства детей "неудачи и злоключения Дон Кихота как-то мелькают мимо" и все унижения не марают достоинства его рыцарского герба.[8] Санчо стал добрее, поверив в Дон Кихота.

М. Ватсон подчеркивала: не то важно, к у д а приведет Дон Кихот своего Санчо, а то, к а к и м становится Санчо по дороге.

И вот десять лет спустя Ватсон увидела, как Рыцарь Бедный уже совершенно, донельзя обеднел: он стал "буффонным" и оттого ограбленным.

Различие представлений о Дон Кихоте у М. Ватсон и А. Бруштейн –

это различие до полной полярности двух вариантов русской культуры.

Александру Бруштейн, впоследствии известную советскую писательницу, характеризовали культурные тенденции социалистической окраски, тенденции практичные, жизненные, как, вероятно, представлялось ей самой; отсюда Дон Кихот Осмеянный.

А Мария Валентиновна Ватсон – потомственная дворянка (родовое имение, в котором она родилась, было в Подольской губернии), не курсистка бывшая, а "смолянка" (т.е. окончившая Смольный институт благородных девиц в Петербурге). Первые ее стихи – на смерть Некрасова; она много помогала несчастному и нищему поэту Надсону, чьи стихи очень любила. Переводила она с итальянского, с английского, с французского еще до того, как увлеклась Дон Кихотом.

Рыцарь Печального Образа существовал для нее не на фоне разнообразных партийных программ, а в широких горизонтах мировой истории. И она не ждала от Рыцаря Бедного ничего, кроме воздействия облагораживающим примером.

Нельзя сказать, что воздействие оружием дало к концу XX века более обнадеживающие результаты.

Н.К. Черкасов запомнил разговор с М.В. Ватсон, которой в то время было семьдесят пять лет, не только из-за странности подобного разговора в те годы, но еще и потому, что ядра мифологемы авторам пьесы (Б. Зон был еще и режиссером спектакля) не удалось разрушить смехом. Сквозь драматургию и режиссуру в спектакле проступили новые тона. Это произошло благодаря исполнению Черкасовым роли осмеянного Дон Кихота. Постепенно в сцене прощания Дон Кихота с рыцарским вооружением Черкасову, как он пишет, удалось раскрыть основную идею этой сцены, –

> "... то отношение героя к оружию, которое можно было бы определить словами: 'Всем делать добро – и никому не причинять зла'. В этом месте спектакля юные зрители замирали и воцарялась напряженная тишина. 'Прощайте, мои верные доспехи – свидетели моих славных подвигов!' Я с радостью убеждался, что мог привлекать зрителей не только озорной буффонной шуткой, но и сердечностью внутренних переживаний. Иногда даже казалось, что в самые комические моменты действия в спектакле проскальзывают нотки трагедии, быть может, невольно, но это ощущали присутствующие дети старшего возраста и взрослые зрители".[9]

Рецензия 1927 г. подтверждает, что в спектакле появились новые ноты. Автор ее, С. Воскресенский, пишет, что Дон Кихот символичен, злободневен, как тип мечтателя, несущего в себе не одно комедийное, но еще и трагическое начало. И как ни старался театр Дон Кихота высмеять, –

> "...в игре ТЮЗ'овского Дон Кихота даже в наиболее комические моменты действия проскальзывают нотки трагедии, быть может, и невольно".[10]

В 1970 г. Р. Беньяш отметила те же неожиданно трагические обертоны спектакля, когда Дон Кихот Черкасова,

> "...веселый забавник, отбрасывал вдруг на присутствующих причудливую и странную тень. Над приделанным, из гуммозы, занимающим пол-лица носом-клювом внезапно приоткрывался печальный и скорбный разлет бровей. Поникали беспомощно, словно развинченные, руки, вертевшиеся до этого наподобие мельничных крыльев. Беззащитно и грустно складывалась в треугольник большая фигура. И тогда, даже в самом разгаре веселья, залу делалось както не по себе. И, вышучивая заведомую бесполезность и тщету его рыцарских подвигов, зрители, не отдавая отчета в причинах, все-таки постигали, конечно, не полностью, а частично, только намеком, сокровища, составляющие тайну 'великого сердца' идальго Алонсо Кихано".[11]

Режиссер и драматург отнюдь не добивались такого эффекта.

Жест актера на сцене, если не изобретается, то санкционируется у нас режиссером. Но, как есть выражение лица, так есть "выражение жеста"; жесты, быть может, не изменились. Изменился характер их выразительности.

Точно так же, как не удалось выгнать из России или отправить в тюрьмы всех подозрительных на кихотизм, не удалось уничтожить это имя-притчу издевкой.

Между тем Луначарский в свое время не зря подбирался к рыцарскому султану, никому не нужному, "безхозному", как он считал, имуществу. Среди большевиков явились свои герои. Но у Луначарского в запасниках его личного политического театра лежали теперь рыцарские реликвии, – на случай, если красные кавалеристы захотят воспользоваться белыми султанами.

Владимир Маяковский, "лучший, талантливейший поэт" советской эпохи, по определению самого Сталина, тоже предложил в 1924 г. рыцарское звание строителям социализма, по моде времени отвергнув, разумеется, Дон Кихота. Маяковский прославил не Рыцаря Бедного, который "с ветром воевал и с духами иными", а "сегодняшнего рыцаря", "различающего в чертежах точки", проникающего в недра земли за ее богатствами (стихотворение "Рабочим Курска, добывшим первую руду – временный памятник работы Владимира Маяковского").

Новые герои, несмотря на повсеместную проповедь коллективизма, были, на первый взгляд, в высшей степени индивидуальны, более того – – были неспособны слиться с другими.

Таков, например, герой знаменитого стихотворения М. Светлова "Гренада"; у героя своя мечта:

> Я хату покинул,
> Пошел воевать,
> Чтоб землю в Гренаде
> Крестьянам отдать.

Для поэта это не метафора, не проявление лозунгового интернационализма, а странность мечты, та неподражательная странность, которая характеризует сильную, непохожую на прочих, человеческую индивидуальность.

Обособленность героя "Гренады" – предельное выражение интернационализма, как предельное выражение силы комсомольского духа – пример Павки Корчагина, который, лежа в полном параличе, написал роман о своей прошлой жизни. Эта концентрация идеологически желательного, доведение банальности до предела и есть та особенность без особенности, та исключительность без оригинальности, которые, ничуть не уничтожая тенденции к единообразию, в то же время подсовывает человеку суррогат свободы выбора самого себя. Такая мнимая обособленность не противоречит коллективизму, предполагающему авторитарное лидерство.

У того же Светлова есть стихотворение "Пирушка", – не пир богов, но уж, по меньшей мере, забава титанов:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, –
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя... [12]

На космический уровень вышел товарищ Орлов; там, среди звездных метелей и людских смертей, –

Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней...

Романтики – очень часто потенциальные садисты, ибо они наслаждаются красивыми образами мучений, – будь то кораблекрушение или христианский юноша, ввергнутый в львиный ров.

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом,
Ты прошел сквозь огонь –
Полководец огня,
Дождь тушил

Воспаленные щеки твои...
Расскажи мне, как падали
Тучи, звеня
О штыки,
О колеса,
О шпоры твои...

Космические образы стихотворения рисуют титанов, полубогов, – куда уж до них, до этих романтиков, тощему Рыцарю Печального Образа!

Тут фигурирует вождь самих сил природы, "полководец огня", – не меньше того.

Короленко, как я уже говорил, не предвидел, что человек будет управлять стихиями. Зато именно о таких чудотворцах говорил полковник концлагерной службы герой песни Галича: "Мы обучены этой химии – обращению со стихиями". Светлов в своих метафорах предрек это чудотворство на чужой крови.

Но и он не мог предвидеть в свою романтическую пору двадцатых годов, что, стариком уже, выдаст афоризм:

– Все в жизни говно. А что не говно, то моча.

Возможно, такие афоризмы – неизбежная участь романтиков, когда воспоминания о том, как перед ними рушились города, погибали люди и гасли звезды перестают их утешать и теряют свою первоначальную театральную свежесть.

Одно, впрочем, объединяло этих надзвездных суперменов с Дон Кихотом: у Светлова романтический сверхчеловек, "полководец огня", был "застенчив"; в "ТВС" Багрицкого у лирического героя – чахотка; мужественно приговоривший к смерти родного брата судья Горба из стихотворения Михаила Голодного ("Суд идет"; см. "Антология советской поэзии 1917 - 1947") сутулится под тяжестью своих героических решений.

Но худоба, физическое тщедушие Дон Кихота – естественное для него свойство на рисунках Доре. А застенчивость или даже чахотка совокупного тов. Орлова – художественное средство подчеркнуть космическую силу духа этих героев, по типу воистину приближающихся к "сверхчеловеку". Так что мечта Луначарского сбылась, если не в жизни, то в поэзии.

Не случайно парализованный и слепой Николай Островский, силой духа переодолевший физическую немощь, оказался героем для красноозвездных романтиков, а потом уже и государственным символом советского романтического героя.

Зачем же стремившимся демонстрировать свою сверхчеловеческую мощь нужен был Дон Кихот, постоянно демонстрировавший свою человеческую слабость?

Нашелся, однако, человек, которому в ситуации безоговорочной победы большевистской романтики надо всем остальным, Рыцарь Печального Образа все-таки понадобился.

То был великий русский артист Михаил Александрович Чехов, племянник знаменитого писателя.

С Дон Кихотом у Чехова были сложные отношения.

> "Еще в первые годы моей театральной работы мне являлся Дон Кихот и скромно заявлял о себе словами:
> – Меня надо сыграть", – вспоминал М. Чехов.[13]

Однако Чехов возражал Дон Кихоту: сможет ли он воплотить "таинственные, полные страданий глубины" рыцарского духа Человека из Ламанчи?

Но после целого интеллектуального сражения, во время которого Дон Кихот настаивал, что Михаил Чехов может и должен сыграть Дон Кихота, а Чехов пытался себя от этого уберечь, артист согласился сыграть роль Рыцаря Бедного. Дон Кихот победил. Но, как и все победы Дон Кихота, победа оказалась призрачной.

Пьеса из восьми картин была начата поэтом Надеждой Павлович, потом продолжена В. Громовым и М. Чеховым, но закончена она не была. Положение М. Чехова становилось все более шатким и двусмысленным, а потом определилось совсем не в ту сторону. Двусмысленность и шаткость положения Чехова, артиста и руководителя Первой студии МХАТ'а объяснил своим хорошо – и высоко – поставленным голосом Луначарский:

> "Нам немножко смешно, когда говорят обо всем 'высоком и прекрасном' ... Чехову хочется 'звуков сладких и молитв'. Ему присуще сознание того, что восторженный театр с полетами в царство великодушия, философской мысли и красоты имеет свое какое то социальное значение... Нет у этого человека того понимания реальной окружающей действительности, которое необходимо для реалистического публицистического театра...".[14]

Но Чехов в ответном письме, как и подобает другу Дон Кихота, всячески отрицал, что он оторван от действительности, объясняясь при этом, что "как личность он имеет любовь к религиозным вопросам".

"Культурное время", олицетворяемое Луначарским, не имело любви к религиозным вопросам, а все больше входило во вкус разрушения церквей. Луначарский еще очень мягко высмеял Михаила Чехова, кихотического человека.

Трудно сказать, что было бы, если бы двусмысленное и шаткое положение М. Чехова не определилось в сторону бегства. Он стал невозвращенцем.

Между тем, как раз в это время, в конце двадцатых годов, Дон Кихот здешний, не осмеянный, не уехавший и не высланный, был в России совершенно необходим. Он и возникал время от времени в разных человеческих отношениях.

Но нужен он был лишь тем, кому помогал.

Социальной потребности – а социальный заказ в условиях цензуры определяли наши радетели и вожди – в Дон Кихоте не было. Вожди,

хоть и боролись между собой за власть, но, как им казалось, боролись до первой крови, а не до смерти; они чувствовали себя божественно, как герои стихов Светлова, и в помощи Рыцаря Печального Образа не нуждались.

Развлечения этих реалистов и были реалистическими. И их, и всех прочих, кто того хотел, развлекали перспективы победы над природой, над пространством и временем, словом, все тот же космический романтизм.

Михаил Кольцов однажды придал ему апологетически-фельетонное оформление.

Так как Михаила Кольцова, советского публициста, который во время гражданской войны в Испании был корреспондентом "Правды" и доверенным лицом Москвы, в 1938 г., по возвращении на родину, арестовали нивесть за что, а потом и прикончили, – то фельетона его "Без десяти десять" теперь не достать и не прочесть. Впрочем, фельетона этого даже в 1930 г. перечитывать не рекомендовалось. Поэтому я приведу из него отрывки. Фельетон был напечатан в 1926 г. То был год разгрома оппозиции, когда оказались дискредитированными Зиновьев, Троцкий, Каменев, а также многие другие из тех, кто во время гражданской войны был в составе политического и военного руководства.

Действие кольцовского фельетона-утопии происходит в 1976 г. на 64-м съезде партии, противопоставленном XIV съезду.

Карл Радек тоже в свое время позабавил Сталина работой в аналогичном жанре: Радек написал "Лекцию" для студентов Школы межпланетных сообщений, которая была прочитана в 1967 году, в пятидесятилетнюю годовщину советской власти. К этому времени Сталин сделался признанным вождем победившей мировой революции.

Кольцов не предлагал лично Сталину столь грандиозных перспектив, хотя его провидческая мысль залетела на девять лет далее.

Такого рода фантастика никак не могла принадлежать Дон Кихоту. Она и принадлежала прагматику, политическому реалисту Михаилу Кольцову. Тем более его фантазии интересны для нашей темы.

В торжестве мировой революции Кольцов, как и Радек, был уверен (впрочем, скорее всего, делал вид, что уверен).

В 1976 г. не стояло вопроса

> "... можно ли строить социализм в одной стране. Социализм строился сразу в пяти частях света. Только в нескольких маленьких буржуазных островках-государствах, закованных в необъятном социалистическом море, яростные теоретики спорили о том, возможен ли капитализм в одной стране, или это глупая успокоительная басня для впадающих в детство".[15]

В это время Ленинград,

> "... начинаясь у Финляндского вокзала, кончался Воробьевыми горами. Широкая литая дорога из синего стекла между двумя рядами садов и домов соединяла две разросшиеся и слившиеся столицы".

По стеклянному проспекту мчались электромобили, номера которых были номером профсоюзного и одновременно партийного билетов водителя: все сто процентов "удесятерившегося пролетариата" успели целиком войти в партию.

Старые вожди Октября все были живы и более того: молоды. К 1976 г. операция омоложения стала общедоступной, все партийные лидеры перенесли ее успешно.

> "У Зиновьева звонкий голос перешел во внушительный осанистый бас, который вождю приходилось повышать только на торжественных открытиях памятников".

Оппозиционеру Зиновьеву приходилось перекрывать голосом шиканье и свист сталинских сторонников.

Зиновьев был объявлен врагом народа и в 1937 г. расстрелян.

> "А.И. Рыков сильно прибавился в весе и, убедившись, что с социализмом дело крепко, по вечерам спокойно удил рыбу из аквариума Большого Кремлевского дворца".

А.И. Рыков был расстрелян в 1938 г.

> "Из Каменева омоложение сделало стройного хрупкого юношу, полудикого сына природы. Просчеты бывали только в семейном его маленьком хозяйстве, куда мчал его, безлошадного, по вечерам порывистый стосильный 'Роллс-Ройс'."

Л.Б. Каменев в 1937 г. был расстрелян.

> "Троцкий стал гораздо лучше слышать. Переведенная с американского на советский паек Европа заканчивала вихрями аплодисментов его воспоминания об уроках уроков Октября".

"Уроки Октября" Троцкого были раскритикованы по тем же причинам и с теми же основаниями, по которым сам Троцкий был разжалован в антипартийное ничтожество.

В 1939 г. Л.Д. Троцкого убил сталинский агент.

> "Безудержно занимался физкультурой Калинин. Он не чуждался также некоторых игривых обычаев нового быта. Но, за отсутствием буржуазных послов, ликвидировал дипломатический гардероб и только тогда почувствовал себя вполне дома".

В конце тридцатых годов Сталин велел арестовать калининскую жену. Сколько ни просил за нее Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, великий вождь народов нашей страны отказывал ему. Сталин сжалился над Калининым только после победы над Германией. Кажется, в 1946 г. он приказал освободить жену Калинина, которая несколько месяцев спустя умерла. Очень может быть, что все это время Председатель Президиума чувствовал себя в Президиуме вполне дома, – – но хорошо ли ему там было?

"Зато не вылезал из фрака Сталин, – развлекался дальше Кольцов, злоупотребляя тем, что тогдашние вожди еще разрешали своим партийным публицистам такие шуточки. – Прославленную суровость генерального секретаря как рукой сняло после операции. Столь скромный раньше человек теперь блистал фейерверком любезностей на банкетах орграспреда, которые делались в честь каждого перебрасываемого работника".

Сталин "перебрасывал" своих противников-оппозиционеров из края в край своей большой страны, куда хотел. Потом он "перебросил" их всех прямо на тот свет.

Сам он в 1953 г. умер у себя на даче под охраной, как последний доходяга под забором. Он упал в обморок, не успев позвать на помощь. Несколько часов пролежал он на полу в бессознательном состоянии. Похожей смертью умирали узники в его лагерях: некому было заметить, что человек при смерти, некому оказалось во-время подать лекарство, не звучало рядом ласкового человеческого голоса, – в голосах приспешников и охраны звучало все, что угодно, кроме ласки.

"Бухарин категорически отказался от омоложения. Видно, оно было ему, как слону второй хобот. Время боялось его и наградило лишь одной странностью. После пережитого как-то случая, он при встрече со знакомыми и незнакомыми восклицал: 'Осередняйтесь!' Зато Бухаринская школка, особенно после присоединения к ней Сафарова и Саркиса, быстро украсилась ортодоксальными марксистскими сединами и строго попрекала Покровского за мальчишеское легкомыслие в статьях".

Н.И. Бухарин, в то время еще союзник Сталина, был расстрелян в 1938 г.

"Д.Б. Рязанов при операции орал на докторов, перепугал их, вследствие чего ему вкатили в железу лишнее и, превращенный в комсомольца, всеми уважаемый марксовед путал автора 'Капитала' с издателем 'Нивы'."

Д.Б. Рязанов был исключен из партии и разоблачен как ее враг в начале тридцатых годов. Будучи директором института Маркса – Энгельса, т.е. главным жрецом марксистской теории, он проявил вредную для партии скурпулезность в формировании историко-партийного архива. Бесценные для историка материалы, хранившиеся благодаря Рязанову, после его снятия были сожжены. Рязанов был незаурядным человеком; он позволял себе даже "кихотические" странности: заступался иной раз за арестованных "бывших людей" из аристократии, буржуазии или из "буржуазной интеллигенции".

В фельетоне Кольцова Рязанов "орал на докторов"; в жизни он орал, в числе прочих, и на своих друзей-чекистов, среди которых был сам Дзержинский, а также Менжинский, его наследник по руководству службой безопасности.

"Узнавая от просительниц настоящую суть дела, Рязанов являлся к своим приятелям, бушевал, кричал, требовал и часто добивался если не освобождения невинных жертв, то, по крайней мере, смягчения их участи", – писал о Рязанове современник, придерживавшийся вполне антибольшевистских взглядов.[16]

В 1938 г. сталинские соколы прикончили Рязанова. По другим сведениям он умер от голода в Саратовской тюрьме во время второй мировой войны.[17]

Впрочем, фельетонист, пророча всем этим людям безмятежное будущее, допустил любопытную оговорку "по Фрейду", когда дело коснулось правосудия в новом и прекрасном мире, созданном навечно омоложенными ленинцами. В последнюю минуту перед открытием съезда объявили амнистию. Выпустили трех последних преступников.

Один из них получил срок за получасовое опоздание на заседание общества любителей древонасаждений.

Другого застали за курением неизвестно где добытой и сфабрикованной папиросы. Наркомана посадили.

Третьего арестовали и дали ему срок за то, что он, корректор, допустил опечатку в Полном Собрании Сочинений Троцкого.

Необходимость давать сроки даже в райские времена Кольцов не отрицал. Просто сами преступления казались ему смешными.

Напрасно казались.

Через два года после ареста (и, возможно, смерти) Кольцова Сталин ввел закон, каравший большим штрафом или заключением за опоздание на двадцать минут, – правда, не на заседание добровольного общества, а на работу. Впрочем, если в кольцовской фельетонной утопии людям давали сроки за опоздание на заседание д о б р о в о л ь н о г о общества, то что с ними делали за опоздание на о б я з а т е л ь н у ю работу?..

Насчет папиросы Кольцов преувеличил, но вот за опечатку в сочинениях Сталина вполне могли по доносу посадить, – так еще в XVII веке за описку в государевом имени "били батогами нещадно".

Словом, общие тенденции грядущей карательной политики Кольцов предчувствовал верно.

В остальном Кольцов оказался плохим прогнозистом.

Но ведь и каждый из его сановных высокопоставленных героев не видел действительности в ее истинных перспективах. Каждый из них жил в мире своих миражей. Миражи Сталина совпадали кое в чем с земной реальностью: Сталин понял, что если в данных условиях он будет считать единственной чего-нибудь стоящей ценностью свою власть вождя, то он достигнет невиданных результатов, – говоря словами Маяковского, "Наполеона за собою поведет, как мопса". Люди могут сами себя поставить в положение примитивных животных, если будут видеть в этом для себя выгоду. Для этого их надо правильно организовать. И вождь организовал. Но люди – одухотворенные, замечательные звери, и по воле

Сталина, вовсе того не желавшего, они сорганизовались, хоть и по-сталински, но в то же время так, что вся монолитная непотопляемая советская система вместе с венцом ее – дворцовым конвоем – оберегала (и уберегла!) – родного и любимого вождя от своевременной медицинской помощи.

Кольцов, наверное, развлек своим фельетоном "сильных мира сего". Что ж, однако, за смысл был в этой силе сильных?

Между тем Дон Кихот Осмеянный со временем снова стал в русской культуре патетическим, непобедимым Человеком из Ламанчи.

Николай Черкасов, сыграв роль Дон Кихота Осмеянного, потом, в тридцатые и пятидесятые годы, создал сперва трагического, побежденного Дон Кихота (спектакль по пьесе М. Булгакова), а затем и Дон Кихота Победителя (фильм по сценарию Е. Шварца).

Михаил Чехов, кихотический, странный человек, никуда не увез нашу память об его игре; а теперь вернулись из-за границы в Москву и работы Михаила Чехова о мастерстве актера.

Вожди, казенные полубоги, двуединые в космических высотах светловской метафористики и в фельетоне Кольцова, оставили нам свои неискренние и потому неполноценные тексты, свои страшные судьбы и долгую, недобрую, горькую по себе память.

* * *

Литература

1 "Утреники", № 1, Пг., 1922, стр. 105-106.

2 Р. Беньяш. "Черкасов", "Театр" № 2, 1972, стр. 22.

3 С. Дрейден. "Ленинградская правда", 29.12.1926, стр. 5.

4 Павловский В. и Заварухин Г. "Смена", 28.12.1926, стр. 4.

5 "Рабочий и театр", 1927, № 6, стр. 12-13.

6 Н. Черкасов. "В поисках героя". См. в сб. "Н. Черкасов. Литературное наследие. Черкасов и Эйзенштейн. Воспоминания о Черкасове". М., 1976, стр. 48.

7 Там же, стр. 51.

8 См. М. Ватсон. "Дон Кихот в руках детей". "Школа и жизнь", № 17, 1916, стр. 1.

9 Цит. статья Н. Черкасова. Стр. указанного сборника 50-51.

10 См. "Рабочий и театр", № 6, стр. 12-13.

11 Цит. статья Р. Беньяш, стр. 82.

12 М. Светлов. "Пирушка" в кн. "Стихи и пьесы", М., 1957, стр. 31. В том же сборнике есть и "Гренада".

[13] Цит. по книге В. Громова "Михаил Чехов", М., 1970, стр. 173.

[14] Там же, стр. 165-166.

[15] М. Кольцов. "Без десяти десять" в кн. "Без десяти десять", "Библиотека 'Огонек'." М., 1927. Постраничных ссылок в дальнейшем, цитируя "фельетон-утопию", делать не буду.

[16] Д.Н. Кончаловский. "Воспоминания и письма". Париж. 1971, стр. 210.

[17] См. статью М. Поповского о Вавилове в сб. "Память", № 3, 1981.

9. ДОН КИХОТ ПОБЕЖДЕННЫЙ

В течение десятилетия с 1930 по 1940 гг. в Советском Союзе произошли две опустошительных войны: война за коллективизацию и война за духовную унификацию человека по уровню вши.

Сталин говорил Черчиллю,[1] что в ходе войны за коллективизацию пришлось расстрелять и выслать 10 млн. "кулаков". Возможно, что по присущей ему скромности вождь преуменьшил цифру вражеских потерь.

Во время войны за унификацию одних только застреленных было едва ли не миллион. К концу 1938 г. в лагерях погубили два миллиона.[2] Все эти цифры могут быть уточнены; важно, что счет шел семизначными числами.

По сравнению с этими миллионами обездоленных, искалеченных, убитых жертвы Финской войны или пограничных столкновений с японцами представляются пустяшными.

Дон Кихот в течение тридцатых годов дважды появлялся на русской сцене. Во время войны за коллективизацию – в истолковании Георгия Чулкова. Во время войны за духовную унификацию (унасекомливание) человека – в интерпретации Михаила Булгакова.

Трагизм десятилетия подталкивал писателей обдумать участь одиночки среди оглушительного рева коллективов.

Война с крестьянством за коллективизацию началась в январе 1930 г. (постановление об ускоренных темпах коллективизации от 5 января 1930 г.). В 1934 г. был отпразднован семнадцатый по счету партийный съезд, – съезд Победителей. Впоследствии с присоединением новых земель к Советскому Союзу войну за коллективизацию пришлось возобновить, но пошла она уже на новых территориях.

Война за единомыслие началась поздней осенью 1917 г., с тех пор конца ей не видно. В 1935-1939 гг. была гигантская вспышка этой войны. Единомыслия добиться так и не удалось. Удалось добиться только двоемыслия. Суть двоемыслия состоит в том, что человек выбирает то или другое оценочное суждение не в зависимости от истины, а в соответствии с ситуацией, в которой он находится. Психологическая основа двоемыслия – полное равнодушие к поискам истины и повышенная заинтересованность в своей даже самой малой выгоде; благодаря этой заинтересованности Его Величеством Самим Собою, человек легко впадает в выгодный ему самообман, в чем легко убедиться на примере многих современных нам добродушных обывателей Западной Европы. У них, правда, давненько не было войн за унификацию, но там действуют, хотя и несравненно мягче, свои унифицирующие факторы.

У Сталина главным средством унификации было насилие. При этом война за единомыслие протекала несколько иначе, чем война за коллективизацию.

В ходе войны за коллективизацию нападающие применяли холодное и огнестрельное оружие; в их руках были средства коммуникации и массовой информации. Разобщенные крестьяне оборонялись чем могли: кольями, а также сохранившимся со времен гражданской войны оружием; они применяли традиционную тактику "выжженной земли": уничтожали скот, зарывали в землю зерно, которое сверх всяких налогов хотели забрать нападающие. Так, во время голода 1932-1933 гг. на Украине упрямые единоличники в буквальном смысле слова умирали с голоду на своем спрятанном в земле зерне, не желая отдавать его людям, которых они считали грабителями. Но крестьяне были захвачены нападением врасплох. К тому же среди них не было единодушия. Кроме того, крестьяне сопротивлялись сталинским кавалеристам без отрыва от обычной сельской работы. Зато нападающие вели свою войну с полным отрывом и от производства и вообще от хозяйственной реальности. Цель их войны была социально-политической. Они воевали во имя превращения независимых крестьян в зависимых от государства колхозников, и важной задачей нападавших было разрушение вражеских крепостей – зажиточных ("кулацких") дворов.

В конце 1933 г. секретарь Днепропетровского обкома партии Хатаевич после голода на Украине, унесшего миллионы жертв, высказывался так:

> "Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система теперь останется. Мы выиграли войну".[3]

Во время войны за духовную унификацию оружие у нападающих было прежним, воинским.

Нападение тоже было вероломным и неожиданным.

Это вероломство властей, в частности, Сталина, было сверхчеловеческим; впрочем, оно казалось таким в соответствии с современными представлениями об этике. Гунны, говорят, и не такое вытворяли. Однако в двадцатом столетии, даже будучи узниками сталинских лагерей, люди не могли поверить сталинскому вероломству. Они по-прежнему верили в Сталина. Эти люди не были "политической шпаной". Они были жертвами собственной веры, – веры в своего Великого Соратника и Вождя. Они тяжело переживали эту трагедию веры; но в то, что их Человекобог их же и вверг в пучину бедствий, они поверить не могли.

Правда, для окружающих эти жертвы были опасны своей способностью к молниеносному политическому доносу.

У тех, кто Сталину не верил, был врагом, оружие было не воинским, а чисто идеологическим. В сопоставлении с наступательными средствами сталинской высокоорганизованной орды идеологическое оружие обороняющихся было вполне кихотическим. Среди них тоже не было еди-

нодушия, потому что это были люди разных убеждений: и верующие православные, и мусульмане, и иудеи, и троцкисты, и ленинцы, и марксисты социал-демократического толка, и интеллигенты-идеалисты, и позитивно настроенные критически мыслящие личности, – все они, и не только они, населили гигантские концлагеря, начальство которых в разгар войны говорило "зекам" безо всякого цинизма, а с чувством хорошо исполняемого долга:

– Мне не нужен ваш труд, а мне нужен ваш труп.

Состав армии нападающих во время обеих войн менялся, но ядром ее оставались кадры, закалившиеся в деле организации крестьянских смертей и страданий, кадры, состоящие в значительной мере уже не из марксистов твердой души, а из прохвостов вовсе бездушных. То были "люди особого склада", как называл их великий вождь Табуреткин еще в ту пору, когда он не стал генералиссимусом Табуреткиным. Им помогала "пятая колонна" – колонна гебешных стукачей. Р. Конквест полагал, что каждый пятый сотрудник советского учреждения в годы войны за унификацию был "в той или иной форме сотрудником НКВД".[4] Война велась еще и затем, чтобы нравственно растлить унифицированных людей.

К счастью, заселить всю Россию людьми этого "особого склада" Сталину в результате так и не удалось. Но уже к 1931 г., еще до начала большой войны за единомыслие, усилия властей в этом направлении оказались отнюдь не безуспешными. Тут не было ничего удивительного: смертность среди порядочных людей во время первого междоусобия (1918-1922) резко повысилась по сравнению с военным временем (1914-1918). Семизначным было число эмигрировавших. Медленная, но неуклонная охота за инакомыслящими продолжалась и в годы паузы между внутренними войнами.

Однако стабилизировать социальную дефективность на желательном уровне удалось пока только Администрации будущего общества из романа Замятина "Мы".

Люди удивлялись, таились, тайком менялись, дозволяли себе кихотические жесты, противостояли молча, убежденно и реалистически выступали против, нечаянно проговаривались, – все это и вынудило вождя Табуреткина попытаться единым махом, ожесточенной и окончательной войной за унасекомливание всех и каждого, раздавить вместе с опасными людьми все ненавистные Табуреткину черты: доброту, достоинство, честь.

Однако постоянно оставался какой-нибудь недобиток, которого надо было разоблачить, как историка Д.П. Кончаловского в 1931 г. Выгоняли Кончаловского из института таким же точно способом, как выгоняли потом других и в сороковые, и в пятидесятые, и в шестидесятые, и в семидесятые годы, а именно способом "общих собраний". Кончаловский так писал о своем пятидесятилетней давности общем собрании:

> "За 14 лет большевистской власти в обществе и в особенности в интеллигенции уже успел укорениться дух полного подчинения

'власти', и, что особенно важно, 'властью" считалось каждое должностное лицо, выступившее от имени администрации, правительства, партии или комсомола. Идея, что та или другая предлагаемая мера лежит в кругу правительственных взглядов или директив, гипнотизировала людей, парализовала их волю и попросту повергала их в страх. Уже одно появление в стенгазете статьи против меня означало в общем мнении, что я осужден и что выступать в мою защиту даже частично – значило бы солидаризоваться со мною и подвергать себя такой же участи, какая ожидала меня. Зачем же делать это и губить себя, когда меня все равно не спасешь?"[5]

За пределами этого вопроса как раз и начиналось поле боя Дон Кихота. Но против таких Дон Кихотов вздымалась своими штыками и новостройками вся страна; особенно лютовала против Рыцаря Бедного молодежь. Кончаловский не был Дон Кихотом по убеждениям, но, подобно Булгаковскому Дон Кихоту, он по природе был неисправим. Это заметили и разоблачили Кончаловского именно молодые сотрудники института, где он работал.

Роль молодежи в социальном перевороте 1929-1941 гг. почти так же велика, как и во время прежней гражданской войны. Молодежь октябрьской поры в тридцатые годы вышла в люди, руководила, рвалась к власти, "все выше, и выше, и выше", как пелось в популярной государственной народной песне. Наверху же сидел Сталин, держа трубочку во рту, и с доброжелательным лукавством манил пальцем молодых своих орлов. Большинству из них он потом, не вынимая трубочки изо рта, свернул шею одним ловким движением якобы сухой левой руки. Но пока все, кто надо, еще были у власти или взлетали к ней; при помощи стенных газет, общих собраний и, конечно, партийных чисток, выявлявших способность к доносу, орлы подыскивали себе заместителей; орлята-доносчики изобличали колеблющихся в своей среде, а также старорежимных личностей, затаившихся при советской власти, подобно тихим занозам под кожей.

Появились люди куда более политически бдительные, чем Луначарский. Луначарский еще прочил Праведнику сперва – место благородного отца в парадизах социализма, потом – прихлебателя, которого пустят в рай, если он согласится петь хвалы кому следует. Теперь же, в 1930 г., Дон Кихота вместе с его праведничеством рекомендовалось именно в самый момент открытия парадиза выбросить на помойку. Эта непринужденность в обращении с Рыцарем Бедным напоминала сады Российской словесности осьмнадцатого столетия, когда в басне Дмитриева Дон Кишоту выбили глаз.

Если класс не имеет в своем распоряжении реальных сил для утверждения своих идеалов, он

"... прославляет донкихотизм как высшее презрение к материальным силам, как победу духа над материей. Наоборот, класс, диктующий свою волю, могущий отстаивать свои позиции, сознает, что

для торжества его идей нужны материальные силы. Он отвергает донкихотизм как неразумную расточительность и бросает Дон Кихота в мусорную яму истории", – писал о Рыцаре Печального Образа И.М. Нусинов .

("Литературная энциклопедия", т. 3, 1930).[6]

В той же "Энциклопедии" Нусинов был назван "видным советским критиком и литературоведом" (см. "Литературная энциклопедия, т. 8).

Из мусорной ямы Дон Кихоту оставалось только печально смотреть вслед Иову, Экклезиасту, Гамлету, Фаусту, уходящим в грядущее вместе с победившим пролетариатом. Пролетариат оказался в хорошей компании. Зато соседом Дон Кихота по мусорной яме был Смердяков. Для потомков

> "... переживания Тартюфа, Смердякова, Отелло будут представлять такой же интерес, как изучение инстинктов животных высокой психической организации, – писал Нусинов. – К переживаниям Дон Кихота, Прометея, героев греческих трагедий рока эти люди отнесутся так, как наши современники относятся к наивным верованиям первобытных племен... Конец классового общества будет и концом этих образов".[7]

Но после победы коллективизации бесклассового общества не возникло. Возникло общество паспортное, строгого режима, однако, как уже было сказано, не бесклассовое, а деклассированное. Вследствие этого прогнозы Нусинова нельзя считать ни подтвердившимися, ни опровергнутыми.

Между тем разговоры в рабочем строю о вековых образах Иова или Фауста были совершенно лишними в условиях военной сталинской поры. Нусинову за его тупоугольный герметический марксизм эти разговорчики в строю до времени прощались. В 1937 г. вышла книга Нусинова "Вековые образы", но десятилетием позже, в конце сороковых годов, ее разоблачили. Нусинова объявили антимарксистом, космополитом и в ходе новых классовых битв столкнули в яму к Смердякову с Дон Кихотом. Нусинова арестовали, и в 1950 г. он погиб в тюрьме. Бойцы зашагали вдаль без Нусинова, а их духовный багаж сделался легче на целого Экклезиаста, не говоря об Иове с Гамлетом.

Год "великого перелома", 1929-й, и следующие за ним годы междоусобия за коллективизацию по замыслу организаторов должны были стать грандиозным переворотом не только в деревенской жизни, но и в области промышленности, и в области культуры. Все это было рассчитано на пять лет ("первая героическая пятилетка"). Создание мощной промышленности сочеталось с культурной революцией, которую потом повторил Мао Цзе-дун в Китае. Советское руководство решило закрыть все до одной церкви; началось грандиозное уничтожение древних храмов и вообще зданий, напоминающих о том, что в России была своя не партийно-комсомольская "новая", а вовсе даже не новая, более того – сов-

сем древняя культура. В Москве сломали только что отреставрированную Китайгородскую стену; снесли Сухареву башню, жемчужину русской архитектуры XVII столетия; уничтожили храм Христа Спасителя на Волхонке, грандиозное здание XIX века, украшенное живописью замечательных русских художников; разогнали реставрационные мастерские, руководимые И.Э. Грабарем, а нескольких ведущих реставраторов из этой мастерской посадили. При этом зарубежная литература переводилась очень активно, изучение иностранных языков было введено как обязательное в школах и в вузах, дома строили в стиле западноевропейского конструктивизма, и даже Ле Корбюзье пригласили воздвигать свои элегантные параллелепипеды на месте снесенной ветоши с куполами. Словом, пропагандировалось полное забвение прошлого во имя самозабвенного строительства будущего по научным планам СНК. Возникло даже противопоставление запутанного темного "чувства" и светлого, ленинско-сталинского "разума". Возникла в те годы и антитеза "земного" и "небесного"; предпочтение отдавалось, конечно, не идеальному, бесплотному "небесному", а достижимому, конструктивному, "земному". Интересно, что как раз в это время на все "земное" – хлеб, мясо, масло, – были введены карточки. Но съевшие, можно сказать, собаку на пропаганде старшие товарищи и их молодые помощники этого парадокса не замечали.

Дон Кихоту, сброшенному Нусиновым в мусорную яму истории, приходилось туго.

В трагикомедии Георгия Чулкова "Дон Кихот" Рыцарь Печального Образа даже признал себя побежденным.

Георгий Чулков совсем не попал в поле зрения наших "археологов": он хоть и был выдающейся фигурой времен "великого искуса", но сравнительно благополучно окончил в 1939 г. свои дни там же, где и родился, в Москве. Правда, Н. Берберова пишет в книге "Курсив мой", что обращение к мировому общественному мнению русских писателей, о котором говорилось выше, было написано, по всей вероятности, в кругу Волошина или Чулкова. Но органы безопасности не пришли на этот счет к определенному решению, иначе Леонид Леонов лишился бы возможности вывести Волошина в романе "Дорога на Океан", а Георгий Чулков не создал бы своей пьесы о Дон Кихоте. Впрочем, неудача наших славных чекистов в их попытке найти авторов обращения ничуть не дискредитирует Волошина или Чулкова.

Двадцатилетним студентом, в 1899 г., Георгий Чулков очутился в политической ссылке. После этого он не пожелал оставлять политику, но и не стал членом какой-либо партии. Он сделался романтическим радикалом, – "мистическим анархистом", как он себя называл. Он издавал альманах "Факелы", писал стихи, прозу, пьесы. Если принять дефиницию Антона Крайнего ("День", 20/III-1914 г.), что в спорах об искусстве выявились две группы: "позитивисты", называющие себя "реалистами", и "символисты", – то Чулков, вне всякого сомнения, принадлежал к последним.

В 1918 г. Чулков просил Луначарского, чтобы тот выхлопотал историку С.П. Мельгунову, находившемуся в Бутырской тюрьме, право посещать (под конвоем, разумеется) архив. Мельгунов писал книгу о французской революции. Просьба Чулкова была написана в тонах независимых и сдержанных. Не знаю, хватило или нет у наркома просвещения желания и власти разрешить заключенному Мельгунову подконвойное изучение былой революции. Но Георгий Чулков и в дальнейшем по отношению к большевикам старался держаться с достоинством. Академического пайка, например, он у них не просил. Академический паек большевики ему сами дали.

Когда в 1922 г. Чулкова неожиданно лишили этого пайка, он обратился к Луначарскому. Чулков написал, что если вдруг его сочли недостаточно квалифицированным специалистом, то он это оспаривает.

> "Если же я лишен академического пайка по каким-либо соображениям посторонним, к науке не имеющим отношения, то по каким? Не за мои ли внутренние философские убеждения, ныне – кстати сказать – совершенно 'безопасные', хотя бы уже потому, что у нас существует цензура достаточно бдительная? В таком случае я не только не прошу восстановить мне право на академический паек, но спешу выразить мое глубокое сожаление, что до сих пор получал его по явному недоразумению...".

Чувствуется, конечно, в этом письме стремление и паек получить, и достоинство соблюсти. Однако стремление соблюсти достоинство у автора письма было, мне кажется, все же сильнее желания получить паек.

В двадцатые годы Чулков много работал в Государственной Академии Художественных Наук, продолжая свои литературоведческие исследования. В ГАХН'е Чулков был председателем секции, занимавшейся историко-литературными проблемами; он изучал, как и прежде, поэзию Тютчева; в эти годы вышли его книги о декабристах, о последней тютчевской любви, о российских императорах. До большевиков такую работу называли "культурнической".

Когда началась внутренняя война по ликвидации прежнего независимого крестьянства, ГАХН разогнали и Чулков замолчал.

Однако он продолжал писать "в стол". Вот два прежде не публиковавшихся стихотворения одного дня – 29 октября 1931 г.:

Как будто приоткрылась дверца
Из каменной моей тюрьмы...
Грудная жаба душит сердце
В потемках северной зимы.

И кажется, что вот – мгновенье –
И жизни нет, и все темно,
И ты в немом оцепененье
Беззвучно падаешь на дно.

О, грозный ангел! В буре снежной
Я задыхаюсь, нет уж сил...
Так я в стране своей мятежной
На плаху голову сложил.

Чулков ощущал неизбежность трагической гибели, которая, какой бы ни была, – от внезапного приступа удушья изнутри или от пули – все равно будет казнью, но, к счастью, казнью освобождающей: "Как будто приоткрылась дверца из каменной моей тюрьмы..."

Чулков это стихотворение переписал набело. В тот же день он написал стихотворение о России:

Тишина твоей вечерни,
Полумрак твоих икон,
И горбатенький причетник, –
Все, как давний, дивный сон.

Научилась ты молиться
И молитвою дышать.
И тебе Младенец снится,
И его святая Мать.

Только слышишиь ли? Иная
Нынче Пасха на Руси...
И крестами осеняя,
Сердце кровью ороси...

Умирая, в миг последний,
Ты услышишь на рассвете
Не смиренный звон обедни
Двух былых тысячелетий,

А великий грозный гул –
Это острова Патмоса,
Это ангела-колосса
Страшный вопль, и рев, и гул...

Это стихотворение так и осталось незаконченным.

Еще в девятисотые годы Чулков нередко писал о больной России. Теперь – по логике стиха – предсмертный миг России открывал апокалиптическое время мира.

Недавний вице-президент упраздненного ГАХН'а Г.Г. Шпет, как мне рассказывали знавшие его, был уверен в начале коллективизации, что большевики привели страну к полному абсурду и на этом сгинут.

Так оно и должно было бы быть по логике вещей.

Но логика идей сильнее логики вещей, если только идеи имеют силу переставлять эти вещи.

Не знаю, сошлись бы Чулков и Шпет в тогдашних прогнозах на будущее. Но к идеологам, пытавшимся менять порядок вещей силой своих

идей и даже грез, "неуместных ни в каком месте", "несвоевременных ни в каком времени", Чулков относился без особой любви.

В черновом варианте предисловия к трагикомедии "Дон Кихот" (1933 г.) он писал:

> "Мне кажется, что характернейшая черта нашей эпохи есть страстная жажда реализма. Реальность для нас – это 'потерянный рай'. Мы хотим обрести его во что бы то ни стало. Мы ненавидим 'субъективный идеализм'. В своем изумительном романе Сервантес показал нам, как бесплоден и вреден пафос иллюзионизма. Отвлеченное мечтательство Дон Кихота несмотря на весь его героизм, приводит нас к безнадежному тупику. Философская транскрипция мечтательства Дон Кихота есть идеализм Фихте. Это его порочная и преступная игра фикциями развращает общество, и социальные группы, зараженные фихтеанскими идеями, в конечном счете обречены на гибель".

В финале трагикомедии Чулкова Дон Кихот говорил:

> Я был неправ, когда на меч опершись,
> Хотел весь мир исправить своевольно...[8]

Поклонник Достоевского, Чулков с понятием "своевольство" связывал не только понятие "субъективного идеализма" в его философском виде, но и "революционизм". Не желая обижать Фихте, но и боясь задеть красных "фихтеанцев", Чулков вовсе вычеркнул строки о "философской транскрипции" кихотизма.

Черновики пьесы свидетельствуют, что Чулков пытался ответить реальности не только символическими ситуациями своей трагикомедии, но и прямыми репликами в адрес окружающих. Санчо, например, говорил в одном из вариантов Пролога:

– Я, должен вам сказать, – крестьянин из Ламанчи. Раскулачивать меня нет надобности, ибо у меня даже лошади нет , – один только осел. К тому же я занялся отхожим промыслом вместе с сеньором Дон Кихотом. Мы вроде сезонников. У него, правда, есть лошадь, но никакой колхоз ее не примет. Одним словом, Россинант. Кому нужна такая кляча? Но для рыцарских подвигов она годится... Итак, у меня и у моего друга Кихота Доброго есть надежда получить паспорт в советском государстве, несмотря на наши с ним мелкобуржуазные предрассудки...

Сохранился и другой вариант, когда роль Пролога исполнял не Санчо, а Самсон Карраско, причем текст Пролога был в стихах. Предполагалось, что перед зрителем на сцене откроется

> "... хаос огромных вышек, подъемников, труб. Все это спутано бесчисленными проводами, и на черном небе сверкают зеленые молнии. Ревут сирены, скрежещут машины и тяжкие молоты куют красное железо.
>
> При свете вспыхнувшей молнии появляется на авансцене бака-

лавр Карраско в костюме ученого испанца XVI века. Он делает повелительный жест, как маг, и тотчас рев и скрежет умолкают".

Плакатная экспрессия "Театрального Октября" оказывается фоном для другой символики: Карраско, появляющийся при вспышке молнии, как подобает являться дьяволу, повелевает современностью; он – антипод Дон Кихота, он олицетворение "разума" индустриализации, противостоящего – по официальной моде начала тридцатых годов – политически неграмотному "чувству".

Отныне не Гамлет, а именно Самсон Карраско станет противоположностью Дон Кихота мифологемы. Впервые ввел его в мифологему в качестве антипода Дон Кихота Георгий Чулков, писавший в предисловии к пьесе, что ничуть не собирается инсценировать роман, а хочет предложить зрителям "своеобразную трагикомедию на сюжет Сервантеса". Для Чулкова Дон Кихот был "странствующим мифом". Чулков продолжал вслед за другими его творить.

В "Прологе" Карраско говорил:

Товарищи и граждане! Простите,
Что я решился появиться здесь
В моем плаще шестнадцатого века.
И в наши дни, когда словечко "темпы"
Всем кружит головы, и соблазняя,
Зовет весь мир к победе коммунизма,
Я опоздал на несколько столетий...

Однако у бакалавра есть вполне веские основания все-таки явиться:

Сердца людей загадочным рассказом
Увлек и соблазнил хитрец Сервантес
И мысль внушил, что рыцарь сумасшедший
Прекраснее, чем здравый разум наш.

Карраско-пролог обещает зрителям, что они узнают "злобу дня под маской чудесного Кихота из Ламанчи".

Стихотворному варианту Пролога Чулков предпочел прозаический, в котором фигурировал Санчо. Однако все намеки на современность, в частности, строки о раскулачивании и паспортах оказались выкинуты.

Все вышло безобидно, пресно, и только однажды попытался Чулков пустить шпильку своим цензорам и редакторам (впрочем, это у нас почти одно и то же).

– Из-за кулисы мне автор что-то кричит, – говорит Санчо. – А? Что? Вспомнил! Вспомнил! Он мне дал записочку, а я забыл ее прочесть. (Вытаскивает из чулка записку.) Вот она. (Читает внятно, но не сразу разбирая слова.)

"Автор ставил своей задачей в диалектике пьесы разоблачить как отвлеченное мечтательство Дон Кихота, так и не менее отвлеченную рассудочность Карраско".

Ух! И мудрено же пишут эти грамотеи. Слава Богу, что в самой пьесе нет этих сухопарых слов и все мы говорим по-человечески.[9]

Однако, говорить "по-человечески" в эпоху коллективизации, реконструкции и ликвидации становилось все труднее.

"Сухопарые слова", как голодные собаки, сами сбегались на бумагу, заслышав самый легкий скрип пера. И если автор хотел напечататься, то прогонять их он не мог, а должен был утихомирить, накормить-напоить, наполнив хоть каким-то смыслом. Так многие и делали. Но у Чулкова в разных вариантах предисловия к "Дон Кихоту" "сухопарые слова" выглядели неухоженными, никчемными:

> "Дон Кихот, несмотря на свой идеалистический бред, исполнен того мужества и благородства, которые характерны для всех борцов за свободу..."

Вот как приструнили лиру "мистического анархиста" дисциплинированые большевики!

Ни один вариант чулковских предисловий к трагикомедии так и не был опубликован.

В прозаическом Прологе действовал Санчо. Как и подобает ответственному лицу на ответственном собрании, он прочел по бумажке, как его нужно понимать.

Объяснение действительнее факта.

Этого не понимали те, кто думал, будто действительнее факта – идеал.

Дон Кихот не просто был из их числа. Он ухитрялся путать факты с идеалами, иллюзорный мир с действительностью, чем потешал Герцога и придворных.

Действие трагикомедии протекало, главным образом, в герцогском замке; там, а не дома, чулковский Дон Кихот и умер.

Герцог, уже знавший о Рыцаре Печального Образа, пригласил его к себе, чтобы чудак его развлек. На вопрос о цели его действий Дон Кихот Чулкова отвечает патетически, но тривиально:

– Несправедливость! Вот где язва мира.

К этому он добавляет перечень социальных несправедливостей, а также их объяснение: мир заколдован.[10] Прославляя Дульсинею, Рыцарь, по его мнению, расколдовывает мир. Герцог в ответ устраивает спектакль: Дон Кихоту в жизни показывают Дон Кихота на сцене. У Д. Вассермана и Д. Дэриона в мюзикле "Человек из Ламанчи" тоже применят зеркала, чтобы унасекомить Рыцаря. Увидя себя в зеркале, которое не лжет, Дон Кихот должен устрашиться. Снова напомню сцену из романа Орвелла "1984", где О'Брайен поступает с Уинстоном Смитом, измученным пытками в Министерстве Любви, точно так же: Смит видит самого себя в зеркале. В данном случае обычное зеркало заменяет "зеркало сцены": Герцогу любопытно, как отнесется Рыцарь к своим подвигам, увидя их со стороны.

Как и всякий сентиментальный гуманист-интеллигент, Дон Кихот воспринимает образы искусства с той же остротой, что и факты действительности. Свои эмоции, возникающие в мире идей, он немедля переносит в мир житейский. Поэтому, когда Дон Кихот на сцене уходит, а крестьянин на сцене начинает по новой лущевать бедного пастушонка, Дон Кихот из зрительного зала вступается и бьет коварного мужика, обманувшего надежды Дон Кихота сценического.

Таким образом, Герцогу не удается устроить антидонкихотский спектакль из-за олицетворенного Дон Кихотом-зрителем сентиментального начала в самом зрительном зале; это могучее начало сиюминутной сердечности, обретая в жизни формы манифестаций, обструкций, газетных статей не давало до сих пор никому никакой возможности окончательно дискредитировать Рыцаря Бедного.

В пьесе Чулкова Дон Кихота пытаются урезонить, что это, мол, все игра. Бедный Рыцарь отвечает в лучших традициях цензуры нравов:

– Не потерплю игры такой бесстыдной.

Однако потом он признается, что у его действий есть еще и другие причины:

Почтенные сеньоры! Различить,
Где истина, где ложь – не так легко
Тому, кто размышлял над тайной жизни.[11]

В ответ жизнь в лице только что побитого Дон Кихотом актера, игравшего крестьянина, пытается с присущей ей грубостью одернуть Дон Кихота. Спектакль продолжается, и теперь на сцене каторжники, которых Дон Кихот сценический освобождает, объясняя, что скорее всего они страдают несправедливо. Каторжники разбегаются врассыпную. Дон Кихот на сцене пытается удержать их силой, заставить их отправиться к Дульсинее и рассказать Прекрасной Даме о его подвиге. Дальше по сюжету романа освобожденные каторжники бьют своего освободителя. Но вдруг гаснет свет, и все оборачивается не совсем так: Дон Кихот сценический и актер, игравший Санчо, вовсе исчезают куда-то, а главарь разбойников-каторжников бросается в зрительный зал и, размахивая обрывками цепей, пытается поколотить Дон Кихота настоящего. Самый образ освобожденных, добивающих обрывками цепей освободителей, – отличный символ русской революции. В пьесе он имеет дополнительную мотивацию: главарь каторжников перед тем играл роль крестьянина и получил от Дон Кихота по уху.

Синьор Ламанчский по уху мне дал
Под тем предлогом, что забыл различье
Игры и жизни... Вот и я теперь
Плачу монетой той же ... И готов
Сказать, как сей сеньор: "Ах, различить,
Где истина, где ложь, не так легко
Тому, кто размышлял над тайной жизни, –

объясняется актер.Дон Кихот отвечает на это:

Шутник, быть может, прав. Теперь я вижу,
Что рампу перейти не так легко.
Без чар и тут не обошлось, пожалуй.[12]

Казалось бы, Рыцарь понял, что путать воображенное (и изображенное) с действительностью опасно. На самом деле его слова означают, что чары, колдовство снова исказили его добрый и верный поступок, когда он полез на сцену бить актера, игравшего крестьянина.

Вскоре в пьесе появляется Самсон Карраско. В опубликованном варианте свое стремление во что бы то ни стало вернуть Рыцаря домой Карраско объясняет так:

Безумец этот как-то беспокоит
И логику мою и здравый смысл... [13]

В рукописном варианте бакалавр в разговоре с Герцогом объяснился подробнее. На вопрос Герцога, чем, собственно, так ужасен прославленный роман Сервантеса и его герой Дон Кихот, Карраско отвечает:

– Хитрый сочинитель так изложил историю моего соседа по деревеньке, что читатель не сразу поймет, куда он метит. А у него есть тайная цель. Он как будто смеется над своим героем, но если вникнуть поглубже, то выходит так, что все прочие вокруг этого безумца глупее его в тысячу раз. Мало этого, искусно и ловко раскидывает сочинитель свои сети, и мы, попадая в ловушку, начинаем сочувствовать сумасшедшему. Разве это не ужасно! Подумать только, в наш век, когда мы едва завоевали просвещение и едва разучились верить во всякие бредни, вдруг является автор, который этакой литературной контрабандой навязывает нам суевернейшую мысль о каком-то рыцарском подвиге. Этому Сервантесу нисколько не нравится наша простая, дебелая и веселая жизнь. Он хитроумно под маской чудака подсунул нам тощего бледнолицего аскета и старается внушить нам, что, несмотря на все свои злоключения, он-то и есть настоящий герой. Это ужасно, Ваша Светлость.

Почему разговор Карраско с Герцогом не попал в печатный текст, понятно: ставя вопрос, нужно было всячески смягчить остроту его постановки. Кому был нужен кихотизм во время войны за коллективизацию? Его совсем не должно было быть. Подчеркивать его опасность – значило подчеркивать его реальность. Тем более, что сочувствие сумасшедшему было несовместимо с краснознаменным торжеством светлого научного разума, которое наблюдалось в начале тридцатых годов, – как раз, когда сталинцы громили институт Маркса – Энгельса – Ленина, а Чулков работал над трагикомедией.

Этот сталинский разум в условиях снова наступившего пайкового периода именно и учил любить земное, "дебелое, веселое", столь ненавидимое Сологубом, в противовес аскетическому и астеническому "небесному". Уже введены были спецпайки для поддержания воинского духа носителей разума, коллективизаторов, а их былой партмаксимум стал фикцией. Саблезубые разумники должны были, словами тогдашней

песни, "петь и смеяться, как дети", приветствуя отправку в никуда кулаков с подкулачниками, женами и их детьми.

Приведенный выше монолог Карраско мог обернуться саморазоблачением автора.

Однако главные упреки Дон Кихоту, сформулированные саламанкским бакалавром, прозвучат потом и у Карраско Е. Шварца, двадцать с лишним лет спустя.

Тема особой опасности Дон Кихота в изданном варианте вообще была смягчена. Вероятно, Чулков рассудил, что понимающему и того, что есть, будет достаточно, а непонятливого не следует задевать за живое.

В опубликованном варианте исчез и еще один любопытный мотив, содержавшийся в рукописи. Дон Кихот рукописи, по словам Санчо, любую скотницу принимает за свою Прекрасную Даму. Для него есть Дульсинея, а "Тобосская" она или "Барселонская", – Рыцарю все равно. Лишь бы она была Альдонсой, каких много, а уж он, Поэт, "дульцинирует" ее, превратит в свою Единственную.

Этот мотив был тоже убран в печатном издании. Зато ситуация, когда Альдонса, скотница из Тобосо, недавно принятая в услужение, предпочитает кихотическому "дульцинированию" крепкие объятия герцогского лакея, из рукописи перешла в книгу без изменений.

Ночью Дон Кихот вместе с Санчо приходит в комнатенку, где спит Альдонса, околдованная Дульсинея Тобосская. Альдонсе снится, что к ней пришел ее любимый лакей, она зовет его.

Дон Кихот не желает видеть в толстой, крепкой, пахнущей чесноком девке свою Дульсинею.

– Нет! Это не она! Не может быть! – говорит он Санчо.[14]

Но Санчо объясняет своему господину, что тот не видит красоты Альдонсы, потому что тоже заколдован.

Дон Кихот с этим соглашается, а проснувшаяся скотница прогоняет их обоих.

В финале Чулков оставляет свою Альдонсу в общем той же, какой она была с самого начала; влияние Дон Кихота меняет не ее, а Альтисидору, девицу из свиты Герцогини; Альтисидора должна была подразнить Рыцаря Бедного, якобы в него влюбившись. На самом деле она влюбилась всерьез. Когда Дон Кихот умирает, Альтисидора говорит придворным:

Вы недостойны даже в очи эти
Смотреть, как равные... Он в чуде жил,
А вы не жили вовсе...

В безумии или в чуде жил Дон Кихот?

Самсон Карраско в изданном варинте пьесы рекомендует себя рационалистом лишь единожды, когда вызывает Дон Кихота на поединок. При этом он, Рыцарь Белой Луны, так восхваляет свою Прекрасную Даму:

Ее черты – как Пифагора Числа,
И взор ее – как стекла астронома,

И речь ее – как медная латынь.
Она не сон, а явь, притом земная,
Не метафизика, а здравый смысл.

С его точки зрения Дон Кихот жил в безумии.

Побежденный Дон Кихот покидает замок Герцога, обещав победителю в течение года оставаться в деревне, "оружия отныне не касаясь".

Хотя Санчо опознает Самсона Карраско, Дон Кихот признает свое поражение:

Мой милый Санчо! Разве ты не знаешь,
Что наши маски спутались давно?
Карраско он иль кто-нибудь другой –
Не в этом сила... Дон Кихот повержен...[15]

Дон Кихот ощущает себя живущим среди зловещего маскарада, среди чар обмана и подмены, в этой сумятице существует, а не "в чуде". Но, конечно, и не "в безумии".

В этом мире подмен Рыцаря Бедного непрерывно разыгрывают, – то Герцог, отправляющий Дон Кихота в ночной полет на деревянном коне, то Санчо, обещавший дать самому себе три тысячи плетей, чтобы разрушить волшебные чары, а вместо этого принимающийся лупить плетью деревья. Однако и хитрый Санчо получает от судьбы свой "аттракцион":

– На деревьях растут ноги! – кричит Санчо.

Буковые деревья обернулись виселицами.

Это Санта Эрмандад, тайная организация власть имущих, повесила своих врагов.

– Я прихожу к заключению, мой друг, что всякая власть прежде чем облагодетельствовать граждан, убивает всех, кто этой власти не по вкусу. К тому же благодеяния наших правителей более чем сомнительны. Ты не находишь этого, Санчо?[16]

Санчо нашел прежде всего, что слова Дон Кихота могут быть поняты как намек на ту действительность, в которой жил его автор, "мистический анархист" в недавнем прошлом Георгий Чулков.

Поэтому Санчо осторожно ответил, что без власти не проживешь, и что, окажись у власти бедняки, они бы тоже кого надо повесили.

Но зачем был Советской власти такой реверанс? В 1937 г. при переиздании он исчез вместе со всею этой сценой. Возможно, так произошло потому, что в доме расстрельщиков не говорят о висельниках.

В буковом лесу (в издании 1937 г. очищенном от казненных) Дон Кихота настигала герцогская охрана в масках. Бедного и безоружного Рыцаря посадили в деревянную клетку и вернули в замок: Герцог недоразвлекался. В замке Дон Кихота обвинили в том, что он пытался растлить Альтисидору и тут же подсунули в карман пораженному Рыцарю ее подвязку. Но спектакль, поставленный самим Герцогом, портит Альтисидора, влюбившаяся в Рыцаря, который "жил в чуде".

Однако сам Дон Кихот теперь прозревает. Он жил не "в чуде", и не в сумятице маскарадного, зачарованного мира, – он жил среди собствен-

ных вымороченных мечтаний и мечом "хотел весь мир исправить своевольно".

Между тем не мир тщеславия и власти, не мир самодостаточного разума, не замкнутая сфера преображающей мечты, а "божественно прекрасная" земля – вот истина, вот действительность, которой Рыцарь Печального Образа не замечал.

Не бред желаний, – истина сама
Исполнена любовью и свободой.
Не где-то там в эфирной пустоте,
А на земле – божественно прекрасной –
Я вдруг увидел мир благоуханный!
Я, как Адам, хотел бы вновь назвать
Зверей и птиц, деревья и людей
Их светлыми, как солнце, именами...
Вот этот кипарис совсем не сон,
И ты не сон, мой милый, добрый Санчо!
А это кто? Альдонса? Ты не бред,
А девушка с горячей кровью в сердце.
Ты, как земля проста... Земля! Земля!
Хочу тебя лобзать... Но час настал...
Дыханья нет... Простите Дон Кихота...

– Не верю! Нет! Не умер он, а спит... – этой репликой Альтисидоры завершается трагикомедия.[17]

Дон Кихот умер в Герцогском дворце; традиционной антитезы Дон Кихот – Алонсо Добрый в пьесе не возникло, как, впрочем, не было ее и у Луначарского. Альдонса на мгновение отождествилась с метафорой "божественной земли", которая не нуждается в "дульцинировании".

С. Игнатов в своем охранном предисловии имел, казалось бы, полное право написать:

> "Прозревшим умирает Дон Кихот. Его последние слова – о земле, о жизни простой и полнокровной. Поэт сближает здесь мечты своего героя с нашей жизнью, с нашей эпохой, когда все говорит о жизни, о земной, яркой жизни, когда воплощаются и осуществляются мечты о 'золотом веке'..."[18]

Однако "сближение" кихотического прозрения у Чулкова с "нашей жизнью" было обманчивой видимостью. Не землю коллективизации и не небеса коммунизма видел поэт. Он видел другое небо и другую землю. Образ "земного", идеологически завизированный, был омонимичен тому "земному", которое принял Дон Кихот у Чулкова. "Земное" прозревшего Дон Кихота у Чулкова ожидало своего поэта, способного по-новому назвать и через это понять мир, а не палача-закройщика, который всегда готов кроить-резать по живому, восхищаясь собой.

27 января 1935 г. Чулков записал в дневнике:

"В романе Сервантеса Дон Кихот умирает как благочестивый

христианин. В моем 'Дон Кихоте' герой, умирая, говорит о Земле, о Правде Земли. Было бы худо, если бы читатель усмотрел здесь противоречие. Любить землю по-настоящему, до конца, до последней глубины может только христианин. Любить земные похоти еще не значит любить Землю. И, с другой стороны, отвлеченное мечтательство – нечто антихристианское.

Перечитывая сегодня 'Идиота', я был поражен сходством одной из реплик в моем 'Дон Кихоте' с восклицаниями Аглаи по адресу Идиота: 'Здесь все, все не стоит вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего и т.д. (ч. III, 2-я глава). То же самое говорит у меня Альтисидора'.

Однако читателю едва ли было понятно, что чулковский Дон Кихот стал истинным христианином, отказавшись от своевольной мечтательности. Финальные стихи не давали возможности этого понять: они при всей своей патетике были слишком туманны. Христианство Дон Кихота в пьесе оказалось почти не обозначенным. Реплики вроде: "Войдите, если вы католик", – звучали просто как разговорные обороты.

По мысли Чулкова, хотя Дон Кихот был побежден, однако поражение преобразило его, открыв ему истинное земное христианство, в соответствии с которым во время Страшного суда разверзнутся здешние земные небеса.

К сожалению, чтобы понять и этот смысл пьесы, и то, что пьеса была полемикой Чулкова с самим собой, с прошлым своим революционизмом, а также и окружающим своевольством, мало было только прочесть пьесу и даже увидеть спектакль.

Государственный Академический Ленингрдаский театр драмы (бывший Императорский Александринский) выпустил специальной брошюрой очерк К. Державина "Сервантес и Дон Кихот".

Брошюра эта только отгораживала истинный смысл трагикомедии о Дон Кихоте от читателя и зрителя. Традиционно объяснив, что Сервантес выражал идеологию мелкого дворянства, разорявшегося под золотым дождем из колоний, – такое объяснение напоминало обязательное вытирание ног при входе с улицы в комнату, – Державин все же свернул со своей академической стези:

> "В Испании вымиравших деревень, опустошенных полей, в застойной, отъединеннной от всего мира атмосфере социального гниения и распада, гуманная мудрость Дон Кихота была наивысшим безумием, как и безумие в том виде, в каком его представил нам Сервантес, было своеобразной формой социально-протестующей идеологии".[19]

К пьесе Чулкова эта мысль о мудрости Рыцаря Бедного не имела никакого отношения. Однако важно отметить, что определение Рыцаря Печального Образа как мудреца совпадало с тем, что писал в предисловии к "Дон Кихоту" Чулкова Сергей Игнатьев. Он тоже подчеркивал, что человечность Дон Кихота была величайшим безумием лишь

"...в атмосфере социального и экономического распада, которым была поражена вся страна..."[20]

Если для Луначарского в двадцатые годы кихотическое состояние совершенствовало самую человеческую норму, то интеллигентные критики тридцатых годов констатировали безумие Дон Кихота, но называли его кажущимся; одна и та же суть определялась по-разному.

Смысловые оттенки диктовала официальная идеология, не терпевшая даже риска каких бы то ни было исторических сближений с советской, воистину небывалой действительностью.

Нусинов определял в цитированной выше статье "современное донкихотство" как трусливый, мелкобуржуазный оппортунизм. В толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (1935 г.) Дон Кихот определяется как "фантазер, вызывающий насмешки бесплодной борьбой за свои идеалы". Даже Луначарский Дон Кихота в начале тридцатых годов обличал.

Естественно, что интеллигентные литературоведы ограничивали теперь свои осторожные философствования пределами старинной Испании. Помочь читателям понять Чулкова они никак не могли.

Г. Чулков подарил первое издание своего "Дон Кихота" Д. Горбову, марксистскому критику, принадлежавшему, впрочем, во многих отношениях к России домарксовой формации. В дарственной надписи Чулков выразил себя тем же окольным путем, что и в трагикомедии.

Надпись была такая:

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Не трудящийся да не ест!"

Дмитрию Александровичу Горбову
с приветом
Георгий Чулков.

Экземпляр с автографом Чулкова попался мне в Исторической библиотеке. Перед этим я прочел дневниковую запись Чулкова о христианстве Дон Кихота. Строки, обращенные к Горбову, показались мне явно ироническими. Странно было, что Чулков позволил себе такую иронию, обращаясь к литератору-большевику. Впрочем, во второй половине тридцатых годов Горбов, неоднократно критиковавшийся за разнообразные уклоны, не вышел, как некоторые его современники, на партийную зигзагоидную прямую,* а окончательно уклонился от литературной критики и теории: стал переводчиком.

Междоусобные годы коллективизации, продолжавшиеся войной за интеллектуальное и психологическое уничижение советского населения ("ежовщина"), уничтожали те тонкие связи, которые существовали между интеллигентами разных толков, даже если сами эти интеллигенты уцелели, как это случилось с Чулковым и Горбовым. Но в конце двадцатых – начале тридцатых годов подводные течения в русской общественно-

---

* О зигзагоидной прямой в отличие от прямой прямолинейной см. в главе 11-й ч. 1-й – *Ю.А.*

сти существовали определеннее, откровеннее. Свободная мысль из книжек пятнадцатилетней давности еще заходила погостить в укромные уголки реорганизованных учреждений или в комнаты коммунальных квартир; но, принимая эту, отнюдь не всегда желанную гостью, русские интеллигенты очень оглядывались на соседей: не подслушивают ли? Не донесут ли? Потом, когда значительная часть собеседников попала на Колыму, "чудную планету", и притом безо всяких ракет, а одной только силой добрососедского доноса, – оставшиеся стали оглядываться уже и на самые портреты вождей Ленина и Сталина. А уж тут не просто замолчали языки – стали неметь души...

Но пока были еще разномыслящие, и самое разномыслие существовало, пусть как явление подспудное, пока еще остатки интеллигентской среды не распались на семейные, почти не сообщающиеся ячейки, пока еще верующий христианин Георгий Чулков мог дружески поддразнивать марксиста-большевика Дмитрия Горбова.

Время это кончалось; одним из признаков наступавшего оледенения был, как ни странно, медленный поворот к прежней культуре; большая война за унификацию сопровождалась постепенным восстановлением имперской государственности без буржуазии, но с императором шах-иншахского типа. Марксизм переставал быть космополитическим; он начал становиться национальным. К 1940 г. это определилось. В то время большая война за унификацию несколько утихла. У ее начала стоял "Дон Кихот" Чулкова. В разгар войны был написан "Дон Кихот" Булгакова.

Трагикомедия "Дон Кихот" Чулкова была поставлена в Ленинградском Академическом театре драмы 1 ноября 1933 г. Факт постановки пьесы, оторванной от советской жизни, не мог радовать начальство. В надежде, что объяснение окажется действительнее факта, как это свойственно было советской логике, театр издал в 1934 г. брошюру Константина Державина, пояснявшую спектакль. Только в 1935 г., когда новые культурные веяния стали определеннее, на трагикомедию Чулкова появилась большая журнальная рецензия.

Автор ее , В. Дынник, усмотрела в самом романе Сервантеса спор реалиста (автора) с романтизмом ("донкихотством"), подчеркнув, что спор романтизма с реализмом, который до сих пор еще не кончен (см. стихотворение А.С. Есенина-Вольпина "Ворон"), и начался-то задолго до возникновения самых этих терминов.

В дискуссии Сервантеса с Дон Кихотом Дынник видела актуальный для советских людей вопрос: каким должно быть в жизненной практике строителей победившего социализма соотношение романтизма и реализма? Проблема соотношения романтизма с реализмом не только вопрос

> "...'социалистического реализма', 'советского литературного стиля', но и всего стиля советской действительности и советской деятельности".[21]

На эти вопросы убедительно ответил математик Ю. Гастев в своем

пока еще не опубликованном эссе "Ленинская теория отражения и дыхание по типу Чейн-Стокса".

Но это произошло уже в наши дни.

А в 1935 г. на вопрос, поставленный В. Дынник, Чулков не ответил. Рецензент объясняла это тем, что свою дискуссию с Дон Кихотом Чулков построил не как Сервантес, конкретно-исторически, а слишком обобщенно, вне какого бы то ни было исторического контекста. Дон Кихот у Чулкова понял свою ошибку; но *с кем вместе и чем* он будет теперь сражаться?, – требовательно спрашивала Валентина Дынник, впоследствии авторитетный казенный литературовед, и констатировала:

– Этого оружия и этих соратников Чулков в своей пьесе не показал.

Но показать этого Чулков и не мог. Его Дон Кихот, даже и "прозрев", не отрекался от звания Странствующего Рыцаря. А Странствующие Рыцари, будучи мысленно вместе, сражаются со своими так называемыми "мельницами" в одиночку, по отдельности.

Дынник дала другое объяснение тому прискорбному факту, что чулковский Дон Кихот не захотел встать в чьи-нибудь ряды:

> "Г. Чулков, вступая в спор с Дон Кихотом, сам еще не до конца освободился от инкриминируемой Дон Кихоту отвлеченности в отношении к социальной борьбе, – сказать попросту, сам еще остается немножечко Дон Кихотом".[22]

В. Дынник знала о Чулкове достаточно, чтобы это написать. В Чулкове, казалось, и впрямь жила кихотическая обособленность, отъединенность от окружающего. Действительность он видел в очертаниях своих религиозных мечтаний.

Вот выдержки из его дневников за промежуток времени между выходом в свет трагикомедии "Дон Кихот" (1935 г.) и второго исправленного издания (1937 г.).

2 февраля 1935 г.

"...И как можно понять Достоевского, не зная вовсе Христа, ни видений Патмоса!

Когда-то несчастненький Глеб Успенский, покоренный речью о Пушкине, восхитился Достоевским, а потом, через сколько-то недель, устрашившись партийных генералов, обругал того же Достоевского, но при этом обмолвился печатным вещим словом: 'В этой речи есть нечто такое, что превращает ее в загадку'.

Вот именно эта тайна – богочеловеческая идея, явленная во плоти две тысячи лет назад. И без нее ничего понять нельзя. А что до частных заблуждений самого Достоевского (и он не без греха) – то все это сущий вздор. Важно то, что он осязал плэрому – вот он реализм в высшем смысле".

Соблазн "реализма в высшем смысле" как способа изображения русских людей и событий – это опасный соблазн золотоискательства, проис-

шедший от эвристической догадки Некрасова, что:

– Золото, золото – сердце народное!

Глеб Успенский в русской почве золота специально не искал, поэтому и находил его иногда. Он был "почвенником" не клондайкского, а совсем другого рода. Как и Некрасов, он полагал, что нужно не умиляться или негодовать по поводу родного суглинка, а найти способ сделать его плодородней.

Скорбный взгляд Глеба Успенского на русскую деревенскую жизнь, помогающий понять, почему для русского мужика восемь лет отдыха после революции оказались деморализующим временем, так что отдых этот не помог ему противиться "реформаторам", был для Чулкова неприемлем. И он, полагая себя "духовидцем", назвал правдовидца Успенского "несчастненьким".

Сам Чулков, полемизируя в своей трагикомедии и с собственным прошлым, и с марксистским рационализмом, ничуть не становился "несчастненьким". Он жил среди социальных катастроф, но, оставаясь в оппозиции к властям, сумел выбрать себе особого рода противостояние – противостояние конформное или мимикрическое. Мимикрическое противостояние – явление столь же парадоксальное, что и зигзагоидная прямая.

Вот как это выглядело в дневнике.

В том же *феврале 1935 г.* Чулков записал:

> "Дело не в разрушении того, что провиденциально должно быть разрушено (как, например, храм на Волхонке, на набережной, хотя у него и был хороший купол, ибо этот храм был символом огрубевшего, ложного, одряхлевшего психологизма, будто православного), а в том, что подготовляются бессознательно условия для Новой проповеди. Для этого необходима прежде всего всемирность. Надо стирать границы. Две тысячи лет назад границы стер Рим. И этот самый Рим, замучивший в Колизее тысячи христиан, подготовил условия для миссионерской деятельности ап. Павла. Рим провел дороги, по которым прошел этот человек с благовестием. Рим научил народы ценить мир. И все говорили по-гречески. Но Рим не повторится. Он и не нужен, и невозможен. Но границы будут стерты иначе".

Не через мировую ли революцию?

В этих строках и впрямь есть нечто такое, что "превращает их в загадку".

Особенно если сопоставить их с апокалиптическими предчувствиями в стихах 1931 г.

Самое ясное в приведенных строках, что Храм Христа Спасителя на Волхонке в Москве "провиденциально" должен был быть разрушен, хотя Провидение едва ли занимается уничтожением или же охраной памятников архитектуры; скорее всего Оно предоставляет это муниципалитетам.

Точка зрения, санкционирующая мероприятия начальства, пусть не с начальнической, а с христианской позиции, небезопасной для оправдывающего, как раз и определяется понятием "приспособленческого противостояния". Обыкновенно это дань конформизму человека, не желающего быть приспособленцем. Но все же такой тип одиночества далек от кихотизма.

"В Москве Ахматова, – записал у себя в дневнике Георгий Чулков. – Она каждый раз, бывая в Москве, навещает меня, но теперь как-то мы перестали чувствовать друг друга. Но мне ее жаль. Она замучена своей биографией (и на мне вина тоже!)". *(Январь 1937 г.)*

Чулков своей биографией был, возможно, недоволен, но уж никак не "замучен". Он "перестал чувствовать" Ахматову, потому что в 1937 г. Ахматова плохо чувствовала реальность: ощущение реальности у ней отбила потребность писать "Реквием".

Чулков, наоборот, искал с реальностью контактов, – хоть бы и через Маркса:

"Маркс говорил: 'Поэты – это чудаки, им нужно предоставить идти собственными путями. К ним нельзя применять мерку обыкновенных или даже необыкновенных людей'.

К сожалению, 'марксисты' не столь склонны следовать этим предуказаниям своего вождя. А жаль." *(24 января 1937 г.)*

Если бы марксисты последовали предуказаниям, поняли бы, что поэты выше всяких норм, то, быть может, для поэтов отменили бы цензуру. Однако разрушение Храма Христа Спасителя все равно осталось бы, с точки зрения Чулкова, "провиденциальным". А уничтожение православной церкви и ее служителей?

30 марта 1937-го, ежовского, года Георгий Чулков записал у себя в дневнике:

> "Не надо оглядываться назад, пожалуй, и оплакивать прошлое. Тот, Кому дана власть отпускать грехи, освободил нас от язв нравственной проказы. Да и вообще лучше не оглядываться, дабы не обратиться в соляной столб. Но оно не проходит бесследно, и память не есть 'оглядка'. История – прообраз 'вечной памяти', о коей молимся каждый день. Без истории не поймешь и 'сегодня'. А нам предстоит еще и 'завтра'. А русские люди ищут кратчайшего пути в 'Америку', нисколько не интересуясь островом Патмосом. Так можно и 'завтра' прозевать вместе с неразумными девами".

Предполагалось, значит, что Жених придет "завтра" в дыме и пламени Светопреставления. Так что большевики напрасно гнались за Америкой. Вот что говорит нам "вечная память" истории.

А в 1935 г. в крохотной паузе между войной за коллективизацию и большой войной за унификацию Чулков вдруг понадеялся, что "подготовляются пути" для "Новой проповеди", ощущение близости конца света его как будто оставило.

Отражая штормовые колебания русской почвы, бывший "мистический анархист" колебался между эсхатологическими предчувствиями и попыткой надеяться.

Цитируемую дневниковую запись *1937 г.* Чулков продолжил рассуждением о вере:

> "Что такое атеизм? Я не понимаю этого словечка. Едва ли его понимают и сами атеисты. Атеизм предполагает, что нет ничего объективно существующего и независимого от сознания человека, а между тем диалектический материализм как раз это утверждает, хотя и связывает себя почему-то с безбожием...
>
> Безбожие ведет к апофеозу беспочвенности, но главное не в этом. Апофатическое богословие в миллион раз страшнее для наивного религиозного сознания и даже для ненаивного, чем материализм во всех модификациях".

Апофатическое богословие могло увести далеко от Патмоса, и в этом заключалась его особая опасность. Апокалиптические видения казались Чулкову завтрашней реальностью.

Для нас чулковское "завтра" – сегодняшний день.

Что, если конец света уже начался, но, как современные великие войны, начался без предупреждения?

Как бы там ни было, я продолжу свое писательское дело, последую примеру Георгия Чулкова, который даже накануне Страшного Суда позаботился о переиздании "Дон Кихота". Возможно, по слову Достоевского, он хотел предъявить на Страшном Суде "Дон Кихота", – своего Дон Кихота, свой вариант кихотизма. Правда, для этой цели он мог бы ограничиться и первым изданием.

Разница между рукописью и первым изданием 1935 г. состояла в том, что в книжном издании из Пролога исчезли некоторые (не все) упоминания о современности, а также мотивы особой опасности кихотизма. Во втором, "исправленном", как значилось на титульном листе, издании, Пролог и вовсе пропал. Ведь Санчо в Прологе по записочке зачитывал ответственные формулировки; с появлением новых начальников и новых манер это стало казаться нецензурной и злой пародией. Исчезла, кроме того, сцена, когда Санчо натыкался на повешенных в лесу.

Так от рукописи к изданию, а затем и к переизданию трагедия Чулкова все обкатывалась и обкатывалась, пока не превратилась в красивый гладкий камушек, каких много в Коктебеле на морском берегу у Дома Поэта.

Максимилиан Волошин, как и Чулков, был поэтом и человеком, верующим в Бога; для него историческая память тоже была личной, приватной, а не академической, которую всегда можно, словно книгу, отложить в сторону. Но Волошин полагал, что "почетней быть не книгой, а тетрадкой", – и, быть может, вовсе даже не знал, что именно говорил о поэтах Маркс, – не генерал Маркс, ученый, которого в свое время Волошин спас от расправы белых и чье мнение Волошина могло бы интересо-

вать, а материалист и экономист, тривиальный массовик Маркс, известный своими зажигательными революционными плеоназмами.

Волошин и Чулков были несопоставимыми людьми, у каждого из них была своя мудрость и свои ценности. Но мудрость Чулкова именно благодаря своей эсхатологической ориентации была равнодушнее к земным делам и легче уживалась с земными властями.

В. Дынник справедливо сопоставляла Чулкова с его героем Дон Кихотом. В Чулкове было нечто кихотическое. Но дальнейшее сопоставление приводит к выводу, что Рыцарь Апокалиптической идеи Чулков был далек от Рыцаря Печального Образа: кому нужны "донкихотские" подвиги накануне Страшного Суда?

Кроме того, христианин, – а Дон Кихот, с точки зрения Чулкова, умер как христианин, – должен был "любить Землю".

Легко возразить на это, что апокалиптическая любовь этому долгу не противоречит:

"Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит".

(А. Блок "Скифы".)

Однако имеет ли человек нравственное право на такую любовь?

Да, и едва ли Господь, уподобляясь Ромэну Роллану, потребует миллионы жертв за Тысячелетнее Царство.

И Чулков, и Пешехонов сотрудничали с советской властью. Но позитивизм Пешехонова мне кажется более обнадеживающим, чем христианство Чулкова.

В 1938 г. Чулков написал стихотворение "Веселому поэту", которое, разумеется, осталось неопубликованным:

Мажорный марш твоих утопий
Мне очень нравится, поэт;
И после серых скучных копий
Приятно видеть яркий цвет, –
И пусть преобладает красный
В твоей палитре, милый мой;
Мне нравится рисунок ясный
В твоей расцветке боевой;
Покрикиваешь ты на диво,
Как самый бравый бригадир,
На тех, кто прячется трусливо
В свой ветхий дом, в свой старый мир,
Где нет ни правды, ни утопий,
Где мысль давно погребена,
И где религия, – как опий,
Для буржуазнейшего сна...
Но все-таки прошу, дружище,
Взгляни порою на кладбище,
Где спят и дети, и отцы:

Об этом как-нибудь помысли,
Дабы начала и концы
На паутине не повисли,
Что некогда для наших мук
Соткал из вечности паук.

Совершенно неизвестно, захотел ли бы "веселый поэт" идти на кладбище слушать мертвое бормотание мракобеса Достоевского; да и из "мракобеса" Чулков вспомнил только свидригайловскую "баню с пауками", – а больше ему нечем было урезонить "бравого бригадира" советской поэзии. Как привычный вывих, в этом стихотворении существует привычная и сознательная недоговоренность; из второй части, саркастической, ясно, что первая, комплиментарная, – неискренняя...

Так сопротивлялся, уступал, отстаивал хотя бы для себя свою веру старый русский писатель.

Чулков умер в 1939 г.

К концу тридцатых годов у него было готово несколько новых беллетристических произведений.

Напечатать их не удалось. В год смерти Чулкова вышла его литературоведческая книга.

В том же 1938 г., когда Чулков попытался если не огорчить, так хоть озадачить "веселого поэта", в Главреперткоме Комитета по делам искусств возник еще один Дон Кихот, – Дон Кихот в булгаковской версии.

В том же году вышла и брошюра Сталина – еще не Верховного Главнокомандующего во второй мировой войне, но уже Главковерха внутренней войны за усреднение человека, которую еще Достоевский предсказал в "Бесах". "Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом", – назывался этот гениальный сталинский труд. Эмиль Людвиг оказался очень любознательным на западный лад человеком; некорректных вопросов не задавал. Во время беседы вождь пустился в историософские рассуждения. Тут он помянул Дон Кихота.

> "И великие люди, – сказал Сталин, – стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия (условия исторической действительности – *Ю.А.*), понять, как их изменить. Если они этих условий не понимают и хотят эти условия изменить так, как подсказывает им их фантазия, то они, эти люди, попадают в положение Дон Кихота". [23]

Так же, как великий Ленин, великий Сталин в ответственные моменты своей политической жизни почему-то вспоминал Дон Кихота. В 1930 г. вождь вспомнил о Дон Кихоте, уже предотвратив "головокружение от успехов" в деле повсеместной организации голода и падежа скота (однако и то, и другое помогало сталинской армии выиграть войну с населением: нехватки пришибли, ошеломили, отвлекли людей новыми заботами). В "Ответе товарищам колхозникам" (1930 г.) Сталин осуждал "левых" загибщиков, позабывших, что партия ведет "наступление на капиталисти-

ческие элементы деревни в союзе с середняком"; из-за этих "левых" загибщиков в отдельных случаях

> "... наступление начинает соскальзывать с правильного пути и поворачивается своим острием против нашего союзника, против середняка... Дон Кихот тоже ведь воображал, что он наступает на врагов, идя в атаку на мельницу. Однако известно, что он расшиб себе лоб на этом, с позвления сказать, наступлении. Видимо, лавры Дон Кихота не дают спать нашим 'левым' загибщикам".[24]

Ужасные эти существа, "левые" загибщики, были на самом деле партийные работники, устно ориентированные от имени вождя во что бы то ни стало организовывать коммуны. С января по март 1930 г. количество коллективизированных выросло с 4 до 14 миллионов. В наиболее важных областях страны решено было завершить сплошную коллективизацию осенью 1930 г., в крайнем случае – осенью 1931 г. Но этот рывок в будущее пришлось поубавить: как говорил Н.С. Хрущев в бытность свою Первым секретарем, на Дону готовилось большое вооруженное восстание против большевиков, и если бы Вожак своевременно не рванул поводков назад, его зубастым "загибщикам" пришлось бы плохо. Вот их-то ни за что, ни про что Сталин теперь и ошельмовал.

Точно так же, как Сталин создал "левых загибщиков" из рьяных исполнителей инструкций, он почти что из ничего создал и "правых уклонистов". "Правыми уклонистами" назывались те сторонники коллективизации, которые не соглашались с введением в деревне режима хозяйственной разрухи, соглашаясь только с введением отрядов особого назначения, на случай, если "кулаки" (т.е. крестьяне, относительно разбогатевшие с 1917 по 1928 гг.; дореволюционных "кулаков" "раскулачили" еще во время гражданской войны) станут сопротивляться. Впрочем, "правые уклонисты" надеялись, что серьезного сопротивления в деревне не будет, так как они хотели приучить крестьян кооперироваться постепенно, начиная с Товариществ по совместной обработке земли и через сельскохозяйственные артели.

Но товарищу Сталину понадобилось выдумать и "левых загибщиков" и "правых уклонистов". Он самоотверженно боролся с этими призраками, созданными его собственным воображением, а доставалось – и, как правило, до смерти – живым людям.

Не был ли сам товарищ Сталин Дон Кихотом, придумавшим себе воплощения зла, – то "загибщиков", то "уклонистов", то террористов из троцкистского центра, то вредителей из бухаринского блока? Если верить сталинскому определению кихотизма, данному вождем в его "Отчетном докладе XVII съезду партии о работе ЦК ВКП (б)", то сам Сталин несомненно был Дон Кихотом.

> "Дон Кихоты потому и называются Дон Кихотами, – докладывал вождь съезду, – что они лишены элементарного чутья жизни".[25]

Тульские оружейники подарили на этом съезде своему товарищу Ста-

лину замечательное ружье. "Тов. Сталин поблагодарил оружейников, взвел курок и шутливо прицелился в зал", – говорится в стенограмме съезда. В зале, вероятно, раздались громкие аплодисменты, переходящие в овации, но некоторые под общий шум стали шушукаться между собой.

Товарищ Сталин заметил кто, но опустил ружье.

Зато к следующему съезду, в 1939 г., большей части сидевших в зале не стало.

Великий вождь умел убивать без шума, без дыма, но насмерть.

Стало быть, незаряженное ружье, нацеленное в зал, ничуть не было безобидным донкихотским оружием.

И все-таки, если главным свойством Дон Кихота считать вслед за Белинским и Сталиным отсутствие "чутья жизни" ("такта действительности" у Белинского), то не только сам Сталин с его вредоносными оппозиционными чудищами, но и официальный сталинский антипод Троцкий окажутся в Дон Кихотах. Джилас писал, что Троцкому как вождю

"... не хватало только одного: чувства действительности".[26]

Но у кого в тридцатые годы было чувство действительности?

У Гитлера, мечтавшего победить Европу, уничтожить евреев и сократить на двадцать миллионов славян?

У Гендерсона, английского посла в Берлине, вспомнившего, что у него не хватало цинизма не верить Гитлеру, обещавшему соблюдать договоры?

Может быть, "чувство действительности" было у Сталина, победившего всех врагов и воцарившегося не в шлеме Мамбрина и не в шапке Мономаха, а в боевой своей фуражечке со звездочкой?

Но "жажда власти" и "чувство действительности" не одно и то же. У Сталина хватило "чутья жизни", чтобы неуклонно осуществлять свою волю к власти; но у него не хватило "чутья жизни" организовать свою власть таким образом, чтобы сам он мог получить своевременную медицинскую помощь, которая, быть может, спасла бы ему жизнь.

Сталинская система убила Сталина.

Представления о Дон Кихоте, что главное в нем – отсутствие чутья реальности, – плоско, как круглая земля под ногами. В соответствии с этим представлением, с одной стороны, мы все Дон Кихоты, а с другой – самое имя-притча "Дон Кихот" расплывается в полную бессмыслицу.

И все-таки несмотря на очевидную свою несбыточность в условиях великих сталинских войн благородный кихотизм существовал. Он существовал в человеческих проявлениях, иной раз в людях, слыхом не слыхавших про Дон Кихота.

Таков герой повести С. Залыгина "На Иртыше" крестьянин Степан Чаузов, приютивший у себя двух осиротелых женщин из "кулацкой" семьи. Он их пожалел, – и сама эта "сиюминутная" жалость не была бы еще преступной, если бы это чувство сибирского мужика оказалось таким же пугливым, уклончивым, какими были его односельчане. Но милосердие

Чаузова было упорным, а тем самым антигосударственным и кихотическим.

Тройка раскулачивателей должна была решить судьбу крестьянина, посмевшего протянуть руку помощи тем, кого государство решило спихнуть в яму. Среди представителей государства был характерный для стихов и прозы тридцатых годов персонаж (Залыгин, следуя этой традиции, перенес его к себе, в шестидесятые годы): чахоточный, узкогрудый мечтатель-фанатик, обреченный умереть, и оттого с горячечной энергией стремящийся оставить по себе людям высокоорганизованное счастье. У этого человека нет понимания действительности, – но он ничуть не Дон Кихот.

Рыцарем оказывается мужик, заявляющий о своем праве на доброту, со всем возможным мужеством защищающий это право и отправленный за такую вину как "подкулачник" в подконвойное рыцарское странствие, – в ссылку "из Сибири в Сибирь", говоря словами песни В. Высоцкого.

Не только в литературе, – в жизни встречались упрямые рыцари справедливости, заступавшиеся за людей, вопреки сатанинскому духу времени.

Сергей Петрович Писарев, с которым я был вместе в сумасшедшем доме в Ленинграде, в середине тридцатых годов работал свою политическую работу (он был твердокаменным большевиком) где-то на Кавказе. Произошло убийство; так как убили начальника, местные власти придали этому делу политический характер. Убийц нашли по признаку особенно плохого отношения к ним властей, а не по признаку их виновности. Невиноватым грозил расстрел.

Трудно объяснить, отчего с людьми происходят припадки кихотизма; отчего, например, Писарев, человек не из мягких, до того времени осуществлявший извилистую прямую сталинскую линию ножом по живому, вдруг возмутился вот этой, данной несправедливостью. Наши психиатры объясняли это тем, что он уже тогда сошел с ума. Не добившись ничего на месте (кажется, дело происходило недолго спустя после убийства Кирова, когда уже действовал закон об ускоренном ведении следствия и казни), Писарев уехал в Москву хлопотать за людей, с которыми он едва ли даже был знаком. Ему удалось, благодаря связям, – друзья по гражданской войне занимали в Москве влиятельные посты – добиться того, чтобы исполнение приговора было приостановлено. Писарев на поездку взял отпуск, – отпуск кончился, приговоренные ждали смерти, беспомощный защитник хлопотал за них. Влиятельные друзья советовали Писареву возвратиться на Кавказ или оставаться в Москве, но бросить это напрасное дело. В воздухе уже пахло порохом того самого замечательного тульского ружьеца, из которого Сталин так и не выстрелил на XVII съезде партии. Партийцам на высоких постах заботы Писарева были просто смешны: его подзащитные уже получили вместо "вышки" (расстрел) "катушку" (десять лет). Но чудак добивался их полного оправдания. На Кавказе Писарева с его должности уволили, деньги кончились, а он все старался о своем: при помощи разговоров "как коммунист с коммуни-

стом", заявлений, свидетельских бумажек убеждал инстанции в абсолютной ценности нескольких человеческих жизней. Это было похоже на борьбу с ветряными мельницами. Однако в конце концов кому-то из начальников, видимо, польстило, что и в их сердцах осталось нечто, еще способное откликнуться на занудные навязчивые внушения их сотоварища по партии, этакого доброго юродивого. Друзья Писарева совершили некоторое усилие и писаревских подзащитных освободили. Самому Писареву приискали службу в Москве. Припадок кихотизма сошел для него благополучно. Однако, как и в эпизоде с пастушонком, которого Дон Кихот вроде бы спас от побоев хозяина, кихотическое добро оказалось бесплодным.

В 1937 г. подзащитных Сергея Петровича Писарева там же на Кавказе снова схватили и тут же без проволочек прикончили.

В Москве помогать Писареву в новых хлопотах было уже некому: высокопоставленные приятели погибали в лубянских подвалах. Тем временем на Кавказе расстреляли начальников, по воле которых прикончили писаревских подзащитных.

Молоты на сталинской автоматической бойне не разбирали, есть или нет у бычка на лбу звездочка.

И все-таки вопреки этой метафоре и ее правде, как свидетельствуют двое выживших "зеков",

> "... среди работников НКВД всех уровней, от простого надзирателя до начальника тюрьмы и даже самих следователей, встречались люди, которые нередко шли на нарушение правил. Рискуя собственной свободой, они отыскивали возможности, чтобы улучшить участь заключенных, тайно передавали им продукты и сигареты или старались ободрить словом".[26]

В книге Конквеста "Большой террор" приводится отрывок из воспоминаний Иванова-Разумника, прекрасного русского критика, историка, публициста, упорно не желавшего эмигрировать, – и оказавшегося из-за этого в тюрьме во время большой войны за унификацию. Его освободили в числе немногих. Во время второй мировой войны он ушел на Запад из-под Ленинграда вместе с немцами; нацистских идей он ни в коей мере не разделял.

Иванов-Разумник рассказал о том, что в Бутырской тюрьме с командиром РКК Васильевым произошел однажды такой случай:

> "Когда окровавленного Василька – это прозвище дали ему его сокамерники, – отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним и вместо того, чтобы ввести его сразу в камеру, открыл ему дверь в уборную, где он мог бы смыть кровь под краном умывальника. Васильев подставил голову под кран и рыдал, не столько от боли, сколько от пережитых оскорблений и издевательств, а дежурный стоял и смотрел на него, по-бабьи подперши щеку ладонью. – 'Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Вам не сладко живется, а терпеть надо. Ну, избил он вас почем зря, а вы

пренебрегите: его черной душе теперь, может, еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вы вот сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?' Мы удивились: избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть не веселый: так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного".[27]

У В. Шаламова в рассказе "Почерк" ("Колымские рассказы") следователь, у которого заключенный Крист давно уже трудится: переписывает разные бумаги – в том числе расстрельные списки – своим четким почерком, – получает "сверху" тоненькую папку, а в ней дело самого Криста с расстрельной резолюцией. Следователь, видно, чувствовал в Кристе некую человеческую доброкачественность, надежность. С Кристом он был сух, но корректен. Увидев дело на Криста, человек этот побледнел, стал белее снега и со словами:

– Шаблон. Не понимают, что делают. Не интересуются, –

порвал папку и сжег в печи. По колымской скорострельной неразберихе следователь ничем особенно не рисковал. Но зека он спас.

Все это только "капли добра", но Конквест справедливо пишет, что эти редчайшие исключения все же свидетельствуют о том,

"... что даже в этих условиях исконная русская человечность неожиданно прорывалась наружу".[28]

К 1938 г. органы НКВД добрались и до Писарева. Заступнику за невиноватых плохо пришлось: ему выламывали позвоночник, просто били, били с разными художествами, о которых писать не хочется, – он не признавался ни в чем.

Когда Берия, заменивший Ежова на его боевом посту, выпустил тех подследственных, в гибели которых ни он, ни Сталин лично заинтересованы не были, Писарева освободили и восстановили в партии. Не знаю, бывали или нет в течение следующего десятилетия у Писарева приступы кихотизма. Но в 1953 г., когда арестовали крупнейших медиков Советского Союза, и те, как было напечатано в газетах, признались, что не лечили, а отравляли и убивали по указке Тель-Авива и ЦРУ, Писарев решил помочь Сталину. Он написал Сталину письмо. Там он рассказывал о пытках в ежовские времена, которым он сам подвергся; о том, как на его глазах невиноватые люди, не выдерживая этих пыток, признавались в чем угодно.

Писарев предупреждал Сталина, что признание врачей, среди которых был, например, генерал, главный хирург Советской Армии, малоправдоподобно, и что признание это, скорее всего, вырвали пытками. Писарев советовал Сталину лично вникнуть в следствие, проводившееся органами госбезопасности; в эти органы, как и во времена Ежова, по-видимому, просочились несоветские люди, карьеристы и палачи.

Так Писарев попробовал помочь своему Вождю.

Писарев не знал, что Сталин лично требовал от тогдашнего шефа госбезопасности страны, чтобы любыми средствами из несчастных докторов выбили признание, что они убийцы. Табуреткин, обладавший воистину

сталинским "чутьем жизни", соскучился жить без призраков. И он нашел злых волшебников среди своих врачей-урологов и отоларингологов.

Гебешники, которые прочли письмо Писарева глазами Великого Сталина, должно быть, очень смеялись.

Их смех, вероятно, не был ни хищным, ни циническим. Это был, скорее всего, громкий смех ото всей души над круглым дураком. Писарева, понятное дело, посадили, но очень быстро отправили к нам в тюремную психиатрическую больницу или, как народ говорит, в дурдом, –дом для дураков.

Народ знает, что говорит.

И все-таки поражения Писарева исторически ценнее побед Табуреткина, пусть этого Табуреткина звали Стулиным или даже Сталиным.

Наивное кихотическое упрямство не обладавшего "чутьем жизни" Писарева, было доброй человеческой силой. Такая сила именно в наше время особенно дефицитна. Сталинского – и даже более, чем сталинского – злого могущества повсюду полно.

Но платина не теряет ценности оттого, что ржавого кладбищенского лома на земле много больше.

И у Сталина и у Писарева равным образом не было того, что великий вождь называл "чутьем жизни". Зато у Писарева была доброта, иногда доставлявшая этому большевику-ленинцу нестерпимые страдания и доводившая его до пароксизмов кихотизма.

Отчуждение доброты и многих лучших человеческих качеств было сталинским государством осуществлено с максимальным эффектом. Благороднейшие человеческие свойства, – любовь к ближним, надежда на лучшее будущее хотя бы для своих детей, – государство присвоило себе и обратило против каждого отдельного человека, требуя от него ради всего этого послушания, жестокости, доноса.

Конечно, естественнее всего было бы отказаться от услуг такого государства. Но оно было навязчиво и многолюдно: хорошо вооруженные бюрократы вовлекали в его деятельность все больше пособников.

А людям было некуда, кроме государства, податься.

Поэтому личный состав народа все более обезличивался (к счастью, процесса этого нивелляторам не удалось довести до конца).

Два с лишним миллиона (цифра, названная Григорием Зиновьевым) эмигрировало к 1922 г. С 1922 по 1930 гг. шли постоянные высылки из городов бывших дворян, духовенства, просто подозрительных интеллигентов; аресты за слово, за полслова, по подозрению медленно опустошали общество. Потом начались эпидемические аресты "вредителей" (конец двадцатых – начало тридцатых годов), деморализовавшие оставшихся на воле специалистов.

Образованная часть общества, увеличившаяся за счет интеллигентных выпусков вузов, редела и затихала. Городские жители из тех, кто побойчее, прикусили языки. Потенциальные лидеры – на каждой улице или во дворе есть такие – либо изымались властями из обращения, либо находили себе применение у властей.

Когда началась война за коллективизацию, многие крестьяне ушли в города, чтобы начать там новую жизнь, – жизнь членов правящего рабочего класса. Для начала этой жизни они старались получить хотя бы койку в общежитии.

Из-за прилива людей из деревень началась новая волна "уплотнений". Гигантские коммунальные квартиры ("На тридцать восемь комнаток всего одна уборная", – как пел В. Высоцкий) в деле психологического измельчения людей в пыль сыграли огромную роль. Жизнь в "коммуналках" с их склоками, скандалами, драками для сколько-нибудь интеллигентного человека была невыносима; она расплющивала душу, словно чугунный каток. Коммунальные квартиры – отличное средство унасекомить людей, слишком много мнящих, – пусть не столько о себе, сколько о значении мысли в их пыльных книжках.

Озлобленные, завистливые, невежественные и несчастные выходцы из недавних социальных "низов" ненавидели все, что казалось им претендующим на интеллектуальное превосходство, – а это в их глазах были не только шкафы с книгами, но и даже очки, шляпы, трости. В такой ситуации интеллигенту трудно было избежать искажающих душу чувств. Равенство оборачивалось хроническим хамством со стороны недавних "меньших братьев". Как памятники прежнему порядку в некогда буржуазных квартирах оставались монументальные, но покрывавшиеся желтоватой патиной времени ванны; из множества жильцов коммунальной квартиры в ванне не мылся никто, чтобы другие не завидовали. Все ходили в коммунальные бани.

В 1931 г. ввели обязательные трудовые книжки; без трудовой книжки, где должно было содержаться особое разрешение оставить прежнее место работы, на новую службу не принимали. В 1932 г. были восстановлены внутренние паспорта (в свое время такую паспортную систему осудил Ленин, но то было время царское, а не ленинское). Эти и другие дисциплинарные меры в соединении с карточной системой не очень-то вдохновляли людей.

Зато обстановка террора вынуждала их погружать себя в самообман. Одни впадали в него вяло, как в спячку, другие вводили себя в обман энтузиастически. Парадоксальный процесс происходил со сталинскими верными соратниками, а также с бывшими оппозиционерами: все они видели, что Сталин приобрел диктаторскую власть, а вслух говорили о социалистическом демократизме. Обманывая других, они становились потрясающими мастерами самообмана.

Самообман этот вел их к смерти.

Сталин не любил, когда с ним спорят и даже, когда с ним соглашаются; он предпочитал, чтобы ему подчинялись. "Капли добра" мешали ему сложить из своих твердокаменных соратников неколебимую стену, за которой он мог бы спрятаться от врагов и изменников.

Между тем в ходе войны за коллективизацию враги и изменники обнаружились. На многих страницах своей "платформы" (1932 г.) бывший большевик "дегенерат-перерожденец" (так его окрестил осенний пленум

ЦК 1932 г.) Рютин, а с ним и другие преступники, оскорбляли лично Сталина. А Политбюро не дало согласия пристрелить этого Рютина где-нибудь на помоечных задворках ОГПУ.

Р. Конквест пишет о нравственных мотивах поведения большевистских деятелей, которые, хоть именно Сталин выдвинул их в Политбюро, его же и подвели:

> "Попытка спасти Рютина, предпринятая людьми, которые только что несли голод и смерть Украине, выглядит одинаково абсурдно и с точки зрения сталинской, и с точки зрения гуманистической логики; однако эта попытка не просто отражала желание сохранить сословные привилегии, но была также проявлением остаточных человеческих чувств".[30]

Ничего удивительного, что после убийств "белых" монархистов, "розовых" социалистов, "черных" анархистов, "зеленых" атаманов, бесцветных политически мужчин и женщин, жертв красного террора, чернобушлатных "братишек" из Кронштадта, зажиточных крестьян и крестьянок в ходе коллективизации, священников и монахов, – человечность у сталинских приближенных могла быть только остаточной.

Но даже эти остатки человечности, проявляемые притом только по отношению к членам партии, отнюдь не были сладки Сталину. Он чувствовал в этих "остатках" нечто ядовитое для себя.

И был прав.

Вполне вероятно, что на выборах ЦК на XVII съезде 1934 г. Сталин получил меньше голосов, чем нужно было, чтобы по партийной традиции стать Генсеком, т.е. непререкаемым гением. Только жульнический "пересчет" голосов поправил, говорят, дело.

Так или иначе, но сам за себя свидетельствует тот факт, что Политбюро после съезда по-прежнему включало людей, которые, как вождь мог убедиться, способны ему противоречить. Более того, – в состав ЦК ВКП(б) кандидатами вошли некоторые оппозиционеры из ведущих: Бухарин, Пятаков, Рыков, Томский, Осинский.

Явно нежелательным для Сталина был ленинградский вождь Киров в качестве секретаря КП. На это Сталин указал Кирову, прикончив его.

Успешная война за коллективизацию вознесла Вождя на недосягаемую высоту; но его положение на этой высоте оставляло желать лучшего. Сообщники Вожака позволяли себе противоречить команде. Между тем, с такой недосягаемой высоты спуститься было уже нельзя: оттуда можно было только рухнуть.

И Сталин, ради спасения собственной шкуры, облекавшей, как он считал, разум истинного гения, начал Большую войну за унификацию подсоветских людей по уровню насекомых. Прежде всего следовало уничтожить тех сталинских побежденных противников и даже победивших сторонников, которым могло казаться, будто свое высокое положение они имеют благодаря собственным заслугам, а не из рук Вождя.

Таких живорезов как Хатаевич, чей отзыв о войне с крестьянами был

приведен выше, выработала гражданская война и дальнейшие жестокости; на этих людей в первую очередь Сталин и опирался. Но пришла пора оторваться от этой опоры, заменить ее другой. Хатаевич мог дрогнуть, оказаться непоследовательным Сталиным, подобно Постышеву или Рудзутаку. Зато Сталин всегда был недрогнувшим Хатаевичем.

Теперь прежних вождей в пенсне, с бородками и с какой-то, хоть и смутной идеологией в головах должны были сменить люди, на все готовые, люди толпы, так что вожди и унифицированные ведомые теперь становились человечески однородными, что и было залогом возможности колоссального по масштабам сообщничества.

Для столь великой войны нужны были новые люди, соратники без претензий; не просто люди, находившиеся в состоянии преданного самообмана, но прежде всего совершенно бессовестные холуи, которые, будучи друг у друга под пистолетным прицельным надзором, и думать позабудут обо всем, кроме доноса и награды. При таком принципе подбора кадров неподходящий, т.е. враг, обнаруживался сам собой. Ведь эти сталинцы ежовского призыва состояли из людей толпы. А для человека толпы потенциальный враг – всякий, кто резко отличается чем-нибудь ото всех остальных в пределах своего социального слоя (если только сам этот слой не подлежит истреблению), – будь то радиолюбитель, поддерживающий связь со многими зарубежными, враждебными странами или эсперантист.

В 1937 и 1938 гг. прошли очередные "комсомольские призывы" в наши всегда воинствующие хватательные органы. Для молодых людей "органы" были таинственным и притягательным источником страха и власти. Так их воспитывали поэты и поколения, – Багрицкий, Маяковский, Светлов. При этом у многих, по луначарственному выражению, "сердца обросли шерстью".

Вот эти-то хватали, пытали, – и иногда допытывались до полной чуши, за которую однако же получали свои ордена.

Нападали эти двуногие существа обычно врасплох.

Схваченных, от которых хотели добиться признания в несовершенных ими преступлениях, борцы за унасекомливание человека подвергали квалифицированным истязаниям.

Пытаемых сажали на "епистос" – табуретку, сидение которой имело форму остроугольной призмы, обращенной острым ребром вверх. Несомненный прогресс в сопоставлении с сажанием на кол.

Схваченным делали "ласточку" – подвешивали за руки, скованные за спиной и привязанные к ногам; тов. Багиров, азербайджанский вождь коммунистов, приказывал катать схваченных голыми по битому стеклу; схваченным выкручивали половые органы, прижигали кожу, ставили в стенные ящики, не давали спать многими сутками, меняя допрашивающих, – и, конечно, били. Топтали сапогами, били дубинками, плетьми, проводами, колючей проволокой; кулак в этой симфонии побоев был еще самым добродушным, демократическим орудием.

Унасекомить человека нетрудно.

Но откуда взялись, кем они были эти полубоги в кожаных сапогах, стоявшие над поверженными, потерявшими от боли человеческий облик, окровавленными и вопящими мужчинами и женщинами?

Человек толпы в хулиганско-садистской ее части еще и не на то способен, – но ведь почти каждый может стать человеком толпы в той или другой ситуации. Только когда человек сознательно отлипает от всякой массы, он остается тем, кем его создал Бог, – собой.

Но для того, чтобы попасть в это исходно богоданное нам положение, человеку нужен если не монаший клобук, то хоть незадачливость Дон Кихота.

В тридцатые годы такие отпадения случались с людьми: сталинские наездники вдруг замечали, что, когда они рубят лес для чертогов грядущего, то в никуда летят не щепки: зрение их уставало принимать за щепки людей. Человекорубы на этом опускали топоры и задумывались. Обыкновенно это были читатели романтических стихов, но читатели не из тех, чьи сердца стали волчьими.

Горячечная атмосфера борьбы со своими же соотечественниками даже в условиях скудеющей разумом и духом России создавала не только новых палачей, но и противников "усреднения", находившихся на всех социальных уровнях, – их потаенное бытие хранило в себе возможности сопротивления; нравственная упругость тех, кто не мог и не хотел поддаться всеобщему бреду, была уже в те годы залогом, что среди покорных сталинских слуг все-таки найдутся люди, – как это и случилось в пятидесятые годы, – которые попытаются свести на нет достижения большой войны за унасекомливание человека. Прошедшие четверть века показали, что сталинские селекции сделали свое дело. Потери, понесенные Россией за время сталинского властвования, были максимальными за ее историю и в количественном, и в качественном отношениях.

Но тем важнее, что в этих условиях были, есть и будут "критически мыслящие личности", говоря словами П.Л. Лаврова. Из их среды возникали образцы человеческой нормы – российские Дон Кихоты.

В ходе первой большой войны за экспроприацию духовных ценностей у подсоветских людей погибла почти вся прежняя партийная, советская, промышленная и военная администрация. Из семисот тысяч приговоренных к смерти и расстрелянных НКВД с 1936 по 1940 гг. (цифра Р. Конквеста[31]) большинство принадлежало к этим группам. Священников, бывших дворян и купцов, веховцев, сменовеховцев, офицеров, националистов и прочих разного звания людей расстреливали и до 1936 г.

Начиная с 1936 г. они, вероятно, входят и в это число, а также в число якобы приговоренных к заключению без права переписки, а на самом деле расстрелянных.

Только в 1937-1938 гг. в лагерях умерло около двух миллионов, не считая казненных там.[32]

Эти цифры столь велики, что притупляют воображение; живое чувство не может на них отозваться.

К концу большой войны за унификацию, примерно к началу 1939 г.,

люди были озлоблены и несчастны; возникшее в результате разрушения прежней стратификации общества насильственное смешение, искусственное уравнивание всех между собой ничуть не создавало психологии равенства; реальное неравенство в образовательном, культурном, духовном уровнях оставалось.

"Человек толпы" в коммунальной квартире ненавидел соседа, книжного человека, за то, что он – интеллигент; дразнил "монашкой" религиозную женщину; соседи, еще не позабывшие хороших манер, за это назывались "буржуями".

Когда воины за единомыслие, уравнивавшие всех по собственному росту, т.е. по росту того же "человека толпы", хватали книжника, художника, "монашку", гражданку "из бывших", то "человек толпы" сжимался, забивался в угол и, разумеется, не сочувствовал никому из схваченных: он завидовал их вере, их культуре или их имуществу; быть может, он подсознательно ненавидел их за то, что все их книги и культура не спасли его, маленького человека, от потрясений. Когда судили или объявляли вредителем высокого начальника, "человек толпы" его не жалел, потому что прежде ему завидовал. Кроме того, поверить в начальничье негодяйство ему было легче и проще, чем подумать. Мифы о вредительстве – о фашистских знаках на этикетках спичечных коробков, о сыпнотифозных вшах, специально выпускаемых диверсантами в кинотеатрах и еще Бог весть о чем, – распространялись и укреплялись.

Одной из задач войны за унификацию было заразить людей национальной манией преследования. С тех пор русскому человеку стало привычно, что весь мир, даже разведка какого-нибудь Гондураса, озабочен тем, как бы причинить ему, русскому человеку, гангренозный вред.

Стихия хамства разлилась повсюду. "Человек толпы" был деморализован.

Зато многие "либералы" Запада убеждались в прочности строя, который, сотрясаемый кознями врагов внутренних, преследуемый ненавистью врагов внешних, гордо существует, посылая своих летчиков через Северный полюс в Америку. Пример таких либералов – Лион Фейхтвангер, гуманист и антифашист, которого так все и водили за нос по вечно весенней социалистической Москве; в конце концов его довели до состояния полного благорастворения души, после чего он написал книгу "Москва, 1937 год". Эта книга являет собой настолько дурно пахнущий продукт добросовестного самообмана, что в самую добросовестность этого самообмана уже трудно поверить.

Впрочем, и люди, смотревшие на обе внутренние войны отнюдь не посторонним взглядом, часто тоже видели то, что было только в их жизни, а за этими горизонтами ничего не замечали.

Недавно в журнале "22" (Израиль) был напечатан очерк Александра Зиновьева об отношении русских людей к Сталину. Зиновьев рассказал, в частности, о своей матери, крестьянке, верующей женщине, которая до самой смерти (в шестидесятых годах) хранила между страниц Евангелия портрет Сталина. Семья Зиновьева, как и миллионы деревенских се-

мей, во время войны за коллективизацию пережила тяжкие беды, но выдержала, спаслась, – и мать, бывшая крестьянка, теперь видела: двое ее сыновей – полковники; двое, кажется, инженеры, чуть не директора заводов; один вышел в профессора. Я не помню в точности, кто стал кем, но так или иначе все сыновья этой крестьянки вышли в именитые, видные советские люди. Зиновьев пишет, что крестьянских детей скорее всего ждала бы обычная крестьянская судьба, если бы не погибла в огне сталинской коллективизации прежняя деревня. По случайности этот пожар "способствовал премного украшенью" бывшей деревенской семьи. Но симптоматично, что из лона семьи этой вышел – чтобы уже не вернуться назад ни к "почвенникам", ни к "деревенщикам" – автор "Зияющих высот".

Никакого нет сомнения, что мать Александра Зиновьева помнила и, вероятно, поминала в своих молитвах людей, делавших ей добро, но погибших при Сталине. Однако она была крестьянская женщина, и она, наверное, благодарила Бога, что Тот так хорошо позаботился об ее детях; а судьба погибших не задевала ее настолько, чтобы соседство Евангелия и Сталина показалось ей кощунством.

Но ведь и патриарху Сергию не казалось кощунством возносить в церквах молитвы за сталинскую "власть предержащую".

Так и начал великий вождь становиться вождем всех уцелевших от его убийств.

В ходе большой войны за унификацию нападающие изымали из жизни в первую очередь категорию людей от 35 до 55 лет, – людей, которые хоть что-нибудь помнят (выражение из книги Конквеста).

Война за унификацию была в то же время войной с исторической памятью. На этом фронте война оказалась успешной. Активных носителей исторической памяти удалось уничтожить почти всех. Сталин создал фальсифицированную историю, где мифотворчество граничит с маразмом. Чего стоила одна только черная мифология вокруг "ненавистных мертвецов"! (Выражение В. Чалидзе.)

Для огромного количества людей мифы вообще заменили историческую память. В фундамент этого массового беспамятства легли кости погибших в ходе малых войн за духовное усреднение и большой войны за унификацию человека по уровню хлопотливого насекомого.

Солдат для всех этих войн нетрудно было найти. Гражданская война приучила убивать соотечественников: и классовых врагов, и братьев по классу. А новые пыточные допросы закалили армию подонков и насильников. Даже если часть ее погибла при последующих чистках, оставшиеся составили могучее братство истязателей и убийц. Общее количество служащих НКВД СССР, включая вольнонаемных, внутренние войска, всякого рода надсмотрщиков и надзирателей исчислялось к концу тридцатых годов миллионами, – во всяком случае, как я читал у Конквеста, одних "надсмотрщиков и надзирателей" было больше, чем служащих в системе народного комиссариата путей сообщения СССР.[33]

И все-таки сам Верховный нивеллятор, Вождь народов Табуреткин, нечаянно дал людям, сопротивлявшимся унасекомливанию, оружие против себя.

Кто, собственно говоря, должен был уцелеть после войны за духовное единообразие?

Определение того, кто должен был остаться, затруднительно, потому что критерии самих нивелляторов были безнадежно противоречивы.

С одной стороны, унификация велась по уровню "мельче мелкого"; с другой – отнюдь не требовалось низвести каждого до уровня склочника, квартирного хама, завидующего чужой интеллигентности, чужой религиозности, чужому достатку, до уровня увлеченного доносчика-хлопотуна. На XVIII съезде ВКП(б) Жданов прямо заявил, что отныне разоблачение врагов народа – это и есть акция врага народа.

Дозволенный уровень унифицированных людей оказался более высоким, чем можно было ожидать по размаху войны и по нечетким, но более чем низким, энкаведешным стандартам унификации.

Было бы опасно для самого существования Империи, если бы ее унифицированный подданный сделался дикарем-фанатиком.

Реальный уровень унификации в ходе войны за нее начал определяться в таких чертах:

– сталинский подданный должен был быть хорошим специалистом, – ученым или техником; культурным человеком (в рамках дозволенной культуры); физкультурником; главное же, он должен был стать существом, хоть и имеющим право на дружбу, хоть и обязанным построить крепкую семью, – но прежде всего преданным Сталину и его государству.

Семейные, дружеские связи, личные интересы – все это нужно было уметь, если понадобится, сложить к табуреткинским ногам в сапогах. Поэтому отречение жен от мужей, детей от родителей, родителей от детей было обязательной боевой операцией во время большой войны за унификацию людей по уровню вши. Люди плакали, но отрекались и от родных, и от друзей, и даже от самой памяти о них.

Однако так как культура – литература и искусство – считалась полезной, а прежние революционные формы были уже неуместны, то сталинские цивилизаторы обратились к прежним формам (реалистического направления). Пастернака, впрочем, разрешали, а Маяковского даже прославили. Вообще цензурование культуры велось с учетом того, что если летчик может удовлетвориться пением пропеллера, то авиаконструктор может любить еще и оперное пение.

В двадцатые годы умнейший П.Н. Милюков предсказывал, что "бэки" в искусстве, литературе, просвещении придут к довоенным образцам консервативного – общепонятного – уровня.

И действительно, во время войны за унификацию у нас и произошел своего рода маленький ренессанс классической русской культуры, еще недавно посаженной марксистами прежнего толка под домашний арест.

Жестяной космополитический марксизм 30-х годов был заменен марк-

сизмом, дозволяющим людям иметь свои национальные ценности, в ограниченном, правда, количестве и под партийным контролем. Заодно вернули из изгнания Клио, музу истории, а также и некоторых историков, сосланных по проискам М.Н. Покровского и его гвардии. Вышло новое издание перевода многотомной "Истории XIX века" Лависса и Рамбо. Переиздали перевод "Политической истории Французской революции" Олара. Как выразилась одна умная московская женщина, все это были "светлые стороны темной реакции". Но Сталин, великий мастер самовластия, начал не просто "темную реакцию": он начал восстанавливать имперскую государственность, – неважно, что пока еще он и его сановники ходили в скромных, как у Мао Цзе-дуна (мы ведь всегда указывали путь Китаю, а он от нас отставал), полувоенных костюмах. Спутниками имперской государственности оказались и патриотизм, и отчасти – прежняя культура. Сталину, решившему обрядить свой диктаторский режим в приличное платье, никаких фасонов, кроме старорежимных, история предоставить не могла. И Сталин послушался истории. Не стал искать ничего небывалого, а ввел генеральские звания и форму, пока еще без погон, но уже с лампасами.

На сцену Академического Малого театра вернулись традиционные для Императорского Малого театра спектакли "Отелло" и "Уриэль Акоста" Гуцкова. В этих спектаклях прогремел актер старинной романтической школы Остужев. Особенно приятно было в 1939 г. слышать от него со сцены, что "лишь в инакомыслии бессмертном всеобщего развития залог" ("Уриэль Акоста"). Балетное искусство вознеслось едва ли не на ту же высоту, что и самолет Чкалова, Байдукова, Белякова, перелетевший в Америку через Северный полюс: балеринам стали давать ордена.

В этом причудливом историко-культурном контексте появился традиционный для нас "Дон Кихот", – теперь уже "Дон Кихот" М.А. Булгакова.

В описанной выше социально-психологической обстановке, которую Михаил Афанасьевич Булгаков понимал лучше Сталина (тонкий критик часто понимает произведение верней и глубже его удачливого создателя), Дон Кихот, разумеется, был обречен.

Михаил Булгаков знал уже, что с чекистами сам Воланд не желал ссориться. Его подручные оставляли чекистам клубы пламени за собой и уходили, не прощаясь.

Тем не менее Булгаков написал пьесу по мотивам романа Сервантеса о самом нелепом рыцаре на свете.

Пьеса Булгакова была представлена цензуре в январе 1938 г.

В это время особой популярности у нас испанской культуры способствовало государственное сочувствие испанским республиканцам в их борьбе с франкистами. Государственное сочувствие бедным испанцам разделяли мы, пионеры и октябрята, а также и комсомольцы. Даже взрослые интеллигентные люди сочувствовали на всякий случай больше испанскм республиканцам, чем арестованным соседям.

В тридцатые годы вышло два новых издания полного перевода рома-

на Сервантеса; за это же десятилетие вышли три издания романа в сокращении для детей старшего возраста. Все три издания вышли с иллюстрациями Гюстава Дорэ. В дополнение к этому и я, и мои ровесники, читали популярную в те годы повесть Э. Выгодской "Алжирский пленник" (Необыкновенные приключения испанского солдата Сервантеса, автора "Дон Кихота"), где рассказывалось об одноруком воине, плененном пиратами, и являвшем чудеса мужества. Образы Дон Кихота и этого однорукого рыцаря сливались воедино. В течение тридцатых годов книга Выгодской издавалась четыре раза.

У взрослых был, разумеется, свой Дон Кихот; у Чулкова – друг истинной реальности (таким стал его Дон Кихот в конце трагикомедии); у Булгакова – ее последовательный враг.

В 1936 г. была запрещена Главным Репертуарным Комитетом, театральной цензурой пьеса Булгакова "Жизнь Мольера". Она была поставлена МХАТ'ом, но критическая статья "Правды" ее подкосила: спор художника и власти в пьесе был на первом плане, а в жизни на первом плане был сияющий фасад сталинской конституции. Заодно, на всякий случай, начальство запретило и комедию "Иван Васильевич". Можно было бы и самого Булгакова запретить, как его пьесу, изъять и его из обращения и отправить на переплавку, как оловянную пуговицу. Но у Сталина было особое отношение к Булгакову. Поэтому, запретив две пьесы сразу, начальство принялось доброжелательно ждать нового произведения даровитого драматурга. Булгаков написал пьесу о Пушкине, а затем "пьесу по Сервантесу" "Дон Кихот".

Поначалу пьеса написана в тональности Дон Кихота Осмеянного.

В первом акте Алонсо Кихано впадает в помешательство; он чуть не до смерти пугает Альдонсу Лоренсо; он громко читает вслух отрывки из рыцарских романов и тут же играет в свои будущие славные бои; отыскав цирюльничий тазик, он торжественно надевает его на голову в качестве шлема Мамбрино, сарацинского короля.* Все это происходит в тонах грубого фарса.

Затем Дон Кихот нападает на мельницу и едва остается жив; после этого он и Санчо идут в атаку на прохожих, – по законам симметрии теперь до полусмерти избит Санчо; наконец, оба набрасываются на погонщиков лошадей, – на сей раз обоих отколотили до бесчувствия. Все это напоминает о грубых эффектах народной комедии. Добравшись до постоялого двора, Дон Кихот варит чудодейственный бальзам, который повергает всех, кто его хлебнул, едва ли не в предсмертные корчи; затем безумный Рыцарь вспарывает бурдюк с вином.

Хитростью его возвращают домой: домашние дона Алонсо переодеваются в костюмы персонажей рыцарского романа, обманывают корыстного Санчо, который приводит Дон Кихота в Ламанчу спасать несчастных "жертв". Затем идет сцена шутовских переодеваний – трансформаций,

---

* Говоря о пьесе Булгакова, я сохраняю булгаковское написание имен, в ней встречающихся. – *Ю.А.*

когда племянница Дон Кихота Антония играет несчастную Принцессу, цирюльник Николас – ее дуэнью. Можно себе представить, сколько было бы по этому поводу смеха в балагане на рыночной площади. Потом Дон Кихот уезжает в погоню за злым волшебником. Бакалавр Сансон Карраско, поклявшийся племяннице Рыцаря вернуть безумца домой, отправляется следом.

На протяжении первых пяти картин Дон Кихот Булгакова и впрямь безумен. Безумие его тем смешнее, что он вставляет в свои "рыцарские" речи резонерские рассуждения. Все его поступки нелепы и ничем не оправданы.

У Луначарского Дон Кихот начинал с освобождения преступников; у Чулкова есть и этот эпизод, и эпизод, когда Рыцарь Бедный освобождает пастушка от избивающего его хозяина. У Луначарского эпизод освобождения каторжников показывает "сиюминутную" доброту Дон Кихота. Для Чулкова кихотическая доброта – результат того, что Рыцарь Печального Образа путает искусство и действительность, как и подобает сентиментальному интеллигенту. В пьесе Булгакова нет этих эпизодов и не возникает связанных с ними нравственных проблем. Зато сцена с мельницами открывает серию нелепых донкихотских поступков.

С шестой картины по девятую, финальную, Дон Кихот у Булгакова бездействует; он только говорит, но слова переносят Рыцаря с плоскости вполне нелепых поступков в сферу особого поэтического бытия.

У Дон Кихота в этой пьесе много благожелателей. Домашние любят его. Пусть грубо, пусть неумелым обманом, но они хотели спрятать своего дона Алонсо от безумия под домашним кровом, а не просто заманить Рыцаря Печального Образа домой.

Все это добрые люди.

Санчо – прямо-таки истинный аристократ: с таким спокойным достоинством отказывается он быть губернатором на острове, где мудрым судом успел заслужить себе популярность.

Сансон Карраско упрекает Герцога, что тот сделал из Дон Кихота шута.

Дон Кихот находит, что противопоставить этой всеобщей заботливости. На сей раз это не чудачество.

В шестой картине булгаковской пьесы, возражая Духовнику Герцога, Дон Кихот по-новому обосновывает свои действия. На утверждение Духовника, что нигде не существует ни гигантов, ни очарованных принцесс, Дон Кихот отвечает, обходя этот скользкий вопрос:

– ... Вы считаете, что человек, странствующий по свету не в поисках наслаждений, а в поисках терний, безумен и праздно тратит время?... Я заступался за слабых, обиженных сильными!... Моя цель светла – всем сделать добро, и никому не причинить зла.[34]

Последняя фраза содержится и в чулковской трагикомедии. Но у Чулкова Дон Кихот действительно никому не причиняет зла; у Булгакова же Рыцарь Печального Образа нелепо нападет на прохожих и на проезжих,

и хотя погонщики лошадей причинили куда большее зло Рыцарю, чем Рыцарь погонщикам, все же "светлая цель" Дон Кихота "не причинять зла" явно осталась недостигнутой. Монахи оказались жертвами безумия Дон Кихота, а погонщики лошадей чуть не стали жертвами гипертрофированного чувства рыцарской чести: они посмеялись над Россинантом.

Это противоречие возникло потому, что Булгаков в качестве характерно кихотических поступков выбрал поступки прежде всего нелепые. Возможно, освободить каторжников в 1938 г. даже Дон Кихоту было нельзя, но спасти мальчика от побоев Рыцарь Бедный мог. Почему-то Булгаков не захотел ему этого позволить.

В пьесе три акта, но она распадается на две части, не образующие смыслового единства. Граница между частями перерезает третий акт.

Начиная с шестой картины тональность пьесы все мрачнее и серьезнее.

В восьмой картине Сансон Карраско побеждает Дон Кихота в пешем поединке. Сансон Карраско ранен; он в ярости. Он требует, чтобы Дон Кихот признал, что Дама победителя, Рыцаря Бледной Луны, прекраснее Дульсинеи.

Дон Кихот отказывается, но вот что он говорит, ощущая на горле острие чужого клинка:

– Я побежден, я побежден, я признаю это... но не могу признать, что есть на свете что-нибудь прекраснее Дульсинеи! Нет ничего прекраснее ее! Но вот что стало страшить меня гораздо больше, чем острие вашего меча! Ваши глаза!... Ваш взор холоден и жесток, и мне вдруг стало казаться, что Дульсинеи вовсе нет на свете! Да, ее нет! ... Мой лоб покрывается холодным потом при этой мысли!... Ее нет!... Но все равно я не произнесу тех слов, которые вы хотите у меня вырвать. Прекраснее ее нет![35]

В такой монолог превратил Булгаков слова Дон Кихота, что один только Бог знает, существует Дульсинея в действительности или нет. Правда, еще до поединка на вопрос Герцога о Дульсинее Тобосской Дон Кихот отвечает, что злые волшебники превратили ее в безобразную крестьянку, но истинный ответ, задушевную, подноготную, пыточную правду он говорит именно сейчас, когда ему противостоит не разум, а жестокость разгневанного победителя, – "железное сердце", "каменное сердце", неспособное поддаться очарованию иллюзий. Именно эту силу ощущает он в Рыцаре Белой Луны.

Когда Дон Кихот возвращается домой, то за ним везут на Россинанте его доспехи. "Кажется, что на лошади едет пустой внутри Рыцарь со сломанным копьем", – сказано в ремарке.

Дон Кихот выздоровел, – но теперь он пуст. Вместо мечты – ничто. Не "земное", которое Рыцарь Печального Образа так высоко оценил перед смертью в пьесе Г. Чулкова, а никакое.

> "Мне страшно оттого, что я встречаю свой закат совсем пустой, и эту пустоту заполнить нечем, – говорит Дон Кихот Санчо. –Я боюсь, не вылечил ли он мою душу, а, вылечив, вынул ее, но другой

не вложил... Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награжден человек, – он лишил меня дара свободы!"[36]

В пьесе Чулкова эта фраза о свободе однозначна. У Булгакова она имеет не только прямой смысл "пленения", но и тот, что Карраско, излечив Дон Кихота, тем самым лишил его свободы мечтать, жить в мире грез и иллюзий. После шоковой терапии Сансона Карраско Дон Кихот лишился самой способности мечтать. Даже не в том дело, может ли удовлетворить Дон Кихота простая жизнь Алонсо Кихано; важно, чтобы человек имел свободу выбора, а вот ее-то теперь и нет у исцеленного Дон Кихота. Сансон Карраско его унифицировал. Зато Рыцаря не боится больше Альдонса Лоренсо, которая не хочет быть Дульсинеей и вполне довольна, что ее господин вылечился от своего безумия. И когда Сансон Карраско, продолжая прежнюю свою игру, называет Рыцаря Бедного Дон Кихотом, тот отвечает:

– Вы же прекрасно понимаете, что я не Дон Кихот Ламанческий, а тот самый Алонсо Кихано, прозванный Добрым, так же, как и вы, – бакалавр Сансон Карраско, а не Рыцарь Белой Луны.

Сансон. Вы все знаете?

Дон Кихот. Да, знаю. Я узнал ваши глаза в забрале и голос, безжалостно требовавший повиновения... Тогда, на поединке. Мой разум освободился от мрачных теней. Это случилось со мной тогда, Сансон, когда вы стояли надо мной в кровавом свете факелов в замке... Словом, теперь я вижу вас, я вижу все...[37]

Шоковая терапия дала прекрасные результаты. И только Санчо, не "мешок с поговорками", как у Чулкова, а человек, умудренный общением со странным рыцарем, понявший что-то очень важное в жизни, опасается за своего господина.

Когда Дон Кихот умирает, судьба посылает ему новое видение: грезу о смерти:

> "... Я ей рад. Когда Сансон вспугнул вереницу ненавистных мне фигур, которые мучили меня в помрачении разума, я испугался, что останусь в пустоте. Но вот она пришла и заполняет мои пустые латы и обвивает меня в сумерки", – говорит он.[38]

Греза о смерти заменила Дон Кихоту грезу о Дульсинее. Но от прежних мечтаний он отрекся, назвав их "помрачением разума". В 1938 г. отрекались от всевозможных "помрачений разума" многие; и тоже, если не при свете факелов, то с ножом у горла, и тоже, как Дон Кихот, простертые на каменном полу...

Однако Дон Кихот Булгакова, п р и з н а в себя побежденным, с д е л а т ь с я побежденным не смог: натура его была непобедима. Дон Кихот оказался неизлечимым; последним его мечтательным образом стала смерть.

В финальной картине делалось ясно: невозможно лишить мечтателя его книжного иллюзорного мира, каким бы нелепым ни казался чудак,

живущий в нем. Дон Кихот неисправим по природе. Он может признать себя побежденным, но не может перестать быть собой.

Дон Кихот Булгакова, как и Дон Кихот Чулкова, был поэт. Дон Кихот Чулкова умер, мечтая, подобно Адаму, назвать все в мире по-новому; Дон Кихот Булгакова умер, опоэтизировав самую смерть.

Санчо у Булгакова совершенно верно почувствовал живое начало донкихотской нежизненной мечты: "железные сердца", "вылечивающие" мечтателя своей жестокой терапией – это тюремщики, лишающие человека драгоценного дара: свободы выбора – выбора между преображающей окружающее силой мечты и надежды и жизнью усредненной, действительностью не истинной, а всего только общедоступной.

Но во время войны за унификацию оптимальной, с точки зрения сталинцев, формой жизнетворчества были доносы бдительных людей. И хотя апология разума по-прежнему звучала повсюду, на самом деле именно разум-то и был предан. Он был предан на грандиозных судебных процессах, когда звучали вполне разумные, содержавшие опыт послеренессансного развития слова: "гуманизм", "прогресс", "реакция", "социализм", – однако реальным смыслом контекстов, в которых эти слова существовали, было то, что люди признают себя исчадиями ада.

Предательство смыслов никогда не казалось "бэкам" (в отличие от большинства эсеров) особенным проступком (понятия "греха" у "бэков" вообще не было). Они всегда были готовы прилюдно отречься от своих ошибок. Когда Троцкий требовал внутрипартийной демократии (1924), Каменев, продолжавший в глубине души сожалеть, что "бэки" создали однопартийную власть, над ним издевался: вслед за Троцким демократию могут потребовать и рабочие, а там и крестьяне. Зачем какая бы то ни было демократия победившим революционерам?

Троцкий был побежден; ему пришлось вытащить из слова "демократия" смысл, как сердцевину из бузины, и проиграть на пустопорожнем словечке мелодию своего отречения.

Потом Каменев спохватился, схватился за словцо "демократия" (внутрипартийная, конечно). Но тут уж Сталин ему напомнил его же издевательство над бедным иностранным словом, долговязым и несуразным как имя "Кюхельбекер". Какой чудак занес слово "демократия" в имперские снега, под сень двуглавого орла, в кармашек сталинского френча?

Задав слову "демократия" выволочку (это не мешало утверждению, что сталинская конституция – самая демократическая), сталинские "бэки" не подозревали, что предательство смыслов столь же нечистоплотно, как любое предательство, и деморализует человека.

Процессы над ленинскими соратниками Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым это доказывают. Все эти люди психологически подготовили себя к ложным самообвинениям прежними ложными самообвинениями. Прежние самообвинения были полегче, но и условия для них были съездовские, а не тюремные, в которых следователи угрожали истребить семьи обвиняемых, включая детей и стариков.

Эта угроза была реальна.

Сталин был большим специалистом по изведению вражеских семей под корень. Посмотрев кинофильм "Иван Грозный", вождь, по словам актера Н. Черкасова, сказал об этом царе, что для полного спокойствия державы Грозному следовало бы извести еще пять боярских семей. Не три, не шесть, а именно пять. Когда надо, великий вождь знал счет людям.[39]

Этому свидетельству актера Н. Черкасова, побывавшего за свою богатую сценическую жизнь не только Дон Кихотом, но и Грозным, можно верить: без Высочайшей санкции ему в 1953 г. не разрешили бы дополнить мемуарной отсебятиной государственно утвержденный образ вождя.

На больших процессах 1936-1937 гг. обвиняемые оклеветали себя под воздействием пыток и угроз. Одного этого достаточно, чтобы понять их поведение. Но в то же время надо помнить: люди, которые еще до процессов могли публично каяться в том, в чем были правы (и они знали это), люди уничтожившие в себе самое чувство истины, сами в большой мере лишили себя силы сопротивления.

Смыслы слов – живые существа, и они мстительнее людей; они мстят, если их предают. Мстят пустотой душевной и удобной для жизни релятивистской установкой. Партийцы-"бэки" полагали, что истина не в ней самой, а где-то вовне – "в партии"; они опьянялись этим сознанием подобно тому, как опьянялись вином те, кто думал, что истина в вине.

Дон Кихот, уверенный, что истина в его собственных – пусть даже спорных – суждениях о заколдованности мира, был гораздо трезвее "бэков", – и не только "бэков", но и всех, чей прагматизм оборачивается своеобразным мистицизмом. Хотя мнение "партии" – это всего лишь мнение большинства, всего-то-навсего арифметического количества, но простое число для приверженцев партии или политиков, жаждущих успеха, обволакивается аурой, светится, будто ангельский нимб, в видении пустынножителя.

Разум здесь решительно не при чем.

Между тем повсюду над нашей страной именно в то время, когда смыслы слов оказались преданными, звучал гимн разуму в противовес чувству, хвала "земному", в противовес "небесному". Хотя прелесть "земного" прежде всего чувственна и разум для наслаждения "земным" не особенно нужен, публицисты не обращали на это внимания: рассуждения велись в чисто теоретической возвышенной сфере. На "земное" продолжался дефицит, и большинство не в дискуссиях участвовало, не лекции слушало, а уходило на добычу.

Те же, кто помнил про "небесное", не имели права голоса.

К концу 1937 г., когда Булгаков кончил свою пьесу, у подавляющего большинства здешних людей чувство социальной ответственности было отбито, как почки у тех, кого пытали в тюрьмах по соседству.

Зато вольным достались газированная вода, массовые гуляния, праздничные иллюминации, оплаченные отпуска и бюллетени, а также ком-

натки в коммунальных квартирах, – все такое человечное и человеческое, как та самая чечевичная похлебка, за которую Исав продал Иакову право первородства.

Впрочем, впоследствии и чечевица стала у нас большим дефицитом.

Наступило время силовой сталинской логики. Поэтому "земной" человек (а не "сухой рационалист", как у Чулкова) Сансон Карраско противопоставляет Дон Кихоту Булгакова свою единоспасающую силу, а не разум, как это было у Чулкова и будет у Шварца. Пьеса Булгакова о Дон Кихоте, который был побежден, но не смог перестать быть собой, передала важную особенность времени, когда была написана.

Разрешили пьесу отнюдь не сразу.

На фоне жизни лагерной, придавленной, предсмертной продолжалась на зло всему этому творческая жизнь человеческого духа, – продолжалась она даже и в лагерях.

Но замирала ли она там, где начиналось функционирование бюрократических инстанций, управляющих творчеством художников и писателей?

В Главном Управлении по Контролю за зрелищами и репертуаром Всесоюзного Комитета по Делам Искусства при Совете Народных Комиссаров СССР о пьесе Булгакова "Дон Кихот" возник спор.

Вот с какой азиатской пышностью надлежало теперь титуловать цензуру!

Сам Булгаков в "Мастере и Маргарите" именовал это учреждение короче: "Акустической комиссией", т.е. комиссией, проверявшей, как что звучит.

В графе "Предварительный или последующий контроль" типографского бланка протокола "Акустической комиссии" было написано: "Предварительный". В графе: "Кто читал" значилось "М. Коган". В графе: "Откуда поступило" отвечено: "Театр Вахтангова". Протокол датирован 16 января 1938 г.

Скорее всего М. Булгаков написал свою пьесу не в 1938 г., как принято считать, а в 1937 г.

Специалист по политической акустике М. Коган написал следующее:

> "Автором представлен второй сокращенный вариант. Сокращения идут за счет длиннот и не вызывают возражений, кроме одной купюры, где сокращена сцена во 2-м акте, рисующая гуманистическое мировоззрение Дон Кихота. Это мельчит образ Дон Кихота, лишает его благородства, красоты его, пускай и малореальных фантазий, и превращает в простого маниака и сумасшедшего.
>
> Разрешить второй вариант с восстановлением этой сцены...
>
> М. Коган."

Трудно порицать Когана, заступившегося за Дон Кихота.

Однако, можно ли одобрять Когана, вмешавшегося в чужой – и уже по одному этому суверенный – текст?

Затем шла резолюция кагановского начальника: "Предложить восстановить указанную сцену".

А после этого еще чья-то подпись жирным красным карандашом большими буквами; видно, это главный по данному делу акустик приложил свою руку.

Вот как – протокольно и резолютивно – работали с Булгаковым добрые люди. И не надо их порицать. Они защищали свое (т.е. общее с так называемым "автором") детище.

Ибо пришел Гандурин.

А в это время в Лефортове или в Бутырках заплечных дел комсомольцы топтали какого-нибудь бывшего командарма молодыми своими ногами в шевровых сапогах.

"Контроль" Гандурина опять был предварительный, а дело между прочим шло уже не в январе, а в сентябре 1938 г. Еще два месяца пройдет, и главнокомандующий войной за унификацию Ежов уже станет народным комиссаром водного транспорта, а народный комиссар внутренних дел Украины Успенский, свирепый террорист, попытается в один прекрасный день скрыться с фальшивыми документами.

Этот Успенский поступил как обычный урка, увидевший, что "малина" завалилась, т.е. Ежов накрылся.

Много месяцев работали над булгаковским "Дон Кихотом" товарищи из акустической комиссии совместно с автором!

Ежовщина уже стала уходить за горизонт, взошло над Лубянкой бериевское пенсне, – а акустики все ковырялись в булгаковском тексте.

> "Роман Сервантеса – 700 стр., – писал Гандурин. – Естественно, что за пределами пьесы Булгаков должен был оставить все то, что не является главным... В результате получилась вольная переработка романа, вылившаяся в форму легкой комедии".

Поэтому, с точки зрения Гандурина,

> "... плохо увязывается и неорганичен этой комедии финал – девятая картина. В романе нравственные и физические силы Дон Кихота погасают постепенно. Смерть Дон Кихота там органична, она подготовлена. Так осень подготовляет переход от лета к зиме. Это сравнение употребляю как образ, который поясняет то, что я хочу сказать. В пьесе зима следует за летом, смерть Дон Кихота неожиданна, неподготовлена".

Вот кто должен был учить Михаила Булгакова писать, – Гандурин, мыслящий образами цензор. Это звучит почти как "мыслящий дельфин". Дельфин ли, впрочем?..

Вцепившись в финал, он захлопнул пасть вполне по-акульи:

> "Дон Кихот романа грустен, физически измучен, кроме того, болен лихорадкой. Дон Кихот пьесы в финале – мрачен; если говорить о взглядах на жизнь, на действительность в этот момент, эти взгляды смутно отрицают реальную земную действительность и глубоко пессимистичны".

Верно заметил Гандурин: Дон Кихот побежден, он разучился грезить, но, открыв глаза на жизнь, он говорит: "Глаза бы мои на нее, такую, не глядели", – и загрезив вновь, смежает очи навеки.

> "А по роману, – продолжал между тем редактор-цензор, – Дон Кихот, освободившись от помешательства, отрицает метафизические бредни средневековья и утверждает положительное, реальное начало. Кроме всего, финал (9-я картина) неожиданный, негармоничный, буквально-таки отваливающийся от комедии придаток.
>
> Считаю, что не надо стремиться к тому, чем кончается роман, и дать пьесе другой финал".

Гандурин, стало быть, высказался за дальнейшее творческое развитие мифологии Дон Кихота, но желательно в оптимистическом плане.

А сверх всего этого т. Гандурин написал: "Реплику об Антее на 4 стр. надо заменить другой. К. Гандурин".

Это понятно: т. Сталин похвалил Антея за связь с землей. Нечего было после этого зря трепать антеево имя. Монополия на его употребление принадлежала лично вождю. В его образе речь шла о том, что партия связана с народом и получает от него силу, как Антей от земли.

Это было правдой. В конце тридцатых годов, как и в прошлые годы, люди вступали в партию. Вступая в нее, они знали, что теперь теряют право на сострадание тем, кого охранники загоняли в землю ради колымского золотишка.

На этом-то безотрадном, как тундра, фоне и начался поединок титанов: М. Когана и К. Гандурина. Ибо М. Коган, которому возвращен был "Дон Кихот" с гандуринским отзывом, не согласился, что у Булгакова получилась "легкая комедия".

> "Это, скорее, трагикомедия, ибо пьеса оканчивается смертью Дон Кихота и трагическим разрушением всех его иллюзий. Смерть Дон Кихота в пьесе драматургически подготовлена и финал вполне логически оправдан. Ведь Дон Кихот с самого начала – хилый, больной человек. В ряде сцен он переживает такие злоключения, которые не могли не отразиться на состоянии его здоровья. Единственное, чем он живет, что связывает его с жизнью, дает ему силы – это его собственные иллюзии, мир фантастических вымыслов, который ему кажется истинной реальностью", –

вот как оправдывал булгаковского Дон Кихота М. Коган. Он говорил, что благородство Рыцаря Печального Образа положительно влияет на "представителя народа крестьянина Санчо"; главное же, на чем настаивал Коган, перепуганный гандуринским оптимизмом, – это что нельзя лишать Дон Кихота положенной ему еще самим Сервантесом смерти.

> "Смерть Дон Кихота в пьесе логически необходима, ибо она есть и смерть беспочвенных мечтателей, смерть целой группы людей, которые 'если они этих условий (в которых они живут и дей-

ствуют) не понимают и хотят эти условия изменить так, как им подсказывает фантазия, то они, эти люди, попадают в положение Дон Кихота' (Сталин)".

М. Коган не хуже Антея понимал, от чего отрываться не следовало. Даже самую смерть Рыцаря Коган сумел подать оптимистически:

"Смерть Дон Кихота и его выдуманные мечты звучат в пьесе как жизнеутверждение настоящей, земной и реальной жизни. Поэтому конец не пессимистичен и звучит как просветление /мажорно/ (зачеркнуто Коганом – *Ю.А.*), /но не трубно/ (опять зачеркнуто Коганом – *Ю.А.*), мерно, спокойно и сильно.

М. Коган".

Дуэль между Коганом и Гандуриным решилась в пользу Булгакова чьей-то неразборчивой подписью, сделанной твердокаменным красным карандашом, который и при сильном-то нажиме писал плохо:

"Разрешить только для театра Вахтангова".

Точно так же пьеса Булгакова "Дни Турбиных", которую Сталин посетил 17 раз (!!), была разрешена только для МХАТ'а. Сталин любил смотреть эту белогвардейскую по духу пьесу, потому что ему показывали очень красивый мир, в который его не пускали прежде и который он разрушил до основания, – а вдруг только для того, вспоминать и любоваться?

В сталинском новом мире сражения "за" и "против" Булгакова происходили без ведома автора, высоко вверху, словно за облаками над головой.

Наконец, начальство решило дать "Дон Кихота" на рецензию какому-нибудь авторитетному "спецу".

Самый выбор "спеца"-рецензента – могучее оружие начальства в борьбе с неугодными авторами.

Видимо, к пьесе Булгакова относились хорошо, потому что рецензента выбрали интеллигентного, даже беспартийного – А.К. Дживелегова, историка и искусствоведа, одного из тех немногочисленных и совершенно случайно уцелевших носителей прежней образованности, благодаря которым русская культурная традиция не прерывалась, хотя и затихала очень часто как бы до полного своего отсутствия, – как наступает пауза после удара пульса.

Дживелегов в конце десятых годов успел попасть в тюрьму как "политический". Пробыл он там недолго, а по выходе написал очерк "В тюрьме. Впечатления". В этом очерке Дживелегов весьма сочувственно отозвался о фракции арестантов – эсдеков.

Теперь бывшие зеки стали властителями, но поредели на меньшевиков. А Дживелегову, напечатавшему свой очерк в журнале "Русская мысль" (№ 9, 1910 г.) об этом очерке было бы вспоминать в 1938 г. небезопасно: журнал-то был кадетский, да и сам Дживелегов побывал в кадетах.

А.К. Дживелегов, с большим уважением отозвавшись о драматурге, пьесу в целом похвалил, но порекомендовал

> "...раскрыть "гуманистическую сердцевину" романа в большей мере, чем это было сделано. Ведь благодаря 'гуманистической сердцевине', а не 'шутовскому элементу' роман и велик. Тем и объясняется его популярность, которая держится века и будет держаться, пока есть на свете хотя бы один человек, умеющий читать".

Профессор советовал писателю больше использовать в пьесе сервантесовские "сентенции и афоризмы", "пропитанные любовью к людям".

"Любовь к людям" в 1938 г. была колоссальным дефицитом; избыточным товаром была бдительность.

Однако культура для того и существует, чтобы сохранять на зло действительности свои гуманистические сувениры.

На профессорских книжных полках в дживелеговской квартире были целые запасы этого добра – гуманизма и христианской любви. И вот неподходящие ко времени слова сбежали оттуда к Дживелегову в рецензию.

Слова интеллигентные и вялые, но зато вполне человеческие, стали появляться на людях с того момента, когда советский марксизм из космополитического стал превращаться в патриотический.

Даже деятели "Акустической комиссии" нашли, что слова эти приятны для слуха.

Усилиями Когана и Дживелегова девятую картину от Гандурина спасли.

В Ленинградском Академическом театре драмы, где прежде шла трагикомедия Чулкова, 13 марта 1941 г. состоялась премьера "Дон Кихота" Булгакова.

Видимо, театр был уверен, что новый булгаковский "Дон Кихот" заинтересует интеллигентных ленинградских театралов, хотя в их рядах непрестанные селекции произвели огромные опустошения. Не инсценировка романа, а мифология Дон Кихота привлекала, вероятно, в театр на спектакль по пьесе Булгакова тех зрителей, которые уже видели "Дон Кихота" Чулкова.

К. Державин написал на спектакль "Дон Кихот" Булгакова рецензию, опубликованную в "Известиях" от 20 марта 1941 г. Там он отзывается о Рыцаре Печального Образа осторожнее, чем в 1934 г. Он так пишет об исполнителе роли Дон Кихота Черкасове, который играл Рыцаря Печального Образа уже не в первый раз (он был Дон Кихотом Осмеянным в пьесе Бруштейн и Зона):

> "В воплощении Черкасова Дон Кихот сохраняет свою глубокую значительность. Он смешон, жалок, трогателен и патетичен, – этот оскудевший кастильский идальго, возомнивший себя странствующим рыцарем, встающим на защиту справедливости".[40]

Державин дальше говорит о "трогательном безумии" Дон Кихота. В 1934 г. Державин писал, что Рыцарь Бедный

> "... мудр в своем безумии, что устами этого безумца, как устами шута, говорит сама истина".[41]

Теперь о мудрости Дон Кихота Державин не говорит ничего: после ироничных слов Сталина о Дон Кихоте настаивать на мудрости Печального Образа было нельзя.

Исполнитель роли Дон Кихота Н. Черкасов писал об этой роли так:

> "Пьеса Булгакова была несколько перегружена печалью. Печальные мотивы еще больше подчеркивались создателями спектакля. Почти все картины были освещены вечерним или ночным освещением. Последнюю картину в пьесе мы играли как чисто трагическую... Смерть Дон Кихота мы играли чуть не в темноте, только при свете факелов".[42]

Между тем К. Державину работа постановщика спектакля В. Кожича и художницы С. Юнович пришлась очень по вкусу. Возможно, Черкасову, не отвыкшему от своего Дон Кихота Осмеянного, трудно было привыкнуть к трагическому Дон Кихоту. Так что ему больше понравился бы мир булгаковской пьесы в сценическом воплощении Московского театра им. Вахтангова. Этот театр получил разрешение на постановку булгаковской пьесы еще в 1938 г., а поставил ее позже ленинградцев, в апреле 1941 г. Там, по отзыву рецензента (газета "Советское искусство", 21 апреля 1941 г.), "прославленное 'безумие' Дон Кихота было лишено трагического смысла".

М. Булгаков не дожил до премьеры своего "Дон Кихота". Он умер в начале 1940 г.

В его жизни и положении было нечто кихотическое, хотя сам он ощущал скорее внутреннюю близость к своему Мольеру ("Кабала святош"), ставшему жертвой каприза и расчета Короля-солнца.

Булгаков был одинок среди своих вполне осовеченных коллег по перу. Он был одним из немногих, кто "писал в стол", почти без надежды увидеть написанное напечатанным. Как нередко бывает в таких случаях, узкий кружок близких друзей не был в состоянии дать этим приватным литературным забавам настоящую оценку. Один из добрых знакомых Булгакова говорил мне, что удивлен не столько даже нынешним успехом "Мастера и Маргариты", сколько попытками современных читателей отыскать в романе некие философические глубины.

– Это же роман-фельетон, – говорил он. – Я вам могу каждый эпизод прокомментировать, это все зарисовки тогдашней Москвы, московских людей и учреждений. Нам в свое время все это было очень смешно слушать. Написано великолепно. Я с тех пор помню:

> "В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей, кавалерийской походкой в крытую колоннаду вышел прокуратор Иудеи..."

Но глубины-то здесь при чем?

Собеседник мой, сам писатель, в своем деле мастер, рассказал мне еще о Булгакове, как они, булгаковские друзья, в начале тридцатых годов, когда у Булгакова не стало ни работы, ни денег, устроили опальному писателю договор. Булгаков должен был писать тексты для цирковых клоунов. Сперва писатель отказывался, но потом его уговорили идти подписывать договор, обнадежив тем, что аванс дадут сразу, а ничего не писать в цирк можно будет очень долго.

У самых дверей начальника над авансом Булгаков попросил друзей подержать его пиджак: понадобилось писателю отлучиться на минуту. Подписывать договора он так и не вернулся. Друзья нашли его дома. На их рассудительные уговоры, что надо же чем-то зарабатывать, что это дело временное – клоунада, Булгаков высоким голосом и негармонично закричал:

– Я русский писатель! Я не буду в цирке работать!

Друзья ушли.

Рассказчик чуть не полвека спустя не без снисходительности улыбнулся, вспоминая булгаковскую нервозность.

Ибо рассказчик в то время, когда Михаил Булгаков писал письмо вождю народов Табуреткину, уже сидел на Лубянке и ждал очередного допроса; и это было не самое худшее время его арестантской жизни. А уж работа для цирка по сравнению с работами на лесоповале была бы большой поблажкой.

Но Михаил Булгаков был окружен своими видениями и не понимал обстановки, в которой жил. И он написал письмо такому же ненормальному, не признававшему никакой реальности, кроме собственных целей, – вождю Сталину.

Письмо было гордым, сдержанным, благородным. Булгаков просил работы или возможности уехать из СССР за границу.

Вождь Сталин, как известно, послал Булгакову двойной дублон (какие-то небольшие деньги, но по отсутствию контакта с реальностью, Сталин думал, что послал много). Кроме того, Булгакову дали работу. Новые его пьесы частично запрещали, частично волынили с их постановкой. Булгаков так и не успел увидеть на сцене ничего, написанного им в тридцатые годы.

В конце концов Булгаков капитулировал. Он не стал работать для цирка, не стал писать либретто оперетт (либретто он писал в последние годы, но для опер), не стал изготовлять сценариев для малохудожественных фильмов. Он поступил гораздо хуже: написал апологетическую пьесу о Сталине "Батум". К. Рудницкий (см. его примечания к цитируемому здесь изданию пьес Булгакова) датирует эту пьесу 1939 г.

Стало быть, написав о побежденном Дон Кихоте, Булгаков через два года написал пьесу о победителе Табуреткине, которого во времена, отображенные булгаковской пьесой, еще не звали ни Табуреткиным, ни Стулиным, ни Сталиным, ибо он был тогда совсем еще молод и длинная фамилия Джугашвили была ему вполне к лицу и по росту. В булгаковской

пьесе Джугашвили показан мужественным организатором и революционером.

Вождь, узнав о пьесе, – а, может быть, он ее и сам прочел, свидетельства тут разноречивы, – сказал своим холуям с присущей ему скромностью, что его юность была юностью рядового революционера, и не нужно писать о ней пьес.

Пьесу запретили. (Булгаков вместе с постановочной группой МХАТ'а узнал об этом в поезде, на котором все весело ехали в Батуми знакомиться на месте с обстановкой, где протекала революционная юность вождя.)

Капитуляция Булгакова не была принята.

Текст капитуляции победитель швырнул писателю в лицо, что означало: не льсти мне, не лезь в обойму государственных именитых советских драматургов, сиди у себя в углу, оставайся автором моей любимой пьесы "Дни Турбиных".

Это произошло летом 1939 г., а в марте 1940 г. Булгаков умер от уремии, спровоцированной, возможно, этим грубым сталинским жестом.

Так что у желающих есть полная возможность сказать, что Булгакова убил Сталин. Хотя при этом полезно оговориться, что убил он его не тем способом, каким уничтожил Бабеля и Мандельштама.

Только в 1941 г. поставили булгаковскую пьесу 1937 г. "Дон Кихот" и только в 1943 г. МХАТ поставил пьесу "Последние дни (Пушкин)" 1935 г.

При этом пьеса "Дни Турбиных" со сцены МХАТ'а до 1941 г. не сходила.

Дон Кихот Ламанчский на советской сцене дважды признал себя побежденным.

Но Дон Кихот Чулкова не сделался снова Алонсо Добрым. Он умер в состоянии экстатического озарения.

Что же до булгаковского Дон Кихота, то этот Рыцарь оказался неисправим по природе, – всем стало ясно, когда к нему пришла смерть, что такого визионера может исправить лишь глубокая и притом глубоко материалистическая могила.

И у Георгия Чулкова и у Михаила Булгакова Рыцарь Печального Образа был прежде всего поэтом.

Но в Стране Советов существовал и другой Дон Кихот, которого Луначарский называл "праведником", – не просто совершенно нормальный человек, но человек, повышающий собой человеческую норму.

Даже после большой войны за изъятие духовных ценностей у населения остались в народе люди, видевшие окружающее не в образах сталинских химер, а по-человечески, разумно и трезво.

Эти люди и были друзьями Дон Кихота, Рыцарями, обычно странствовавшими поневоле.

Заступаясь за других, они не прибегали к иному оружию, кроме слова, – и очень огорчали этим своих противников: тем стрелять всегда было проще, чем разговаривать.

Кихотизм был бессмысленен, бессилен и ничего не менял.

Но кажущаяся бессмысленность наших поступков не является их истинной ценой.

Их истинная цена – бессмысленность, единосущная Промыслу.

Вскоре колесо истории повернулось со скрипом, словно немазанное пыточное.

Началась вторая мировая война.

После того, как Германия напала на Советский Союз, кто-то из сталинских ассов назвал Гитлера "Дон Кихотом в ржавых доспехах". Мифологема в таком употреблении стала пустой и черной, как черепные глазницы.

Но оказался ли все-таки Дон Кихот в России тридцатых годов побежденным?

* * *

Литература

1 См. Р. Конквест. "Большой террор". Флоренция, 1974, стр. 58.

2 Там же, стр. 462.

3 Там же, стр. 59.

4 Там же, стр. 529-530.

5 Д.П. Кончаловский. "Воспоминания и письма". Париж, 1971 г., стр. 241-242.

6 И. Нусинов. "Дон Кихот". "Литературная энциклопедия", 1930, т. 3, столб. 385.

7 И. Нусинов. "Вековые образы". "Литературная энциклопедия". 1930, т. 2, столб. 135.

8 Г. Чулков. "Дон Кихот". Л., 1935, стр. 109-110.

9 Там же, стр. 12.

10 Там же, стр. 22.

11 Там же, стр. 33.

12 Там же, стр. 35.

13 Там же, стр. 48.

14 Там же, стр. 70.

15 Там же,стр. 94.

16 Там же, стр. 101.

17 Там же, стр. 110.

18 Там же, стр. 6.

19 К. Державин. "Сервантес и Дон Кихот". Л., 1934, стр. 85-86.

20 Цит. изд. "Дон Кихот" Чулкова, предисловие С. Игнатова, стр. 4.

[21] В. Дынник. Рецензия на трагикомедию Чулкова "Дон Кихот". "Художественная литература", № 11, 1935, стр. 28.

[22] Там же, стр. 30.

[23] И. Сталин. "Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом". М., 1938, стр. 4.

[24] И.В. Сталин. "Вопросы ленинизма". Изд. 11, М., 1939, стр. 314.

[25] Там же, стр. 462.

[26] Цит. по книге Р. Конквеста "Большой террор", указ. изд., стр. 34.

[27] Цит. книга Р. Конквеста, стр. 572.

[28] Иванов-Разумник. "Тюрьмы и ссылки". Нью-Йорк, 1951, стр. 351.

[29] Цит. книга Р. Конквеста, стр. 572.

[30] Там же, стр. 77.

[31] Там же, стр. 954.

[32] Там же, стр. 962.

[33] Там же, стр. 561.

[34] М. Булгаков. "Дон Кихот", "Драмы и комедии". М., 1965, стр. 549.

[35] Там же, стр. 566.

[36] Там же, стр. 571.

[37] Там же, стр. 575-576.

[38] Там же, стр. 576.

[39] Н.К. Черкасов. "Записки советского актера". М., 1953, стр. 380-381.

[40] См. "Известия" от 20 марта 1941 г.

[41] К. Державин. "Сервантес и Дон Кихот". Л., 1934, стр. 88.

[42] Н. Черкасов. "Четвертый Дон Кихот". Л., 1958, стр. 25-26.

10. ДОН КИХОТ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

Кто именно из начальства сравнил Гитлера с Дон Кихотом, напавшим на нашу страну, бряцая своим ржавым оружием, я уже не помню. Но помню, что оружие было именно "ржавым", а Гитлер назван был Дон Кихотом. Кажется, это сказал А.С. Щербаков, сталинский порученец по части "мокрых дел", ликвидировавший прежние партийные кадры в Ленинграде, Иркутске и двух украинских областях, а также доверенный вождя по воспитанию советских писателей.

Главной приметой Дон Кихота оказалось ржавое оружие, – таков был интеллектуальный уровень околосталинских зенитчиков. "Зенитчиков", потому что всякого, кто им казался человеком высокого полета, они в соответствии с собственным низким пошибом старались подбить, чтобы не заносился.

Под оловянными взорами этого начальства непонятный ему Дон Кихот съежился было до размеров куклы.

Г.К. Крыжицкий, театральный режиссер и художник, рассказывает в своих воспоминаниях, как он в столице Марийской республики Йошкар-Оле поставил в числе других спектаклей кукольного Дон Кихота.

> "... На ширме – большая книга. Звучит музыкальное вступление (его написал композитор М. Нолинский-Скрябин). Книга раскрывается – виден портрет Сервантеса, под ним дата: 1547-1616.
>
> Сами собой перелистываются страницы в то время, как актер за ширмой произносит текст:
>
> 'Задавшись целью высмеять бесчисленные рыцарские романы, которыми зачитывались его современники, Сервантес создал замечательную книгу о похождениях Дон Кихота Ламанческого. Имя Дон Кихота стало нарицательным для обозначения благородного и смелого, но беспочвенного и слепого мечтателя'. (В.Г. Белинский.
>
> Идея спектакля заявлена".[1]

Так вспоминал Крыжицкий об этом спектакле в семидесятые годы.

Но в рукописи "Дон Кихота" Г.К. Крыжицкого, датированной 1952 г., за цитатой Белинского следовали строки:

> "Дон Кихоты потому и называются Дон Кихотами, что они лишены элементарного чувства жизни. Сталин".

После того, как "идея спектакля" была "заявлена", спектакль был еще и политически защищен.

Финал кукольного зрелища звучал патетически:

Дон Кихот. Настоящие рыцари не умирают на соломе. Они умирают стоя. Дайте мне мое копье. (Неожиданно выпрямляется, опираясь на копье.) Да здравствует вечно несравненная Дульсинея Тобосская! (Падает.)

Цирюльник. Он жил как безумец.

Карраско. А умер, как герой...

Священник. И как мудрец!

Все куклы. Дон Алонсо умер, – Да здравствует Дон Кихот!

Спектакль заключался фразой, звучавшей под музыку, что кукольный Дон Кихот бессмертен.

Финал противоречил пренебрежительной к Рыцарю белинско-сталинской части пролога. По-видимому, чтобы этого не заметили, Дон Кихоту и пришлось уменьшиться до кукольных размеров.

В самой инсценировке цепь донкихотских приключений между цитатным эпиграфом и финалом показывала Рыцаря исключительно нелепым шутом. Автор старался уйти от сталинской цитаты, словно Дон Кихот от своего дома, – но магнитное поле сталинских слов мешало Крыжицкому показать Дон Кихота иначе чем "лишенным элементарного чувства жизни", жалким и смешным.

Самая жажда справедливости Рыцаря Печального Образа обращалась в клоунаду, когда он читал текст из истории Амадиса Гальского:

> "Несправедливость, с которой вы так несправедливы к моей правоте, делает мою правоту столь бесправной, что я вправе жаловаться на вашу несправедливость".

На Дон Кихота выкидывают кухонные отбросы, – он принимает огрызки, очистки, ошметки за цветы; на него выливают помои; в знаменитый бальзам трактирщик добавляет толченых тараканов.

Словом, все эпизоды исполнены в традиции Дон Кихота Осмеянного А. Бруштейн и Б. Зона.

Вполне понятно: интеллигент робко хотел, чтобы в Марийской республике Дон Кихота поняли; но кому был нужен Дон Кихот, чтобы его понимать? Дон Кихот был нужен как традиционная для России фигура; но, вспомнив о нем, проще и естественнее было над ним же и посмеяться...

Ведь на войне подвиги были, в основном, воинские, а не кихотические. Враг, с которым сражались, был четко определен политически, и никто не говорил, как во время войны 1914 г., что этот враг – воплощение "мирового зла".

Теперь многие в России понимали, что "мировое зло" было разлито повсюду, хоть и неравномерно.

Господи, вступися за Советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас, –

– писал в годы войны поэт Николай Глазков, и строки эти живут у лю-

дей в памяти скоро уже сорок лет.

Большая сталинская война за унификацию не завершилась и не могла завершиться окончательной победой.

Николай Глазков был поэтом, чья замкнутость на собственных стихах не ради успеха, а единственно ради самих стихов вполне могла считаться кихотической в утилитарное военное время.

Для того, чтобы написать

Все говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз.
Но это – не поэзия, –

– надо было обладать поистине кихотической чудаковатостью. Ибо для того и прошла большая война за унификацию человека по уровню вши, чтобы подобные строки не могли родиться.

Для самого Глазкова то, что другие считали чудачеством или позой, было натурой: "Поэзия – сильные руки хромого", – писал он; а он и впрямь долгие годы детства и отрочества прожил с парализованными ногами. Потом паралич прошел, но в армию поэта не взяли, и он остался в Москве, влюбленный в донкихотский бальзам самогонной, пушечной крепости, в женщин, подавляющее большинство которых он считал красавицами, и в свои стихи.

Николай Глазков, долговязый, сутулый, нескладный, так все и оставался до самой смерти Сталина заколдованным чудаком; а там практичные и любящие друзья его расколдовали. Глазкова почти что излечили от юродства соблазном печататься. Теперь он морщился, если кто напоминал ему давние строки про огромные патриотические плакаты со стихами и картинками – Окна ТАСС; точно так же реагировал он на свою же просьбу к Господу "вступиться за Советы". Впрочем, от одного своего четверостишия военных лет Глазков никогда не отказывался:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.

По легенде Глазкову, проигравшему какое-то пари, согласно условиям, нужно было залезть под стол и написать там стихи.

Дон Кихоты сологубовского толка, поэты государству хоть и были не нужны, но в известных пределах допускались.

Сталинская усредниловка во время войны показала свою дефективность. Хоть и пелось в народно-правительственной песне:

Когда страна быть прикажет героем, –
У нас героем становится любой, –

так не получалось: герои обнаруживались, как и в прежние времена, самовольно.

Подонков, которые охраняли сталинские жертвы в гигантских лаге-

рях-могилах, гноили давным-давно обрусевших немцев "в трудовых армиях", а также выстраивались за линией фронта, чтобы стрелять в тех, кто отступит без приказа, – у нас было через край.

Порядочных людей не хватало.

Однако, если бы преобладающей силой в России не оказались смелые солдаты (пусть даже смелость определенной части их была результатом сублимации страха); если бы перепуганные бюрократы не уступили требованиям умелых организаторов; если бы не самоотверженность рабочих, включая женщин и подростков на военных заводах и в деревнях, а также "пятьдесят восьмую статью" в лагерях; если бы не огромные жертвы, – добровольные и недобровольные; если бы не потрясающая одаренность наших специалистов, – одними заград-отрядчиками, "смершевцами" и "ленд-лизом" Россия не выдержала бы войны.

Укреплению советского единства очень помог Гитлер с его антисемитизмом, презрением к славянам и страхом перед ними.

К началу войны с Германией Россия оказалась духовно не уничтоженной.

В смысле растления людей сделано было многое, однако унасекомить Россию Сталину с его помощниками – к их же разбойному счастью! – не удалось. Не удалось им этого сделать и с другими народами сталинской страны незакатного солнца.

Зато, разрушая отчасти результаты, достигнутые унификацией, удалось разбудить в людях инициативу и искренность. Этому процессу помогла некоторая идеологическая переориентация со стороны начальства. Космополитический марксизм и до войны-то не был годен как скрепа для сталинской империи.

Марксизм-ленинизм после сталинской художественной обработки сделался автопортретом вождя и мог вдохновлять не более, чем еще один портрет Сталина среди прочих его портретов.

Поэтому еще до войны к сталинскому марксизму добавили патриотизм, сильный стимулятор.

Во время войны Сталин ввел новую, большую, чем до войны, дозу этого стимулятора.

Теперь вспомнили и русскую церковь, и победоносных князей, и царей с полководцами; взорванные немцами древнерусские памятники, которые не успели снести во время войны за коллективизацию, стали восстанавливать.

Писатели почувствовали, что у них появились новые возможности, показалось, что стало чуть свободней писать... потребность в культуре не подрывала, как полагал занятый войной вождь, его власти. В то же время литература и искусство нужны были интеллигенции, которая сама необходима была для победы: генералы, возможно, могли обойтись музыкой пушек, но среди создателей этих музыкальных инструментов было немало поклонников Шостаковича.

В результате странствующий рыцарь Дон Кихот появился у нас уже не в кукольный рост, а в полный, но под чужим именем.

Если бы он попал к Сталину в тюрьму, – в нашей стране чудес все может быть со всяким, – ему пришлось бы отвечать, как многофамильному блатарю.

В тюрьмах охрана выкликает рецидивистов со многими фамилиями так:

– Иванов! – кричит конвойный.

– Петр Иванович, – отвечает зек.

– Он же!

– Петров Никита Сергеевич.

– Он же!

– Толстой Лев Николаевич.

– Год рождения? Статья? Срок?

Так же получилось бы и с этим героем:

– Дон Кихот!

– Он же!

– Ланцелот!

– Он же!

– Алонсо Добрый.

– Он же!

– Шварц Евгений Львович.

– Год рождения?

– 1943!

– Статья?

– Бородина в "Литературной газете"!

– Срок?

– До особого распоряжения.

1943 год – это год рождения пьесы Евгения Шварца "Дракон".

После статьи Бородина пьесу запретили.

Потом пьесу выпустили, ее главного героя Ланцелота реабилитировали, как и других прежде запрещенных лиц, – но уже после смерти Сталина.

По общему мнению, Евгений Львович Шварц был тихим человеком и нипочем не объявился бы Дон Кихотом.

Это так; но некоторые рыцарские замашки ему, как сам он признавался в стихах, все же были свойственны.

Фабула пьесы "Дракон" уже содержалась в написанном еще задолго до "Дракона" стихотворении:

Шел по дорожке
Хорошенький щенок.
Нес в правой ножке
Песочный пирожок.

Своей невесте,
Возлюбленной своей,
Чтоб с нею вместе
Сожрать его скорей.

Вдруг выползает
Наган Наганыч Гад
И приказает
Ступать ему назад.

И отбирает
Подарок дорогой,
И ударяет
Счастливчика ногой...

Нет, невозможен
Такой плохой конец!
Вырву из ножен
Я
меч-кладенец.

Раз! И умирает
Наган Наганыч Гад.
А щенок визжает:
"Спасибо, очень рад!"

Ассоциации со змеем этим, Наган Наганычем Гадом, вполне определенны: разумеется, гад ползучий одет был в черную кожу от хвоста до головы.

Шварц развернул стихотворение в целую пьесу. Но "меч-кладенец" Шварц передал в надежные руки рыцаря Ланцелота.

Ланцелот – безоружный человек, хоть и странствующий рыцарь. Он, по его словам, из "внимательных, легких людей", не поленившихся добраться до пещеры в Черных горах, где лежит книга, содержащая все людские жалобы. Идет время, и книга эта растет.

– Ах, какая это жалобная книга! На эти жалобы нельзя не ответить, и мы отвечаем, – говорит Ланцелот. – Мы вмешиваемся в чужие дела. Мы помогаем всем, кому необходимо помочь...[2]

Ланцелот и другие такие же были еще в XVIII столетии определены у нас как "шевальеры-эрраганты" или "заблудящие кавалеры", которые "в чужие дела вмешиваются и храбрость свою показывают".

В пьесе Шварца "заблудящий кавалер" забрел в дом городского архивариуса Шарлеманя; дом у Шарлеманя сквозной, открытый, – милый, интеллигентный дом, так что попав туда "шевалье-эррагант" оказывается в гуще событий. В этом доме даже Кот говорит разумно, – ни дать ни взять москвич ежовской поры, умудренный зрелищем чужих подконвойных променадов на Колыму:

– Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем.

В городе, впрочем, никакого неприятного будущего нет: там будущее исключительно светлое. От всех врагов и напастей город обороняет Дракон: например, однажды, когда чуть не началась в городе холера, Дракон огненным дыханием вскипятил воду в озере, откуда город брал воду, и

дезинфецировал озеро навсегда. Обороняя город, Дракон берет на себя труд им руководить. Если бы в шварцевской сказке действовали какие-нибудь радиоголоса вроде "Би-Би-Си", то они говорили бы, что Дракон деспотически правит покоренным городом. Но это было бы неправдой.

– У нас вы можете хорошо отдохнуть. У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается, – говорит архивариус Шарлемань, словно он не интеллигентный, умный, добрый человек, а работник Драконовского "Интуриста".

Но Ланцелот не порадовался этой "стабильности", а нетактично спросил насчет Дракона.

– Ах, это... Но ведь мы так привыкли к нему. Он уже четыреста лет живет у нас.

– Но... Мне говорили, что дочь ваша...

Эльза. Господин прохожий...

Ланцелот. Меня зовут Ланцелот.

Эльза. Господин Ланцелот, простите, я вовсе не делаю вам замечания, но все-таки прошу вас: ни слова об этом.

Ланцелот. Почему?

Эльза. Потому что тут уж ничего не поделаешь.

Ланцелот. Вот как?

Шарлемань. Да, уж тут ничего не сделать. Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем так хорошо, так подробно переговорили. Завтра, как только Дракон уведет ее, я тоже умру.

Эльза. Папа, не надо об этом.

Шарлемань. Вот и все, вот и все...

Так определился сказочный сюжет Рыцаря-змееборца и бедной девицы, отданной в жертву Наган Наганычу о трех головах. Но этот традиционный сказочный сюжет развивается при помощи остроумных метафор, в совершенно реалистической психологической обстановке. Этой обстановки ни злопыхателям, ни доброжелателям на Западе по-настоящему не понять.

Ведь злопыхатели по поводу бедной Эльзы и ее отца только и сказали бы: рабы!

Но Эльза и Шарлемань покорны не Дракону, а Судьбе; смирение и стоическое мужество – особое свойство людей, живущих в постоянной опасности, не фронтовой, временной, а такой, которая никогда не прекратится.

– Зачем вы затеяли все это? Я не упрекаю вас, – но все было так ясно и достойно. Вовсе не так страшно умереть молодой. Все состарятся, а ты нет, – говорит Эльза Ланцелоту, вызвавшему Дракона на бой, чтобы спасти девушку.

Каждый год Дракон выбирает себе девушку – и несчастная в ту же ночь становится жертвой драконовой любви: умирает от отвращения.

Ланцелот. Что вы говорите! Подумайте! Деревья и те вздыхают, когда их рубят.

Эльза. А я не жалуюсь.

Ланцелот. И вам не жалко отца?

Эльза. Но ведь он умрет как раз тогда, когда ему хочется умереть.

Ланцелот. И вам не жалко расставаться с вашими подругами?

Эльза. Нет, ведь если бы не я, Дракон выбрал бы кого-нибудь из них.

Ланцелот. А жених ваш?

Эльза. Откуда вы знаете, что у меня был жених?

Ланцелот. Я почувствовал это. А с женихом вам не жалко расставаться?

Эльза. Но ведь Дракон, чтобы утешить Генриха, назначил его своим личным секретарем.

Ланцелот. Ах, вот оно что. Но тогда, конечно, с ним не так уж жалко расставаться. Ну, а ваш родной город? Вам не жалко его оставить?

Эльза. Но как раз за свой родной город я и погибаю.

Стоическое и благородное смирение Эльзы воистину непроницаемо.

Святость это или уродство? Жизнь в обществе по драконовым законам унифицировала отнюдь не всех: остаются вопреки ей люди с загадочными странностями, и не случайно это человеческое своеобразие сохранилось именно в семье архивариуса Шарлеманя, профессия которого – историческая память.

Ланцелот. И город равнодушно принимает вашу жертву?

Эльза. Нет, нет! Меня не станет в воскресенье, а до самого вторника весь город погрузится в траур. Целых три дня никто не будет есть мяса. К чаю будут подаваться особые булочки под названием "бедная девушка" – в память обо мне...

Дракон был все-таки добрее Сталина: траур по тем, кого съедали его тюрьмы и лагеря, Сталин запрещал, а его холуи строго следили, чтобы запрет соблюдался.

И все-таки в этой непроницаемости есть некая жалобная недостаточность: не должен человек отрекаться от себя до полного самоуничтожения еще при жизни!

– Дракон вывихнул вашу душу, отравил кровь и затуманил зрение. Но мы все это исправим, – говорит Ланцелот.

– Не надо. Если верно то, что вы говорите обо мне, значит, мне лучше умереть, – возражает Эльза.

Дракон – это очевидность и сама жизнь. Везде в мире драконы.

– Уверяю вас, – говорит Ланцелоту умный Шарлемань накануне своей добровольной смерти, – единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного...

– Всякая власть – гадость; но наша власть – самая лучшая, – говорила мне еще моя бабушка, у которой арестовали уже всех ее троих детей: моего отца – за правый уклон; мою тетку – как члена семьи изменника родины; моего дядю – за недонесение. Мать тоже посадили за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в том, что она якобы участвовала в разговорах "правых уклонистов".

Кроме бабушки и детского дома, не осталось в этой стране никого, ко-

му бы меня растить. Детскому дому бабушка меня не отдала и воспитывала сама.

– Сталина окружают доносчики, низкие и подлые люди, – примерно так объясняла она мне, юному пионеру, происходящее, – он не знает, что происходит вокруг.

– Он так добр! – говорил Шарлемань о Драконе.

В пьесе Шварца есть реплики Шарлеманя, приходившиеся нашему обществу военного времени еще только навырост, а германскому – уже впору.

Еще одну великую "дезинфекцию", кроме холерной, Шарлемань ставит в заслугу Вождю (или вождям; поскольку у Дракона три головы, и Дракон оборачивается, когда хочет, тремя разными людьми, то можно считать, что его крыльями и когтями управляет коллективная мудрость).

Дракон уничтожил повсюду вокруг одну подлую людскую породу. Это – черненькие, "бродяги по природе, по крови, враги любой государственности", чьи "идеи разрушительны", а сами эти черненькие обладают всепроникающей способностью. Это не евреи (Шварц в своей антигитлеровской пьесе избегал грубых, неблагозвучных слов), а цыгане. Сам Шарлемань мерзких цыган никогда не видал. О цыганах рассказал всю правду Дракон, ибо эти цыгане "нагло выступали против него в первые годы его власти".

Даже Шарлемань не избежал уродства.

Разумеется, Ланцелот решает сразиться с Драконом, – но сразу же попадает в дурацкое кихотическое положение: его поступок и Шарлемань, и Эльза, и горожане считают невозможным, нелепым, просто непростительным.

– Уезжайте прочь от нас! Скорее! Сегодня же! – требует от Ланцелота хор горожан. Были бы в городе газеты, горожане подписали бы искреннее коллективное письмо протеста против клеветника и провокатора Ланцелота.

– Видите! Если вы гуманный и культурный человек, вы подчинитесь воле народа, – уговаривает Ланцелота Бургомистр.

Но Ланцелот, этот безоружный экстремист, отказывается выполнить волю большинства. На то он и диссидент, чтобы действовать в соответствии со своими идеалами добра, а не в соответствии с чужой привычкой терпеть зло.

Один только интеллигентный Кот, ненавидящий Дракона, говорит Рыцарю:

– Умоляю вас, – вызовите его на бой. Он, конечно, убьет вас, но пока суд да дело, можно будет помечтать, развалившись перед очагом, о том, как случайно или чудом, так или сяк, не тем, так этим, может быть, как-нибудь, а вдруг и вы его убьете...

В пьесе Шварца Дракон является в дом Шарлеманя в человеческом облике, – "попросту, без чинов", как сам он говорит. На Гитлера он не похож; это

"...пожилой, крепкий, моложавый, белобрысый человек с солдатской выправкой. Волосы ежиком. Он широко улыбается. Вообще обращение его, несмотря на грубоватость, не лишено некоторой приятности", – таким его описывает в ремарке Шварц.

Так что любой американский бизнесмен и даже сам проницательный Бертран Рассел безусловно сочли бы клеветой, если бы кто назвал этакого вот простоватого, по-солдатски прямого человека "драконом". А писатель-коммунист Анри Барбюс может быть даже написал бы, что так называемый "дракон" – на самом деле человек с руками рабочего, лицом ученого, в одежде простого солдата (помнится, именно так охарактеризовал Барбюс Сталина).

Дракон – оборотень; тоталитаризм – всегда оборотничество.

– Я друг вашего детства, – говорит Дракон Шарлеманю.

Вряд ли Шварц видел нацистскую почтовую марку, изображающую, как Гитлер обнимает маленькую девочку. Но он наверняка видел советские фотографии, на которых Сталин обнимал, подняв на руки, по меньшей мере два варианта этих девочек. Одну – этой фотографии повезло – звали Мамлакат, и с Мамлакат все в порядке. А у второй девочки Сталин вскорости уничтожил родителей, и фотографии ее оказались не в чести.

Но какую-нибудь из двух Шварц видел наверняка.

– Я помню вашего прапрадеда в коротких штанишках, – продолжал Дракон. – Черт! Непрошенная слеза. Ха-ха! Приезжий таращит глаза. Ты не ожидал от меня таких чувств? Ну, отвечай! Растерялся, сукин сын...

Ничего не было удивительного, что Ланцелот мог растеряться.

Даже американский президент Рузвельт, куда более искушенный в политических делах, чем странствующий рыцарь, умилился непрошенным сталинским слезам, когда Сталин говорил о разрушениях, которые нанесли гитлеровцы его стране. Увидев эти слезы, Рузвельт даже сказал Черчиллю, что не верит в россказни о том, будто Сталин неисправимый злодей: злодей не мог бы так искренне, так непроизвольно заплакать над горькими судьбами своего отечества.

Сталина Рузвельт пожалел, а тех, кто хотел спастись от Сталина, согласился ему насильственно выдать.

Увы, люди в конце концов всегда понимают Драконов вполне по-человечески!

Узнав, что Ланцелот вызывает его на бой, Дракон пытается одернуть прохожего (проходимца! – по оценке почтенных граждан города) ревом во всю силу, – своего рода административным окриком.

Когда же это не действует на Ланцелота, облик Дракона-оборотня меняется снова: теперь это серьезный, сдержанный, высоколобый седеющий блондин:

– Вы чужой здесь, а мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас с ужасом и обрадуется вашей смерти. Вам предстоит бесславная гибель. Понимаете?

– Нет, – отвечает Ланцелот этому абсолютно правильно рассуждающему господину.

Для Дракона главное – результат поступка.

Для Ланцелота главное – самый поступок.

Поэтому они не понимают друг друга.

Убедившись, что Ланцелот не сдастся без боя, Дракон, как и подобает чиновнику своей государственной безопасности, демонстрирует новое оборотничество, на сей раз внутреннее: долженствующую ошеломить противника кромешную подлость. Он намеревается убить безоружного Ланцелота немедленно. Это и значит проявить дар великого тактика – напасть на противника внезапно.

– Вы умрете сейчас, – храбро, тихо и бесславно, – объявляет Дракон, уже уничтоживший за последние четыреста лет восемьсот девять рыцарей, девятьсот пять людей неизвестного звания и многих других, сверх шести армий и пяти мятежных толп.

Дракон нападает предательски, – так Сталин напал со своими на всех остальных. Я уже писал: люди в такое вероломство поверить решительно не могли. Это было сверхчеловеческое вероломство. Поэтому они и верили Вождю (или погружали себя в самообман), даже приходя в себя после пыток в сталинских тюрьмах. Удачливое вероломство со своими выработало у Сталина уверенность, что никто из чужих его тоже не перехитрит. Но Гитлер его обманул.

В пьесе Шварца Дракону попытался помешать Шарлемань, уподобившийся в некотором смысле современным нашим правозащитникам.

Архивариус сунул Дракону под нос его же старинный указ, где говорилось, что каждого, вызвавшего Дракона на бой, Дракон до сражения клянется не убивать и что город обязан обеспечить змееборца оружием.

– Я был тогда наивным, сентиментальным, неопытным мальчишкой, – огрызается Дракон.

– Но документ не отменен.

– Довольно о документах. Мы – взрослые люди.

Тут Дракон решился поступить совершенно не по-человечески: не просто лишить Шарлеманя должности архивариуса и куда-нибудь выслать, а на месте испепелить.

Так все и погибли бы: Ланцелот, Шарлемань, Эльза, – но интеллигентный Кот-конформист вдруг их спас.

Он зашипел, убегая вон, что всем, всем, всем расскажет, как старый ящер струсил и нарушил собственную клятву.

Дракон величиной с церковь, о трех головах, в непробиваемой чешуе, дышащий настоящим огнем, пугается, – чего же?

ГЛАСНОСТИ.

Очень возможно, что государственный секретарь США при президенте Никсоне Генри Киссинджер порекомендовал бы Коту вести тихую дипломатию, а не шарахаться из дому прочь, не шипеть и не мяукать во все горло.

Но в данном случае оказался прав Кот, а не Киссинджер.

Дракону пришлось согласиться на поединок.

Но после этого сам Дракон начал свою "тихую дипломатию".

Генрих, бывший жених Эльзы, драконовский секретарь, передал Эльзе приказ Дракона убить Ланцелота и дал ей для этого отравленный нож.

Эльза. Я не хочу.

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать, что иначе он перебьет всех твоих подруг.

Эльза. Хорошо. Скажи, что я постараюсь.

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать: всякое колебание будет наказано как ослушание.

Эльза. Я ненавижу тебя!

Генрих. А господин Дракон на это велел сказать, что умеет награждать верных слуг.

Эльза. Ланцелот убьет твоего Дракона!

Генрих. А на это господин Дракон велел сказать "Посмотрим!".

Шварц, видимо, попытался понять гитлеризм, на который писал сатиру, через опыт сталинизма: Сталин действительно карал людей за одни только связи с "врагами народа", – за дружеские связи или родственные. Что же до Гитлера, то мне неизвестно, существовал ли такой же порядок в Третьем рейхе.

Во втором действии пьесы Генрих снова искушает бедную Эльзу. Это самое страшное искушение: искушение жизнью на пороге гибели.

– Вы, в сущности, сами держите себя под замком; вы, собственно, сами калечите себе жизнь. Скажите слово... Назовите имена... Послушайтесь нас...

Эльзе надо было убить Ланцелота.

Дракон обещает ей сохранить жизнь и вернуть жениха, Генриха, если Эльза это сделает.

Эльза колеблется.

Не в природе человека – жертвовать собой за дело, обреченное на неудачу.

А Эльза убеждена, что Ланцелот погибнет.

Однако Ланцелот своими уговорами приводит ее именно к такому, вполне бессмысленному решению: жертвовать собой ради человека, обреченного на поражение и смерть.

– Разве знают в бедном вашем народе, как любить друг друга? – говорит Ланцелот. – Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки, вот как я буду любить тебя. А ты, засыпая, будешь улыбаться и просыпаясь, будешь улыбаться и звать меня – вот как ты меня будешь любить. И себя ты полюбишь тоже. Ты будешь ходить спокойная и гордая. Ты поймешь, что уж раз я тебя такую целую, значит, ты хороша. И деревья в лесу будут ласково разговаривать с нами, и птицы, и звери, потому что настоящие влюбленные все понимают и заодно со всем миром. И все будут рады нам, потому что настоящие влюбленные приносят счастье.

Пока Ланцелот уговаривает Эльзу, что ее преобразит его рыцарская любовь, в открытую ее "дульцинирует", но не как поэт, а скорее, как

Дон Кихот, оказавшийся – по Сологубу – в царстве лирической иронии, у Генриха и Дракона, надеющихся, что Эльза вот-вот убьет Ланцелота отравленным ножом, идет свой разговор.

Дракон. Что он ей там напевает?

Генрих. Проповедует. Ученье – свет, а неученье – тьма...

Но Эльза согласна стать Дульсинеей. Идеализирующие слова Рыцаря действуют на нее как преображающий взгляд, который, по Сологубу, вот в этом, мгновенном, умеет видеть Вечное, Красоту. Эльза становится Дульсинеей. Она швыряет нож в колодец.

Поединок неизбежен.

Городской магистрат, как и положено, вооружил своего освободителя для боя с Драконом. В качестве шлема Ланцелота снабжают цирюльничьим тазиком, наследственным оружием Дон Кихота.

– Мы назначили его исполняющим обязанности шлема, – объясняет Ланцелоту Бургомистр. – Медный подносик назначен щитом. Не беспокойтесь! Даже вещи в нашем городе послушны и дисциплинированны. Рыцарских лат у нас на складе, к сожалению, не оказалось, но копье есть. (Протягивает Ланцелоту лист бумаги.) Это удостоверение дается вам в том, что копье действительно находится в ремонте, что подписью и приложением печати удостоверяется. Вы предъявите его во время боя господину Дракону, и все кончится отлично...

Дракон предупредил Бургомистра, чтобы все было сделано по закону и в то же время с умом.

– Простите нас. Пожалейте нас, бедных убийц, господин Ланцелот, – говорит Шарлемань.

Между тем Дракон уговаривает Рыцаря Бедного отказаться от дуэли, – и не просто уговаривает: искушает.

Дракону важно, соблюдая положение, что человек для Дракона – вошь, унасекомить Ланцелота, о котором Дракон уже знает, что тот – профессиональный герой. На драконий взгляд, в городе просто нет людей, чтобы их защищать.

– И все-таки они люди, – возражает Ланцелот.

Дракон. Это снаружи.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Если бы ты увидел их души, – ох, задрожал бы.

Ланцелот. Нет.

Дракон. Убежал бы даже. Не стал бы умирать из-за калек. Я же их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь, только в моем городе. Безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, лягавые души, окаянные души. Знаешь, почему Бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что они невидимы.

Ланцелот. Это ваше счастье.

Дракон. Как так?

Ланцелот. Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что превратились их души. Они на смерть пошли бы, а не остались бы покоренным народом...

Как и подобает Дон Кихоту, Ланцелот – оптимист. Но в конце XX столетия мы уже знаем, чего стоит подлая, подлинная, не идеализированная человеческая природа: люди испугались бы, увидев своими глазами, во что их превратил Дракон, пожалели бы себя еще раз, и, чтобы не рисковать остатками души, отправились бы дальше проживать свою жизнь; "жизнь для жизни нам дана, – сказал поэт, – и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", – за все, что упустил съесть, выпить и поцеловать, и чтобы умирая мог сказать: вся жизнь, все силы были отданы тому, чтобы жизнь прожить в полную меру, в полную силу, в полную сласть и смак!

В середине второго акта пьесы кихотическая тема кончается. Хотя Ланцелот, по его словам, и готов задушить, "как это ни противно", трехглавого змеюгу голыми руками, он получает настоящее сказочное оружие от городских ремесленников, давно мечтавших о новом Георгии Победоносце.

Мастеровые, словно совокупный Санчо Панса (идея такого совокупного рыцарского оруженосца существовала в русской публицистике), привозят на ослике Ланцелоту волшебное оружие: шапку-невидимку, ковер-самолет, меч и копье. А вдобавок к этому всему – "чудесный струнный инструмент", который сам догадывается, что и когда надо играть, чтобы у человека становилось легко на душе.

Разумеется, Ланцелот побеждает Дракона.

Горожане, сперва возмущенные непрошенным вмешательством в их тихую жизнь, потом радуются, исподтишка глядя через закопченные стекла на бой в небесах. Сначала они были совершенно искренне "за", потом столь же искренне "против"...

Люди все-таки изменчивые существа. Если страх обращает их в драконовых сообщников, они, едва спасшись от страха, проявляют свою человеческую природу...

Надолго ли?

В своей пьесе-сказке Е. Шварц поставил этот вопрос.

Ланцелот смертельно ранен.

– Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души... А, впрочем, прощай! – говорит Ланцелоту умирающая голова Дракона. Но странствующий Рыцарь утешает себя:

– ... Сейчас дома они потихоньку-потихоньку приходят в себя. Души у них распрямляются. Зачем, шепчут они, зачем кормили и холили мы это чудовище? Из-за нас умирает теперь на площади человек один-одинешенек. Ну, уж теперь мы будем умнее! Вон какой бой разыгрался в небе из-за нас!

Здесь Ланцелот рассуждал совершенно как Рыцарь Печального Обра-

за, хотя вооружен он был не по-донкихотски, а по последнему слову сказочной техники. Правда, к концу боя с Драконом оружие Ланцелота вышло из строя. Но дело не в том, что победитель Дракона снова оказался безоружным как Дон Кихот: всякому истинному рыцарю присущи кихотические надежды.

После XX съезда среди подсоветских интеллигентов тоже велись похожие разговорчики. Хотя странствующими рыцарями эти интеллигенты себя не считали, но иные вернулись из дальних и недобровольных путешествий. Было, о ком вспомнить, – о тех, например, кто погибал, зная о Сталине все то, чего не хотели знать толпы людей, спешивших проститься с покойным вожаком и насмерть давивших друг друга по дороге к его гробу.

Но теперь толпы эти разошлись по разным залам для собраний, расселись там, и им рассказали обо всем, что они знали, о чем подозревали, чего боялись. Теперь всем сказали правду, – а, значит, ложь, самое вредоносное чудовище, было мертво.

– Испытание правдой – самое сильное, окончательное испытание, – говорил, помнится, один московский интеллигент.

– Правда – экзамен на социальную зрелость народа. Демократизация неизбежна, – подтверждал другой.

И что же произошло в действительности?..

В сказке Е. Шварца была совсем другая ситуация, чем в нашей стране после разоблачения так называемого культа личности.

Нас никакой Дракон не покорил. Мы в ходе междоусобий сами себя покорили.

Новые времена у нас начались безо всякого Ланцелота, с того момента, когда маршал Берия сказал над телом генералиссимуса Сталина:

– Тирана больше нет, – а тело в ответ открыло один глаз, многозначительно помолчало, – и Сталин умер.

После этой смерти у нас начались разные события, которые не кончились и сейчас.

Дон Кихоты были и есть, Ланцелот так и не появлялся.

Из города шварцевской сказки Ланцелот тоже исчез, – не было его, как не бывало.

Воспользовавшись этим, Бургомистр приказал страже схватить мастеров, припугнул горожан, которые только того и ждали, так как жить без страха им было непривычно, и объявил себя Победителем Дракона.

Властителем стал первый по старшинству после Дракона человек. Он собрался теперь жениться на Эльзе; Шарлемань, как и прежде, при Драконе, решил покончить с собой, потому что умереть решила Эльза.

Но сделать это стало уже не так просто. Кончились идиллические времена, когда страной управлял зверь. Теперь у кормила власти стоял бездушный человек.

Бургомистр грубо утрировал сталинский принцип заложничества (см. статью 58–1-В тогдашнего Уголовного кодекса, в соответствии с которой родственники "изменника родины", убежавшего из отчизны, подвергались

наказанию, независимо от того, знали они о преступном замысле или нет). Бургомистр пообещал Шарлеманю, что если он с Эльзой попытается посредством самоубийства скрыться от него в небытие, то будут уничтожены пятьдесят друзей Шарлеманя, тихих городских интеллигентов, любивших, верно, музыку Баха и антипрезидентские анекдоты.

Ведь бывший Бургомистр стал теперь Президентом вольного города. Свадьбе ничто не должно помешать:

> "Ланцелот, он же Георгий, он же Персей-проходимец, в каждой стране именуемый по-своему, – как характеризует странника городской тюремщик, – исчез бесследно".

Взглянув на Медузу Горгону, люди обращались в камень. Конечно, в ее сторону можно было бы просто не смотреть. Но не потому ли Шварц приравнял ее к Змею, а Персея к Змееборцу, что хотел, чтобы люди могли глядеть в любую сторону своей души?

– Рабство отошло в область преданий, и мы переродились, – объявляет меж тем Победитель Дракона своим боязливым и лояльным гражданам, недавно еще радовавшимся гибели чудовища и отлично знающим, кто его на самом деле убил.

– То, что город наш совсем-совсем такой же тихий и послушный, как прежде, – это так страшно, – говорит Шарлемань.

Победитель Дракона теперь, как сам Дракон, смахивает "непрошенную слезу" и ему, как Дракону, никто, кроме Ланцелота, не страшен. Своей невесте Эльзе он даже разрешает протестовать.

Эльза, как она говорит, теперь "боится всех людей". И все-таки, подобно Ланцелоту, его Прекрасная Дама совершает безнадежный поступок: она обращается к присутствующим с человеческими словами. В романтизированной, приукрашенной форме речь Эльзы к согражданам содержит примерно то же, что содержали речи наших правозащитников, когда их выгоняли с работы за протесты против той формы диалога, которую выбрало государство для общения со своими гражданами: арест в ответ на протест.

Эльза сказала:

> "... Я думала, что вы только послушны Дракону, как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, оказывается, разбойники! Я не виню вас, вы сами этого не замечаете, но я умоляю вас – – опомнитесь! Неужели Дракон не умер, а как это бывало с ним часто, обратился в человека? Только превратился он на этот раз во множество людей, и вот они убивают меня. Не убивайте меня! Очнитесь!"

Президент мог не бояться: задушевное сообщничество оборотней, которое составили горожане, ставшие хуже, чем были, ибо теперь они знали правду, но предпочитали лгать, было недоступно человеческим словам. Слова отскакивали от людей, как от танковой брони горох.

– Будем веселиться, как ни в чем не бывало, – говорит Президент. – – Довольно этой канцелярии!

И все бы кончилось, – так просто, так по-свойски, так душевно, если бы не явился вдруг Ланцелот, Победитель Дракона.

Ланцелот из сказки вступил в полемику с Луначарским из Наркомпроса. Луначарский объяснил про свое марионеточное добро, что с высоко социологической точки зрения нет особой заслуги Ленина в его революционерстве.

Генрих, бывший секретарь Дракона, бывший жених Эльзы, теперь Бургомистр при отце Президенте, пытается оправдаться по методике Луначарского:

– Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.

Метафору взгляда "из глубины" или "с высоты" очень любят бронетанковые "реалисты"; зато взгляд на вещи с нормальной для глаза дистанции и при этом с положения на земной поверхности они так и называют "поверхностным".

Ланцелот именно так, вполне поверхностно, отвечает Генриху:

– Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Вовсе неуспевающих в науке оборотничества среди именитых горожан не оказалось.

Один плакал, искренне плакал от умиления, приветствуя Президента, Победителя Дракона.

– Но ведь вы знали, что Дракона убил не он.

– Дома знал... а на параде...

"Меня утешает, что я оставляю тебе прожженные, дырявые, мертвые души..." – говорила Ланцелоту умирающая драконова голова.

У другого горожанина Президент посадил в подземелье сына. Горожанин подарил Президенту трубку с надписью: "Твой навеки".

– А как же еще я мог смягчить его сердце? – оправдывается горожанин.

В отношениях Сталина и вождей при его сапоге случались такие коллизии.

Жена "всесоюзного старосты" Калинина, арестованная Сталиным в конце тридцатых годов, – не единственный случай в этом роде. Сталин любил таким способом прищемлять своим приближенным чувствительные места. Дома люди, может быть, корчились от боли, а с трибун кричали Сталину:

– Твой навеки!

Сталин, наверное, сардонически ухмылялся этим выкрикам и еще больше терял веру в людей.

Шварц создавал гротеск, предельное обличение зла и подлости, а получилось точное отображение будничной сталинской реальности.

Но сказочный город Шварца был невелик; а в нашей огромной стране все-таки можно было увильнуть.

Поэтому иной раз и без Ланцелота, своими силами, люди ускользали от драконовских правил. И даже действовали вызывающе, как поступил в юности один мой знакомый медик.

После того как в 1938 г. застрелился его отец, известный революционер-большевик, юноша, носивший не криминальную фамилию матери, изменил ее на отцовскую фамилию; он сделал это вопреки тому, что отец его был объявлен врагом народа. В течение года, если не больше, мединститутский комсомол требовал, чтобы молодой человек отрекся от отца. Однако к 1940 г. пыл обличителей поугас, их партийное руководство, едва оправившееся от ночной дрожи ежовской поры, вело себя в этом еще недавно столь важном партийном деле принуждения к отречению от родителей как-то вяло, почти по-человечески. А юноша вел себя совершенно по-человечески и стоял на своем. Потом началась война, и студент, не кончив еще института, зауряд-врачом отправился на фронт, где и пробыл до конца войны. А там все забылось.

Я не называю фамилии этого человека, потому что сейчас он приобрел широкую известность в своей области, и у меня нет никакой уверенности, что, назвав его имя, я не причиню ему вреда.

Люди, не скрывающие, что они в свое время сознательно уклонились от унификации, и сейчас вызывают подозрение.

Вся эта история доказывает, о чем я писал и в начале книги, что на самых разных уровнях были люди, которых вождю Табуреткину не удалось выкроить по своей сапожной колодке.

Поэтому и Ланцелот Шварца был прав, когда, освободив своих друзей-мастеров из тюрьмы, решил вместе с Эльзой остаться в городе уже не для великого подвига, а "для мелкой работы":

– В каждом из них, – говорит Ланцелот о городских обывателях, – надо убить Дракона.

С тем Ланцелот и женится на Эльзе, пьеса-сказка кончается, а интеллигентный читатель остается при своем социальном одиночестве и чужой коллективной мудрости.

В начале 1944 г. в Сталинабаде (ныне Душанбе) Ленинградский театр комедии начал репетировать пьесу-сказку "Дракон".

В марте 1944 г. Отдел распространения Всесоюзного управления по охране авторских прав размножил небольшим тиражом пьесу Е. Шварца.

25 марта 1944 г. в то время, когда репетиции "Дракона" шли уже полным ходом, в газете "Литература и искусство" была опубликована статья С. Бородина "Вредная сказка".

Для начала рецензент напоминал читателям пушкинские строки:

> Сказка – ложь, да в ней намек:
> Добрым молодцам урок.

По мнению Бородина, "урок", преподанный Шварцем, был "очень сомнителен":

> "Сквозь сказочную вуаль и традиционность образов протаски-

вается вредная антиисторическая и антинародная, обывательская точка зрения на современность".[3]

О том, на что Шварц в своей пьесе намекал, – да и не намекал вовсе, а говорил впрямую, – Бородин, понятное дело, даже обмолвиться не смел.

Впрочем, по мнению критика, "Дракон" был узнаваем: это – "палач народов" (по имени рецензент его, впрочем, не назвал).

"Беспардонная фантастика Шварца, которая выдает его с головой" начинается там, где драматург показывает людей, порабощенных драконом. "Оказывается, жители в восторге от своего дракона". Шарлемань его хвалит: пока этот дракон здесь, никакой другой нас не осмелится тронуть. Остальные горожане восхищаются им. Словом, дракон, умирая, имеет основание говорить о своем народе, что оставляет победителю "прожженные души, дырявые души, мертвые души". Даже Эльза, жертва, намеченная драконом, "светлый гений", предстает в непривлекательном свете: она охотно готовилась к браку с Генрихом;

> "... затем с неменьшей готовностью она собирается упасть в объятия дракона. Столь же поспешно она отдает свое сердце рыцарю, а ввиду отсутствия рыцаря, хотя и не очень радостно, но послушно отправляется на свадебный пир в качестве невесты бургомистра".

О том, что бургомистр пригрозил в случае непослушания – самоубийства Эльзы и ее отца – уничтожить пятьдесят друзей этой семьи, рецензент промолчал. Из приведенного выше краткого пересказа статьи читатель видит, что Бородин воспринял пьесу весьма своеобразно.

Не понравились Бородину и мастера, снабдившие Ланцелота оружием: они дали себя схватить страже Бургомистра, растерялись.

> "Так предстает народ в виде безнадежно искалеченных, пассивных, эгоистических обывателей, жалующихся на исчезновение продуктов, – лучше бы, мол, рыцарь не боролся с драконом, а то молоко вздорожало, а масло совсем исчезло".

Мораль этой сказки, ее "намек" заключается в том, что незачем, мол, бороться с драконом, – на его место сядут другие драконы, помельче... (Как в воду глядел! – *Ю.А.*) Да и народ не стоит того, чтобы ради него копья ломать; да и рыцарь борется только потому, что не знает низости людей, ради которых он борется, – писал Бородин.

О том, что Ланцелот и Эльза остались в городе именно ради горожан, не говорилось ни слова.

Воистину "черным" представал Шварц перед читателями газеты; проверить, прав рецензент или нет, читатель газеты не мог: тираж пьесы был в несколько десятков экземпляров. И миллионы людей знакомились с выводами, которых у них не было причин оспаривать (ведь пьесы они не читали), – но к которым следовало прислушаться: газета – орган директивный.

Бородин писал:

"Шварц сочинил пасквиль на героическую освободительную борьбу народа с гитлеризмом.

Сказка его – это клевета на народы под игом гитлеровской оккупации, народы, борющиеся с гитлеровской тиранией. Затем и понадобился автору язык иносказаний, сказочная вуаль..."

После всего сказанного Шварца вполне можно было обвинить хотя бы и в измене родине.

Читателю оставалось только узнать, на что же "сказочная вуаль" была наброшена.

"... На пацифистские идейки", – заканчивалась статья.

То ли по требованию редакции, то ли сам по себе, но Бородин, "прожженная душа", повернул финальное острие чуть в сторону: не измену родине, а пасквильный пацифизм приклеил он в качестве "бубнового туза" "черствому сердцем" Евгению Шварцу.

Несмотря на эту статью Ленинградский театр комедии продолжал работу над спектаклем. Видимо, руководитель его Н.Ф. Акимов выяснил, что статья Бородина не означала еще запрета "Дракона". Возможно, что сама редакция газеты, как я только что говорил, предложила Бородину смягчить финал статьи.

Так или иначе подсоветские чиновники и руководитель театра Акимов, отстаивавшие пьесу в Москве, оказались внутренне свободнее и смелей издателей свободной Британии, отказавшихся сразу после войны печатать "Скотный двор", а затем и "1984" Орвелла из боязни, что эти сатирические произведения, которые вполне можно было адресовать и Гитлеру, обидят влиятельных левых, а также советских союзников.

В отличие от этих гордых своею свободою британцев и сам Шварц, и люди, помогавшие ему "пробить" пьесу, не боялись задеть тех, кто на подобную "щекотку" мог ответить только ударом насмерть.

Возможно, не все поклонники шварцевской пьесы осмеливались понять, что Шварц, хотя и метит в гитлеровский Райх, попадает и в сталинский рай. Но я не думаю, что люди, пережившие большую войну за унификацию, потеряли всякую осторожность или, впав от страха в детство, играли с огнем, не соображая, что делают.

Скорее всего самые энергичные и проницательные из тех, кто помогал Шварцу, уже не виня, может быть, лично Сталина (такое для подсоветских интеллигентов на воле становилось все более редким качеством), все-таки тяготились нравственным одичанием людей вокруг.

В 1944-1945 гг. в культуре возникло было некоторое оживление, так что в 1946 г. Жданову пришлось по всей этой анархически зазеленевшей культурной ниве проехаться своим чугунным катком.

Шварц давно уже сконструировал себе аппарат из традиционных сказочных образов, романтической фантастики и реальных обстоятельств. Через эти свои призмы он и вглядывался в окружающую жизнь. "Дракона" он перечитывал и переписывал. Скорее всего он видел, что получилось в линзах этого телескопа.

Евгений Шварц дружил с "Обэриутами", литературной группой, для эстетики которой был характерен подчеркнуто остраненный, иногда доведенный до полной дурашливости взгляд на жизнь, часто превращавший ее, словно в пепел, в абсурдную комбинацию нелепых происшествий. У "Обэриутов" великолепно получались игровые детские стихи, а также всякого рода абсурдистские сценки, имеющие сейчас, особенно среди литераторов помоложе, огромную "самиздатскую" популярность.

"Обэриутов" – Алейникова, Введенского, Заболоцкого, Хармса – к тому времени, когда "Дракон" был написан, посадили; кроме Заболоцкого все они погибли.

Шварцу по собственной жизни было памятно исчезновение друзей в драконовом царстве.

Но не удалось Наган Наганычу Гаду искоренить или утихомирить поседелых уже "щенят", не понимавших прелести интриги, карьеры, власти.

Не удалось тогда, – и сейчас не получится, хотя и ныне Гад пожилой или сравнительно молоденький так все и катит свою сизифову телегу на русских интеллигентов и их культуру. Однако задавить Наган Наганычу никого не удастся: антисемит Федор Достоевский, параноик Лев Толстой, мракобес Лесков, эротоман Розанов, – так все и будут поражать нас своими прозрениями и удручать своими калечностями, так все и будут жить вместе с остальными такими же безместно и бестелесно, а потому для любых прокрустовых поползновений недосягаемо. Наган Наганычу, любителю келейной тихости и юбилейной сладости, не сгладить их неприятных, загадочных странностей. Пока существуют русские судьбы и русские тексты, невозможно будет сделать респектабельным блистательное сообщество разноголосых и опасных российских гениев и чудаков.

И вопреки Н.Н. Гаду в октябре 1944 г. премьера "Дракона" в постановке Ленинградского театра комедии состоялась в Москве.

После второго представления спектакль запретили: добились гады своего.

Защитники пьесы, однако, не сдались. Евгению Шварцу предложено было сделать новый вариант.

30 ноября 1944 г. на совещании у заместителя председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР состоялось обсуждение этого нового варианта.

Обсуждение шло не просто на высоком бюрократическом, но и на истинно элитарном советском уровне. Участвовали в нем писатели Леонид Леонов, Николай Погодин, Алексей Сурков, Илья Эренбург, кинорежиссер Сергей Юткевич и другие влиятельные в то время лица.

Ниже я приведу отрывки из стенограмм их выступлений.

Первым выступил Николай Погодин, драматург, создатель нашей ленинианы, где мудрый, твердый, добрый Ильич укреплял решимость рабочих, урезонивал интеллигенцию, руководил революцией; словом, будучи достойным немедленной монументализации, тем не менее говорил

об электрификации всей страны и ходил по сцене, как родной. Погодин написал еще и пьесу "Аристократы" о перевоспитании на архипелаге ГУЛ'аг. Там один из перевоспитанных зеков от счастья поет:

Я вновь рожден,
Хочу я жить и петь.

При всем том Погодин не был самым худшим из шварцевских горожан.

Николай Погодин сказал:

"Я читал и первый вариант, причем читал совершенно случайно, мне прислал из Союза Писателей Поликарпов, чтобы я о нем высказал свое личное мнение. Я тогда признал все формальные достоинства вещи. Читалась она интересно. Драматургически интересно..."

Поликарпов – тогдашний секретарь Союза Писателей СССР; наиболее характерными для него произведениями являются неопубликованные нигде докладные записки и, кажется, донесения в те организации, что стоят по ту сторону смеха, не говоря уже о добре и зле. Еще он как будто читал отчетные доклады на разных писательских слетах-конференциях. В литературной жизни своего времени Поликарпов сыграл большую роль, однако в "Литературной энциклопедии" не упомянут; но из этого ничего не следует, поскольку Иосифа Бродского там тоже нет. Такая уж это энциклопедия.

"Но аллегорическая форма, – продолжал между тем Погодин, – это мстительная форма. В наше время с его острыми политическими моментами у каждого в зависимости от его темперамента, способностей и умонастроения, она может будить и вызывать различные ассоциации и толкования. Чувствовался ход войны, перипетии ее, хотел этого автор или не хотел. Или я наивен, – но получилось не ахти как и даже вызывало какой-то протест. И я не понимал, кому адресовано это произведение. Детская сказка? Нет. Для взрослых? Но я не знаю, чему она меня учила..."

Где же ему, Погодину, было это понять: его ведь сам Ильич обучал всему, что надо, когда драматург вызывал образ Ленина в своем творческом воображении.

Что же касается хода войны (т.е. битвы Ланцелота с Драконом), получившегося "не ахти как", то речь шла о текстах коммюнике, которые оглашал Генрих, секретарь Дракона.

Сперва Генрих запретил всем "во избежание эпидемии глазных болезней и только поэтому" смотреть на небо, где Ланцелот бил змея:

– Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике.

У нас во время войны на небо, разумеется, можно было смотреть даже и во время воздушных боев.

Правда, радиоприемники у всех были отобраны, чтобы граждане до

победы над Германией зря не обшаривали эфира.

Но я думаю, что Шварц эфира не имел в виду.

Когда Ланцелот отрубил Дракону голову, коммюнике сообщило, что Дракон освободил от военной службы одну голову по болезни с зачислением в резерв первой очереди; когда наземь упала вторая голова, коммюнике сообщило, что это Дракон выровнял фронт и что одна голова удобнее, чем две.

Погодина, видимо, тревожило, что эти коммюнике покажутся карикатурами на сводки информбюро в начале войны. Обычно в этих сводках говорилось о тяжелых потерях немцев в живой силе и технике, героическом сопротивлении наших войск, – и нередко в той же сводке в ряду прочего сказано было, что после продолжительных и тяжелых боев наши войска, отойдя на заранее подготовленные позиции, оставили или Минск, или Киев, или Харьков...

В таких случаях моя бабушка говорила:

– Какой из Сталина главнокомандующий? Воюет, как сапожник. У-у, грузо голопятый!

Бабушка могла внушить себе, что о судьбе ее детей Сталин слыхом ничего не слыхал, хотя отца моего вождь знал лично. Но она происходила из потомственной военной дворянской семьи, детство свое провела в Тифлисе, где служил ее отец; обидные прозвища грузин, ходившие в военно-бюрократической среде, помнила, и поражений на фронтах сапожничьему сыну простить не могла.

Дав свою шовинистическую характеристику вождю народов, бабушка, утешая меня и себя, вспоминала обычно одну и ту же статью из "Правды", что в Германии экономическая разруха, и страна живет на заменителях, "эрзацах". Германская экономика была для бабушки только предлогом, чтобы сказать:

– Гитлер грузо голопятого перехитрил. Но судьба Гитлера покарает. Хитрость – эрзац ума. А на эрзацах долго не проживешь.

К моменту обсуждения "Дракона", к осени 1944 г., всем стало ясно, что Гитлера судьба уже начала карать. Кончилось время, когда мы, согласно сводкам, "успешно отразив атаки противника", сдавали города. Теперь противник терял города, как Дракон свои головы. В 1944 г. нелепо было насмешничать над тяжким для России началом войны. Шварц никогда не стал бы этого делать.

Но страх говорил в Погодине громче самоочевидных соображений.

К тому же в качестве специалиста по акустике, Погодин, еще даже и не зная, что именно так неприятно щекочет ему барабанные перепонки, делал предупредительную стойку над сомнительным текстом. Вот как это выглядело:

> "Но есть какие-то места, которые, не знаю, хорошо это или плохо, товарищи мне подскажут, но мне лично чувствуется что-то относительно дуэли. Есть какие-то вещи, которые вызывают ассоциации, может быть, ненужные", –

задумчиво пытался Погодин что-то невыразимое, но важное сказать и не мог: сказать было нечего.

Илья Эренбург, интеллигент все-таки скорее европейский, чем вылепленный ежовскими рукавицами из подручного материала в ходе войн за усекновение высоколобых, отнесся к той же проблеме гораздо проще:

– Что касается военных выражений. Пародии на сводки, они звучат очень хорошо.

Погодин со своей стороны продолжал тревожиться.

– Государство есть государство и в особенности в такое острое время, и если автор задался такой страшно тяжелой, непосильной задачей, то, естественно, он здесь может где-то пустить пузыри. Эти пузыри видны каждому из нас. И эти пузыри могут толковаться как политически ненужные ассоциации, – такими словами в четверть смысла объяснялся погодинский страх. У страха, говорят, глаза велики; у современного испуганного человека глаза еще и увеличивают, как микроскоп.

Но страх не съел всю погодинскую душу. Драматург пытался говорить и от себя. Он сказал, что, прочтя пьесу Шварца, "приветствовал что-то новое".

– Мы ничего не ставим, мы больше снимаем, – говорила живая погодинская душа, сопротивляясь собственному свищу (Дракон, как мы помним, спрессовал страхом людские души до такой степени плотности, что они могли стать и "дырявыми", и "прожженными", – и все-таки остаться живыми).

– Если бы мы сами не были как-то зашорены и не видели того, чего, может быть, и нет, то, может быть, я смотрел бы на это, как на какое-то блестящее, вольное, свободное, замечательное, сценическое произведение, – продолжала живая душа. – Но, может быть, оно не своевременно. Я здесь ничего не понимаю, как много не понимаю сейчас в нашей театральной жизни. Поэтому я уклонюсь от подобных суждений...

От каких? Погодин не уточнил: душа его замолчала. Зато дыра, свищ, заговорила, словно черный репродуктор:

– Дракон налетает, камнями забрасывает, – я сейчас же вижу бомбежки, налеты, никуда вы от этого не уйдете! Может быть, это нужно убрать. Что касается формальной стороны дела, то мне этот прием непонятен, – говорят, что в театре это получается. Когда я слушаю эти переходы, то я слышу произведение реалистическое, которое переходит в гротескную комедию, потом вдруг начинают появляться какие-то вещи. Моменты перехода из сказки в реальность и обратно, – они воспринимаются с трудом. Только я привыкаю к сказке, вдруг я опять перехожу в мир моих переживаний. Может быть, я неграмотен, очевидно, это такой прием... Я эту путаницу воспринимаю, как невыдержанность стиля, а, может быть, это такой стиль...

"Кто-то", "где-то", "что-то", "как-то", "может быть", "может быть" и еще раз "может быть", – на этих неопределенностях и строились погодинские фразы, крутясь, как флюгера, под влиянием грозных токов страха. Человек терял дар слова. Но иногда опять душа живая пересиливала:

– С другой стороны, я должен сказать, как драматурга, как автора, просто Шварца нужно поздравить. Это работа не сегодняшнего дня, это может идти и через пять лет. Это, по-моему, настоящее литературное произведение.

"Цепные души, лягавые души, окаянные души, дырявые души, прожженные души, продажные души", – как характеризовал Дракон души тех, кого он "лично покалечил", все-таки не хотели исчезнуть, самоаннигилироваться.

Впрочем, такие полуживые души бывают опаснее мертвых. Мертвая душа от человека не отлетает, – она остается в нем и видна в глазах. У многих следователей МГБ, а также блатарей я ее видел: глазки у них были либо маленькие, гниленькие, как бы гноящиеся, не выражающие ничего, кроме собственной внутренней безжалостной едкости, либо глаза были выжженные, совсем пустые, словно выгоревшие изнутри, и смеяться не могли, когда маска лица смеялась.

В отличие от мертвых душ, души покалеченные живут в глазах, речах, поступках, – и вызывают сочувствие, иной раз даже доверие: ведь душито эти как-никак пострадавшие!

Но можно ли на них надеяться?

Вот выступает Сергей Образцов, знаменитый советский кукольник, чей театр радовал многие поколения московских ребят и очень веселил взрослых.

Образцов сразу же согласился с Погодиным, что пьеса Шварца великолепна и что "у нас ряд вещей, которые должны были бы идти всюду, неожиданно снимаются".

А дальше он сказал:

– Что я бы сделал, если бы был сам себе реперткомом? Я предпочитаю снимать сам, чем у меня снимут. (Так и рождается внутренний цензор, первая "дырочка" в душе. – *Ю.А.*) И поэтому я по-честному хочу разобраться, что бы я делал, если бы ставил эту вещь, – так говорил Образцов.

В первом варианте ему нравилось, что Ланцелот, убив Дракона, не уходил:

> "Может быть, эта мысль была неверная. Может быть, она была спорная, может быть, даже вредная, – но она была довольно точная, что людей надо спасать даже тогда, когда они спасаться не хотят, т.е. людей из человеческих, гуманистических соображений нужно загонять в рай мечом. И ради людей, которые не желают спасаться, Ланцелот, рискуя своей жизнью, убивает Дракона".

Между тем у Шварца горожане, прежде всего, "несчастные сукины дети", – и притом гораздо более несчастные, чем злые. Никого из них "мечом в рай" Ланцелот загонять не собирается. Для него метафора "убить Дракона в каждом" не означала насилия над душами: она означала их исцеление, возможно болезненное. Никто из горожан, персонажей пьесы, против этой операции не протестовал. Горожане самим себе не нравились.

Видимо, после сталинских внутренних войн Образцов не мог себе представить другой методики перевоспитания, кроме как огнем и мечом.

Образцов настаивал на том, чтобы Ланцелот вел себя по первому варианту пьесы: не уходил бы, как в новом варианте, а оставался "выкорчевывать Дракона из каждого жителя".

> "От ассоциаций тут никуда не денешься, – говорил Образцов. – – Они есть, автор этого не скрывает. И в этом я видел некую, может быть, очень смелую, но ассоциативную правду".

Образцов называл почему-то "ассоциативной правдой" политическую проблему: уйдут или нет советские из Европы, когда ее освободят от гитлеровцев?

В дальнейшем этот вопрос в ходе обсуждения пьесы-сказки ставился неоднократно.

Образцову не понравилось, что в разговоре Шарлеманя с Ланцелотом возникла тема цыган, которых в гитлеровской Германии преследовали, как и евреев.

– Я бы, как ни странно, вытащил из пьесы цыган, – говорил Образцов. – В этих условиях этот еврейский вопрос выглядит вульгарно. Он не разбирается темой пьесы, а ассоциации слишком локальны.

Загадочно умеют и на узких совещаниях, и на широких встречах говорить квалифицированные советские люди!

О ненависти Дракона к цыганам сказано между прочим; если Образцову казалось, что "цыгане" – это непонятно, отчего бы не назвать их в пьесе "евреями"?

Однако и Сергей Юткевич возражал против "цыган": "Я всегда был антицыганистом, цыгане не нужны", – говорил он, прямо обращаясь к помощи цензоров: в этом месте "нужен осторожный редакторский карандаш".

Что же за сложность видели эти товарищи в "еврейском вопросе"?

В гитлеровском Райхе он был решен – и решен безо всяких сложностей, одним только "Циклоном-Б".

Видимо, сложным и скользким он оказался в 1944 г. в Комитете по делам искусств СССР. И Евгению Шварцу было предложено не напоминать зрителям, что евреи существуют.

Объяснив, что второй вариант все-таки более "проходим", чем первый, хотя первый во многих отношениях лучше, Образцов окончил свое выступление неосторожно, по-человечески:

> "Было бы жалко, если бы друзья театра и автора и Комитет не помогли бы доделать эту вещь, потому что наличие литературных и театральных перлов, которые здесь есть, при такой нашей театральной бедности сейчас, заставляет нас не бросаться такими богатыми вещами".

Но – увы! – если не только автор, но еще и его друзья, а с ними вместе "друзья театра", а к ним вдобавок чиновники Комитета, все вместе

помогают писателю "делать вещь", то, по поговорке, у таких семи нянек непременно получается дитя без глаза.

Образцов в отличие от Погодина, не вносил конкретных предложений по изменению шварцевского текста.

Зато Леонид Леонов, брат-писатель, поспешил на помощь Евгению Шварцу со своими чисто профессиональными советами.

Леонов, писатель, в двадцатые годы внимательный к быту и закоулкам человеческой души, даже злой иногда, но впоследствии, как меняют гнев на милость, сменивший желчь на елей, не сразу одарил Евгения Шварца своими ценными замечаниями.

Сначала Леонид Леонов ясно сказал, что пьеса ему очень понравилась.

И только потом он перешел к замысловатым опасениям, построенным на невразумительных местоимениях:

– Все время возникают какие-то параллели. Нужно, даже если они не хотят, их спасать. Все это вызывает какую-то параллель. Будем ли мы проводить дедраконизацию той территории, по которой мы идем? Встают сразу очень острые вопросы. Кто может здесь ответить и какой здесь ход придумать, чтобы не ошибиться в том или ином повороте истории?.. Может быть, лучше будет сделать так, чтобы не было никаких параллелей? Я бы сделал таким образом, это придало бы остроту и блеск самой сказке. Не длинна ли эта сказка? Я бы убрал целиком женитьбу Бургомистра и это второе правительство. А что, если бы ушел Ланцелот тотчас же после победы над Драконом? (Мечта Бургомистра! – *Ю.А.*) Тем более, что это задлинено вообще. (Вот и появился профессиональный совет: прокрустово редактирование, упрощающее и укрощающее автора. – *Ю.А.*) Если бы женитьба Бургомистра была убрана, не возникало бы никаких параллелей... И нужно ли делать такую тяжелую нагрузку? А те вопросы, которые решает автор, были ли они решены на Московской и Тегеранской конференции? Я, например, этого не знаю... Что значит женитьба Бургомистра? Я не знаю. Это не психология запуганного человека (по Леонову, после победы Ланцелота и его исчезновения Бургомистр должен был почему-то оставаться запуганным. – *Ю.А.*). Но такие вопросы будут возникать.

Тут Леонов, видимо, вспомнил, что он все-таки и сам писатель, что знаком он был в свое время с большими мастерами, хоть и погубленными потом; и тут Леонов сказал:

– Иногда самоткань этого мифа очень легка. Это очень тонкий узор, и когда на этом тонком узоре положишь свинцовые ядра, эта ткань рвется.

Пьеса Шварца удостоилась похвалы и тут же была уничтожена.

Илья Эренбург, как и Лев Троцкий, сын богатого купца, впоследствии прощенный этим своим другом юности за свои "контрреволюционные" загибы во время гражданской войны, теперь – главный советский писатель на экспорт, сразу же факт уничтожения Леоновым пьесы Шварца удостоверил:

– То, что говорил Леонов, мне кажется, можно перевести следующим

образом: если убрать из пьесы то, что составляет пьесу, то пьесу стоит поставить.

Сам Эренбург внес свои конструктивные предложения по спасению "Дракона":

– Центр пьесы, – сказал он, – не в борьбе Ланцелота с Драконом, а во всем том, что Леонид Максимович считал на нежной кисее разорвавшимся снарядом... Мы не знаем, о чем говорили на Тегеранской конференции, но мы знаем, что Молотов сказал, что мало разбить фашистскую армию, – нужно еще морально разгромить фашизм.

Дальше Эренбург подчеркнул, что пьеса хороша и с этим все согласны. Ему, Эренбургу, больше нравится первый вариант, но "в порядке политическом" он был "абсолютной неразберихой". О чем шла речь, – "о государстве, захваченном фашистами" или "о фашистском государстве"?

Если о Германии, – говорил Эренбург, – то нету там никаких ткачей и оружейников, которые снаряжают Ланцелота. Это историческая неправда. Но так как имена у всех немецкие, могло показаться, что в первом варианте речь идет именно о Германии. Теперь во втором варианте ясно, что это не Германия. Нужно, однако, и тут уточнить персонажей: горожане пусть будут чиновники; все, что касается Шарлеманя и Эльзы, надо переделать: Шарлемань не должен быть служащим Дракона, – иначе выйдет, что Шарлемань двоедушен.

Вообще никакой определенной страны в пьесе Шварца подразумеваться не должно: это условная страна "Икс". Надо убрать немецкие фамилии горожан.

"Я не хотел бы, чтобы Ланцелот представлял собою Красную армию", – сказал Эренбург, не предполагая, что если бы благородный Ланцелот и впрямь представлял Красную армию, то не пришлось бы генералу Окорокову называть майора Копелева "Дон Кихотом".

Ланцелот, по мнению Эренбурга, должен был быть

> "... одним из таких странствующих рыцарей, на котором не концентрируется монополия освобождения... На это здесь можем претендовать только мы. Иначе начинаются все ассоциации. (Ассоциаций же, как мог убедиться читатель, присутствующие боялись почти как чекистов. – *Ю.А.*) А где он был прежде? (Вдруг Ланцелот прежде с Гитлером миловался, как Молотов? – *Ю.А.*) А почему у него не было оружия? (Не отдал ли Ланцелот свое оружие на разборку и чистку, как это сделали к 22 июня 1941 г. в некоторых пограничных крепостях? – *Ю.А.*) Значит, – подытоживал Эренбург, – Ланцелота нужно сделать фантастическим, условным, что автору опять-таки не трудно".

Эренбург предлагал доработать прекрасную, по его мнению, шварцевскую пьесу в направлении точной ясности, чтобы "было видно, против чего это направлено без всякой возможности толкований".

Так пьеса дружелюбным критиком была с других позиций, но снова разрушена до основания.

Разумеется, в Эренбурге говорила еще живая душа. Но сам покойный Дракон не пожелал бы Шварцу лучшего редактора!

Можно было подумать, что не писатели обсуждают пьесу, а что над ней слетелась стая перепуганных политических обозревателей в черном.

Участница совещания товарищ Фрадкина предложила, чтобы Ланцелот вообще был больше похож на Дон Кихота; поначалу ведь у него донкихотские доспехи.

> "Вот это донкихотское, общечеловеческое в Ланцелоте – это очень важное в пьесе. В этой пьесе есть извечная борьба добра и зла всех сказок мира, и это остается в пьесе; в этом ее великолепное гуманистическое начало, очень теплое, умное и философское".

Пьесу нужно непременно поставить,

> "...она помогает убивать в человеке драконовское и показывает растленное, искалеченное Драконом поколение".

Если бы у Фрадкиной "гуманистическое начало" не оказалось "теплым", как Эльзина лапка в ощущении Дракона (какая у тебя теплая лапка! – восхищался Дракон), то ее выступление было бы совсем интеллигентным, но этому помешала "теплота" захватанного и оттого пахнущего разогретым металлом штампа. Теплое, не слишком горячее, слегка подогретое, ироничное без сарказма, грустное без пессимизма – изо всего этого и готовили на драконовых кухнях духовную пищу: обертку для траурной булочки "бедная девушка".

После мелодичного выступления тов. Фрадкиной (ее выступление было все-таки самым человеческим; видно, она происходила из непуганых еще Фрадкиных) заговорил знаменитый лирический поэт Алексей Сурков.

В отличие ото всех прочих этот осторожный лирик почти не хвалил "Дракона". Ему не понравилась примитивность пьесы: если речь идет об оккупированной Гитлером стране, то трактовка ее населения слишком прямолинейна и пессимистична. Однако, если это Германия, а в пьесе все немецкое, начиная от сказочной романтики в немецкой традиции и кончая именами героев и обстановкой, – то откуда в этом немецко-фашистском мире Ланцелот? "Его появление не поддается логическому объяснению". Идти "по пути нейтрализации пьесы", – значит "убить главное, потенцию автора". В пьесе были недостаточно "вскрыты силы", "которые составляют в Европе нашу опору", – словом, решительно непонятно было, по Суркову, что делать с этим, хоть и остроумным, но явно несуразным произведением.

"... Дырявые души, продажные души, прожженные души, глухонемые души", – говорил Дракон Ланцелоту.

Граждане шварцевского города не сопротивлялись своей калечности.

Участники обсуждения, хоть и робко, но все-таки иногда сопротивлялись самим себе. И это важно, хотя, как и всякое бесполезное сопротивление, оно не имело никаких результатов.

В общем эти чуть живые души сделали свое дело: требований исправить было столько, и они были так противоречивы, что самые похвалы оборачивались роскошным надгробным памятником шварцевской пьесе.

Почти все присутствующие оценили пьесу высоко. Но не зря в пьесе Шварца "Тень" оценщик в городском ломбарде был людоедом по совместительству.

Сам Шварц в этом обсуждении сказал в числе прочего следующее:

– Мы – единственное поколение, может быть, которое имело возможность наблюдать не только судьбы людей, а и судьбы государств. На наших глазах государства переживали необычайно трагические вещи и эти вещи задевали нас лично... От поведения Франции, Норвегии, Румынии зависела судьба многих друзей в Ленинграде. Поэтому не использовать всего того опыта, который дала нам эта война, было бы неинтересно.

Шварц согласился работать над новым – третьим – вариантом "Дракона".

Однако делать этого не стал; во всяком случае, третьего варианта пьесы не сохранилось.

Так пьеса-сказка Е. Шварца 1962 г. "Дракон" был опубликован в первом варианте. Второй вариант, который, по мнению многих участников обсуждения, был хуже первого, Шварц считал вынужденной уступкой.

Именно в первом варианте "Дракон" был снова поставлен в Ленинградском театре комедии его руководителем Н.П. Акимовым (1962 г.).

В 1944 г. Акимов безрезультатно защищал "Дракона". Он стал художником-оформителем однотомника своего друга Шварца. И вот теперь пьеса-сказка "Дракон" после войны, после разоблачения "культа личности" снова вернулась в театр Акимова.

Сперва рецензии были положительные. В рецензии "Маски и сердца" Ю. Головашенко ("Вечерний Ленинград", 28 июня 1962 г.) писал, что пьеса направлена против гитлеризма.

Играли спектакль на фоне средневекового города, однако актеры были в современных костюмах. Это было вполне правильное эстетическое решение. Пиджак по мерке какого-нибудь интеллигента-самоубийцы сталинских времен, прилюдно не поднявшего руки, когда окружающие "всенародно голосовали" за чью-нибудь казнь, архивариусу Шарлеманю наверняка пришелся бы впору. Точно так же и цивильный костюм Ланцелота подошел бы кому-нибудь из тех, кто начинал тогда, в 1962 г., свой перспективный исторически, но практически безрезультатный поход за соблюдение Прав Человека.

Многие в то время еще были совокупным, так сказать, Ланцелотом, – по варианту Ильи Эренбурга, предложенному писателем в конце обсуждения "Дракона", когда у всех уже ум зашел за разум. Эренбург тут предложил, чтобы Ланцелот был "сказочный местный рыцарь", который "какое-то количество лет спал, заколдованный".

Большинство из наших "спящих" бормотало, просыпаясь, что люди не дадут больше себя обмануть, что все изменится...

Однако проснувшись, "местный рыцарь" огляделся по сторонам, вздохнул и рассыпался в людское множество, которое, словно ртуть, раскатилось кругленькими капельками по своим углам.

Однако некоторые, начав одинокий донкихотский путь, докатились и до тюрьмы.

В спектакле Акимова 1962 г. одна голова у Дракона была золоченая, увенчанная лавровым венком; второй маской Дракона было, как писал рецензент "Вечернего Ленинграда", "добродушное обличье скрывающего свое драконово существо властолюбца".

Несмотря на оговорку, что пьеса "антигитлеровская", рецензент хвалил спектакль именно за его обобщенность.

В том же духе отзывался о пьесе Дм. Молдавский ("Господин Дракон, Герр Бургомистр и другие". "Литература и жизнь", 1 июня 1962 г.). Своего "Дракона", как писал Молдавский, Шварц начал еще до войны, а в конце войны был уже готов первый вариант пьесы; Молдавский ничего не пишет о ее судьбе (он-то бы и написал, возможно, но газета не напечатала бы). Из этой рецензии оказывалось, что в пьесе "удар был нанесен по западным любителям загребать жар чужими руками" (так автор рецензии называл союзников СССР во время войны). Это модное в нашей стране, но несовместимое с историческими фактами открытие Молдавскому понадобилось для того, чтобы отвести от "Дракона" подозрение начальства, что пьеса про него. Новый спектакль Н.П. Акимова "обнажил мораль общества, живущего по принципу 'человек человеку – волк'," – вот в чем чем оказалась актуальность пьесы.

Между тем после XX съезда и после съездовских публикаций на темы новейшей советской истории оказалось, что не только великий Сталин, но и некоторые его соратники жили по принципу: "Человек человеку – вошь".

В соответствии с этим принципом в студенческих дипломных работах о пьесах-сказках Шварца (я, впрочем, знаю только о двух таких работах 1956 и 1957 гг.) о пьесе "Дракон" не упоминалось вовсе. "Дракона" пришлось унасекомить до полной незаметности, чтобы не восстановить против драматурга всякую завистливую, но влиятельную мелкоту.

Правда, вопреки ей в 1962 г. мир рыцарских романов, сведших Дон Кихота с ума, ожил на ленинградской сцене, а журнал "Пионер" в январе 1963 г. объяснил детям, что Дракон у Шварца –

> "... это не только фашистский фюрер, это олицетворение тупой, жестокой силы, для которой человеческая жизнь – ничто"

(для волка волчья жизнь – это все-таки что-то).

Однако не надолго разрешило начальство Ланцелота на подсоветской сцене.

В начале 1963 г. Хрущеву показали особый закрытый для посторонних зал с картинами наших художников, принадлежавших к разным, как это

называли, "модернистским" течениям. Хрущева пытались опутать тягомотной закулисной интригой, начавшейся в ЦК и перекинувшейся в Академию Художеств. В эту интригу запутано было много людей, и цель ее состояла в том, чтобы уговорить Генерального Секретаря признать абстракцию.

Но Хрущев, подобно взбешенному вепрю, разорвал всю эту интрижную паутину и показал, словно могучие клыки, свои реалистические вкусы. Он так и сказал тогда:

– В вопросах искусства я – сталинист.

Всякий мог убедиться, что Наган Наганыч, перековавшись вроде бы на Орало Оралыча, сохранил отчасти прежние гадские привычки.

После этого большим деревянным, хоть и под чугун покрашенным катком прокатало опять всю нашу культуру. По художникам, писателям и режиссерам, как рвотная судорога, прошла волна обязательных покаяний. Тут полезла изо всех углов злобная кровососущая мелкота, – и, конечно, накинулась на спектакль "Дракон".

В ходе XXII съезда глава ленинградской делегации В.С. Толстиков от имени коммунистов Ленинграда (сталинские чекисты-террористы уничтожали ленинградских партийцев с особенным тщанием) обратился с просьбой к Партии и Правительству удалить мумию Сталина из мавзолея Ленина.

Вот этот-то В.С. Толстиков в 1963 г. в порядке реставрации "сталинских вкусов" и обрушился на "Дракона":

> "... Нечеткость идейных позиций Театра комедии, недоговоренность в определении объекта сатиры (почуял, значит, недавний сталинский соколенок, кто Дракон, а кто – первый его ученик. – *Ю.А.*) привели в постановке пьесы Е. Шварца 'Дракон' к тому, что спектакль получил неясное, а в отдельных моментах и двусмысленное для нас звучание".

В. Толстиков, по-видимому, беспокоился, не сочтут ли товарищи Хрущева последраконовским президентом с золоченой головой в лавровых листьях.

У т. Толстикова вызвало также

> "... протест обращение Театра имени Ленинского Комсомола к сатирической сказке Е. Шварца 'Голый король', пьесе в значительной мере внеисторичной и внесоциальной".[4]

Если бы т. Толстиков беспокоился, что его вместе с прочими коммунистами изобразят в виде голого короля, его протест был бы понятен; но он сам же обругал пьесу, что она – "внеисторическая и внесоциальная".

Все это было справедливо: любые сказки (даже побасенки наших историков о прогрессивной роли Ивана Грозного) внеисторичны.

Отношения же сказочного короля со своими придворными были еще и внесоциальны: они были задушевны. А задушевность не просто "вне",

– она даже "анти"-социальна уже по одному только отрицанию всяческих норм и правил.

Евгения Шварца вся эта малоразумная критика все-таки огорчила бы, но он в 1958 г. умер, так что ему не пришлось услышать выступления Народного Артиста СССР Н. Черкасова на том самом собрании актива творчекой интеллигенции Ленинграда, где Толстиков сделал свой доклад.

Николай Черкасов, за несколько лет до того в четвертый раз за свою жизнь сыгравший роль Дон Кихота (в кинофильме по шварцевскому сценарию), конечно, не заступился за пьесу Шварца, даже и не промолчал, чего при своем опыте мог бы и захотеть и что при своем положении мог бы себе и позволить. Он сказал с высокой трибуны:

– Мне также выпала большая честь присутствовать 7 и 8 марта на задушевной творческой беседе руководителей партии с деятелями литературы и искусства. На меня это произвело огромное впечатление. Курс указан четко и ясно. Давайте же возьмемся за руки, пойдем вперед, к великой цели, к которой нас ведет родная партия, к коммунизму.

– Сейчас передо мной выступал Депутат Балтики, а не Николай Черкасов, – сказал кинорежиссер студии Ленфильм В.Ф. Соколов.[5]

Знаменитой киноролью Черкасова была роль дореволюционного профессора, ставшего после Октября по-большевистски твердокаменным Депутатом Балтики на Съезд Советов.

В качестве Дон Кихота булгаковской пьесы в 1941 г. Черкасов говорил иначе:

– Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!... Если я видел где-нибудь зло, я шел на смертельную схватку, чтобы побить чудовищ злобы и преступлений! Вы их не видите нигде? У вас плохое зрение, святой отец!

У Шварца в том же споре с герцогским духовником Н. Черкасов изъяснился так:

– Одни люди идут по дороге выгоды и расчета. Другие же – по путям рабского искательства... Третьи лицемерят и притворяются... Я мстил за обиженных, дрался за справедливость... Я презрел мирские блага, но не честь!

Но что было делать актеру на трибуне? Да нет, не актеру, – живому человеку, законопослушному гражданину, которому хотелось не "донкихотства", а житейской счастливой игры?

Руководство его попросило выступить; он согласился – только и всего.

Жестоко и бесполезно бросать камень в искалеченную и дырявую душу: бросай не бросай, – все попадет в дырку и пролетит мимо.

Пьеса "Дракон" в 1963 г. получила второй срок запрета и забвения.

Забвения, однако, не добились.

Все вышеизложенное показывает, что Дон Кихот даже и под чужим именем, даже и перевооруженный в Ланцелота, не столько развлекал, сколько раздражал наших владетелей, которые к себе во дворцы его вовсе и не приглашали.

Уменьшившись до размеров куклы, Дон Кихот во время войны так и не явился в свою натуральную величину.

Однако это касалось мира идей, а отнюдь не жизни.

В жизни кихотическое начало и капли добра неожиданно проявлялись в людях.

Генерал Окороков, например, обвиняя своего подчиненного, майора Копелева, что тот проявляет себя этаким чудаковатым храбрецом, неслухом, назвал майора "Дон Кихотом", хотя майор носил пилотку, а не шлем Мамбрина и был вооружен автоматическим современным, ничуть не "донкихотским" оружием.

Кто такой Дон Кихот, генерал помнил смутно. Поэтому в его устах это имя-притча оказалось многозначным и многоплановым.

Кихотическое начало в майоре генерал определил описательно:

– Путает он тут что-то, что – не знаю. Но врать он действительно не любит, скорее не умеет. Наоборот. Сколько раз сам себе вредил, в пререкания лез. И со мной пререкался. Настоящий Дон Кихот или Гамлет... Только уездный, как там, помнишь, Щигровского уезда. Вот-вот – это про тебя: Гамлет Щигровского уезда...

Так вторым после Луначарского генерал Окороков отождествил Гамлета и Дон Кихота.

Генерал не помнил, кто из них лез на рожон себе во вред. Но, понимая, что простой майор не может иметь звание Вечного Образа, генерал на всякий случай усек этого Гамлета до пределов уезда.

Из продолжения генеральского монолога следовало, что главным свойством двуединого Гамлета-Дон Кихота была доброта.

– Добренький ты слишком... Но ведь ты еврей. Как ты можешь так любить немцев? Разве ты не знаешь, что они с евреями делали?[6]

В отличие от генерала Окорокова, майор Копелев знал, что "евреев" уничтожают не просто "немцы", а "национал-социалисты" (да и то не все), и что тем более не все немцы придерживаются обязательной общегосударственной идеолгии. Кроме того, Копелев немцев вовсе не "любил": он занимался антифашистской пропагандой среди воюющей армии Райха и среди пленных. С немцами он работал. Среди пленных у него были даже приятели, немецкие антифашисты.

Копелев протестовал против жестокостей, которые на его глазах допускали наши солдаты по отношению к мирному населению Восточной Пруссии. Майор считал, что ради воинской чести освободителей эти ненужные жестокости следует пресекать.

Все это генерал Окороков и понял в том смысле, что еврей вдруг почему-то пожалел немцев.

Однако с доносами на майора не сразу согласился даже военный трибунал той поры: Копелева освободили. И только по прокурорскому настоянию этого заступника за справедливость и русскую воинскую честь схватили опять – и начались его многолетние странствия по Архипелагу ГУЛ'аг.

Я думаю, что одной из причин случившейся с майором беды был даже

не самый донос: по существу Копелев не противоречил официальной государственной точке зрения, а протестовал против ее "искривления на местах", вследствие чего и был оправдан трибуналом.

Но, во-первых, существовал хоть и неофициальный, но тоже руководящий задушевный взгляд на эти вещи: взгляд сквозь пальцы; во-вторых, Копелев по своему человеческому складу не соответствовал принятому уровню унификации.

Он увлекался. Он горячился. Он принимал близко к сердцу.

Между тем важный закон тоталитарной задушевности состоит в том, что люди, беседуя задушевно, разговаривают тихо, спокойно, не забывая про свою рубашку, которая ближе к телу, – поэтому именно она и к сердцу ближе всего.

Копелев оказался Дон Кихотом в смысле Луначарского, т.е. человеком с абсолютно нормальными человеческими реакциями.

Когда майора реабилитировали, в газете "Известия" от 22 ноября 1963 г. появилась статья Ю. Шарапова "Встречи с Дон Кихотом". В этой статье речь шла о разных воплощениях Рыцаря Печального Образа. Говорилось там и о Копелеве, который, судя по неприязненно приведенной цитате из его книги, опять оказывался подозрительным по склонности к "кихопатии":

> "Наш гуманизм, – писал в книге 'Сердце всегда слева' Л. Копелев, – неправильно отмечать каким-либо сособым, пусть даже очень звучным прилагательным".

В отличие от Копелева, полагавшего, что уточнение к некоторым словам оказываются уточнениями сомнительными, а то и просто тоталитарными, Шарапов настаивал, что без эпитета "социалистический" и гуманизм – не гуманизм.

Копелев опять оказался "добреньким", – то ли Дон Кихотом, то ли Гамлетом, в том смысле, какой придавал этому слову генерал Окороков.

Идеология всегда олицетворена.

Олицетворенные Копелевым (в то время членом КПСС) идеи правды и добра находились в пределах коммунистической концепции и, с точки зрения Копелева, нуждались, может быть, лишь в одном, да и то необязательном, а чисто полемическом эпитете: общечеловеческие.

Коммунизм Льва Копелева был очень непохож на коммунизм Сергея Михалкова, председателя Союза Писателей. Поэтому они в одной партии, как и в одном союзе писателей, в итоге не ужились.

Как я описал выше, само по себе стремление Копелева обезопасить мирных жителей от неспровоцированных насилий вооруженных людей ничуть не противоречило ни политике государства, ни идеологии интернационализма.

Противоречили темперамент, искренность, настойчивость, с которыми Копелев всего этого – и совершенно не для себя! – добивался.

Так как идеал действительнее факта, то кихотические идеалисты-гу-

манисты бывают полезны для всеобщего нравственного прогресса, даже если факт состоит в том, что они попали в коммунистические ряды; из этих рядов, впрочем, их обычно выталкивают.

В своей статье Шарапов говорит не о донкихотстве самого Копелева, а о "Дон Кихотах", которые вступились за него. Пятерых из них после коллективного письма к Сталину, что Копелев несправедливо осужден, исключили из партии. К 1963 г. из этих пятерых исключенных осталось в живых только двое.

Смертность на тысячу человек, склонных к кихопатии, во много раз выше, чем обычный процент смертности населения на тысячу.

– Если б только набралась эта тысяча кихопатов для подсчета! – воскликнет скептик.

Могу ему только напомнить об узниках совести на островах ГУИТУ.

> "С точки зрения обывателя, поведение людей, вступившихся в ту пору за своего товарища, было чистейшим донкихотством, – писал Шарапов. – Но история рассудила иначе..."

Обыватель оказался неправ. Копелева реабилитировали.

Однако "Дон Кихоты" в результате оказались как бы уже и не Дон Кихотами: история, высшая инстанция, санционировала это "нерасчетливое самопожертвование, порыв, самое чистое, бескорыстное донкихотство".

А если бы не санкционировала или до этой санкции пришлось бы подождать полвека, – для истории срок мгновенный?

Счел бы автор "бескорыстными Дон Кихотами" тех вполне нормальных, но истинно благородных людей, которых некогда считал Дон Кихотами Луначарский? Или, как тот же Луначарский впоследствии, Шарапов счел бы излишнее благородство и чрезмерную честность преждевременными и опасными для коммунистического общества в пути?

Кто знает.

Автор был журналист, писал проблемную статью; встретясь с кихотизмом после долгого перерыва, он смутно представлял себе, что это за штука. Опознав кихотизм в людях, которые вели себя по-рыцарски, автор не узнал в копелевских строчках, процитированных им, обоснования этого рыцарства: общечеловеческого свойства сочувствовать человеку или – что то же самое – гуманизма без эпитетов.

Между тем Копелев, заступаясь то за схваченных людей, то за попранные идеи, все совал свои личные и вместе с другими подписанные бумажки прямо в государственную машину, не считаясь с тем, что его может туда затянуть и жерновами покалечить.

В результате своей деятельности Копелев получил звание Дон Кихота уже не от советского генерала Окорокова, а от западногерманского писателя Генриха Белля. Белль в послесловии к немецкому изданию книги Копелева "Хранить вечно", написал, что Копелев – из породы благородных Дон Кихотов.

После этого в газете "Советская Россия" от 3 февраля 1980 г. появилась статья "Иуда в роли Дон Кихота". В статье говорилось, что Л.З. Ко-

пелев уже который год изображает из себя защитника добра и справедливости, рядится в одежды Дон Кихота. Он часто произносит: 'Я – Дон Кихот' ".

Я довольно давно и хорошо знаю Льва Зиновьевича, но никогда не слышал, чтобы он называл себя этим именем.

Дальше автор статьи С. Астапенко писал, что Копелев во время войны "открыто вступался за гитлеровцев", – а уж это прямая измена родине!

Когда Сталин умер, Копелева реабилитировали и восстановили в партии.

По статье "Иуда в роли Дон Кихота" получалось, что напрасную реабилитацию преступника осуществила Военная Коллегия Верховного Суда СССР, а способствовали ей и те самые Дон Кихоты, которые Копелева рискнули защитить, и редакция "Известий", опубликовавшая обо всем этом статью.

Не много ли у "Иуды" вышло пособников?

Но автору статьи надо было по-ленински приклеить на копелевскую спину каторжный бубновый туз, ворошиловскую мишень. Ни одна из советских газет не напечатала бы документированного опровержения этого вранья; из-за этого вранье становилось липким и марким. "Голос Америки", правда, передал насмешливую информацию про этот неароматный текст "Советской России", но получилось, что Копелева обругали Дон Кихотом за то, что он заступился за нацистов. Из этой фразы американского комментатора следовало, что по советской иерархии символов "Дон Кихот" – слово ругательное. Между тем автор статьи пишет:

> "А для чего нужны Копелеву доспехи Дон Кихота? Для камуфляжа, чтобы прикрыть свою сущность, которую он долгое время старался маскировать. Однако, очевидно, что он настоящий внутренний эмигрант, враг Советского строя... Не кто иной, как Иуда".

Но что такое внутренняя эмиграция? Почему она противоречит кихотизму?

Я знаю, что автор статьи Копелева оклеветал; я могу адресовать желающих убедиться в этом к статье "Встречи с Дон Кихотом". Но мое несогласие со статьей в "Советской России" 1980 г. и ссылка на статью в "Известиях" 1963 г. отбросят меня в оппозицию к тем, кого я адресовать ни к какой статье не могу, – в оппозицию к многомиллионному большинству здешних людей, которые, по привычке верить печатному слову, равнодушно, скорее всего, – но все-таки приняли ложь за правду. Не окажусь ли я из-за отсутствия гласности и во "внутренней эмиграции", и в "донкихотском" положении, благодаря этому совершенно не "донкихотскому" жесту: сопоставлению двух советских газет?

Отмечу еще раз, что автор статьи "Иуда в роли Дон Кихота" к само-

му имени Рыцаря Печального Образа относился с полным уважением, хотя что оно значит, – не понимал, и пытался даже самое имя это защитить от Копелева, всем известного хронического и неизлечимого кихопата. Льву Копелеву пришлось, как и Дон Кихоту Луначарского, отправиться за границу. Там его лишили советского гражданства, и он, в соответствии с советской традицией, стал Дон Кихотом Освобожденным, т.е. высланным.

Между тем сразу же после войны судьба Дон Кихота как идеи на русской почве начала складываться крайне неблагоприятно.

В 1946 г. великий Сталин оскорбил Рыцаря Бедного, назвав его Черчиллем, политическим лидером Великобритании.

Но ведь Дон Кихот, в отличие от Черчилля, освобождал каторжников, а не способствовал, как Черчилль, заполнению сталинских тюрем новыми жертвами.

Высмеивая неудачную попытку Черчилля организовать против Советского Союза поход еще во времена гражданской войны, вождь сказал:

> "История оказалась сильнее черчиллевской интервенции, и донкихотские замашки г. Черчилля привели к тому, что он потерпел тогда полное поражение".[7]

"Дон Кихот" – Гитлер, "Дон Кихот" – Черчилль...

Теперь "Дон Кихотом", в соответствии с интерпретацией состарившегося Сталина, можно было назвать кого угодно, – хоть бы и Муссолини, поскольку в лице Черчилля вместо тощего Дон Кихота появился Дон Кихот с необъятной талией.

В 1948 г. советский ученый А. Григорьев подвел итоги происшедшему:

> "Современные Дон Кихоты, ставшие объектом сатирических насмешек Ленина и Сталина, совершенно лишены привлекательных черт Рыцаря Печального Образа, его душевного благородства и согретой любовью к человечеству мудрости. Единственная и вместе с тем определяющая черта их общей близости – стремление повернуть назад колесо истории".[8]

Дон Кихота из военных посадили.

Дон Кихота под чужим именем запретили.

Рыцарей поэзии, вроде Глазкова, не печатали.

Даже кукольный Дон Кихот сошел со сцены.

Казалось, кихотизм теперь ошельмован окончательно и все счеты с Дон Кихотом сведены.

* * *

Литература

1 Г.К. Крыжицкий. Дороги театральные. Москва. 1976, стр. 283.

2 Здесь и дальше цитаты из пьесы "Дракон" даны по изданию Е. Шварц. Пьесы. М.-Л., 1962.

3 "Литература и искусство" от 25 марта 1944 г. С. Бородин. "Вредная сказка".

4 "Ленинградская правда" от 16 марта 1963 г. "Утверждать высокие идеалы великой эпохи".

5 Там же.

6 Л. Копелев. Хранить вечно. Анн-Арбор, 1978, стр. 159.

7 И. Сталин. Интервью с корреспондентом газеты "Правда" относительно речи г. Черчилля 13 марта 1946 г. М., 1946.

8 А.Л. Григорьев. "Дон Кихот в русской литературно-публицистической традиции". В сб. "Сервантес. Статьи и материалы". Л., 1948, стр. 31.

11. ДОН КИХОТ ВОСКРЕСШИЙ

После того, как окончилась большая внешняя война, для нашей страны наступили новые трудные времена.

"Буржуазному государству без буржуазии", но со Сталиным во главе пришлось на землях освобожденных от гитлеровцев (а также догитлеровских буржуазных свобод) вести войну за коллективизацию и унификацию. Сопротивление в ответ бывало дремучим, лесным, вооруженным.

На восток потянулись жертвы этой войны – ссыльные семьи украинцев, литовцев, латышей, эстонцев. Каторжные "спецлаги" принимали нескончаемые колонны осужденных за сопротивление Освободителям, за намек на сопротивление Освободителям, за помощь намекавшим на сопротивление Освободителям.

На Западе вырастали памятники Освободителям.

Самый большой и самый западный из этих грандиозных произведений монументальной пропаганды ленинского стиля (Ильич мечтал освободить эстонский пролетариат, литовский пролетариат, латышский пролетариат) был воздвигнут в Берлине.

Это интереснейшее в своем роде сооружение.

Русская иконописная традиция, у истоков которой была византийская икона Владимирской Богоматери – эту икону Игорь Грабарь назвал "поэма материнства", – сломалась на Петрове-Водкине. Из ее обломков твердой души художник склеил свой революционный вариант. На его картине погрудное изображение работницы в косынке с младенцем на руках многозначительно напоминало и позами обеих фигур, и иконописной манерой изображения лиц – на кого же теперь, после октябрьского переворота, следует молиться.

Творческим продолжением этого сюжета явилась скульптура Мадонны с Мечом и Младенцем в Берлине. Скульптура была в полный рост, многометровой высоты, а на месте работницы стоял солдат в вечной бронзовой плащ-палатке с мечом в одной руке и младенцем – в другой. Замена женщины мужчиной смысла человекобожеской символики не меняла. Просто по военному времени место матери-кормилицы занял отец-защитник.

Память о войне подлежала контролю, очищению, трансформации и должна была существовать именно в образе Солдата в плащ-палатке с Мечом и Младенцем, – в образе, символизирующем и будущие советские освободительные войны.

Монумент был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) и лично товарищем Сталиным. Товарищ Сталин, наверное, неторопливо раскурил свою трубочку и сказал о проекте монумента:

– Прислужник империализма только убивает. Зато всем известно, что солдат социализма, убивая, защищает. Такова диалектика истории.

И на это товарищу Сталину дружно захлопали Морис Торез, Пальмиро Тольятти и славный Мао Цзе-дун.

Просто живое было отныне ни к чему: требовалось вечно живое.

Александр Твардовский в поэме "Теркин на том свете" создал правдивую сатиру на потусторонний сводчатый грозный сталинский мир, где нормальный человек был неуместен: для полноценности ему следовало "домереть".

Власти теперь должны были доказать своим подвластным, что их, подвластных, живая память лжесвидетельствует, а бронзовая, пустотелая – права.

Главная заповедь бронзовой памяти состояла в том, что Советский Союз воевал с гитлеровской Германией, в сущности, один на один. Союзники не столько воевали, сколько подвоевывали да подвывали, некстати прося помощи у СССР наступательными действиями. Сами же они тянули с открытием второго фронта.

То обстоятельство, что Советский Союз до самого 1945 г. не воевал с Японией, хотя союзники с ней воевали, не подлежала увековечиванию.

Но люди, пережившие войну, помнили вещи, не отлившиеся в вечную бронзу, а обратившиеся просто в дерьмо, рвань, металлолом: американскую "свиную тушенку"; американскую пшеничную муку; сыр; маргарин; ботинки; сукно для шинелей; одежду для мирного населения, главным образом, одежду для детей и подростков, – от Москвы до Магадана пользовались люди барахлишком из этих посылок. И на том же пространстве курсировали американские "студебеккеры" (пусть они были по нашему бездорожью хуже "газиков"). Зато об американских штабных "джипах" или "аэрокобрах" я от наших фронтовиков, шоферов и летчиков ничего дурного не слышал. А транспортные самолеты? А самоходные баржи, еще долго в качестве грузовых пароходов служившие после войны государству?

Кто из переживших войну чего-нибудь из этого не ел или не носил? Не ездил или не летал на этом?

Союзники поздно открыли во Франции "второй фронт"?

А вдруг они раньше не могли? Да ведь и воевать с Гитлером они начали почти на два года прежде нас. На Лондон падали бомбы, а у нас была запрещена антигитлероваская пропаганда в соответствии с договором о дружбе между Германией и СССР.

Но все эти подробности не должны были возникать в памяти. Надо было отбить у людей самую охоту вспоминать, как оно все было на самом деле.

Новая большая война за унификацию человека по уровню вши (1946-1953 гг.) была в еще большей мере, чем прежняя, войной за беспамятство. Ее жертвами стали рядовые носители памяти, люди из народа; партийные руководители уже были унифицированы и (по сталинским масштабам) их убили совсем немного. Эта категория сузилась до жертв "ле-

нинградского дела": руководителей ленинградской партийной организации, их подчиненных, их родственников, их приятелей и даже просто знакомых, – часто далеких от политики людей вроде профессоров братьев Гуковских, один из которых, крупнейший в стране специалист по русской литературе XVIII века, погиб тогда в тюрьме, а второй, специалист по Ренессансу, получил десять лет каторжных лагерей.

Генералиссимусу Сталину и первому маршалу чекистов Берии приходилось одновременно организовывать восстановление народного хозяйства, разрушенного войной, и вести грандиозное разрушение психики своих подданных.

Как и на обычной современной войне, когда воюют не человек с человеком, а подразделение с подразделением, Правительство и его спецвойска воевали не с отдельными людьми; используя "ежовский" боевой опыт, они воевали с "категориями", нападая на каждого представителя "категории", как шварцевский Дракон, – неожиданно и ни на что не взирая. Обороняющимся оставалось одно оружие: справки об их безупречной деятельности и апелляции к справедливости. Все это не действовало.

Большие сталинские войны за унасекомливание людей были похожи на татарские набеги, – набег на мирных жителей ведь тоже военная операция, хотя пострадавшие не успевают не то что вооружиться, но даже охнуть.

Опасными и потому подлежащими изъятию из вольной жизни категориями считались (речь идет о гражданах СССР в границах до второй мировой войны):

– бывшие военнопленные, потому что они сдались в плен, а в плену выжили и при этом еще наслушались вражеской хулы на великого Сталина;

– бывшие угнанные на фашистскую каторгу в Германию по тем же причинам, а также потому, что без разрешения советской власти побывали за границей и чего не нужно там насмотрелись;

– повторники, – потому что, "отсидев неотсидимое", 58-ю статью, они все-таки вышли на волю;

– дети репрессированных, врагов народа, – потому что с 1937 г. эти дети подросли;

– "религиозники" – баптисты, пятидесятники и многие другие верующие, потому что они свою веру в Бога противопоставляли всеобщей вере в Сталина;

– деятели еврейской культуры, – потому что Сталин от толстостенной кремлевской тоски и неутолимой зависти к Троцкому становился все более опасным юдофобом;

– те, кого недобрали при Ежове, – потому что случайности надо исправлять;

– лица, общавшиеся с иностранцами по поручению своего государства, – от официанток в морском клубе Мурманска до офицеров, принимавших союзническое оборудование, – потому что все эти люди обща-

лись с иностранцами;

– офицеры из окружения маршала Жукова, – потому что они окружали маршала Жукова.

Я не упомянул народы, которые были под конвоем переселены со своей родины в чужие для них края. Переселения эти шли еще во время войны и сопровождались огромными потерями среди переселяемых. Я не упомянул также категории, специфичные для вновь присоединенных к советской державе стран.

Илья Эренбург напрасно удивлялся странному малодушию фронтовиков Внешней войны, терпевших потом новую войну за унификацию, словно она их не касалась. Она и вправду не касалась никого, кроме тех, кого убивала, – остальные были унифицированы. Они были разъединены, боялись вооруженных нападающих и хотели жить как все. Их мужество и на фронте было массовым, для многих – "добровольно-принудительным", хотя люди и не осознавали этого. Их трусливое поведение в одиночку их же самих и вывело на чистую воду, чего они опять-таки не заметили.

Тем временем на лесоповалах падали деревья, а вслед за ними люди валились как валежник, и новые толпы шли по прутняку, трупняку, – ибо такова была лагерная (да и только ли лагерная?) цена человеку: "человек человеку – вошь".

Пласты трупняка покрывали всю страну – от Северной Пальмиры до Пламенной Колхиды и до Алтая на восток. Пласты трупняка покрывали книги, картины, кресты на церковных куполах, – и даже совесть сквозь трупняк не прорастала.

Тем, кто в детстве слышал, как хрустят заготовляемые для фундамента нового мира кости с мясом, – кто родился в 30-е годы, – тем сейчас от 40 до 50 лет. Но и они, и те, кто на десяток лет младше, живут если не под гипнозом, то по инерции великого террора, и мертвечина, давно ставшая землей и плодами земными, словно просачиваясь в гены, сковывает и следующее поколение скотским равнодушием к прошлому.

Остается меньшинство, которому нужен Рыцарь Бедный.

Откуда оно взялось? Как ему удалось уцелеть и вырасти?

Трупняк – понятие, хотя в своем роде монументальное, всеобъемлющее, но метафорическое.

За пределами этой метафоры и ее правды, однако, географически – в тех же местах, существовало нечто совершенно неожиданное: напряженная жизнь человеческого духа, интеллектуальные поиски, философские споры, – все это продолжалось (и, думаю, интенсивнее, чем на столичной воле!) на тюремных нарах, в лагерных бараках, в ссылках.

В "Колымских рассказах" Варлам Шаламов пишет:

> "Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт – целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек..."[1]

Это справедливо.

В другом рассказе Шаламова "Шерри-бренди" говорится об умирающем поэте, – по-лагерному, "доходяге", "фитиле", "огарке":

> "Жизнь входила сама, как самовластная хозяйка; он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг; входила как стихи, как вдохновение. И значение этого слова впервые открылось ему во всей полноте. Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он жил не ради стихов, он жил стихами.
>
> Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью. Перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением.
>
> И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду".[2]

Шаламов, видимо, писал о Мандельштаме; однако, скорее всего, по собственному духовному опыту. Откровения поэта были предсмертными, но это не лишало их истинности.

Лагерный опыт был прежде всего опытом смерти, мученической смерти, которая

> ... не благодарна и тиха,
> Не как в учебниках – благообразна,
> А как у мучеников – безобразна.
> Она – как судороги червяка... [3]

Этот трагический духовный опыт не имеет смысла в глазах прагматика. И прагматик прав, если Бога нет.

Когда-то И.А. Гончаров писал, что великие образы: Гамлет, Лир, Дон Кихот – породили в созданиях позднейших талантов целые родственные поколения подобий; подобия эти возникали и в подсоветской тюремной жизни.

Евгений Александрович Гнедин отказывался под пыткой давать лживые показания, угодные лично Берии. Гнедин понимал, что его честность уже не спасет других, а лично его погубит. Так же точно вел себя генерал Горбатов. Эти люди сохранили свое человеческое достоинство, потому что поведение их под следствием, не имея никакого практического значения для их собственной участи, обладало для них самих особым, непрагматическим смыслом: люди выполняли тяжелейший и абсурднейший долг человека на земле, – общечеловеческий долг чести, который является прежде всего и рыцарским долгом. Не важно, насколько сознательно они это делали. Они были таковы, что оказались способными это сделать.

Обыкновенно такие люди погибали, словно бумажные солдатики в пламени. Но свойство чести, присущее человеческой природе, этой ценой еще раз утверждало себя в мире.

Понимаю: выходит и дорого, и негуманно.

Но что такое человек без чести и совести?

Вопрос совершенно не риторический, потому что ответа на него просто нет.

Во всяком случае, без чести и совести никому не стать Рыцарем Бедным, мечтавшим, по слову Достоевского, "восстановить человека".

> "... И было человеку дано:
> Совесть, дабы он сам изобличал недостатки свои. Сила, дабы он мог преодолевать их; Ум и Доброта на благо себе и присным своим, ибо только то – благо, что идет на пользу ближним..." –

это строки из эпиграфа Чабуа Амирэджиби к роману "Дата Туташхиа".[4] Дата Туташхиа – одинокий абрек, искавший способа восстановить среди людей справедливость, "божественный рыцарь", как он назван в послесловии к роману. Никакой шайки у него не было, он всегда действовал в одиночку.

С автором романа о благородном абреке, который осуществлял назначение человека творить справедливость на свой собственный страх и риск и по отношению к отдельным людям, с Чабуа Амирэджиби, я встретился в 1956, кажется, году в компании моих ровесников, недавно реабилитированных, вернувшихся из ссылок и лагерей. В этой компании были солагерники "Чабука", как они его называли. Чабук только что освободился, и по дороге на родину в Грузию задержался в Москве. Он освободился позже всех своих друзей не потому, что его позже других реабилитировали. Его реабилитировали, помнится, в 1955 г. А выпустили чуть ли не годом позже.

Когда мы с женой вошли в комнату, разговор шел о чьей-то неудачной попытке бежать из лагеря.

– Невозможное дело, – сказал я.

– Кто свободу любит – убежит.

Так мне ответил незнакомец, с иголочки одетый, в ослепительно белой рубашке, при галстучке, – однако почему-то постриженный наголо, как новобранец. Его круглая голова серебрилась.

Фраза была сказана с интонацией, заранее не допускавшей для беглеца даже возможности неудачи, потому что у беглеца предполагались крылья: "убежит" звучало как "улетит".

– Кто свободу любит – улетит.

Так нас и познакомили с Чабуком Амирэджиби, о котором тут же выяснилось, что за свои лагерные восемнадцать лет он трижды бежал: певый раз был на воле меньше года, второй – что-то около двух лет, третий – трое суток.

Третий побег был совершен из спецлага в самой Караганде, как раз в то время, когда мы с женой были там в ссылке. Мы наслышаны были об этом дерзком до бессмысленности побеге, – и теперь познакомились с одним из его участников.

– Кто свободу любит – убежит, – вот каким оказалось объяснение этого побега и пять лет спустя.

Я до сих пор помню эту фразу, сказанную просто, но притом с княжеской надменностью.

"Свобода, Санчо, драгоценнейший дар, каким небо наделило людей..."

За свое преступление 1937 г. Чабук Амирэджиби был реабилитирован: преступление, кажется, состояло в том, что он, старшеклассник, в стенной школьной газете "опубликовал" статью, на которую донесли. Но в побегах из лагеря Чабук перед государством оставался по-прежнему виноват: раз его посадили, он должен был сидеть, хотя сидеть, как установило государство, Чабуку было решительно не за что.

В конце концов Государство выпуталось из этой своей диалектики: Чабуку за побеги полагалось четверть века заключения; лет шестнадцать он уже отсидел; и вот его освободили, как тогда говорили, "по третям", досрочно.

Роман свой "о божественном рыцаре" Амирэджиби сам перевел на русский язык с грузинского.

Хотя в романе речь шла об одиноком грузинском абреке, а сам Чабук досиживал срок в Казахстане, тема его жизни, отчасти ставшая и темой его романа, – это все та же тема кихотических "подобий".

> "И воззвал тогда Туташхиа к небесам:
>
> – О Всемогущий! Не ради забавы предался я помыслам моим, не хламиды себе ткал я из мыслей моих, паутине подобных, и не возмездия ради поднял копье мое. И не смущенный ухищрениями нечистого обрел я плоть человеческую, – а во исцеление недугов рода Адамова. Но тщетным оказался разум мой и хилой десница моя. Не проросли и не дали плода семена, посеянные мною, ибо не дал Ты мне дара превращения зла в добро".[5]

Это строки из романа Чабуа Амирэджиби (эпиграф к четвертой главе).

"Подобие" в литературе и "подобие" в жизни едва ли не совпали в одном лице, – в лице Художника.

Побывать по ту сторону даже здешней, подсоветской свободы невозможно без существенных психологических последствий для себя.

Когда в начале 1955 г. я освободился, мне до крайности трудно оказалось восстановить контакт с теми, кого я знал шестью годами ранее.

Этих милых, интеллигентных людей, безупречных потребителей хорошей музыки, поэзии, живописи отделяло от меня, словно прозрачная стенка, четкое знание, которым я не мог поделиться: до XX съезда никто из них не принял бы моей щедрости. Они, даже те из них, кто был намного старше меня, еще только начинали отказываться от иллюзий, которые, как и я до ареста, они сами же себе внушили.

У меня был узкий круг друзей – увы, большинство из них эмигрировало – знавших те обстоятельства из истории России и большевизма, которые на собственном опыте пережили старшие, но пережив, постарались позабыть. Разница между нами и всеми прочими – подавляющим количеством! – была разницей между свободными людьми и рабами по убеждению.

Лагерный опыт делал людей свободными, – разумеется, тех, кто мог свободу вместить.

А "давать" он действительно ничего не давал. Он только отнимал и требовал.

Он отнимал здоровье, память, силы, жизнь; взамен он требовал нравственного самоопределения.

Те, у кого хватало сил, выбирали самих себя по законам совести и чести. Почти никто из таких не выжил.

Но з/к Солженицын еще за колючей проволокой заучивал наизусть собственную пьесу в стихах, в ссылке начинал свою прозу.

А двое баптистов на прогулке в Куйбышевской пересылке пели при мне тихими голосами псалмы, – ходили по длинной овальной прогулочной дорожке и так пели, что мне ясно было видно: сейчас с нами этих людей нет вовсе.

Лагерный опыт мерзок, потому что по таинственному для меня попустительству Божьему люди устроили бесчеловечную и страшную селекцию на физическую и нравственную выносливость.

Большинство погибло, – нравственно или физически. Меньшинство выжило нравственно, и пусть даже число их ничтожно, но они – свидетельство тех духовных возможностей, которые все-таки присущи людской природе.

В течение второй большой войны за унификацию происходил парадокс, которому я был свидетелем: лагерная империя рабов создавала людей, презиравших и ненавидевших рабство; на воле, наоборот, копился опыт страха и конформистского самовнушения.

Большевистские лагеря за все время их существования были не только гноищами грязи и жестокости, но и местом подвижничества, мученичества, святости.

Пусть усилие зека не гасить в себе душу живую, будь то усилие христианина или марксиста-атеиста, приводило к неудаче, а то и к смерти. Было что-то кихотическое в безнадежной, казалось бы, борьбе этих людей с апокалиптической лагерной жизнью, – в борьбе за душу свою и порой за чужие души. Но были эти подвижнические усилия, и были победы. Свидетельство тому, – книги Е. Гинзбург, Е. Олицкой, Е. Гнедина, Л. Копелева, Д. Панина, А. Солженицына и др.

Смотреть на лагерную Россию только как на страну вытравленного духа можно лишь с птичьего полета, да и обладая притом птичьими мозгами.

Как уже говорилось в начале книги, вольные освободили нас, зеков; но мы в большинстве своем вышли из заключения людьми свободными и помогли освободиться от государствопоклонничества тем, кто того хотел.

Бедняги-диктаторы все никак не могут понять, что, растоптав отдельно взятого, т.е. схваченного супротивника, даже доведя его до покаяния, они все равно бессильны уничтожить супротивничество, поскольку сами взращивают его и лелеют за колючей проволокой в непрозрачных парниках барачного типа.

Не знаю, где как, но у нас в России так было и так будет.

Поэтому пружинящая сила – сила быть собой, в частности, сила на кихотизм, чудодейственным образом скапливалась под деспотическим сталинским давлением там, где меньше всего можно было этого ожидать.

Так было в жизни; в сфере же подсоветской культуры, в мифологеме о Дон Кихоте, этот процесс не находил своего отражения: развитие мифологии Рыцаря Бедного было наглухо запрещено. Сталину надо было, совершив своего рода культурную революцию, создать свою культуру. И вождь заменил националистический марксизм предвоенных и военных лет шовинистическим марксизмом послевоенного времени. Теперь из марксовой теории каким-то чудом стало следовать, что паровая машина, аэроплан, беспроволочный телеграф и многое другое было создано в России, у которой эти открытия украли иноземцы. Тех, кто сомневался в этих фантазиях, объявляли антимарксистами, космополитами, врагами.

В предвыборной речи, кажется, 1946 г. Сталин заявил о себе и своих сообщниках с редкой откровенностью следующее:

– Любой народ сказал бы нам: подите прочь. Русский народ не сказал нам этого.

Вот Сталин и отблагодарил русский народ, присвоив ему все изобретения мира, все возможные таланты и самонужнейшие государственные добродетели.

Генералиссимус скромно умолчал, что привел русский народ в это состояние полного с ним согласия именно он со своими кавалеристами.

О том, как это происходило, рассказал И. Стаднюк в романе "Люди не ангелы":

> "В позапрошлую смену, – гневно заявил низкорослый, в бараньем треухе мужчина, – мастер Середа не дал мне бетона; я еще тогда думал, что это подозрительно. А вчера узнал, что Середа скрывает свое родство с махновцем, за которым замужем его двоюродная сестра! Электромонтажник Цвиркун при поступлении на работу скрыл, что его батька был церковным старостой! – сообщил второй оратор. Третий разоблачил своего товарища, родители которого лишились избирательных прав за саботаж во время коллективизации".[6]

Те из оставшихся на воле, кто понимал всю злокачественность сталинского воинства, оказались в бессильном меньшинстве.

Понятно, что людям, занятым доносами друг на друга, было недосуг вглядываться в такие астрономические дали, как правительственная деятельность. Стаднюк пишет об Украине 1937 г., но в России картина была та же, и следствия этого искусно организованного духовного самоуничтожения людей оказались одинаковыми.

Теперь у Сталина были основания поднять тост за русский народ – – старшего брата всех других советских народов.

Уважение к русскому народу лично мне всегда приятно: каждый народ достоин уважения в большей мере, чем своего правительства. Если

же это правительство при помощи меньшей части народа одолело весь остальной народ в результате междоусобия, то такой народ заслуживает еще и сочувствия.

Однако непонятно, по какому признаку Сталин счел русский народ "старшим": по культуре старше русской была христианская культура Армении и Грузии, а также исламская культура таджиков и узбеков. Видимо, "старший" означало для Вождя "самый большой".

Так великий Табуреткин заложил основы шовинистического марксизма. Русские должны были стать цементирующей нацией народов СССР. Но этого не получилось: этнические блоки стал разъедать ответный национализм. Тогда сталинские идеологические соколы связали национализм (через прислужничество империализму) с космополитизмом. Это двуединое чудище принялись разоблачать и расстреливать.

И тут досталось как исследователям Сервантеса, так и нерусскому испанцу Дон Кихоту.

Н. Габинский в журнале "Новый мир" (№ 8, 1949 г.) опубликовал рецензию "Директива космополитов из журнала 'Испания' и аполитичный сборник статей о Сервантесе".

Сборник Ленинградского университета "Сервантес. Статьи и материлы" отличался высоким научным уровнем, – и как раз это отличие оказалось для Габинского поводом для того, чтобы упрекнуть авторов и составителей за то, что они выполняют космополитические директивы империалистов из Принстонского университета в США, утверждавших, что в течение веков Сервантес обращался к людям самых разнообразных позиций.

К людям, на противоположных советским, на вражеских позициях, следовало обращаться не со словами, а с пулями; благородный Сервантес, с точки зрения Габинского, так бы и поступал. Научный сборник должен был доказать, что Сервантес обращался именно к нам, сталинцам, а от них, цереушников, отвернулся.

В этой рецензии слова теряли смыслы и превращались в затяжные междометия. Как и многие тогда, этот Габинский не изъяснялся, а плевался и визжал словами.

После этой рецензии до 1955 г. новых интерпретаций имени-притчи "Дон Кихот" у нас в печати не появлялось.

Бытие мифологемы о Рыцаре Печального Образа – знак европеизма российской Евразии. Теперь под грохот и цветные марева победных салютов страна погружалась в азиатский мрак.

А когда жизнь имени-притчи "Дон Кихот" на русской почве иссякает, на ней остается один Иванушка-дурачок.

Однако, что бы ни говорил Великий Сталин о Дон Кихоте мифологемы, Дон Кихота романа все это пока не касалось.

Начиная с 1945 г., лет десять по меньшей мере повторялась по советскому радио композиция С. Богомазова "Дон Кихот" с участием В. Качалова (Дон Кихот) и другого знаменитого артиста Художественного театра М. Яншина (Санчо Панса).

Эту радиокомпозицию слушали завороженно: качаловский Дон Кихот был благороден, добр, вызывал не насмешки, а сочувствие.

В 1951 г. роман Сервантеса был переиздан в новом переводе Н. Любимова; после окончания второй мировой войны в СССР трижды издавались сокращенные переводы "Дон Кихота" для детей (1949, 1951, 1952). Впрочем, в двух из этих трех изданий сокращения были незначительны. Ничего похожего на прежние коротенькие переложения теперь уже не печаталось. Хотя Рыцарь Печального Образа был дезавуирован самим Сталиным, уважение к Рыцарю было столь велико, что только радиоспектакль имел право на конспективную передачу романа.

Еще в 1948 г. Дон Кихот мифологемы был объявлен советским ученым на основании цитат Ленина-Сталина фигурой отжившей и реакционной.

Однако судьба Дон Кихота романа складывалась так, что Рыцарь Бедный мифологемы мог дождаться изменений своей судьбы к лучшему. Но для этого нужно было, чтобы изменилась участь "отживших и реакционных фигур" в лагерных бушлатах с номерами на спине, людей, которые, пусть даже оказавшись поначалу жертвами ложного доноса, как Лев Копелев, или перлюстраторов, как Александр Солженицын, стали уже в лагерях воистину узниками совести; лагерные оперуполномоченные об этом нравственном и умственном преображении подопечных з/к-з/к ничего не знали; впоследствии полемисты из канцелярии ГБ назвали эту умственную и нравственную ясность "озлобленностью".

Между тем события пошли навстречу Рыцарю Печального Образа и узникам совести сталинской поры.

В начале марта 1953 г., в то время как Евгений Шварц, автор "Дракона", писал очередную пьесу, Сталин, наш одноглавый вождюга, умер, –

отдал Богу вождь в тиши
То, что имел он в качестве души.[7]

Впереди замаячил 1955 год, год трехсотпятидесятилетия выхода в свет романа Сервантеса.

Тем временем обыватель жил и работал, шел, как говорилось на одном плакате, без Сталина по ленинскому пути. И я шел по этому пути вместе с народом, но шел осторожно.

В апреле 1955-го, юбилейного сервантесовского года, Зинаида, стукачка, при самом живом участии которой меня и посадили в первый раз, с плотоядной надеждой спросила, когда я выправлял себе нужные бумаги у нее в домоуправлении:

– Это ведь Сталин, Сталин виноват, что отца у тебя посадили и тебя взяли?!

Но я отвечал на провокацию четко, по-военному, в согласии с тогдашней уставной линией партии:

– Во всем виноват Берия.

В народном суде, где я отсуживал свою девятиметровую конуру, выгороженную в квартире деда из комфортабельной дореволюционной,

буржуазной ванной комнаты, на меня со стены все еще смотрел невозмутимо Сталин с трубкой.

Я и тут знал, что сказать.

– Ну, что, – говорил я мысленно портрету, – что, бандюга, получил? Кто из нас смеется последним: я или ты?

Вождь в ответ сдержанно улыбался.

Теперь я понимаю смысл его улыбки: смеяться последним будет он со всех своих портретов, потому что полиграфические издания, как и рукописи, не горят.

Суд присудил мне мои девять квадратных метров жизненного пространства, отобрав их у младшего лейтенанта государственной безопасности, старшей надзирательницы Бутырской тюрьмы. Почему тюремная надзирательница числилась по ведомству госбезопасности, – не знаю. Но отчетливо помню, что было именно так. Младший лейтенант получил эти девять метров после моего ареста.

Но чем же было сталинское время, смутно называемое офицерами "периодом культа личности"? Кем был сам Сталин? Может быть, напрасно мы его в своем сумасшедшем доме называли Табуреткиным, ибо был он Фрестоном или Мерлином?

Н. Коржавин определяет Сталина именно в этом духе:

Первоисточник всех теней,
Он был, скорее, главной тенью.
(Поэма "Главтвор".)

Однако очень уж основательно перепахали родной суглинок сталинские лемеха, перекованные из буденновских сабель, чтобы остановиться на любой, даже самой научной и правильной характеристике этого антинародного вождя всех наших народов.

Похоже на то, что В. Чалидзе в своей книге "Победитель коммунизма" совершенно прав, и простодушный диктатор Сталин был всесоюзным демократическим императором. А коммунизм Сталин победил, потому что этот бедный коммунизм сам не знал, что же он такое, спорил с собою внутри себя под улюлюканье из тьмы кромешной; Сталин взял своей железною рукою это красно-розовое нечто, определения не имеющее, сжал его, – только кровь брызнула. И отжав этот пульсирующий ком, слепил из него свою сталинскую систему, сохранившую отпечаток его пальцев даже и тридцать лет спустя; создал систему недвусмысленную, как выстрел в затылок товарищу Каменеву, импозантную, величавую, как Мадонна с Мечом и с Младенцем в восточном Берлине. Создав все это, наш великий вождь погиб. Но еще до того он позволил вольнолюбивому Сартру пропагандировать сталинский вариант коммунизма, сводившийся на деле к централизации, дошедшей до социальной патологии. Ибо государство, берущее в свои руки химическую чистку моих брюк из боязни "частного сектора", явно страдает манией преследования со стороны уже фантомных частников.

Но Сталин мог не бояться (и не боялся!) выдавать свое евразийское

новообразование за обнадеживающий социализм. Сталин был великим монстром и, как пишет об этом Конквест, понимал психологию европейцев лучше, чем сами европейцы. Поэтому общественного мнения Европы наш вождь не боялся, а самая крикливая и революционная часть левых не обманывала сталинских ожиданий. Отличный пример абсолютно "пробюрокраченного" свободомыслящего, представлявшего собою не просто мыслящую материю – мыслящий кусок сталинского сырья – это Жан-Поль Сартр, который боялся, что правда о сталинских лагерях дойдет до французских рабочих. Самый факт существования сталинских лагерей его не пугал, а из правды он не творил себе кумира. Уже после того, как лгать Сартру стало политически невыгодно, после 1956 г., он в предисловии к книге Анри Аллега о пытках в Алжире написал, что пытки существуют и в коммунистических странах:

> "Мы узнали об этом от Хрущева и из показаний на суде над венгерским руководителем госбезопасности Фаркашем".

Т.е. Сартр, – комментирует это высказывание Конквест, – по сути дела говорит, что сами по себе свидетельства очевидцев и лиц, претерпевших пытки, наподобие тех, которые собрал в своей книге Аллег, – действительны для Франции, но не действительны в применении к Советскому Союзу.[8]

Ситуация знакомая: свободомыслящий Сартр, точно так же, как и Луначарский в деле Аронова и Миркина, принимал в расчет только свидетельства высокопоставленных бюрократов; но и тут Сартр был непоследователен: там, где дело касалось Алжира, годились и свидетельства жертв.

Эта непоследовательность недобросовестна, а "бюрократофильское" мышление западных левых, дожидавшихся советской гербовой печати на многочисленных свидетельствах о здешних концлагерях, глубоко удручает.

Нынешняя обстановка западной свободы необходима и достаточна для успешной деятельности террористов; она необходима (но не достаточна), чтобы "интеллектуалы" в условиях свободы поумнели и избавились от склонности мыслить стереотипами, склонности, приводящей к исторической амнезии.

По мечтам – не по идее! – русские социалисты-революционеры, конституционалисты-демократы и даже "меньшевики" надеялись создать заботливое о людях государство, можно сказать, государство филантропическое.

Сталин создал мизантропическое, человеконенавистническое государство, где за выпивкой человек человеку – друг и брат, на собраниях – товарищ, а вообще-то – вошь.

Но и свободные демократии, несмотря на ту слащавость, с какой их рекламируют западные "радиоголоса", тоже, как говорится, не сахар; разумеется, государство не обязано создавать всем подвластным "сладкую жизнь". Но члены общества человечески обязаны создать такое го-

сударство, которое помогало бы каждому развить и реализовать его творческие потенции с тем, чтобы человек захотел (и смог) быть не только специалистом и человеком семьи, но и человеком философии, человеком истории и политики, человеком искусства. Каждый из нас продолжение человечества: своего роя, своего рода, своей страны. Только храня в себе это историческое начало, человек останется человеком, принадлежащим прежде всего самому себе, а не веяниям времени или настроениям ближайшей толпы. Сообщество таких – интеллигентных! – людей никому не обеспечило бы счастья; но если слабеющая сейчас на Западе тенденция к созданию высококультурного сообщества растворится в общей воле к сладкой жизни, то жизнеспособность луначарско-сартровского подхода к фактам истории и ленинско-сталинской политической организации общества выявится во всей красе и с полной убойной силой.

Поэтому бюрократ Табуреткин был никаким не Табуреткиным, а Великим Сталиным, другом и учителем европейцев Мориса Тореза и Пальмиро Тольятти, которые от него потом отреклись, хотя, пока он был жив, о сталинских политических убийствах знали, но в ответ на них только покрикивали:

– Ура! Ура!!

Тем интереснее малоизвестные факты, проливающие дополнительный свет на сталинскую все-таки весьма темную личность.

И.Г. Эренбург рассказал мне о Сталине такую историю.

Гольденвейзер – знаменитый пианист, игравший сперва Льву Толстому, а потом Владимиру Ленину, всех трогавший до глубины души своим исполнением, – однажды сподобился играть в правительственной компании при самом Сталине. Видимо, это было в тридцатые годы, когда Сталин еще старался склонить свою непокорную душу абрека к европейской культуре. Впоследствии, уже получив от американских индейцев в подарок головной убор почетного Вождя племени гуронов, Сталин Бетховена с его исполнителями к себе в гости больше не приглашал, а слушал грузинскую песню "Сулико" или же русскую "Полюшко-поле".

Когда Гольденвейзер кончил играть Бетховена, он опустил голову, уронил руки, откинулся в некотором изнеможении под аплодисменты членов правительства, кое-кому из которых, если дело происходило в середине тридцатых годов, вскорости предстояло перестать быть членами правительства.

Вдруг пианист почувствовал, что кто-то осторожно и даже нежно опускает в карман его длиннополого пиджака нечто тяжелое. Гольденвейзер поднял голову и увидел, что это Сталин. От удивления пианист не запомнил выражения сталинского лица. Удивился же он тому, что великий вождь растроганно опустил в карманы своего пианиста по бутылке коньяка.

Коньяк со сталинского стола – это, конечно, не шуба с царского плеча. Но великий вождь был скромным человеком и носил шинель. У него не было царской шубы.

Будучи не столько "тенью", сколько первоисточником, он позволял

себе игру в неожиданные поступки и фразы. На удивление своим холуям, которых все мы выбирали в почетные президиумы, а потом перестали выбирать, потому что их прогнал Хрущев, Сталин одобрил книгу В. Некрасова "В окопах Сталинграда" и поэму А. Твардовского "Василий Теркин", где лично ему дифирамбов не содержалось, что и вызвало подозрение цепных и лягавых душ.

Вождь отлично понимал, что технология личной власти в значительной мере есть технология личного общения с людьми.

В конце сороковых годов Сталин сказал о поэте Илье Сельвинском в присутствии самого поэта:

– Сельвинского любил Троцкий. Бухарин Сельвинского тоже любил. А это были очень умные люди.

Сталин незаметно и неожиданно для всех появился в то время, когда трое больших начальников, среди них, кажется, сам Маленков, ожесточенно разбирали персональное дело поэта, обвинявшегося в попытке оскорбить Вождя посредством намека в хвалебных стихах.

Сталин проговорил свою фразу медленно, раздумчиво, посасывая трубочку – и вдруг исчез.

Слова Сталина привели комиссию в оцепенение.

Члены комиссии на всякий случай отпустили Сельвинского ночевать домой.

Сельвинский долгое время после этого не знал, на каком он свете, – еще на этом или (по секретному списку) уже на том.

Персональное дело заглохло; вождь оставил Сельвинского в живых.

Ненависть Сталина к Троцкому была столь ревнивой, что, может быть, отчасти поэтому он разрешил Илье Эренбургу изображать "человеческое лицо" своего режима за границей. Сталину наверняка доносили эренбурговские недруги, что Лев Бронштейн и Илья Эренбург были приятелями в юности, что Троцкий и в парижской эмиграции дружил с Ильей "Лохматым", что Бухарин даже написал предисловие к роману "Хулио Хуренито". Но Вождь отринул все доносы и не тронул бывшего Илью "Лохматого". Возможно, Сталин сохранил этого писателя по тем же причинам, по которым "Дни Турбиных" смотрел семнадцать раз: приятно, когда тебе служат люди и вещи старого мира, заведомо не твои.

Эренбург написал роман "Буря", за который Сталин поблагодарил Эренбурга телеграммой, спасшей писателя от прожженных и цепких борцов с этим "космополитом".

Сталину было приятно телеграмму дать, Эренбургу – получить.

Сталин был тиран, – но с игрой.

А его холуи вроде Берии – не более, чем филины в пенсне.

В то же время, если действительно генерала Власова и его группу казнили испытанным варварским способом: поддели каждому крюк под ребро и так повесили, – то Сталин наверняка пошел посмотреть на это редкое и интересное зрелище, а потом выпил с первым маршалом чекистов Берией бутылку кахетинского.

Против переизданий "Дон Кихота" великий вождь не стал бы возра-

жать, даже если б ему донесли об этом, а он такой мелочью заинтересовался. В планы вождя входило, чтобы сын его Василий был дельным военным руководителем, а дочь Светлана – образованной, культурной женщиной. Как сам он знал, так и дети его должны были знать, кто это: "Дон Кихот".

Сталин был величайшим Чингиз-Ханом нашего времени, атлетическим Атиллой, несмотря на свою сухорукость.

Он доказал, что даже если человек рождается на несколько столетий, а то и на тысячелетие позже тех времен, которым он психологически вровень, – то он все равно может развернуть время назад, вернуть целые народы к месту его собственной исторической уместности. Еще убедительнее, чем Гитлер, Сталин доказал, что человек в XX столетии может найти современников самых архаических культурных времен, – и в этих давних временах своих нынешних союзников.

XX век хронологически пестр.

Сталин, Гитлер и прочие вожди помельче вывели гуманитарный прогресс на чистую воду и показали его ничтожность. Но кроме этого бессильного прогресса, у нас ничего нет, – разве что конец света.

Величие Сталина в том, что со всей ясностью он поставил перед человечеством именно эту альтернативу: гибель гуманистической христианской цивилизации или эффективный, а не эфемерный нравственный прогресс. Для этой неосознававшейся им, но, быть может, истинно высокой цели Сталин сделал свою несчастную империю грандиозным подопытным козлом отпущения.

Такой человек управлял Россией и Союзными республиками.

Но какими же были Россия и Союзные республики, если ими мог управлять такой человек?

Такими, что хотя каждый горожанин старше сорока пяти лет был свидетелем исчезновений, а потом реабилитаций, – значительная часть этих людей и сейчас с почтением относится к своему Иосифу Горынычу. Сказочник Евгений Шварц был великим реалистом.

В 1954 г. Шварц начал инсценировать роман о Дон Кихоте для кино.

Смерть Сталина привела к распаду его руководящей мафии: никому не хотелось над собой нового великого вождя, всем хотелось пожить тихой семейной жизнью в спокойной правительственной обстановке. Это вполне безобидное желание повлекло за собой много неожиданных последствий. В частности, традиционные основы русской культуры опять стали явственны, а сталинские постройки на них опрокинулись в тартарары.

И – пусть не сразу – но теперь уже не под чужим именем, а во весь рост и даже в цвете мог появиться Рыцарь Печального Образа, он же Рыцарь Львов, он же Рыцарь Бедный перед советскими кинозрителями.

1955 г. был юбилейным: исполнилось триста пятьдесят лет с выхода в свет первого тома "Дон Кихота". Этот юбилейный год встретил Дон Кихота на русской почве множеством газетных статей, – но этот приветственный шум ни в какое сравнение не шел с обстоятельными и оригиналь-

ными статьями, вышедшими в свет по поводу трехсотлетия романа Сервантеса. Давно не стало тех антинаучных выдумщиков, – теперь ученые, закрыв глаза на реальность мифологемы, шли, держась за веревочные поручни цитат, чтобы быть на высоте, не впасть в ересь, как падают в бездну.

Евгений Шварц нарушил стройный хоровод научных светил: он не столько инсценировал роман, как это было в радиоспектакле Богомазова, сколько продолжал в новых условиях творить русский миф об испанском рыцаре.

Первые эпизоды сценария Шварца были вполне традиционны: родственники Дона Алонсо Киханы тревожились за состояние его разума; у нас на глазах Дон Алонсо проигрывал только что прочитанные сцены из рыцарских романов.

Происходящее стало значительным и многозначным после того, как Дон Кихот и Санчо отправились в путь.

Сразу же Фрестон сыграл с Рыцарем Бедным злую шутку: Россинант попал передними ногами в глубокую рытвину, – и Дон Кихот вылетел из седла.

Сачно объясняет, что Фрестон ни при чем, что это они с соседом все никак не могут закопать рытвину. Санчо объясняет, почему:

– Сосед говорит мне: "Санчо, закопал бы ты ее, проклятущую". А я ему: "С какой стати я – сам зарой". А он мне: "А я с какой стати?" А я ему: "А с какой стати я?"

Дон Кихот в ответ настаивает, что яму вырыл злой волшебник. И Рыцарь прав: только злое волшебство могло сделать здравомыслящих крестьян Санчо с его соседом такими идиотами.

У Булгакова первым же приключившимся с Дон Кихотом злоключением была схватка с мельницами.

У Шварца Дон Кихот в самом начале странствия отзывается на плач.

Он спасает от побоев пастушка Андреса.

После этого, как и в булгаковской инсценировке, Дон Кихот бросается освобождать карету с Прекрасной Незнакомкой. Но у Булгакова этот эпизод происходит за сценой и не имеет значения для дальнейшего развития сюжета. У Шварца же Рыцарь завязывает знакомство с Альтисидорой, которая запоминает эту встречу: лучшего шута для Герцога не найти.

Следующее приключение Дон Кихота – эпизод освобождения каторжников. У Шварца каторжники врут Дон Кихоту. Один восклицает, что его погубила любовь, тихо добавляяя про себя: "к чужой корзине с бельем". Другой тоже лжет о себе, – Дон Кихот слышит то, что хочет слышать.

Дон Кихот у Чулкова сам говорит, что не различает, где правда, где ложь, где явь, где грезы. Он признается, что решить эту гносеологическую задачу ему не под силу.

Дон Кихот, каким его представлял себе Шварц, вовсе не решал гносеологических задач. Его легко было обмануть потому, что он попросту не

верил фактам, – сперва, в случае с Прекрасной Дамой, – конвою; потом, в случае с каторжниками, – оковам. На "конвой" и "оковы" Дон Кихот Шварца реагировал мгновенно и яростно.

"Охрана" вызывает у него подозрение, что это скорее всего – "конвой"; "оковы" вызывают уверенность, что закованные невиновны. "Конвой" и "оковы" для Рыцаря Бедного не факты, а злое наваждение Фрестона.

Такая реакция Шварца на эти вещи после побед генералиссимуса Сталина с его полководцами Ежовым и Берией была вполне естественной.

Движимый своим социально разрушительным недоверием к цепям и темницам Дон Кихот освобождает узников.

Дон Кихот Шварца отнюдь не был тощим астеническим рыцарем, – он был физически сильным человеком, а его Россинант – конем, обладавшим необычайным чувством собственного достоинства. Такой конь и такой всадник легко обратили конвой в бегство. Но стоило Дон Кихоту потребовать, чтобы освобожденные каторжники отправились к Дульсинее, как освободителя тут же побили камнями: каторжники решили, что Дон Кихот – сыщик.

Санчо кричит каторжникам:

– Какой же он сыщик! Он освободил вас!

Такое вполне мог крикнуть любой нормальный человек генеральному прокурору СССР Вышинскому, большому специалисту объявлять русских революционеров агентами реакции.

– Так когда это было? – отвечал 10-й каторжник, как ответил бы и Вышинский. – С тех пор продался. Бей его!

Впрочем, 10-й каторжник был больше похож на каждого десятого москвича, чем на Вышинского. Вышинский знал, что врет, а рядовой москвич внушал себе что есть сил, будто все идет правильно: продаться-то ведь можно не то что за двадцать лет, прошедших с октября семнадцатого года по процессы тридцать седьмого, – продаться можно за двадцать секунд! Каждый десятый москвич пережил это на собственном опыте, голосуя на собрании за уничтожение своего начальника, еще недавно – – дельного и честного человека, объявленного теперь "врагом народа".

После того, как Дон Кихота, освободителя, бдительные освобожденные побили камнями, Санчо и предложил Дон Кихоту прибавить к своему имени прозвище: "Рыцарь Печального Образа".

Катастрофические, но и чисто житейские ноты советского быта неожиданно и естественно входили в текст сценария. Наш пестрый, дробный и потому мешавший узнать себя быт преображен до полной узнаваемости еще и в сцене со стрелком братства Санта Эрмандад. Братство занималось отловом преступников и еретиков; стрелок пришел за Дон Кихотом – – и получил вместо него взятку.

Он благодарно уходит:

– ... Я ваш слуга. В среду на будущей неделе будут одну еретичку душить железным ошейником. Милости просим. Только скажите: Алон-

зо – и вам местечко на балконе над самой виселицей. Пожалуйста! А в субботу жечь будем ведьму...[9]

Во время красного террора бывали случаи, когда чекисты вот также запросто приглашали друзей по своей партии посмотреть как расстреливают. Простота простых людей, та самая святая наивность, которую так великодушно недооценил Ян Гус у себя в Констанце на костре, – всегда хуже воровства.

Именно Стрелок, охотник за еретичками и предложил родным Дон Кихота способ его спасти: заманить его домой, – "тут, мол, угнетенные завелись", – а дальше "как птичку в клетку".

Клетка, мелькнувшая на устах Стрелка метафорой, становится в сценарии "Дон Кихот" реалией – и более того: символом реальности.

Но до появления большой деревянной клетки и молодого ученого Самсона Карраско, гордящегося достижениями передовой науки 1605 г., Дон Кихот попадает на постоялый двор.

Вакханалия каналий, издевающихся над Рыцарем Бедным, неописуема. Маски, рожи, искаженные безумным смехом, окружают беспомощного Дон Кихота. Маскарад оборачивается воистину сатанинским бесновaнием. Судья и деловой человек, шлюхи и мужики, – все корчатся в пароксизмах лютого хохота, того самого хохота, о смертоубийственных особенностях которого писал еще Салтыков-Щедрин.

> *"Дон Кихот* (упавшим голосом). Я горячо люблю вас. Это самый трудный рыцарский подвиг – увидеть человеческие лица под масками, что напялил на вас Фрестон, но я увижу, увижу! Я поднимусь выше...
>
> Люк открывается под ногами рыцаря, и он проваливается в подвал".[10]

Так Ланцелот под именем Дон Кихота наказывает себя за излишнюю доверчивость к человеческой природе.

> "Безрукие души, безногие души, глухонемые души, окаянные души..."[11]
>
> "Наверху полное ликование, доходящее до безумия.
> Отец семейства прыгает, как мальчик, судья визжит
> от хохота, как женщина. Девицы обнимают, обессилев
> от смеха, того, кто попадется под руку.
> А Дон Кихот в подвале внизу с обнаженным мечом в
> руках.
> Оглядывается.
> И видит мехи с вином, висящие на стенах.
> При неровном свете, падающем через открытый в потолке
> люк, они кажутся похожими на дурацкие, толстогубые,
> смеющиеся головы великанов.
>
> *Дон Кихот.* Ах, вот вы где, проклятые! Довольно смеяться над подвигами. Думаете, мне легко повторять истины, знакомые каж-

дому школьнику, да еще и драться за них? А иначе ничего не добьешься. Поняли? Нет? Вы все смеетесь? Умрите же!

И Дон Кихот бросается в бой.

Вино потоком льется из разрубленных мехов.

Дон Кихот стоит по колено в вине, пошатываясь.

Дон Кихот. Помоги мне, Санчо. Я победил, но мне нехорошо. Санчо, Санчо, где ты?

А Санчо посреди двора взлетает чуть не до самого неба.

Развеселившиеся гости подбрасывают его на одеяле.

Санчо. Ваша честь! Погибаю! Укачивают! Помогите! Спасите!"[12]

Безрукие, безногие, глухонемые души веселятся; к сожалению, картины беснования выглядят в фильме Г. Козинцева не по-шварцевски: Козинцев хотел показать в них стихию раскованных страстей, красок веселья, – "шекспировский быт" или "фламандский сор", как сам он это называл. Однако "фламандским сором" фильм оказался засорен. Текст сценария при всем своем остроумии и изяществе давал мало возможностей интерпретировать Испанию Дон Кихота как рубенсовскую Фламандию. Деформации Греко в сценах на постоялом дворе были бы уместнее картин рубенсовского стиля. Но ведущим принципом Козинцева, по его собственным словам, сказанным в связи с другим его фильмом "Гамлет", была эстетическая общедоступность: фильм должен был быть понятен всем, от академика до уборщицы. Такой ведущий принцип мог привести к чему угодно, кроме художественной определенности и настоящей силы.

По Шварцу, Рыцарю Печального Образа враждебен не сам по себе ребячески простодушный разгул, а остервенелая бездуховность этого простодушного разгула. Она-то и вынуждает Дон Кихота – переводя его слова на язык современных прагматиков – не только впадать в моральную риторику, а еще и вступать ради нее в открытую конфронтацию с бурдюками вина вместо мирных переговоров с ними.

Дон Кихот Шварца вступил в "конфронтацию" с фантомным злом, приняв одно за другое.

В булгаковском "Дон Кихоте" проблема фантомного зла вообще не ставится: Рыцарь Печального Образа просто совершает там нелепость за нелепостью.

У Шварца сами житейские обстоятельства толкают Дон Кихота в безумие, потому что никакого разумного объяснения этим обстоятельствам найти нельзя. Рыцарь Бедный верит в людей, и потому уходит от их низости ввысь, – в поиски зловещих сил, исказивших человеческую природу.

Дон Кихот называет эту силу "Фрестоном"; какой-нибудь реалист вроде Ж. Марше назовет ее "империализмом"; идеалист, согласный с И. Шафаревичем, скажет, что это – "коммунизм". Однако действительной основой всех этих определений остаются все те же бурдюки с вином, – ненасытное и сластолюбивое, возлюбленное наше БРЮХО.

Харакири тут, разумеется, не поможет.

В столь трудной ситуации человеческая мысль прибегает к обходным маневрам, состоящим в придумывании отвлеченных определений, которые с одной стороны верны, а с другой – оборотной – остаются все теми же драгоценными для нас бурдюками, вооруженное нападение на которые кончается только тем, что в новые бурдюки вливают остатки старого вина.

Фантомное зло опасно тем, что оно реально, как сама болезнь, вызывающая эти галлюцинации. Однако лечение тут возможно только симптоматическое.

Между тем домашние Дон Кихота заманивают Рыцаря Бедного, как птичку в клетку: переодевшись персонажами рыцарского романа, они встречают Дон Кихота на дороге, прикинувшись "первыми встречными". Они умоляют Рыцаря спасти принцессу Микомикону. Условие спасения принцессы состоит в том, чтобы Дон Кихот вошел в клетку, – и Рыцарь входит в нее.

Дома, в Ламанче, обман раскрывается, но Дон Кихот оказывается под крепким, как тюремный, домашним арестом. Таким способом родные надеются заставить Дон Кихота одуматься и выздороветь. Для того, чтобы одуматься Дон Кихоту было легче, они замуровывают к приезду Рыцаря его библиотеку.

Рыцарь Бедный из клетки попадает на любовное, но принудительное лечение Самсона Карраско; книги же о рыцарских подвигах, оказываются, так сказать, на спецхране.

Наткнувшись на стену, отделившую его от любимых книг, Дон Кихот падает в обморок.

Лечение начинается с шоковой терапии.

Продолжается оно после лечебных кровопусканий терапией словесной: ведь Дон Кихот собирается уезжать, как только после своей болезни окрепнет.

– Промедление нанесет ущерб всему человеческому роду, – говорит он.

Начинается спор идеализма с практическим здравым смыслом.

– Сеньор, послушайте человека, имеющего ученую степень! Времена странствующего рыцарства исчезли, прошли, умерли, выдохлись! – – убеждает Дон Кихота Самсон Карраско. – Пришло новое время, сеньор! Новое! Тысяча шестьсот пятый год! Шутка сказать![13]

Самсон Карраско – явная пародия на нашего современника, Самсона Самсоновича Караскина, сына того самого Самсона, который был секретарем губкома при Санчо Пансе, председателе Бараторийского губисполкома, назначенном на эту должность Луначарским.

С. Караскин верил в марксистско-ленинский прогресс, но был арестован Сталиным, а сын его, Самсон Самсонович, сумел еще до посмертной реабилитации родителя защитить диссертацию и поверить в научный прогресс, направленный против Дон Кихота. На реплику Дон Кихота, что, мол, и сейчас, как в прошлом веке, несчастные зовут на помощь, а счаст-

ливцы зажимают уши, Самсон, верящий в силу, как и подобает человеку с таким именем, отвечает вопросом:

– А сколько вас?

Дон Кихот. Не мое дело считать! Мое дело сражаться!

Типичный ответ диссидента!

Тут по закону профессионального жандармского оборотничества Самсон Карраско из доброго врача превращается в злостного тюремщика:

– Не выпущу я вас, сеньор! Да, да! Не выпущу! Последние достижения науки требуют, чтобы с безумцами обращались сурово. Я запру ворота. Я буду сторожить вас, как цепной пес. Я спасу доброго сеньора Кихану от безумца Дон Кихота.

Начинается новая фаза лечения Рыцаря Бедного: стенотерапия.

Дон Кихот Шварца вызывает сочувствие не только потому, что он ошибается в людях по доброте душевной.

Окружающие либо подлее и грубей, либо проще и конформней, чем он.

Между тем арестованного Дон Кихота (он же Алонсо Кихана, он же Рыцарь Печального Образа) тревожат видения. Слыша людские жалобы, он приподнимает голову, садится на постели, но лишь в ответ на троекратный призыв:

– Ты свободен, мы в оковах! – облачается в рыцарские доспехи.

Для Дон Кихота в стране лагерей это безнадежная, но естественная реакция. Стыд быть на свободе в таких условиях – сильнодействующее средство.

Но Дон Кихота тут же ловят.

От любящих тюремщиков убежать невозможно.

Однако на выручку благородному безумию неожиданно приходит всесильная пошлость: Герцог прислал прекрасную Альтисидору, чтобы та доставила в замок нашумевшего повсюду шута-рыцаря.

Так Дон Кихот попадает в замок, а Санчо на остров Бараторию, где судит разумно, к народу обращается просто и остроумно, так что быстро завоевывает к себе любовь. И уходит он со своего губернаторства, как и у Булгакова, с большим достоинством, можно сказать, даже величественно.

Дон Кихот еще по дороге в замок присоединяет к своему прежнему титулу новое прозвание: "Рыцарь Львов".

Встретивши по дороге пленного льва, которого везут в клетке – так и Дон Кихота везли домой – Рыцарь хочет сразиться с царем зверей: в ходе стенотерапии он пришел к выводу, что подвиги надлежит совершать не обязательно ради уничтожения Фрестона, а попутно – из принципа и для примера. Это улучшит мир.

Лев нахально повернулся к Рыцарю задом, и поединок не состоялся.

Разумеется, как и у Булгакова, Дон Кихота при Герцогском дворе спрашивают: существует ли Дульсинея?

– Одному Богу известно, существует ли моя Дульсинея. В таких ве-

щах не следует доискиваться дна. Я вижу ее такой, как положено быть женщине. И верно служу ей, – так отвечает Рыцарь.

– Дульсинея – дочь своих дел, – говорит он Герцогу, интересующемуся знатностью рода Прекрасной Дамы Дон Кихота.

После лжепохорон Альтисидоры, якобы умершей от любви к Рыцарю Печального Образа, и объяснившей Рыцарю уже из гроба, что он – старый дурак и Дон Вяленая Треска, осмеянный Дон Кихот покидает дворец. Чтобы совсем уж его унасекомить, Герцог и Герцогиня дарят Дон Кихоту мешок с золотом.

Рыцарь Бедный отдает золото пажу. Придворные хохочут вслед. Карлик прицепил Рыцарю Бедному на спину надпись: "Дон Сумасшедший".

Дон Кихот. Эй, Фрестон! Довольно хихикать за спиной! Я сегодня же найду тебя, и мы сразимся насмерть![14]

Лица, похожие на хари, лица хариозные, словно кариозные зубы с темной гнильцой, слились воедино за спиной Дон Кихота. Он уходит от них в свое безумие, словно в наджизненное, освобождающее пространство. Шварц повторил тут состояние Дон Кихота в сценах на постоялом дворе: жизнь такова, люди таковы, что от них и впрямь сойдешь с ума.

Но теперь Дон Кихот не вспарывает бурдюков с вином.

Рыцарь после своего шока в герцогском замке видит мельницу – и бросается на этого Фрестона.

Мельничное крыло подхватывает Дон Кихота и

> "... поднимает, и вертит, вертит мерно, степенно, словно не замечая тяжести Рыцаря.
>
> Но Дон Кихот не теряет мужества. Его седые всклокоченные волосы развеваются по ветру. Глаза широко открыты, словно безумие и в самом деле овладело Рыцарем. Голос его гремит, как труба.
>
> *Дон Кихот.* А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил ты на их добрые лица. И я верую, верую в рыцарское благородство! А тебе, злодею, не поверю, сколько бы ты ни вертел меня – я вижу, вижу! Победит любовь, верность, милосердие!"[15]

Что противопоставляет мир безумию Дон Кихота?

Шварц представил нам этот мир: судья, деловой человек, потаскушки, отец семейства, герцог, придворная дама, погонщик, каторжники, духовник Герцога, – все смеются над Рыцарем Бедным.

Но весь этот мир имеет не большую духовную реальность, чем кошачьи игры на черепичных крышах. Весь этот мир обретает реальность лишь потому, что в нем живут надежды Дон Кихота.

Слова, которые Рыцарь Бедный выкрикнул мимо мельничного крыла вверх, в никуда, действительнее фактов.

Сразу же после того, как мельничное крыло ударило Дон Кихота оземь, его и встретил Рыцарь Белой Луны.

Дон Кихот едва жив на своем Россинанте, – и не так, как у Булгакова,

а без всякого риска для себя разумный молодой специалист 1605 г. издания, но в громадном числе экземпляров тиражированный и двадцатым столетием, выбивает Рыцаря Печального Образа из седла.

Теперь Дон Кихот – пленник своего слова.

Знаменитую фразу о свободе Дон Кихот говорит у Булгакова после боя с Карраско.

У Шварца Дон Кихот восклицает:

– Свобода, свобода – вот величайший дар, посланный нам небом! – незадолго до боя с мельницами.

Слова эти у Булгакова и Шварца имеют разный смысл.

У Шварца смысл прост: рыцарь с оруженосцем освободились, наконец, от тяжких герцогских милостей.

У Булгакова под ценностью свободы разумелась не только свобода поступков, но и свобода выбора своей реальности.

Самсон Карраско, победив Рыцаря в бою, теперь пытается отнять у него и эту свободу:

– Давайте, сеньор, жить разумно, как все, – говорит он.

А мы только что видели, как живут эти "все": либо скучая, либо тревожась, что кто-то выбился из их ряда вон, либо по-свински, либо с причудами...

– Достойно пожилого человека во всех случаях в жизни сохранять философское спокойствие.

Этим уговорам Самсона Карраско аккомпанировал между тем звон каторжных цепей. Навстречу путникам двигались по дороге каторжники, "словно четки, нанизанные на бесконечно длинную цепь". Они и не глядели на Дон Кихота, а он не сводил с них глаз.

Летом 1951 г., незадолго до второго своего ареста, я, жена моя, тоже ссыльная, наша приятельница из таких же и Алик Есенин-Вольпин, отправленный в пятилетнюю ссылку как ремиссировавший псих из сумасшедшего дома на Арсенальной, шли по безотрадной пыльной широкой дороге в Старом городе, в Караганде.

Навстречу нам попались не каторжники в цепях, а каторжники с номерами спецлага на спинах. Зеки сидели на полу в кузове грузовиков затылками к конвойным, – по двое солдат на грузовик. Конвойные со своими автоматами монументально возвышались над зековскими головами.

Алик вдруг остановился, замахал руками и закричал:

– Друзья! Мужайтесь! Скоро вас ждет свобода!

Машины шли одна за другой; не знаю, услыхали ли зеки слова махавшего им руками человека на обочине.

Но мы услышали эти слова. И мы знали, что со всеми нами может произойти, если слова эти услышат политически чуткие музыкальные уши в соседних саманных домишках.

Мы мгновенно столкнули Алика в глубокий кювет и сошли туда сами.

– Молчи, идиот! – сказал я.

Наша приятельница, чтобы вернуть Алику чувство реальности, мягко мазнула его сумочкой по физиономии.

– Аленька, не надо, помолчи, пожалуйста! – сказала моя жена.

Но я закрыл ему рот рукой.

К счастью, последняя машина исчезла в облаке пыли.

– Ты что, спятил окончательно? – спросил я, выбираясь из кювета на дорогу. – Тебя отправят в психушку, а нас разошлют по разным концам, если застукают, а то и хуже. Ты что, не понимаешь, что можно, а чего нельзя?

– Не понимаю, – отвечал будущий наш теоретик правозащитного движения. – Возможно, что ободрять заключенных по 58-й статье в СССР н е р а з р е ш а ю т власти. Но с чего ты взял, что этого делать н е л ь з я ?

Я считал, что н е л ь з я показывать язык злой судьбе.

Так мы и пошли вчетвером по пыльной широкой дороге каждый в свое будущее. Хоть я и не дразнил судьбу, вскорости пришлось мне ехать на железнодорожную станцию Караганда в таком же самом грузовике с высокими боковыми бортами и сопровождающими автоматчиками.

Карраско все объяснил своему Дон Кихоту не так , как я, трусливо, а философически:

– Если ты выработаешь в себе философское спокойствие, то обретешь подлинную свободу... Жизнь сама по себе – счастье! Живите для себя, сеньор!

В это время Самсон Карраско с пленным Дон Кихотом проезжали мимо высокого дуба ,"простирающего ветви свои над дорогой. На каждой ветви дерева – повешенный".[16]

Не трансформировался ли в этот ужасающий гротеск опыт всего пережитого автором "Дракона"?

– Бакалавр! Ваше благоразумие убийственней моего безумия, – отвечал Дон Кихот.

Думаю, что кихотический жест Александра Вольпина не нуждается вообще ни в каком обосновании, – в объяснении, скорее, нуждается наш страх перед естественным со стороны всякого человека душевным движением.

Увы, – после сталинских войн за унасекомливание человека то, что прежде было нормой, опять стало обретать прежние черты радищевского "безумия": Пушкин не напрасно сравнивал Радищева с Дон Кихотом.

Насекомые в опасных положениях умеют "обмирать", – и от нас требовалось умение продемонстрировать, что дух твой отлетел от тебя. Для многих это притворство оборачивается если не смертью, то действительной потерей души, угасанием ее.

Но конвоиры шварцевского Дон Кихота не понимали этих тонкостей, тем более, что сама жизнь, казалось, пришла на помощь здравому смыслу: Андрес, пастушок, которого выручил было Дон Кихот, теперь рассказал, что хозяин после встречи с Рыцарем страшно его избил.

Сиюминутное донкихотское добро обанкротилось.

И это было весьма поучительно, если бы добро обдуманное теоретиками и рассчитанное на века, не оказалось еще более злостным банкротом.

Когда Дон Кихот умирает, ему является Дульсинея.

Дон Кихот у Шварца не говорил Альдонсе, кто же она такая в действительности его воображения. Альдонса знала, что у Дон Кихота есть Прекрасная Дама по имени Дульсинея Тобосская, но не предполагала, что она, Альдонса, именно и есть Дульсинея Дон Кихота.

Дульсинея, дочь своих дел, сперва является Рыцарю Печального Образа в роскошном наряде, – но по мере того, как она говорит, наряд этот обращается в крестьянское платье.

Дульсинея просит Дон Кихота не покидать ее и всех тех, кто устал не меньше Дон Кихота, но живет, – потому что надо, потому что нельзя умирать...

Санчо Панса тоже зовет Дон Кихота вернуться на рыцарскую высокую стезю.

И Дон Кихот не умирает. Он, только что сказавший Самсону Карраско, что хочет остаться в памяти домашних не Дон Кихотом Ламанчским, а просто Алонсо Добрым, преображается на наших глазах в Дон Кихота Бессмертного.

> "Дон Кихот оказывается вдруг в рыцарских доспехах, он шагает через подоконник, и вот рыцарь и оруженосец мчатся по дороге под луной".[17]

Эта картина – Рыцарь Бедный и его Оруженосец, странствующие по векам и дорогам – содержалась еще в эссе Алексея Веселовского о Дон Кихоте. Этою же картиной завершался роман Бруно Франка "Сервантес".

Существенно не то, какие литературные источники могли быть или были у финального эпизода сценария Е. Шварца.

Существенно, что ни один из этих источников не мог бы быть использован, точно так же, как появившаяся независимо от них авторская идея не могла быть реализована, если бы не изменились условия места и времени.

После того, как умер Сталин, воскрес Дон Кихот.

* * *

Дон Кихот воскрес как имя-притча. В человеческих воплощениях кихотизм в России не умирал.

Но начальство, в частности, киношное, не сразу согласилось с тою очевидностью, что Рыцарь Бедный жив как идея.

В своем заключении от 25 апреля 1955 г. сценарный отдел киностудии "Ленфильм" в общем похвалил сценарий, но в главном автора одернул.

По мнению начальника сценарного отдела и редактора, – на этих уровнях и начинаются у нас цензурные клещи, – Евгений Шварц не точно передал смысл первоисточника. Последняя четверть сценария

> "...построена так, что неизменно приводит к мысли, будто Дон Ки-

хот является другом человечества, необходимым ему и любимым народом, что Дон Кихот действительно творит добро... Постепенно снимается элемент комического и сценарий начинает принимать подчеркнуто драматический характер... В романе Дон Кихот показан человеком, стремящимся делать добро, но в силу 'потери элементарного чувства жизни' (Сталин) творящим зло".

Между тем для сценария

> "... характерна сцена с винными мехами, которая происходит после того, как над Дон Кихотом организовано издевательство на постоялом дворе, и этим глупость его поступка как бы смягчается. Сценарный отдел просит автора в дальнейшей работе над сценарием учесть высказывание Н. Добролюбова о том, что 'отличительная черта Дон Кихота – непонимание ни того, за что он берется, ни того, что выйдет из его усилий'."

Без Добролюбова с Табуреткиным под ручку было шагу не шагнуть.

А идти между тем хотелось совсем в другую сторону.

Далее редакторы, явно не понявшие редактируемого ими сочинения, предложили ряд исправлений, кое-какие из которых, к сожалению, были выполнены, судя по напечатанному тексту литературного сценария; сверх того, редакторы предлагали

> "... снять необоснованное, заранее обдуманное издевательство над Дон Кихотом на постоялом дворе и, наоборот, острее написать сцену издевательства над ним во время лжепохорон Альтисидоры. Решая вопрос сочетания трагедийного и комического в сценарии, нельзя забывать, что оба эти начала заключены в самом образе Дон Кихота, в непонимании им исторической обстановки... Нам кажется, что не следует снимать также имеющееся в романе сатирическое отношение к придуманной, метафизической любви Дон Кихота".

"Метафизическая любовь" – обворожительное словосочетание, иллюстрирующее, как постоянная долбежка сталинского диалектического маразматизма вышибла из сознания людей даже умственного труда самое представление о смысле слова "метафизика"...

С точки зрения киношных редакторов сатирическая острота, необходимая для правильного изображения любви Дон Кихота к Дульсинее, притуплена,

> "... придуманная любовь, подменяющая настоящее человеческое чувство, не находит должного обвинения смехом".

Удачливые похабники вызывали, небось, у этих начальников над чужим текстом одобрение смехом...

Эпизода о том, как Дон Кихота потоптали свиньи, в шварцевском сценарии нет, но приведенная рецензия показывает, что свинячьи копытца по шварцевскому тексту все-таки прошлись.

Срок для исправления текста по их следам давался Шварцу двадцатидневный.

Затем и предоставляют гражданам, записавшимся в советские писатели, разные блага, которыми хвастается потом начальство перед заграничными литераторами, чтобы советский писатель утешился в том, что существует он не как полновластный, а за свои особые пайки тоже только на паях автор собственных книг. Для поднаторевшего в своем деле редактора всякое неожиданное слово требует удаления, как гнилой зуб; а для каждой фразы, где есть живой нерв, у редактора тут же находится этакая иголочка с зазубринами, чтобы нерв из фразы вытянуть.

На киностудии "Ленфильм" сценарий Шварца спасла, видимо, помощь режиссера-постановщика Козинцева. Однако это одно дела не решило. После того, как Художественный совет студии сценарий одобрил, все застопорилось в Москве: девятого июня 1955 г. главный редактор Управления по производству художественных фильмов Министерства Культуры СССР с согласия заместителя министра культуры предложил "Ленфильму" существенно сократить сценарий: для такого сценария киноленты нужно было больше, чем полагалось на обычный односерийный фильм. А фильм был запланирован односерийный и обычный. Увидев в сценарии нечто необычное, высшее кинокомандование и забеспокоилось.

Однако к лету 1956 г. ленту дали.

Возможно, кроме хлопот Козинцева, в деле появления на советском экране Дон Кихота Бессмертного сыграли роль происшедшие весной 1956 г. изменения в русской исторической почве. Министерство культуры сменило гнев на милость, потому что пришла странная пора XX съезда: стали миловать тех, на кого прежде гневались, и на киностудиях страны возникло от этого замешательство и промедление. Цветная широкоэкранная лента тогда была редка и предназначалась, главным образом, для триумфальных, помпезных фильмов. Триумфировать же причин теперь не было, и политически безобидный фильм о Дон Кихоте оказался как раз ко времени.

Съемки фильма шли в 1956 г. Испания снималась в Крыму. Шварц по этому поводу писал Козинцеву, что пейзаж Коктебеля оказался ни на что в мире не похожим, на редкость подходящим к строгому тону фильма.

К этому можно добавить, что в Коктебеле жила память о поэте Волошине с его кихопатическими замашками.

Шварц из-за болезни не смог поехать на съемки и очень этим тяготился. Он смотрел, однако, отснятый Козинцевым материал и писал режиссеру о своих впечатлениях. В 1957 г. фильм вышел на экраны.

В целом фильм получился картинным, костюмным, – а из-за этого вяловатым, подслащенным. Однако финальная тема бессмертия Дон Кихота прозвучала вполне отчетливо. Фильм стал событием. Но действительным событием был сценарий Евгения Шварца.

Николай Черкасов, исполнявший роль Дон Кихота, написал потом книгу воспоминаний "Четвертый Дон Кихот". Первый Дон Кихот Николая Черкасова был немым: в опере Массне "Дон Кихот" Черкасов появлялся

на несколько секунд в глубине сцены на белом коне. Он дублировал Ф.И. Шаляпина в эпизоде штурма мельницы. Кроме того, "немым" Дон Кихотом Черкасов был в балетном спектакле Минкуса "Дон Кихот". Затем Черкасов был Дон Кихотом Осмеянным. В пьесе Булгакова он оказался Дон Кихотом Побежденным, но и неисправимым, а в фильме по сценарию Е. Шварца Черкасов вернул Рыцарю Печального Образа бессмертие.

* * *

Но что за человек был сам Евгений Шварц, друг Ланцелота, победителя Дракона, друг Дон Кихота, родившегося слишком поздно и вместо Драконов заставшего лишь гадов ползучих, обслуживавших бездушные механизмы для перемалывания людей?

Когда в сумасшедшем доме на Арсенальной улице мой друг Александр Асаркан, ныне житель Соединенных Штатов, чуть не наизусть знавший "Тень" и "Дракона", пересказал их нашей компании, – я решил, что этому Шварцу, наверное, туго приходится. Он, скорее всего, существует где-нибудь в углу, едва ли не в подполье, полупризнан, нищ.

Оказалось, что все это не так.

С 1929 по 1958 гг. Шварц написал больше пятнадцати пьес, все они были напечатаны или поставлены; написал он и несколько киносценариев. Много лет Шварц заведовал литературной частью в театре, руководимом Н. Акимовым, поклонником шварцевского таланта и другом драматурга.

Словом, Евгений Шварц, хоть и не был особенно преуспевающим автором, но и не был таким неуспевающим учеником сталинской жизни, как, например, Андрей Платонов.

Однако пьесы-сказки "Голый король", "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо", сценарий "Дон Кихот" показывают, что Шварц только притворялся послушным учеником своего времени, а в душе был закоренелым двоечником, предпочитавшим прогуливать в мире своих удивительных сказок здешние сталинские свершения. При этом "добродушный", "мягкий", как все о нем говорят, юмор Шварца вдруг отсвечивал тем же блеском, что и его меч-кладенец, трижды укоротивший на целую голову самого Наган Наганыча Гада.

В общежитии Евгений Шварц был, как о нем рассказывали, легким, обаятельным, предупредительным, в высшей степени деликатным человеком. Он был остроумным, интересным собеседником. Словом, гражданином "не просто приятным", а "приятным во всех отношениях". Таким он выглядит в сборнике воспоминаний "Мы знали Евгения Шварца".

Мне, однако, не верилось, что этот драматург был до такой степени не похож на свои пьесы.

Но мне посчастливилось видеть черновики одного стихотворения Евгения Шварца (он писал стихи не только для своих пьес, но и для себя). После этого мне стало понятнее, что за противоречивые силы сочетались

в этом человеке и каким образом эта противоречивость не оказывалась разрушительной.

Стихотворение, о котором я буду говорить, называлось "Фотография Буллы". Оно было написано, скорее всего, уже в послевоенные годы. Строки этого черновика вошли потом в стихотворение, посвященное Ю. Герману и наверняка созданное после 1945 г.

Булла – знаменитый, еще "мирного времени" фотограф ("мирным временем" люди моего детства называли годы до первой мировой войны, словно предчувствуя, что дальше будут только перерывы между войнами).

Варианты, исправленные, зачеркнутые, занимают несколько листков. Вот как выглядел черновик этого стихотворения:

Сквозь первый вой трамваев и гудков,
Сквозь полубред ленивый
Вдруг чувствую тоску барашковых воротников
Из фотографий старой "Нивы".
Я вижу – вон бородачи среди двора
Попарно встали.
На полах выписаны тушью номера,
Чтоб имена их знали.
Купцы, подрядчики, заказчики стоят.
Закладка зданья.
Нет. Ты история, поставила их в ряд
Как жертвы, на закланье.
Барашковые жертвы. Пали вы.
Почтительно снимал вас Булла.
И не сносили бородатой головы.
Вас будто языком слизнуло.
Истлело все. Отчаянье. Укор.
Ложь на допросах. Слезы. Злоба.

На следующей странице Шварц изменил эту строку:

Мольбы о жизни. Слезы. Злоба.
Расстрел. И безымянных похорон позор
Без панихиды и без гроба.

Последние две строки вошли потом в стихотворение Ю. Герману в измененном виде:

... И нет домов. Там мертвецы сидят,
Где мы, старик, с тобой сидели.
И укоризненно они на нас глядят
За то, что мы с тобою уцелели,
За унижение корит безглазый взор,
За то, что так стараемся мы оба
Забыть постылых похорон позор
Без уважения, без гроба...

В стихотворении Ю. Герману Шварц, вероятно, имел в виду других погибших, поэтому слово "панихида" исчезло.

Но у самого Шварца были свои, особые отношения со временем (записные книжки Шварца, как и его "Белый волк", недавно, к счастью, напечатанные в сборнике "Память", в государственном архиве никому не выдаются). То, что Шварц писал для себя, было его скрытой ото всех правдой-истиной.

... Расстрел. И безымянных похорон позор
Без панихиды и без гроба.
Бессмысленная радость бытия –
Как друг, которого считал убитым.
Ты вдруг пугаешь сладостью меня...
(вариант: "радостью")

"Сладость жизни" не может не пугать: если в наших условиях (а понятие "наши условия" весьма континуально!) человек дорожит своим достоинством, ему не следует слишком любить жизнь.

На следующем листе стихотворение "Фотография Буллы" развивается так (частично я повторю уже процитированное):

... Забыто все. Отчаянье. Укор.
(В другом варианте: "Истлело все".)
Мольбы о жизни. Слезы. Злоба.
Расстрел. И безымянных похорон позор
Без панихиды и без гроба.
Бессмысленная радость бытия.
Иду по улице с поднятой головою.
И щурясь вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травою.

Затем после большого интервала, как бы отделяющего новую часть стихотворения:

Я вынужден поверить, что умру.
И я, спокойно и достойно, представляю,
Как нагло входит смерть в мою нору,
Как сиротеет стол, и как я погибаю.
Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет. Здесь быть я не хочу,
Домой хочу, туда, где я страдал когда-то.
И через мир чужой врываюсь я
В знакомый лес с березами, дубами
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.

Так мысль о чужой и страшной гибели, вызывая острое желание жить, привела поэта к ощущению невозможности собственной смерти.

На следующих страницах единое поначалу стихотворение разламыва-

ется надвое: особо идут стихи о фотографии Буллы, кончающиеся строчками о похоронах без панихиды и без гроба, и особо – стихотворение, начинающееся строкой:

"Бессмысленная радость бытия", –

и кончающееся строчкой о "божественной радости бытия". "Бессмысленная" радость стала "божественной" после того, как поэт пережил смерть и воскресение.

Композиционное чутье подсказывало Шварцу, что стихотворение распадается на стихи о трагедии "барашковых жертв", которых фотографировал Булла (по одному из вариантов – "Оцуп или Булла"), и на стихи о радости бытия, реактивные по отношению к собственному трагическому переживанию.

Оба стихотворения так и остались в черновиках.

Можно, конечно, попытаться объяснить, почему это стихотворение Шварца о фотографии "мирного времени" не получилось, раздвоилось по дороге. Но пусть лучше эту поэтическую неудачу прокомментирует стихотворение самого Шварца, написанное, вероятно, в то же приблизительно время, что и стихи "Фотография Буллы":

Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить Божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я – человек. А даже соловей
Зажмурившись поет в глуши своей.

В стихах о фото из журнала "Нива" враждебная грозной, трагической памяти "бессмысленная радость бытия" давала поэту особое зрение:

"И щурясь вижу и не вижу я
Толпу, дома и сквер с кустами и травою".

Так писал Шварц, а теперь, до или после этих строчек, но в лад с ними, повторил, что ему, стремящемуся утешить путников по жизненной дороге, надо не только не глядеть вокруг, но даже и "зажмуриться", – что он и сделал, едва взглянув на фотографию из старого журнала.

А спутников своих советский, парадный, приятный во всех отношениях Шварц веселил, например, так:

Послание артистке одного из театров

Без одежды и в одежде
Я вчера вас увидал,
Ощущая то, что прежде
Никогда не ощущал.

Над системой кровеносной,
Разветвленной словно куст,
Воробьев молниеносней
Пронеслася стая чувств.

Не сомнения, не злоба,
Отравляющая кровь,
А несчастная, до гроба,
Нерушимая любовь.

И еще другие чувства,
Этим чувствам имя – страсть.
Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к вам припасть!

Это стихотворение было написано в 1951 г., – не помню, каким был этот год по древнекитайскому календарю, годом льва, рака или скорпиона. По существу же год был сталинский, – год когтей, год клешней, ну, и скорпионов, конечно.

Евгений Шварц не испытывал комплекса неполноценности.

Но наедине с собой, передавая свои состояния в стихах, не предназначенных для печати, признанный автор театральных сказок для детей, советский острослов существовал в неожиданных, противоречащих этой репутации текстах:

Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша.
И вот позорно моложава
Моя лукавая душа.

Ровесники окаменели.
И как не каменеть, когда
Живого места нет на теле,
Надежд на отдых нет следа.

А я все боли убегаю,
Да лгу себе, что я в раю.
Я все на дудочке играю,
Да тихо песенки пою.

Упрекам внемлю – и не внемлю –
Все так. Но твердо знаю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя!

Евгения Шварца никак не назовешь Дон Кихотом; не знаю, был ли он похож на Алонсо Доброго. Он был проницательным и потому грустным сказочником, знавшим, однако, секрет счастливых концов.

Жизнь Евгения Шварца, возвратившего нашей культуре мифологему о бессмертном Дон Кихоте, показывает, что душа человеческая все-таки может увернуться от драконовых лап и зубов.

Жизнь и творчество Евгения Шварца занимают в русской культуре особое место, как, впрочем, особое место занимает в каждой культуре жизнь и творчество талантливых и совестливых людей. Особенность этого места состоит в том, что пусто оно не бывает, хотя на него охотников нет. В России так получалось при всех властях.

И в одном только этом я вижу залог будущего, уж не знаю "хорошего" или "плохого", но такого, в котором слова Разума и Совести будут находить живой отклик здесь, в России, прежде чем погаснуть в заморских пространствах, как это происходит сейчас.

* * *

Литература

1 В. Шаламов. "Инженер Киселев". "Колымские рассказы". Лондон, 1978, стр. 336-337.

2 Там же, стр. 89.

3 Ю. Айхенвальд. "Високосный год". Мюнхен, 1980, стр. 44.

4 Чабуа Амирэджиби. "Дата Туташхиа". Тбилиси, 1979, стр. 5.

5 Там же, стр. 524.

6 И. Стаднюк. "Люди не ангелы". "Нева", № 12, 1962. стр. 96.

7 Ю. Айхенвальд. "Поэма о моей любви". "По грани острой". Проза и стихи. Мюнхен, 1972, стр. 201.

8 Р. Конквест. "Большой террор". Франция, 1974, стр. 929-930.

9 Е. Шварц. "Дон Кихот". Пьесы. Л., 1962, стр. 643.

10 Там же, стр. 656.

11 Е. Шварц. "Дракон". Цитированный сборник пьес, стр. 342.

12 Е. Шварц. "Дон Кихот". Там же, стр. 656-657.

13 Там же, стр. 662.

14 Там же, стр. 681.

15 Там же, стр. 687.

16 Там же, стр. 690.

17 Там же, стр. 693.

12. ТРИУМФ ДОН КИХОТА

Дон Кихот Шварца был почти здоров. Ремиссировать полностью Дон Кихоту постоянно мешала сама жизнь.

Отсюда возникал вопрос: жизнеспособен ли Дон Кихот?

Во времена Луначарского, когда Короленко представлял еще не истребленную прослойку совестливых интеллигентов, Дон Кихот мог считаться одним из образцов человеческой нормы.

Но сейчас сформировался новый исторический тип, возникла новая ситуация.

> На тыщу академиков и член-корреспондентов,
> На весь на образованный, культурный легион
> Нашлась лишь эта горсточка больных
> интеллигентов
> Вслух выразить, что думает здоровый миллион, –

сказал Поэт о горсти подписанцев, которые, топчась перед закрытыми дверьми открытых судов, упорно тратили время на собственную неудачу.

К сожалению, образуется бездонный провал между тем, что думает "здоровый миллион" образованного слоя России и тем, как он живет. Все добрые надежды гибнут в этом провале; черная прорва, несмотря на бестелесность наших надежд, всасывает и их: духовность надежды с антидуховностью безнадежности существуют на равных правах, как плюс с минусом.

Но даже если считать, что кихотизм в его человеческих проявлениях не выходит за пределы нормы, то можем ли мы подтвердить это, показав Дон Кихота в наше время человеком вполне нормальным?

В 1960 г. Р.Д. Орлова, ученый филолог, ответила на это, найдя современного Дон Кихота далеко-далеко от Москвы, в дебрях Африки. Дон Кихота этого звали Альберт Швейцер. Р.Д. Орлова, описывая Швейцера, "одного из великих Дон Кихотов нашего времени", подчеркивала, что многие его поступки противоречили "здравому смыслу", но зато соответствовали представлениям этого недавнего профессора теологии о долге человека на земле.

> "У нас нередко злоупотребляют понятием 'абстрактный гуманизм', определяя так всех без исключения гуманистов прошлого и настоящего, которые не были пролетарскими революционерами, – писала Р.Д. Орлова. – Абстрактный гуманизм – это подчинение интересов, блага человека, абстрактной идее, хотя в принци-

пе и гуманистической идее, – например, 'государству добродетели' Робеспьера. Гуманизм Швейцера предельно конкретен".

По мнению Р. Орловой, именно в шестидесятые годы XX века в нашей стране "на первый план выдвигаются проблемы морали, нравственности, поведения отдельного человека"; поэтому "жизненно необходим пример Дон Кихотов", "смелых, честных, бескомпромиссных".

Альберт Швейцер больше похож на Алонсо Доброго, чем на Дон Кихота. Но статью Орловой прогрессивнейшая редакция тогдашнего "Нового мира" вернула автору не из-за расхождений по этому поводу: само утверждение особо важной роли "поведения отдельного человека", да еще "Дон Кихот в качестве примера", – все это в 1960 г. было редакции хоть и по душе, да не по карману: вполне могло случиться так, что за этакую мелочь платить пришлось бы дорого.

Путь Рыцаря Бедного к официальному признанию был труден; само это признание, как мы увидим, носило противоречивый характер.

Но в конце концов на вопрос, может ли совершенно нормальный человек в наше время и в нашей стране превратиться в Дон Кихота, получен был утвердительный ответ.

Ответ этот дали американцы.

Вот уже десять лет, как у нас в Московском Академическом театре им. Маяковского идет мюзикл "Человек из Ламанчи" (автор пьесы Д. Вассерман, автор песенных текстов Д. Дэрион, композитор М. Ли).

Я участвовал в создании спектакля: придумывал русский вариант песен, менял кое-что в прозаическом тексте. Мне не потребовалось особенно больших усилий, чтобы американский Дон Кихот "обрусел": он и без того оказался в русле русской традиции.

Надеюсь, что авторы мюзикла меня простят. Мюзикл этот существует и как факт американской, и как явление русской культуры. Поэтому я и пишу о нем подробно.

В пьесе Д. Вассермана удивительно остроумно показано, почему людям вот уже многие столетия необходим кихотизм.

Герой пьесы называется "Сервантесом"; его биография похожа на биографию автора "Дон Кихота"; рыцарственность, присущая герою пьесы, была свойственна и Сервантесу историческому.

Герой "Человека из Ламанчи" олицетворяет миф о Сервантесе.

Пьеса начинается с того, что Сервантеса вместе с его слугой вводят в огромную подвальную камеру тюрьмы. Сервантес попал в тюрьму за то, что, будучи сборщиком податей, обложил налогом монастырь. В тюрьме его окружают те же люди, что и переполняют мир свободных: воры, лжесвидетели, мошенники, шлюхи, аферисты, прелюбодеи, – просто каждый из них переусердствовал в своем увлечении, и вот убийца, вместо того, чтобы стать королевским солдатом, оказался в преступниках.

Вся эта кодла XVII столетия бросается на двух фраеров, их шмонают, т.е. обирают до нитки, – но ничего, кроме театральной бутафории да рукописи, при новичках не находят. Вожак собирается рукопись сжечь,

чтобы побольней прищемить фраера, – страсть блатарей во все времена. Но ворюги и шлюхи пообещали предварительно судить Сервантеса, и, осудив, тем самым закрепить за собой "юридически" фактически уже захваченную добычу. Игра в суд для них развлечение. Эпизод суда, занимающий в пьесе Д. Вассермана совсем мало места, я, по просьбе режиссера А. Гончарова, ставившего спектакль, несколько расширил, использовав для этого формулы инквизиционного процесса, которые я нашел в книге "Поэты – жертвы испанской инквизиции". Ведь Сервантес по этой пьесе попал именно в тюрьму инквизиции.

В пьесе обвинителем Сервантеса стал блатарь по кличке Герцог, "человек потасканно изящного вида". Секретарем суда был тоже зек из воров. Он читал процессуальные пыточные формулы таким образом, что получалось, будто все это предстояло обвиняемому Сервантесу или уже произошло с ним:

Секретарь. Принимая во внимание документы и доказательства по сему делу против вышеупомянутого человека, долженствуя осудить и осуждая, постановляем, чтобы он был подвергнут пытке при допросе по всем обсужденным пунктам, будучи предупрежден, что если при вышеупомянутой пытке вышеупомянутый человек умрет или будет ранен и если за нею последует кровотечение или членовредительство, то все сие произойдет по вине вышеупомянутого, ибо это он не хотел сознаться и сказать правду. Сим постановляем.

Принципиально это предупреждение ничем не отличалось от того, что чекисты войск маршала Берии говорили своим жертвам.

Герцог. Ну, как, – все еще веришь в справедливость, добро и красоту?

Сервантес. Верую.

Герцог. Говоришь, а голос уже не тот! Под пытками здесь все верują не своим голосом.

Секретарь. После увещевания, чтобы вышеупомянутый человек сказал правду, приказано было вывернуть и вывернули ему веревками руки. И вторично вывернули ему руки, и так было до четырех раз, и он сказал...

Герцог (секретарю). Подожди. (Сервантесу) – И что он сказал?

Сервантес молчит.

Секретарь. Еретики любят говорить красивые фразы. Громко и многократно он произнес: "Добрый Иисусе, Пресвятая Дева Мария, помогите мне!" И не сказал больше ничего.

Герцог (Сервантесу). А ты что скажешь?

Сервантес. Ничего.

Сервантесу, узнику инквизиции, грозит пытка; после первого допроса его переведут из этого подземелья в другое, еще ниже...

В двухэтажной внутренней тюрьме на Малой Лубянке, где я сидел в камере без окон, был, как я уже писал, еще один подземный этаж. Это

обстоятельство помогло мне как-то живее почувствовать ситуацию Сервантеса в вассермановской пьесе.

Почему вообще советскому театру понадобилось расширить эпизод, явно намекавший на сталинскую средневековую реальность?

Именно для того эпизод и пришлось расширить, чтобы намек был понят. Сказанное слишком легко воспринималось бы, как сказанное по-английски: как нечто чужое; для того, чтобы люди в зрительном зале вспомнили собственное безвременье, надо было разбудить их память. Разбуженная память не всегда желанный гость: следом может придти бессонница. И поэтому, чтобы память разбудить, необходимо дополнительное усилие.

Герцог. Что скажешь, любитель добра и красоты? Будешь отрицать, что жизнь такова, какова она есть? Назовешь эту тюрьму – дворцом, а дыбу, на которой и ты повиснешь, – праздничными качелями?

Сервантес. Люди добры по природе...

Так возникает спор обвиняемого с прокурором, спор, в ходе которого обвиняемый сознается:

– Да. Я признаю себя виновным в том, что вопреки здравому смыслу верю в человечность, добро и красоту.

Вожак. Браво! (Встает и направляется к очагу вместе с рукописью).

Однако Сервантес уговорил Вожака и всю кодлу выслушать его защитительную речь, которая будет иметь форму театрального представления.

Заключенные соглашаются.

– Представьте себе, что в тюрьму принесли телевизор, – объяснял актеру второй режиссер, молодой еще человек. Актер недоумевал, с какой это стати грубые и злые бандюги согласились слушать какое-то интеллигентское "ля-ля" вместо того, чтобы забрать себе все, что есть, сколь бы этого ни было мало.

Я со своей стороны добавил, что в лагерях и тюрьмах есть "романисты": люди, которые "тискают ро́маны" зекам.

Помню, Гончаров оживился:

– Вот-вот. Именно: "Тискают ро́маны". Сервантес им "тискает ро́ман". А как это происходило – когда "тискали ро́маны"?

Я рассказал, что, например, в Куйбышевской пересылке "романист" Саша садился верхом на балку на уровне второго этажа нар и начинал; однажды вместо Саши пригласили меня; я "тиснул" "Собаку Баскервилей" Конан-Дойля, но это не очень понравилось. Больше меня на балку не приглашали.

– "Романист" сидел верхом на балке, значит, был всем виден. Тоже своего рода театр! – сказал, помню, Гончаров.

Так оно и было, но весьма выразительную игру Саши-романиста могли видеть только с верхних нар, занятых в основном блатными; "ро́маны" у нас "тискались" на сон грядущий, и зекам, расположившимся в глубоких секциях нижних нар, все было слышно, но ничего не видно.

– Партер был вверху, а галерка – внизу, – прокомментировал Гончаров. – Перевернутый мир. Да, да, – воодушевляясь, обратился он к актерам, – Сервантес попадает в перевернутый мир. В мир перевернутых норм, перевернутых отношений. Он не знает, поможет или нет людям. Он хочет помочь себе самому. Он сбит с толку.

"Я действительно согласен с предъявленными мне обвинениями. Идеалист? Да. У меня не хватает смелости ни во что не верить..."

Вот что он говорит. А у кого хватит смелости ни во что не верить? Бывают, конечно, и перевернутые идеалы, но это все равно идеалы!

Когда я дополнял переведенный П. Мелковой текст, когда этот текст разбирался на репетициях, вольно или невольно, но возникали русские обстоятельства и акценты.

Моя личная ситуация не способствовала в то время объективному подходу к проблемам Рыцаря Бедного. Незадолго до того, как театр предложил мне эту работу, я вынужден был уйти из школы, где десять лет преподавал в старших классах литературу: я подписал письмо в защиту правосудия на процессе Гинзбурга и Галанскова.[1]

Читая роман или слушая "ро́ман", люди тратят на это ответные усилия души и воображения. По пьесе Вассермана в защитительном спектакле Сервантеса должны были участвовать все прочие узники тюрьмы.

Вассерман таким образом не просто предложил еще один вариант истории Дон Кихота. Он показал, как Дон Кихот существует в сочетании со своими читателями. Импровизированная игра по режиссуре Сервантеса обернулась символом непроизвольной, т.е. импровизационной же читательской реакции.

Сервантес. Я сейчас стану одним человеком... Попробуйте представить себе его глядя на меня. Его зовут Алонсо Кихана... сельский дворянин, уже немолодой. Он костляв, лицо худое, глаза горят, как у сумасшедшего или святого. Он человек неделовой, поэтому у него есть время читать и думать. Только этим он и занимается с утра до ночи, а то и ночи напролет. Все, что он узнает о мире, вгоняет его в тоску или приводит в бешенство. И вот в его бедную голову приходит самая нелепая мысль, до которой только можно додуматься: человек не может убивать человека! Человек не может угнетать человека. Он этим переполнен, он на этом свихнулся, – и вот он решает сделаться странствующим рыцарем, чтобы всюду заступаться за людей и бороться со злыми чарами.

То же самое говорил и Дон Кихот Булгакова, тою же была цель Дон Кихота Шварца: творить людям добро, не причиняя людям зла. "Человек из Ламанчи" с самого начала был в русле русской традиции истолкования имени-притчи "Дон Кихот".

Дон Кихот поет о себе:

Я иду, даже если не вижу пути
И не знаю, куда я приду.
Я иду, ибо кто-нибудь должен идти
За людей и себе на беду!

Впрочем, поход Дон Кихота далеко не так бесцелен, как он это изображает:

... Всюду злобные гады,
Свистя и шипя,
Нападают все злей и лютей!
Если я, человек, пожалею себя, –
Кто спасет этих бедных людей?..

У Дэриона, помнится, вместо "гадов" были "великаны и чудовища". Я не имел в виду персонально Наган Наганыча Гада или Орало Оралыча Грядущева. Но, полагая, что реальность сказки ("великаны и чудовища") в нашем варианте уже ни к чему, поскольку "мы рождены, чтоб сказку сделать былью", так что ничего сказочного для нас в великанах и чудовищах, собственно говоря, быть не должно, – я предпочел "гадов", существ приземленных, но до известной степени чудовищных и по-своему неповторимых, – таким был, например, покровитель Стокгольмского комитета защиты мира Иосиф Сталин.

Поход Дон Кихота именно в силу своей опасной целенаправленности не был безобиден, как это правильно поняла племянница Дон Кихота Антония:

Больно много дяде надо,
Хочет жизнь прожить в боях,
Говорит: Большие гады
В наших водятся краях!
Повезет ему, пожалуй,
Негодяя он убьет.
После этого скандала
Замуж кто меня возьмет? –

удрученно поет эта жесткая, себе на уме, простушка.

Семейные Дон Кихота житейски очень правдивы, убедительны: новоявленный странствующий рыцарь их ужасает и шокирует. От их имени говорит доктор Самсон Карраско. У Вассермана он получил следующую научную степень магистра, – и не напрасно: з/к по кличке Герцог, прокурор блатного судилища, блистательно играет эту роль в спектакле з/к Сервантеса. Его оппозиция Дон Кихоту язвительна и блестяще развивает обычную антидонкихотскую аргументацию.

Антония в смятении сообщает доктору Карраско, что ее дядюшка "тронулся" – отправился в путь за подвигами.

– Дорогая моя, – отвечает доктор наук, – за подвигами не ходят, как за грибами. Наше время для подвигов не сезон! Наш век – это время логики и точных знаний. Ваш дядя стал посмешищем для всей округи. А что скажете мне вы, святой отец?

Священник. Только одно: добрый сеньор Кихано дал слишком много воли своему воображению.

Карраско. Нет! Сеньор Кихано лишился рассудка и страдает галлюцинациями.

Священник. А в чем разница?

Карраско. В точности выражений. Напоминаю вам, святой отец, что я доктор. Человек, дающий слишком много воли своему воображению, еще может стать придворным поэтом, если направит свое воображение в сторону, угодную королю. Поэт отвечает за игру своего воображения. И ему за это платят. Человек, лишившийся рассудка и страдающий галлюцинациями, находится во власти своего воображения и своих безумных представлений. Он невменяем, прет на рожон, лезет на стену, летит очертя голову. Он опасен обществу, и его должно сажать на цепь.

Так выглядел на сцене театра им. Маяковского в начале семидесятых годов традиционный русский спор: кто же Дон Кихот? Поэт или помешанный?

Доктор Карраско заостряет свою точку зрения, подобно г. Львову или д-ру Конорову:

– Если бы помешательство Дон Кихота было безобидным, – еще куда ни шло, – сердился доктор Карраско, он же – прокурор Дон Кихота. – Но Дон Алонсо не вообразил себя, например, чайником. Дон Алонсо вообразил себя рыцарем. Он одержим бредом благородства, манией борьбы со злом и зудом вмешательства не в свои дела!

Священник пробует урезонить Самсона Карраско, что нельзя так обвинять человека за безобидные, в сущности, фантазии.

Но доктор с этим не согласен. Ведь Дон Кихот был вооружен мечом и копьем.

– Вооруженная фантазия приводит к катастрофам! – резонно возражает Карраско.

Так убежденным защитником здравого смысла оказывается Герцог, он же прокурор, – может быть, аферист, а, может быть, – убийца.

Священник с ним не согласен, однако Дона Алонсо Кихану надо вернуть домой. Священник провоцирует честолюбие защитника здравого смысла:

– Вы говорите разумно, но все-таки ваш разум бессилен перед его фантазиями!

Карраско соглашается, что сам факт существования Дон Кихота – вызов ему и его здравому смыслу.

Противники Дон Кихота еще до того, как Рыцарь Печального Образа вызовет на бой каждого из них, уже чувствуют себя уязвленными самым фактом его существования, – не зря Д. Вассерман в предисловии к изданию мюзикла приводил высказывание продюсеров, что, мол, этот предложенный им мюзикл задевает слишком многих.

К счастью, эти "слишком многие", подобно аферистам, потаскухам и прелюбодеям в тюремном подвале, захотели быть задетыми: мюзикл прошел в одном из театров на Бродвее несколько тысяч раз.

Несколько тысяч раз Самсон Карраско отправлялся ловить Дон Кихота, – без клетки, надеясь пока на чистую силу убеждения.

Между тем странствующий рыцарь мифологемы, в соответствии с непременной традицией сталинских цитат, нападает на мельницу. Перед тем

Дон Кихот определяет своего самого главного врага, Великого волшебника, который видит все, как оно есть в действительности; "поэтому там, где ступает его нога, даже земля остается бесплодной". Но это преувеличение. Именно земные дары Волшебник и подсовывает людям. Нападая на мельницу, Дон Кихот поет:

Машет злой колдун крылами,
Громко, словно жерновами,
Мелет он, что люди будто бы
Единым хлебом живы.
Из-за него везде разлад,
И восстает на брата брат.
Так защищайся, дух жратвы,
Обжорства и наживы!

Даже отброшенный прочь мельничным крылом Дон Кихот настаивает:

– Волшебник все великое и потому несъедобное чудом перемалывает в муку. Он перемалывает все: запах роз, тоску влюбленных, соловьиные песни, – под тем предлогом, что всего этого не съесть, не выпить, не поцеловать, а, значит, это ничего не стоит.

В этой реплике я процитировал стихи Н. Гумилева; что же до стихов о мельнице, то – каюсь! – этот текст я присочинил сам, а заведующий музыкальной частью театра Меерович придумал для стихов музыку.

Зачем я, пользуясь юридической беззащитностью авторов "Человека из Ламанчи" (в то время Советский Союз еще не присоединился к конвенции об авторском праве), видоизменял чужие тексты, вписывал туда свои фразы, вместо того, чтобы написать оригинальный текст?

Я совершенно уверен, что русский автор аналогичного американскому текста изодрал бы весь этот свой текст в клочья, протаскивая его сквозь редакторские колючки. Проходимость перевода в сопоставлении с такими же текстами подсоветских авторов та же, что проходимость вездеходов по сравнению с автомобилем: что позволено иноземцу Ю. Питеру, решительно не дозволяется здешнему бычку на веревочке. При этом, разумеется, по условиям нашей сложно пересеченной следами внутренних войн местности у нас и вездеходы-то далеко не всегда вездеходны. Так что и заграничному Юпитеру далеко не все дозволено.

Нет никакого сомнения, что и при точном переводе текста спектакль "Человек из Ламанчи" в Москве имел бы такой же успех, какой он имел в русском Рижском драматическом театре, где, насколько я помню, в прозаической части пьесы, если и было что добавлено театром, то очень немногое.

Но на сцене Московского театра им. Маяковского американский Дон Кихот непременно должен был обрусеть.

В конце 1968 г., приступая к работе над постановкой, Андрей Гончаров говорил нам, что сейчас Дон Кихот почему-то все больше и больше интересует людей: о нем пишут стихи, наши барды сочиняют о нем песни, – в чем дело?

– Я не Дон Кихот. Вы не Дон Кихот. Он не Дон Кихот, – резюмировал эту ситуацию Гончаров, указывая на меня и второго режиссера спектакля. – Но всем нам хочется быть Дон Кихотами. Вот об этом и будет спектакль.

"Всем хочется быть Дон Кихотами с сохранением зарплаты по основному месту работы и желательно премиальных", – подумал я, но, конечно, промолчал: сам из таких.

Мне придется и дальше щедро цитировать текст пьесы и особенно песен: нет шансов, чтобы в Советском Союзе этот текст издали, а текст американского подлинника своему русскому варианту не всегда близнец.

Основные события защитительного спектакля Сервантеса происходят на постоялом дворе, хозяина которого играет сам Вожак; в мюзикле отсутствует, как и у Шварца, та деталь, что Дон Кихот и Оруженосец уехали, не заплатив. Это обстоятельство не забыто только Булгаковым (как и Н.Г. Чернышевским). Альдонса, служанка на постоялом дворе, недовольна своей жизнью, и в этом недовольстве зреет ярость и бунт. Она бунтует против реальности. Поначалу Альдонса, привыкшая к мужицкой похоти, злится на Дон Кихота, чьего отношения к себе не понимает. Но к финалу Альдонса соглашается стать Дульсинеей.

На постоялом дворе между тем появляются спасители Дон Кихота, пока что со словом увещевания.

– В мире нет великанов. Заколдованных королей тоже. Во всем мире вы не найдете ни одного рыцаря. Рыцари давно вымерли, остались только их панцири. Везде живут деловые люди, ученые или неучи, – говорит Самсон Карраско.

– Такой ученый человек и так заблуждается! В мире полно злых чудищ, – и вы их легко обнаружите, если не будете с ними здороваться и есть за одним столом. А если в мире есть ученые, зачарованные своей наукой, то почему не может быть зачарованных королей? – отвечает Дон Кихот.

– Но я говорю о фактах! – нападет доктор наук.

– Ваши факты – враги истины, – отвечает Рыцарь Бедный.

Эта фраза приведена Вассерманом в предисловии к печатному изданию пьесы в несколько ином виде: "Факты – враги действительности".

Такое утверждение совсем рядышком с уверенностью, что идеал действительнее факта.

Факты, принимаемые Карраско за незыблемую реальность, для Дон Кихота – объекты вражды, поскольку мир именно этими "фактами" заколдован.

Как бы то ни было, Рыцарь Печального Образа должен остаться в памяти мира (в данной ситуации – в памяти сокамерников) не только подвигами, но и "неподражательной странностью".

Так Вассерман вводит в пьесу эпизод о шлеме Мамбрина.

С песенкой об этом шлеме вышло приключение: в тот момент, когда подошло время переводить ее, у меня еще не было подстрочника (под-

строчный перевод всего текста мне сделала моя бывшая ученица Ольга К., за что я и пользуюсь случаем ее поблагодарить еще раз). Английского языка я не знаю. Смысловая ткань построчных переводов была для меня прежде всего стимулом для создания своего варианта текста, но сейчас и его не было.

Отношение к Дон Кихоту у меня и у американских авторов было, видимо, схожим: Дон Кихот не казался ни им, ни мне смешным в обычном смысле этого слова.

Почему Рыцарь Бедный напал на мельницы – мне было ясно, – но шлем Мамбрина?

> "Рыцарское отличие, – вот что такое шлем Мамбрина. Дело не в том, что Дон Кихот придуривается и на самом деле понимает, что тазик – всего только тазик; он действительно понимает это. Но, кроме того, он знает, что раз уж он определил его как шлем, тазик и становится шлемом, удивительным образом оставаясь при этом тазиком", –

примерно так я тогда подумал.

Такой способ мышления – в нем есть нечто от профетического лукавства, но он безобиден, потому что человек согласен стать зрелищем для других и не требовать за это аплодисментов – был мне отлично знаком на примере моего друга Александра Есенина-Вольпина. Алик всегда чувствовал реальность достаточно хорошо, чтобы точно знать, как именно нужно действовать ей вопреки. Он действовал не в соответствии с тем, что большинство считало реальностью, а в соответствии со своим собственным определением действительности; а с "действительностью" он обращался так, как считал желательным для себя и достойным этой стервы.

Дон Кихот так и должен был отнестись, по-моему, к цирюльничьему тазику:

Я вижу славный шлем Мамбрина!
Что за длина и ширина!
Его высокая вершина
Обычным смертным не видна!
Сколько мылом в таз ни капай,
Мне-то ясно, что к чему:
Обозвать убор мой шляпой
Не удастся никому!

Потом возник другой вариант, но все равно Дон Кихот пел:

Нет, никто нигде не сможет
Шляпой мой убор назвать!

Оказалось впоследствии, что в стихах Д. Дэриона основным был этот же самый мотив. Это невольное совпадение более, чем вольного перевода с оригиналом еще раз показало мне, что я нашел правильный путь, и мое представление о Дон Кихоте совпадает в общих чертах с представлениями авторов текста "Человека из Ламанчи". Впоследствии мне сказа-

ли на ушко, что американские авторы для своего Дон Кихота предложили в качестве подразумеваемых здешние, советские обстоятельства. Мне сказали, будто эти авторы написали письмо, где говорилось, что под Дон Кихотом они разумеют советское еврейство, – ту его идеалистически настроенную по отношению к Израилю часть, которая оказалась в силу этого неуместной здесь. Не знаю, так ли это: о письме мне проговорились случайно, подробнее говорить не хотели, – а я и не настаивал: по нашим обстоятельствам такое письмо надлежало скрыть, иначе спектакль могли запретить еще до премьеры.

Если такое письмо и впрямь было, то я не особенно противоречил авторскому замыслу, стараясь сделать исключительность Дон Кихота понятной и узнаваемой для здешних зрителей.

Русская традиция истолкования Дон Кихота, "дульцинирующего" мир, в пьесе американцев, бесспорно, жила. В сущности, строки песни Священника были адаптацией его сологубовских представлений:

... Мы здесь теряем все до тла,
Это наш враг и рок.
Тот, у кого мечта цела, –
Хоть что-то, но сберег.

Он создал Дульсинею –
Хвала ему и честь!
Его мечта, как лунный луч,
На землю светит из-за туч, –
И посветлело здесь.
Он видит Дульсинею, –
Дульсинея в мире есть!

"Он создал Дульсинею, как рыцарь и поэт", – так начинается эта песня Священника.

Совпадение собственно русских толкований кихотизма и американской пьесы совершенно естественно: мифология о Рыцаре Бедном космополитична, а Россия, как уже говорилось, не только азиатская, но и европейская страна. Американский Дон Кихот, совпавший с русской традицией, совершенно это доказал, связав Россию, восточный край Европы, Испанию, западную ее оконечность и Новый Свет, открытый, по последним изысканиям борцов с сионизмом, якобы испанцем, а на самом деле евреем-масоном Колумбом.

Наиболее выразительной формулой кихотизма мне представляется Обет Дон Кихота, который Рыцарь дает Альдонсе, – этот текст опять-такия является далеко не "близнецовым" переводом стихов Д. Дэриона:

Мечтать, – пусть нелепа мечта.
Бороться, когда побежден.
Искать непосильной задачи –
И жить до скончанья времен!
Любить – пусть обманет любовь.
Остаться – неведомо где.

Когда
опускаются руки,
Тянуться
к далекой звезде!
Вот мой девиз:
прямые пути.
Мой долг –
безнадежно и смело идти.
Сражаться, когда
все гадают и ждут,
Выручая несчастных,
что сами уже не спасут.
И пускай я погибну
в бою, и бесславном бою!
Но пройду до конца я
прямую дорогу свою!
Станет людям светлей оттого,
Что чудак, побежденный везде,
Когда опускаются руки, –
Тянулся к далекой звезде!

У Дэриона в первой строке было: мечтать невозможной мечтой (To dream the impossible dreams). Но у Д. Вассермана в предисловии говорилось, что основа его попытки создать пьесу о Дон Кихоте-Сервантесе сформулирована Мигелем де Унамуно:

"Только тот, кто добивается абсурдного, способен к свершению невозможного".

Абсурдное же всегда может показаться нелепым. Впрочем, если б я смог найти русский эквивалент, я с удовольствием сохранил бы строку Дэриона.

Рыцарю Прямых Дорог возражает Хозяин постоялого двора, когда посвящает его в Рыцари и нарекает Рыцарем Печального Образа:

Словно звезды, тебе
Светят искры из глаз,
Когда побеждаешь ты нас,
Когда ты летишь
По прямой и вперед,
Хотя впереди поворот!
. . . . . .
К победе лети!
Догоняй! Побеждай!
Врага пополам разрубай!
Мы скажем тебе,
Когда кончится бой:
Катись к Божьей матери в рай!

Дон Кихот оказывается отверженным, и Сервантесу с его рукописью

это как будто ничего хорошего не сулит. Но дальше хуже: Рыцарь Печального Образа, защитив от побоев погонщика мулов Педро Альдонсу, пришедшую ему на помощь в этом бою и согласившуюся стать Дульсинеей, собирается перевязать побежденных, как и велит закон рыцарской чести. Дульсинея-Альдонса решает выполнить рыцарский долг сама. Тут-то пришедшие в себя погонщики хватают ее, избивают до бесчувствия и уносят с собой на издевательство и изнасилование.

А Дон Кихот, ничего об этом не зная, в это время говорит, что завидует погонщикам, чувствующим всеисцеляющее прикосновение рук Дульсинеи...

Дебелая баба-людоедка Жизнь остается собой.

В то время, когда разнеженный Дон Кихот начинает петь:

Мечтать, – пусть нелепа мечта,
Бороться, когда побежден,
Искать непосильной задачи
И жить до скончанья времен, –

уже не в спектакль Сервантеса, а в тюремную камеру, где Сервантес играет свой спектакль, является эта Жизнь, дебелая людоедка-вертухайка: служители инквизиции спускаются в подвал. Открыв люк в полу у ног Сервантеса, уже переставшего быть Дон Кихотом, они вытаскивают из нижней одиночки какого-то человека и волокут мучить его дальше к себе наверх, где ярко светит теплое солнышко.

Сервантес. Кто же это был, Господи?

Герцог. Вышеупомянутый человек, который был предупрежден, что если при пытке умрет или будет ранен, то все сие произойдет по его вине. Ну, как, – вылечился от своего донкихотского бреда?

Пока Сервантес отдыхает, между ним и Герцогом возникает диалог:

Герцог. А как выглядит эта твоя Ламанча?

Сервантес. Безлюдная местность. Бескрайняя дикая степь.

Узник. Сущая пустыня.

Вожак. Бесплодная земля.

Герцог. Самая подходящая почва для безумцев, одержимых мечтой о всеобщем счастье.

Сервантес. Я бы сказал иначе – самая подходящая почва для людей с идеалами.

Герцог. То есть с навязчивыми идеями.

Так Герцог (он же Самсон Карраско) и кихотический Сервантес пикировались весь спектакль. Злобные ответы Герцога вызывали в зале одобрительный смех (притом, что Рыцарю Печального Образа публика весьма симпатизировала). Эта дуэль и увлекала москвичей семидесятых годов: для многих из них спор Герцога с Сервантесом был их собственным внутренним диалогом.

– Человеку не на что надеяться. Человек должен принимать жизнь такой, какая она есть, – говорит Герцог.

Сервантес. Я прожил почти полвека и видел жизнь такой, как она есть,

– страдания, нищета, безудержная жестокость. Я слышал песни гуляк в трактирах и стоны нищих на улицах. Я был солдатом и видел, как мои товарищи погибали на поле боя или медленно умирали под бичом надсмотрщиков в Алжире. На моих руках встречали они смерть. Все они принимали жизнь такой, как она есть, и все они умирали в отчаянии, бесславной, недостойной смертью. В их глазах было смятение, и с уст их срывался лишь один вопрос: "Почему?" Нет, они не спрашивали, почему умирают. Они спрашивали, почему им так плохо жилось! (Встает и, продолжая монолог, входит в образ Дон Кихота.) Кто ответит?

Зрители хотят, чтобы он продолжал игру: выход для здравого смысла, оскорбленного бессмыслицей происходящего, – посмеяться над Дон Кихотом.

Но ведь и это не выход.

А Дон Кихот говорит, что мечта – это надежда разума в мире, похожем на сумасшедший дом, где каждый страдает от одиночества вместо того, чтобы подойти и помочь другому.

"Самое худшее из безумий – видеть жизнь только такой, как она есть, не замечая того, какой она должна быть!" – говорит Дон Кихот и начинает свою песенку:

... Вот мой девиз: прямые пути,
Мой долг – безнадежно и смело идти,
Сражаться, когда все гадают и ждут,
Выручая несчастных, что сами уже не спасут."

Вассерман показал, как опытный, многое переживший человек преображается в Дон Кихота, потому что честь, человеческое достоинство, сострадание (а ведь по Достоевскому сострадание – все христианство) в нем живы.

Человек бессилен справиться со злом; но и зло не может одолеть человека. И человеку естественно становиться Дон Кихотом в те минуты, когда он это осознает.

Самсон Карраско, не сумевший победить убеждением, теперь придумал механизм; как и подобает современному ученому, он мыслит "системно". Он появляется на постоялом дворе. Дон Кихот вынужден был вернуться туда, ибо его обобрали мориски, олицетворившие в пьесе дионисийскую жизненную стихию. Там он узнал, что Дульсинея не ушла с погонщиками, а была, избитая, унесена ими; теперь Альдонса яростно отказывается быть Дульсинеей, кляня обманщика Дон Кихота.

И вот тут-то появляется Самсон Карраско, "страшный рыцарь в фантастических доспехах", вооруженный своей системой, – системой зеркал.

– Ты – Рыцарь Прямых Дорог, – говорит с высоты своего коня враг Дон Кихота. – Я – Рыцарь Простых Зеркал.

Дон Кихот вызывает Рыцаря Зеркал, оскорбившего Дульсинею, – т.е. увидевшего ее такой, какова она есть: избитой кем-то шлюхой в лохмотьях.

Рыцарь выставляет вперед свой огромный щит-зеркало; слуги его вы-

ставляют два таких же щита; их блеск ослепляет и приводит в смятение Дон Кихота.

А Рыцарь Зеркал спокойно, уверенно, словно О'Брайен из внутренней партии (об этой замечательной сцене из романа Орвелла "1984" я уже говорил) объясняет дурачку Дон Кихоту, натыкающемуся, куда бы он ни бросился, на свое отражение:

– Смотри, Дон Кихот! Смотри в зеркало действительности! Пора уже тебе увидеть вещи такими, как они есть. Ну, что ты видишь, Дон Кихот? Отважного рыцаря? Нет, ты видишь беззащитного стареющего дурака. (Дон Кихот отворачивается и тут же видит себя в другом зеркале.) Ну, видишь этого ограбленного, раздетого, раздавленного безумца? (Дон Кихот пытается уйти и снова натыкается на другое зеркало.) Смотри на Дон Кихота! Ты видишь его таким, каков он на самом деле. Смотри, шут! (Дон Кихот отворачивается, но зеркала следуют за ним с трех сторон.) Всмотрись получше, всмотрись! Научная система простых зеркал говорит тебе правду: ты окутан самим собой, как плотным туманом. Ты видишь отовсюду только себя самого, свои мечты, свои иллюзии – и ничего больше! (Дон Кихот падает на колени.) Смотри, смотри в эти зеркала, тебе некуда от них отвернуться! Признайся же, что твоя дама – потаскуха, а мечты твои – бред!

Окутаны собой, словно плотным туманом, и добрые и злые люди. Но черные иллюзии ненавистнического взгляда на мир и людей имеют особую плотность и ядовитость; их очень трудно рассеять. Кихотические иллюзии и впрямь содержат куда меньше земного, они сотканы не из черного пепла и серой пыли и улетучиваются легче: ведь изначально они не от мира сего.

Дон Кихот Вассермана не выдержал зеркал действительности.

Он еще бормочет, что он странствующий рыцарь, что его дама – Дульсинея. Но он сражен.

Тюрьма между тем напоминает о себе. Капитан инквизиции велит Сервантесу готовиться к допросу, после которого он уже не вернется в камеру.

Спектакль Сервантеса тоже окончен: Дон Кихот не сдался, он не признал действительности, но он увидел себя со стороны и побежден этим, новым для себя, однако своим собственным взглядом на вещи. Он сражен скорбью и бессмыслицей.

Однако вожаку не нравится конец защитительного представления. Он заявляет, что сожжет рукопись Сервантеса.

И Сервантес под давлением страха за свою рукопись, не желая обмануть надежд несчастных на лучший финал, решает импровизировать; характер его импровизации в сущности предопределен, но это именно и придает художественную убедительность развязке.

Сервантес не ждет для себя на допросе и суде ничего хорошего, – и он импровизирует смерть.

Однако зрители (они же участники представления) вовсе не хотят, чтобы он умер: им нравится этот чудак.

Значит, можно предположить, что кихотизм в какой-то мере заразил их.

И в пьесе Вассермана Дон Кихот Побежденный в буквальном смысле перестает быть собой: он забывает свое прошлое.

Человек из Ламанчи забыл кто он такой. Приходит Санчо и тайком от близких напевает дону Алонсо Кихане:

За словом – слово,
И все пройдет.
Ах, если б снова
Нам пойти в поход.
Пусть нет чудовищ, –
Но ведь кто-то есть,
Раз всюду гадов
Столько, что не счесть...

Но ничего не помогает до тех пор, пока к Дон Кихоту не приходит Дульсинея, которая отныне не хочет быть Альдонсой; как некогда Дон Кихот отказался от прежнего имени, Альдонса теперь требует, чтобы ее звали Дульсинеей.

– Вы дали обет сражаться, не думая, победите вы или будете побеждены. Главное – исполнять обет.

По просьбе дона Алонсо она напоминает слова:

Мечтать – пусть нелепа мечта.
Бороться, когда побежден...

И Дон Кихот встает, опоминаясь, вспоминая, кто он в действительности, а не в отражении простого зеркала:

Я иду, ибо кто-нибудь должен идти,
Честь и правда – удача моя.
Остальное не трудно на свете найти.
Остального не требую я!

Дон Кихот умирает.

Люди в камере возвращают писателю рукопись.

Сервантеса уводят тюремщики.

Заключенные поют вслед Сервантесу рыцарский обет Дон Кихота.

Зачем Дон Кихот нужен высшим животным Господа Бога?

В спектакле театра им. Маяковского сверху опускалась огромная решетка, отгораживавшая сцену от зрительного зала, и заключенные, поющие донкихотскую песню, медленно карабкались вверх, – карабкались упрямо, безнадежно и при этом самозабвенно пели:

Усилием доброй надежды
Душа человека живет!

Финал спектакля выглядел саркастическим парадоксом, напоминавшим жестокий рассказ Короленки о калеке, который писал на песке палочкой, зажатой в пальцах ноги:

"Человек создан для счастья, как птица для полета".

Такой финал был естественен: ведь не куда-нибудь, а в тюрьму инквизиции принес Сервантес знание о свободе выбора самого себя.

Свобода неделима. Противопоставление внутренней и внешней свободы призрачно. Любой отрезок жизни может быть наполнен напряжением веры, выбора, борьбы, – осуществлением той свободы, которая есть свойство человеческого духа.

Еще до того, как состоялась постановка спектакля, у меня произошел спор со вторым режиссером. Ему не нравился финал пьесы. Его поколение тяготело к иронии, ибо жило не с верой в идеологию, а оглядываясь прежде всего на "зеркало действительности".

– У этих американцев получился наш соцреализм. Жизнеутверждающий финал в тюремном подземелье. Какая-то колхозная свадьба... Нужна другая краска, – ирония, тоска...

Но Гончаров тут оказался на стороне текста пьесы и моей.

– Финала менять нельзя, – сказал он. – Эта пьеса не имеет смысла без такого финала. Люди хотят быть Дон Кихотами в условиях, когда и жить-то нельзя.

Гончаров рассудил совершенно так же, как узники в вассермановской пьесе.

Как я уже говорил, узники лезли вверх по решетке. Путь этот никуда не вел. Но все, в частности, и духовное преображение людей происходит только попутно.

Дон Кихот начала тридцатых годов, чулковский, был философическим рыцарем; тоже Дон Кихотом идеи, только другой идеи, был Дон Кихот Булгакова.

Когда времена внутренних и внешних войн как будто бы прошли, появился Дон Кихот сердца, – шварцевский Рыцарь Бедный. Эту же традицию продолжил Человек из Ламанчи – рыцарь порыва сердечного и одинокого подвига.

В ту пору, когда надо было сдавать спектакль начальству, стало вдруг особенно модно бороться с "абстрактным гуманизмом". В пьесе Вассермана со стихами Дэриона ничего, кроме этого "абстрактного гуманизма", и не было. Я беспокоился за судьбу спектакля.

Во время демонстрации "Человека из Ламанчи" Управлению театров Моссовета, так называемой "сдачи" спектакля, в огромном, темном, полупустом зале, заполненном – в некотором смысле это похоже на "открытые" наши суды по политическим делам – доверенными людьми из разных руководящих инстанций, я выбрал себе экспериментального зрителя. То был высокий, статный, седовласый, высоколобый мужчина; лицо у него было нервное, почти интеллигентное, непохожее на невыразительные, словно отекшие от долговременного и недвижного пребывания в разных президиумах физиономии должностных начальственных персон. На все, происходившее на сцене, он реагировал искренне и с полным пониманием: улыбался, где надо было – весело, где надо было – горько, по-

рой смеялся про себя; довольно быстро он впал в задумчивость, положив подбородок на ладонь руки, опертой локтем о поручень кресла. Лицо его выражало то напряжение соучастия, живого понимания, которое всякому исполнителю видеть дорого. Кто это, я не знал, потому что оба мы сидели в пустой и темной части зала, каждый в своем одиночестве, и спросить мне было не у кого.

"Человек этот все отлично понимает, – подумал я. – Понимает, что вооруженная фантазия приносит катастрофы; что лучше спятить с ума на том, что ты чайник, нежели вообразить себя борцом за правду; понимает, что Гончаров совершенно сознательно расположил Дон Кихота в мизансцене, напоминающей распятие Христово; до этого зрителя спектакль, что называется, "дошел", – и , стало быть, этот человек видит и понимает, что данный спектакль нашей партии совершенно не нужен. Телегу катить на этот спектакль он, скорее всего, не станет. А вот разрешил бы он его, если бы от него лично зависело?

Для меня было полнейшим – и неприятным! – сюрпризом, что этот человек оказался начальником Управления театров; теперь в управленческом кабинете за столом его красивое лицо было непроницаемо председательственно, а уголки губ сжаты, как мне показалось, даже несколько брезгливо.

Начались выступления.

Я все ждал, кто же донесет на наш абстрактный гуманизм. Инспектора управления театров, товарищи из обоих Министерств культуры (РСФСР и СССР) спектакль хвалили: хвалили за праздничность, за содержательность, за то, что театр показал новые возможности (много пели, много танцевали). Наконец, слово взяла дама с медальным профилем и в длинной заграничной мохнатой кофте (тогда в моду такие только еще входили). Она сказала голосом, не оставлявшим никакой надежды:

– Пьеса американского автора, поставленная театром им. Маяковского, проникнута буржуазным абстрактным гуманизмом.

"Началось", – подумал я. По опыту собраний, на которых меня выгоняли из школы за подписантство, я знал, что для всякого такого дела нужен запевала.

– Режиссура Гончарова полностью нейтрализовала этот главный недостаток пьесы, переакцентировала ее. Спектакль получился нужный, боевой, исторически-конкретный. В спектакле показано, как церковники преследовали гуманиста Сервантеса. Показано, что народ, простые люди, понимали и сочувствовали его гуманистическим идеям...

И еще что-то в этом же роде говорила эта партийная женщина с медальным лицом, для кого-то "единственно дорогим во вселенной".

Во время перерыва я подошел к одной очень давней своей знакомой, инспектору Управления театров.

В прежнее время в городах бывали свои "городские сумасшедшие". У нас в больших государственных учреждениях тоже иногда допускают существование человека со странностями, с отклонениями от общебюрократической нормы. Такой человек обычно хорошо работает и тем поле-

зен. Моя знакомая как раз и занимала уже очень много лет необъявленную должность человека увлекающегося, даже со странностями, но чувствующего театр и обычно не принимающего фольгу за золото, разумеется, не принимающего в пределах дозволенного.

– В спектакле этого "абстрактного гуманизма" навалом, – сказал я ей. – Объясни мне, в чем дело. Они что, не заметили этого? Почему все хвалят спектакль?

– Заметили, отчего же не заметить, – отвечала мне собеседница. – Спектакль понравился, а за живое их не задел.

– А "Три сестры" Эфроса? – спросил я.

– "Три сестры" не понравились, потому что сильно задели за живое. Но я должна тебе сказать, что лично я считаю этот спектакль художественно несовершенным.

Этот спектакль Эфроса по чеховской пьесе ругательски обругало все начальство, включая Фурцеву, тогдашнего министра культуры. Собеседница моя по штату – и даже с поправкой на ее особый статус в Управлении – психологически не могла себе позволить другого отношения к спектаклю Эфроса; в своих "Трех сестрах" Эфрос показал Чехова, о котором я, например, и понятия не имел: жесткого до жестокости аналитика, открывавшего неказистую подоплеку многих, на первый взгляд красивых душевных движений. К такому Чехову у нас не привыкли. Он считался тонким лириком и обличителем мещанства.

И вдруг такой антимхатовский, стало быть, античеховский спектакль!

В результате "Трех сестер" сняли, а Эфрос на время оказался в опале.

Что же до "Человека из Ламанчи", то были приняты особые меры, чтобы он никого из начальства не задел за живое: на первых спектаклях, где ожидалась разная начальственная публика, актеру, игравшему Герцога, было предложено смягчить диалоги, т.е. возражать Дон Кихоту невыразительно, так, чтобы именитые зрители, знавшие исполнителя, обращали внимание не на смысл его слов, а спрашивали потом Гончарова:

– Что же это Ромашин сегодня такой вялый? –

и получали в ответ:

– Он у нас еще не разыгрался.

Начальника Управления все эти уловки, судя по его реакциям во время спектакля, не обманули. Коротко подытоживая сказанное до него (он, как положено, выступал последним), начальник о содержании спектакля не проронил ни слова. Он сказал только, что спектакль, возможно, станет событием нашей театральной жизни (так это и вышло), что он перегружен театральными "красивостями" и потому несколько эклектичен.

Спектакль разрешили.

В течение всех десяти лет, которые он идет на сцене, на него аншлаги. Видимо, зрителей он задевает за живое до сих пор.

В этом нет ничего удивительного: такой наш советский непростой человек, как хозяин Румынии Чаушеску захотел, как я слышал, посмотреть по приезде своем в США именно мюзикл "Человек из Ламанчи".

Но и у такого совсем уж не советского деятеля, как Ричард Никсон, к "Человеку из Ламанчи" было особое отношение.

Когда Никсон приезжал в Москву, его должны были приветствовать концертом. Мне позвонил один известный у нас певец и попросил английский и русский тексты донкихотского рыцарского обета. Артист мне объяснил, что президент США очень любит эту песню, и было решено ее исполнить на приветственном концерте; однако, издания пьесы Д. Вассермана нигде в библиотеках нет, вот он и просит меня помочь, если я в силах.

– Про что хоть этот обет, – спросил меня артист по телефону. – В чем там соль?

– Станет людям светлей оттого,
Что чудак, побежденный везде,
Когда опускаются руки,
Тянулся к далекой звезде, – вот в чем, пожалуй.

– Понятно! То-то, рассказывают, эта песня до слез его доводит, даже жена, говорят, плачет. "Тянуться к далекой звезде". Он сколько раз выставлял себя на президентские выборы, – и проваливался. Он рук не опускал – добивался своего и добился.

Тексты артист получил; не знаю, пел ли он обет Дон Кихота на встрече Никсона.

Спектакль имел "хорошую прессу", – но поставили его только три театра: два драматических и один музыкальный.

Музыкальные театры не ставят у нас "Человека из Ламанчи", потому что жанр мюзикла вообще не про них: эти театры представляют собой странную помесь прежней оперетты, которую нынешние актеры уже разучились играть, и посредственной оперы. Актеры музыкальных театров пытаются изобразить, будто двигаются по сцене красиво, а петь стараются в статуарных оперных позах и в оперной манере. В драматических же театрах актеры не умеют петь и танцевать. Гончаров в своем театре действительно совершил уникальную и трудную работу.[2]

Но куда больше, чем положительные рецензии, меня порадовал звонок бывшего директора школы, где я работал. Этот человек был теперь большим начальником: управлял отделом науки в Министерстве просвещения. Он позвонил мне и сказал, что от спектакля в восторге.

– Вообще весь спектакль про Сахарова! – воскликнул он совсем по-мальчишески: ведь разговор-то наш, скорее всего, прослушивался; зачем же ему при его должности было высказывать крамольнику сочувствие?..

– Про донкихотство или про героизм? – спросил я, не удержавшись от искушения; в конце концов я не так уж подводил собеседника: ему ничего не стоило ответить что-нибудь туманное.

– В зеркале действительности донкихотство и героизм в наше время отражаются как одно и то же. – Тут он опомнился и сказал: – Вообще это не телефонный разговор.

Вполне можно себе представить, что какой-нибудь Самсон Самсонович Караскин, член-корреспондент АН СССР по общественной линии, теперь,

почти десятилетие спустя, может обратиться к Сахарову в Горьком с аналогичным герцогскому увещеванием; но где он в Горьком найдет нужные зеркала?

Лица охранников отражают лишь злостного поднадзорного; лица уличных встречных, скорее всего, ничего не отражают. К сожалению, я не вижу в этой стране "зеркала действительности", которое могло бы отразить фигуру Праведника таких масштабов во весь рост.

Я не утверждаю, что это отражение было бы непременно апологетическим. Но зеркала нет; действительность раздроблена; вместо нее – осколки зеркала и зловещее зазеркалье...

Впрочем, ощущение моего бывшего директора, что апофеоз Дон Кихота, каким стал этот спектакль, – в то же время отражение нашего Рыцаря Прав Человека в "зеркале сцены" было верным и, главное, симптоматичным.

Ведь мой бывший директор отнюдь не был наивным идеалистом. Скорее наоборот, – он сознательно и энергично делал себе карьеру, многого добился, добился бы еще большего, – если бы судьба (так люди щелчком убивают муху) не уничтожила этого человека, – лыжника, подводного охотника, покорителя горных вершин и женских сердец, прямотаки олицетворявшего представления о настоящем мужчине. Несомненно, что инфаркт, который его прикончил, был подготовлен пребыванием в Освенциме: молодой человек, добровольцем отправившийся на фронт, попал в плен, из этого плена дважды бежал и был пойман. После первого побега его посадили в штрафной лагерь, он бежал и оттуда. И это был безумный побег, потому что лагерь был в Германии. Но бывший танкист надеялся добраться до польских партизан. Его поймали и отправили в Освенцим. А уж там жизнь сделала все, чтобы лишить его всяческих иллюзий насчет человеческой природы. И тем не менее он, давно уже не склонный к кихопатическим поступкам, оценил "высокую болезнь" Дон Кихота, которого назвал "Сахаровым": может быть, он вспомнил собственную нерасчетливую молодость...

После завершения работы над пьесой "Человек из Ламанчи" я и заинтересовался судьбой кихотизма в России. Сервантес с его Дон Кихотом привлекали меня и прежде: в 1966 г. я написал юбилейный очерк о Сервантесе для журнала "Семья и школа".[3] Но самую тему кихотизма я почувствовал еще в 1959 г. в ростановской пьесе "Сирано де Бержерак", перевод которой мне заказал театр-студия "Современник". Нелепое положение Сирано, в котором он оказался из-за своего исключительного благородства, непризнанность, одиночество, его поэтический дар, преобразивший Роксану, – все это вызвало желание у меня добиться того, чтобы этот человек и поэт не просто по-новому, а по-моему начал существовать в русской литературе.

Для меня и, может быть, не для одного меня, Сирано де Бержерак стал Дон Кихотом середины шестидесятых годов.

В предсмертном монологе Сирано де Бержерак, непобежденный поэт, и впрямь стал Дон Кихотом, сражающимся с чудовищами.

Я даже отдал Сирано – увы, без согласия мэтра Ростана, – собственные тюремные стихи.

В 43-й камере ленинградской психарни я в припадке тоски по поводу своего туманного, темного, зловещего будущего начал стихотворение:

Я умру, как солдат
Впрочем, нет, –
Я умру, как поэт.
А у нас научиться нетрудно
Премудрости этой.
От тюрьмы или пули,
От прочих непрошенных бед, –
Словом, так, как в России
Всегда умирали поэты.
И когда над землею зажжется рассвет...

На этом стихи обрывались. Когда я вышел на волю, я не знал, что же будет, "когда над землею зажжется рассвет".

Я кончил институт, начал преподавать в школе литературу, – а что произойдет, "когда над землею зажжется рассвет", – так все и не знал.

Когда я писал предсмертный монолог Сирано, выяснилось, наконец, что же произойдет после этой строчки про то, "когда над землею зажжется рассвет".

Разумеется, первым строчкам пришлось чуть-чуть подрезать жилушки, они звучали теперь так:

... Я умру, как солдат.
Впрочем, нет,
Я умру, как поэт, –
А у нас научиться нетрудно
Премудрости этой.
От тоски или яда,
От прочих непрошенных бед, –
Словом, так, как на свете
Всегда умирали поэты.
И когда над землею зажжется рассвет...
А, пришла!
Нет, курносая!
Встречу тебя только стоя!
Что, пустое?
Со смертью сражаться не стоит?
Не осилить последнего зла?
Глупо? Дьявольски глупо?!
Но логикой этой железной
Вы не сможете всю
Неразумность мою обуздать.
Бесполезный поступок?
Нет, более чем полезный:

Бесполезный настолько,
Что может и подвигом стать!
О, что за полчище? Мои враги – пороки!
Вы – смерти родичи! И будет бой жестоким!
Бесчеловечность – на! Вот – ложь!
Вот – компромисс! На – трусость! Дважды!
Трижды!
А, подлость, ты мне ноги лижешь!
А ты, предательство, исподтишка ползешь!
Да, я победы не увижу,
И буду вами я сражен...
Но нет, еще держусь пока я!
Бить веку вашему поклон...
Не кланяюсь я и не каюсь!
Дерусь, дерусь, выигрываю бой!
Что враг отнимет? Славу? Жизнь? Ну, что же –
Я человек, останусь я собой.
Вовек нетленно то, что мне дороже:
Моя душа.
Мой меч.
Моя любовь, –
И сила пронести, куда бы я ни шел,
Ошейник свой и вместе – ореол! [4]

У мэтра Ростана был "рыцарский султан", однако, на русской почве он раздвоился на ошейник каторжника, прикованного к своему человеческому долгу, и на ореол, который пытаются создать вокруг этих лишенных контактов с реальностью недотеп, другие такие же недотепы.

С той поры я и сделался соавтором чужих текстов, чаще всего поэтических.

Это не значит, что я перестал быть автором собственных стихов. Но представить себе деревянный, как карандаш, указующий редакторский перст, становящийся "перстом судьбы" для моих строчек, я не то, чтобы не мог – представить себе это я мог, – но уж больно рвотная выходила картина.

Кроме того, я не любил (и не люблю) поэтов, которые, оскопляя свой жизненный опыт, избегают "преходящих" реалий века сего из боязни, что вместе с этим "преходящим" забудутся и стихи.

Я не чувствую себя вправе игнорировать такие занозы в небе, как лагерные вышки.

Это отодвинуло меня в положение одиночества.

Выполнив работу для театра им. Маяковского, я получил заказ от Театрального общества написать статью о пьесе Д. Вассермана; тут я и решил детально выяснить, какова же была судьба Дон Кихота в России. Открывшиеся перспективы оказались увлекательными. Стала возникать эта книга.

По дороге ей суждено было споткнуться о мой инфаркт. Я получил его в кабинете следователя во время допроса в Московской прокуратуре в 1975 г. Дня за два до этого допроса меня удивили странные боли в груди; но следователь вывел эти боли на чистую воду, – произошел инфаркт, после чего стало ясно, что боли в груди были приступами стенокардии. Следователь, впрочем, был спокоен, вполне корректен и хотел вывести на чистую воду не мою стенокардию, а меня: ему казалось, что я сотрудничал в журнале "Евреи в СССР". Не знаю, удалось ли мне рассеять его иллюзии.

Инфаркт оказался тяжелым. Книга замедлилась. Тем временем в газетах появлялись все новые и новые упоминания о Рыцаре Печального Образа: спектакль "Человек из Ламанчи" открыл, можно сказать, время его триумфа.

Рыцарь Печального Образа оказался даже фаворитом общесоюзной "Комсомольской правды". В этой газете была напечатана рецензия на "Человека из Ламанчи", но ни о какой комсомольской "революционности" Дон Кихота речи вовсе не шло. Автор подчеркивал лишь человеческое отличие Рыцаря Бедного от других, до известной степени повторяя суждение Луначарского, что Дон Кихот кажется чудаком, ибо родился слишком рано.

Отец Константина Щербакова, автора этой статьи, был одним из командармов в большой внутренней войне за унасекомливание человека, а потом, во время внешней войны с нацистами, сделался Начальником Политического Управления Советской Армии. Косте Щербакову досталось бы от отца за эту статью, будь отец его жив. Но от А.С. Щербакова остался прах в урне, Щербаковский район в Москве и упоминания историков, – весьма нелестные с одной стороны и вполне апологетические с другой.

Успех "Человека из Ламанчи" был показателем популярности кихотизма как идеи в нашем образованном обществе. В прессе замелькали персонажи вроде "Дон Кихота из СМУ" (Строительно-Монтажного Управления) или "Инженера Печального Образа".

Все эти "Дон Кихоты" отнюдь не пытались сдвинуть горы; они добросовестно и увлеченно старались делать свое дело, – однако на фоне равнодушия или своекорыстного сообщничества самая их добросовестность оказывалась "донкихотством".

О таком Дон Кихоте из Строительного треста Владимир Войнович написал рассказ "Хочу быть честным", впоследствии инсценированный. Герой рассказа, прораб, оказывается в положении кихотического одиночества, ибо его заразила мечта, "непостижная уму", – мечта, сдавая объект, обойтись без жульничества, без недоделок и приписок.

Прораб "Печального Образа" терпит фиаско.

Общество, связанное способом круговой поруки, не только не способно на какие-либо реформистские импульсы; оно неспособно разумно сорганизоваться даже в мелочах (если только это не очередь за "дефицитом"). Разум, нужный даже для совместной охоты, тем не менее противо-

показан мафиозной задушевной сплоченности.

Бессильные породить что-нибудь разумное, приблатненные сообщества легко генерируют бредовые мифы; эти мифы, конструируя общего врага, смягчают жестокость и недоверие сообщников друг к другу. В России давним и щедрым источником такой мифологии является "сиономасонство", с которым борются разнообразные русские богатыри. Приглашение к наблюдению за схваткой и даже к участию в ней дает выход скуке и ненависти, скопившейся в душе человека мафиозной толпы.

В условиях такого социопсихологического комплекса никакие реформы пока невозможны, никакая "положительная программа" немыслима, зато люди, работающие добросовестно и с полной отдачей, попадают в "Дон Кихоты".

В "Литературной газете" за 1979 г. (от 11 июля) есть рецензия Ю. Рыбакова "Дон Кихот из СМУ", где Дон Кихот – советский строитель – уже даже и не хочет быть честным в отличие от своего предшественника из рассказа Войновича. Этот "Дон Кихот", герой пьесы М. Гельмана "Мы, нижеподписавшиеся", добивается того, чтобы комиссия приняла объект – хлебозавод – с недоделками. Завод уже работает, людям в поселке нужен хлеб...

Что же это за Дон Кихот? Кто он, – немыслимый Рыцарь Круговой Поруки (взамен Круглого стола)? Или это Рыцарь идеи помочь людям, чтобы у них свежий хлеб был? Судя по пьесе, этот "Дон Кихот из СМУ", – человек добрый, он не посягает на право людей иметь хороший хлеб, в противоположность посягающему на мельницы Дон Кихоту. Но не посягает ли автор статьи на кихотизм? Ведь его Дон Кихот – Рыцарь добродетельного обмана, в конечном счете – всеобъемлющей тоталитарной задушевности.

Едва ли Дон Кихоту такое бытие по плечу: круговая порука замыкает человека на самом себе и мешает рыцарскому странствию.

Поэтому прагматики, "сторонники дел, которые надо делать", как один из них объяснил себя в разговоре со мной, редко поднимаются до кихотизма. Зато их часто стараются представить Дон Кихотами: человек принципа – хоть бы и производственного – явление редкое по сравнению с большинством, чьи взгляды и поведение сугубо ситуационны.

В конце пятидесятых годов – в начале шестидесятых люди, не так много их, впрочем, и было, почувствовали, что социальное одиночество и надежней, и даже как-то уютней, чем сталинская сплоченность с ее хоровым ревом коллективов. Само государство дало своему гражданину моральное право на одиночество, ибо, обвинив Сталина, осудило и себя. Стали модными одинокие песни под гитару и в их числе – предупреждающая песенка Булата Окуджавы о бумажном солдатике, который

"...переделать мир хотел ,
чтоб был счастливым каждый ,
а сам на ниточке висел:
ведь был солдат бумажный".

Участь "бумажного солдатика" была печальной: "он все просил: 'Огня! Огня!' – забыв, что он бумажный"; мечта его исполнилась, он шагнул в огонь, – и сгорел. "Погорел", – сказали мы, переводя эту метафору на язык приблатненной реальности. "Огонь" – общеупотребительное метафорическое сокращение словосочетаний "пламя войны", "пламя борьбы". Но кто же такой "бумажный солдатик"? Каждый из нас в той мере, в какой он, не щадя себя, надеется на свое участие в великих делах? Революционер прошлого, мечтавший пересоздать человека и мир, забывший о неизреченной хрупкости человека по самой его природе и погибший на Колыме? Диссидент (впрочем, в то время, когда Окуджава написал эту песенку, диссидентов еще так не называли), дерзко кихотирующий одиночка с его картонными латами, обклеенными серебряной фольгой?

Образ получился многозначным и зловещим. Однако тот же Окуджава (впрочем, до "Бумажного солдатика") написал вполне "ортодоксальное" стихотворение.

В этом стихотворении Дон Кихот

> "... не в доспехах и не со шпагой,
> а в потертом своем пиджаке".[5]

Дон Кихота "переодевали" и другие поэты; словно бессознательно следуя старинным западно-европейским живописцам, изображавшим участников евангельских сцен в современных живописцам костюмах, советские поэты одевали Дон Кихота в современное платье. У Леонида Первомайского поэт Михаил Светлов – это

> "... дон Алонсо в месторговской кепке и потрепанном пиджаке".[6]

У Евгения Долматовского ("Романс о Дон Кихоте", "Литературная газета" от 1 октября 1980 г.) Дон Кихот одет "танкистом и пилотом", а Санчо Панса "в экипаже за стрелка", и оба они на стороне республиканцев сражаются с франкистами во время гражданской войны в Испании.

В стихотворении И. Глинского "Встреча"[7] Дон Кихот оказывается в кавалерийской шинели времен российской гражданской войны и, по-видимому, в рядах красной конницы. За что же боролся Дон Кихот советских поэтов послесталинской поры, поры почти официального триумфа Рыцаря Бедного?

Отнюдь не обязательно за марксистско-ленинский идеал, как у Первомайского или Долматовского.

Украинский поэт Борис Олейник пишет, что "если б не было Дон Кихотов, жизни не было б на земле", – и литературный критик П. Ульяшев приветствует эту оценку. Споря со "здравым смыслом", "трезвым взглядом", "Дон Кихот" Б. Олейника следует Добру, Дерзанью, Жажде знанья. Поэт таким образом снимает упрек Белинского Дон Кихоту, что Рыцарь Бедный – изувер: изуверы новых знаний не жаждут.[8]

Дон Кихот ленинградского поэта Кушнера – это прежде всего борец со всеобщим злом и потому Кушнер его не переодевает для той или иной

операции в русской или испанской гражданских войнах; он зовет на помощь того Дон Кихота, который, может быть, никого не победил, но и не оказался уничтоженным своей верой в Сталина или Маркса:

Спросите, каждый скажет,
Встречавшийся со злом:
Оно тенями машет,
Как мельничным крылом.

Ты видишь, мы не сдали!
И все же, Дон Кихот,
На помощь! Мы устали –
А зло не устает.[9]

В этом стихотворении Дон Кихот реабилитирован за свое нападение на мельницы. Поэт согласился с рыцарем: зло машет тенями, как мельничными крыльями, и только непосвященные принимают это за мельницу.

Вполне определенны этически (при политической их неопределенности) цели Дон Кихота в стихотворении Ю. Друниной. В ее стихотворении "Кто говорит, что умер Дон Кихот?"[10] Рыцарь Печального Образа, не переодетый в пиджак и кепку, отправляется в свой поход, чьи цели, как и подобает странствующему рыцарю, не предопределены заранее: они только попутны.

Для С. Маршака именно Дон Кихот вводит молодого человека в мир, и вслед за

"тощим длинноногим рыцарем"
"навек мы покидаем отчий дом".[11]

Все эти Дон Кихоты – респектабельные Рыцари на уровне мировых гуманистических стандартов; в стихах Друниной, Кушнера, Маршака, Олейника понятие "правды", "человечности", "справедливости" существуют (или подразумеваются) как внеполитические, внеклассовые и общечеловеческие.

В этом сказалась реакция поэтов на приевшиеся идеологические штампы. Дон Кихот воистину оказался Рыцарем Освобождающим. Стремление обособиться ото всех, – и от воинского подразделения, и от мирного коллектива, стремление быть в одиночестве самим собой и совершать свои собственные поступки, – эта общечеловеческая тенденция, пусть слабая, но все же возникшая после того, как сталинские войны за унасекомливание людей поглотили гигантское число жертв, нашла свое выражение в поэзии, – в частности, в апологетических стихах о Дон Кихоте.

Конечно, подцензурным поэтам можно было "перевоплотиться" в Дон Кихота лишь до известного предела, – до предела, пока разумная обособленность не сделается крамольным отщепенством. Поэтому подцензурный Дон Кихот был обтекаемым, благообразным, а в иных трансформациях от него попросту ничего не оставалось, кроме имени. Разумеется, и в этих случаях Дон Кихот оставался "именем-притчей"; но прит-

ча была уже не о Насилии, Зле и Добре, а о людях, забывших различие между этими понятиями. Такими были Дон Кихоты шинельного сукна, скроенные Е. Долматовским.

Пределом бессмыслицы в "переосмыслении" Дон Кихота был Дон Кихот из упомянутого уже стихотворения "Встреча" Ильи Глинского. И. Глинский – поэт-врач, занимавшийся, в частности, и хирургией, трансплантировал Дон Кихота в чуждую ему, если верить Луначарскому, среду: на съезд в качестве делегата. На съезде к Дон Кихоту "в кавалерийской шинели" подошел сам Ильич; хотя его и "окликали то и дело", чтоб он поговорил "про транспорт, про нефть, про зерно", Вождь подошел к Дон Кихоту и сказал, "в уголочек тесня":

– До чего довела нас Антанта,
Если бросила вас на коня...
Дульсинее привет от меня,
И кормите сытней Россинанта! *

Рыцарь Печального Образа в ходе операции над ним поэта И. Глинского, совершенно лишился смысла: Дон Кихот не может быть "делегатом" и уж тем более мчаться на врага в чьих-нибудь рядах. Никакая "Антанта" не может Рыцаря "бросить на коня": Дон Кихот безумствует лишь по собственному усмотрению. Отношение Ленина к Дон Кихоту Полтавскому и другим таким же было совершенно иным, чем изобразил это Глинский, внесший свою лепту в миф о Ленине. У Глинского одним из лучей обожествленного Ильича стало благожелательное отношение к Дон Кихоту. Без этого Ленин не светился бы так, как требовала того нимбическая мода семидесятых годов. А это показывает, хоть и в чудовищно искажающем зеркале, что репутация Рыцаря Бедного была на высоте. Даже официозно чувствующие деятели нашей культуры пытались освоить притчу о Дон Кихоте.

Эти попытки в триумфальной симфонии Дон Кихота были резкими призвуками маразма, как это и видно по стихам Долматовского с его Санчо – стрелком-радистом и Глинского с его Рыцарем Бедным, делегатом съезда.

Но такова судьба всякой мифологемы – жить в самых разнообразных, в том числе и пародийных интерпретациях.

Представление о Михаиле Светлове, признанном, прославленном и вполне ручном советском романтике, как о Дон Кихоте советской поэзии кажется мне столь же пародийным; однако самая попытка наградить Светлова "донкихотским" рыцарским званием (особенно упорно это пытался сделать Э. Цурюпа в книге "Бессмертие Дон Кихота") показывает престижность имени-притчи.

---

* На это стихотворение указал мне И.Б.; пользуюсь случаем поблагодарить его за это, и за другие материалы советской прессы, и, главное, словарей, на которые он обратил мое внимание или предоставил мне. – *Ю.А.*

Хотя на уровне общественности почва у нас еще скользкая, ледяная, так что копыта Россинанта на ней неуклюже разъезжаются, а бедных Дон Кихотов добровольцы из народа норовят вышибить из седла, закидать всякой дрянью, дать срок за что-нибудь и во что бы то ни стало, – или за спекуляцию иконами, или за упрямое желание познакомиться с действительным архивом Рыцарей Круглого стола, а не с антирыцарскими произведениями Госполитиздата, – все-таки признание Дон Кихота как идеи состоялось. Между тем будущее нации или во всяком случае оптимальные возможности этого будущего возникают в сфере творчества, в сфере культуры еще до того, как возможности эти реализуются в обнадеживающих или, наоборот, безнадежных событиях. До тех пор, пока в заоблачных высях над Россией будет странствовать Дон Кихот традиционной нашей мифологемы, всегда можно будет надеяться, что и на земле кихотизм окажется в большей безопасности ото всякого рода шемякиных судов и пересудов, чем он был до сих пор. Зрителям донкихотовских скандалов тоже от этого будет только лучше.

Даже в годы большого террора у Дон Кихота Булгакова, как мы видели, нашлись защитники. Подцензурно триумфирующий Дон Кихот не смог бы состояться, если бы не было даже в цензуре людей, сочувствующих ему или во всяком случае не враждебных.

Разрешен был, впрочем, только борец за правду. Дон Кихот-демиург остался еще под запретом: "герметическая" поэзия была нестерпимым человеческим отличием.

Однако цензура не всевластна, – еще Гейне обратил внимание просвещенных читателей, что ее возможности ограничивает ее же собственная дурость.

Стихотворение Павла Антокольского – тому пример.

Павел Антокольский был поэтом театральной, декоративной романтики. Но, следуя песне, "Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка", он умел направить всю свою экспрессию к этой высокой цели, давя врагов по дороге: художник должен, – писал Антокольский в стихотворении "Ненависть", опубликованном в годы "ежовщины", – вникнуть в

Прямую речь прямых улик,
Чтоб о любой повадке волчьей
Художник мог сказать стране,
И если враг проходит молча,
Иль жмется где-нибудь к стене,
Или с достоинством приличным
Усердно голосует "за",
Еще не пойманный с поличным,
Еще не названный в глаза, –
Чтобы от стихов, как от облавы,
Он побежал, не чуя ног,
И рухнул на землю без славы,
И скрыть отчаянья не мог![12]

Пушкин когда-то "милость к падшим призывал", – Антокольский же, большой любитель Пушкина, явно собирался призывать к своей загнанной жертве конвоира с ружьем. Стихи у экспрессивного поэта превратились в стаю гончих псов, умеющих унюхать, кого именно из ни в чем не повинных надлежит преследовать. При столь убийственной бдительности непонятно, зачем было Антокольскому вникать в "прямую речь прямых улик".

Такого рода стихи в тридцатые годы были симптоматичны для многих поэтов, заболевших хроническим страхом, сублимированным в энтузиастическое верноподданничество.

За десять лет до 1937 г. Антокольский написал стихотворение "Дон Кихот"; в 1958 г. поэт создал новый вариант этого стихотворения. От одного своего Дон Кихота к другому поэт прошел, как у нас говорят, если хотят умолчать о чем-нибудь компрометирующем, "сложный творческий путь". На этом пути случалось, что он писал и хорошие стихи.

Но не из их числа было ходившее в самиздате конца пятидесятых годов стихотворение, в котором поэт, сокрушаясь над судьбами своего поколения, призывал потомков клеймить всех его представителей "одинаково, как равных". Уравниловка тут была ни к чему: среди ровесников Антокольского были и порядочные люди.

Критик Л. Левин, знавший Павла Антокольского, упростил и сгладил "сложный творческий путь" поэта от раннего Дон Кихота к позднему; такие стихи Антокольского как "Ненависть" в очерке Л. Левина об Антокольском (1966 г.) никакого объяснения не нашли.

Л. Левин так сопоставил два стихотворения Антокольского "Дон Кихот" (первый вариант был опубликован в "Третьей книге" поэта в 1927 г., второй – в книге стихов "Мастерская" в 1958 г.):

> "В 'Мастерской' Антокольский возвращается к стихотворению 'Дон Кихот', впервые напечатанному тридцать лет назад. В сущности он пишет его заново, сохраняя лишь стихотворный размер и несколько старых строк. Но любопытно, что теперь поэт видит в образе Дон Кихота то, чего не видел прежде: мужество, энергию, стремление к правде. 'Только одно напоследок осталось мужество у ветерана' – эти строки недаром дважды повторяются в новой редакции стихотворения. Но особенно любопытно другое. В старой редакции читаем: 'Кончился отдых. Пора балаганить. Странствовать. Верить в неправду'. В новой: 'Будет герой бушевать, балаганить, странствовать, драться за правду'. Раньше Дон Кихот у Антокольского предавался иллюзиям, был во власти прекраснодушно-лживых представлений о том, что видел вокруг себя. Теперь он готов к борьбе за торжество правды".[13]

В стихотворении "Дон Кихот" 1927 г. речь идет о двуединстве "Сервантес – Дон Кихот".

1927 г.:	1958 г.:
Кончился отдых. Пора балаганить.	Будет герой бушевать, балаганить,
Странствовать. Верить в неправду.	Странствовать, драться за правду.
Не разберешься три века в гиганте, –	Не разберутся три века в гиганте,–
Кто он, – герой или автор.	Кто он, – герой или автор.

Однако независимо от того, "за правду" будет сражаться Дон Кихот-Сервантес или же будет "верить в неправду", мир, в котором он живет, остается в стихах Антокольского фантастическим миром:

Бурно играет Сервантес Саведра
В кости с грохочущей скукой.
Красные хари в харчевнях от ветра
Валятся в ящик для кукол.

Валятся жалкие мельницы, канув
Крыльями в желтое небо.
Только и гибнет, что рать великанов,
Только и было, что небыль.

(Вариант 1927 г.)

Этот мир – игра Сервантеса с самим собой.

В стихотворном варианте 1958 г. строфы о Сервантесе, играющем в кости со скукой, нет. Однако четверостишие о "жалких мельницах" осталось. К 1958 г. "желтое небо" превратилось в "низкое небо"; возможно, поэт счел "желтое небо" слишком импрессионистичным. Однако смысл этой строфы не изменился: "Только и было, что небыль". Раз так, то нет разницы, "желтым" было небо или "низким". Все равно мир этот нереален, это "небыль", воображенный фантом. В пределах собственных фантасмагорий Дон Кихот то "верит в неправду", то "дерется за правду", но он все равно не различает "были" и "небыли". В стихотворении от первого ко второму варианту изменилось только содержание того, что делал Дон Кихот, оставаясь в мире своих грез. В 1927 г. Сервантес (Дон Кихот) творил свой мир, чтобы, спасаясь от скуки, "балаганить, странствовать, верить в неправду". В 1958 г. внутри этой своей небыли Дон Кихот принялся "бушевать, балаганить, странствовать, драться за правду". Но что бы ни делал двуединый Дон Кихот – Сервантес, мир его оставался сферой фантазии, а не действительности.

В главной своей идее стихотворение Антокольского так и не менялось. Дон Кихот оставался в нем поэтом, демиургом своей реальности.

Антокольский странным образом не заметил этого.

> "Если говорить о том, как во времени меняется замысел, то вот наглядный пример: два варианта моего Дон Кихота, – говорил Антокольский в интервью в 1967 г. – Разница между ними – сорок лет. И, по сути дела, это два разных стихотворения. Они диаметрально противоположны. Если в первом варианте мой Дон Кихот 'верит в неправду', то во втором он готов 'драться за правду'...

Критик может сделать вывод, что в первом варианте я подчеркивал, что Дон Кихот – фантазер, мечтатель, сумасшедший, который верит только в несбыточное, а во втором Дон Кихот – борец за правду".[14]

Но и во втором варианте Дон Кихот остался Рыцарем несбыточного, творцом "небыли", в которой он жил. Он остался собою прежним и тридцать лет спустя, несмотря на то, что автор решил пересоздать его. Антокольский преувеличил значение собственных поправок.

Скорее всего, переделывая стихи, поэт ни о чем таком философическом не заботился, – просто он сохранил строки, которые считал хорошими, не придав значения их содержанию и понадеявшись, что изменение донкихотовых целей изменит и другие смыслы стиха. Но творение не уступило притязаниям творца, обмануло его, а в советской поэзии возник, хоть и контрабандой, Дон Кихот-поэт, а не борец за правду.

Пример Антокольского потому для меня важен, что он, автор "Ненависти", после гибели сына на фронте написавший в ответ судьбе яростную антигерманскую поэму, оценил к старости по-новому и выше, чем прежде, Рыцаря Печального Образа.

Такую эволюцию, как показано было в первой части книги, пережили многие русские писатели. Но Антокольскому пережить ее, наверное, было трудней, чем Скабичевскому: в наше время соблазн победоносного насилия тем более велик, что победоносное насилие похитило у добрых людей слова "правда", "честь", "человечность" и приспособило их себе на щит.

Едва имя-притча Дон Кихот опять сделалось понятием, при помощи которого люди стали осмысливать свою здешнюю ситуацию, как возникла естественная потребность по-новому определить это понятие.

Вопрос и ныне не решен,
В чем суть его известности, –

– так определил положение Дон Кихота на русской почве в 1980 г. Ю. Смирнов, московский юрист, а также – для собственного удовольствия – резчик по дереву и стихотворец. В качестве бесспорного о Дон Кихоте этот автор констатировал:

Он был немножечко смешон,
Зато кристальной честности.[15]

Стихи появились в "Вечерней Москве", массовой газете, читатель которой мог только улыбаться вслед Дон Кихоту, уходящему по своей высокой стезе в иные, малоинтересные сплоченному и подавляющему большинству сферы духовного творчества.

Но именно там Рыцаря Бедного подстерегали неожиданности.

Самиздатный автор "Имярек" в стихотворении "Картина" набрасывает такие, например, этюды здешнего бытия:

... Живи! Живем. Следим за языком.
В подушки зарываем телефон.

Входя, не заводись на темы оны.
Быв спрошен, – отвечай, что незнаком.
Мы видим: наш король большой и голый.
Скорее обыватель, чем злодей.
Питаемся легальною крамолой.
В ней Дон Кихот – герой. Но только в ней.
А так-то донкихотство, – нет, не выход.
А что ваш Запад? Покричат – затихнут.

Самиздатный "Имярек" не принимает "легальную крамолу", в которой Дон Кихот – герой, ибо Дон Кихот – "не выход". Но в "легальную крамолу" Дон Кихот проник из нелегальной, неподцензурной русской истории, – из того же стихотворения "Картина". Ведь дальше в этом стихотворении сказано:

И все-таки когда бы, как бы, кто бы
Ни разбирал безгласья наших дней,
Русь-матушка! Все ж из твоей утробы
Явились Александр и Андрей.
(Вот признак наших дней привычно подлых:
Выписываю: "Сахаров Андрей..." –
И чувствую, что совершаю подвиг!)
"Димитриевич. Дальше. Александр
Исаевич. Орлов. Терновский. Ланда.
Да Ковалев. Да Гинзбург Александр.
Да не забыть Лавута Александра..."
Да тех, кого еще не записал.
Записываю. Славно. Вроде складно.
Что ж, мне-то не грозит лесоповал,
Ни пайка лагерная, ни баланда –
Я, извините, тертый человек.
Мое-то имя – ИМЯРЕК !

По признаку крайней осторожности "Имярека" можно противопоставить Дон Кихоту. Таких "сочувствующих" разуму в России сейчас много. Для них, понятно, кихотизм не выход, потому что Рыцарь Бедный возвышает собой человеческую норму, а цель "Имярека", как он сам определяет ее в стихах, – ускользнуть и затаиться. С гуманистической точки зрения эта цель вполне, может быть, почтенная: не гнать же человека на муки; однако возникает противостояние этой биологически естественной цели и нормальных собственно человеческих реакций на окружающее (нормальность человеческих реакций и есть главный признак современного кихотизма).

И бедный "Имярек", оговорив, что кихотизм не выход, составляет современный "кихотический список", показав тем самым, что другого выхода в порядочность, кроме этически нормальных реакций, способных завести в тюрьму, у человека просто нет. Для самого "Имярека", а

не для одной "легальной крамолы" Дон Кихот – герой.

Но разумник "Имярек" стесняется такого героя.

Этот комплекс – вполне естественная для честного интеллигента неспособность что-либо противопоставить людям, повышающим собой человеческую норму, с одной стороны, и страх за себя и семью, с другой – определяет отношение к кихотизму очень многих. Беспомощная попытка заступиться за невиноватых, свой собственный поступок, совершенный вразрез с общепринятым, в социуме, мафиозном по основе, отпугивает не только последствиями, но и какой-то своей неавторитетностью. Тут авторитетен только танк.

Перед его лобовой броней "возвышать собою норму" – это "не выход", особенно когда человек самую-то норму эту не в себе ощущает, а видит высоко над собой. Но кихотизм – и впрямь нигде и никогда "не выход". Это свойство. Или оно есть в данный момент или его нет.

Ю. Ким (Михайлов) в стихотворении "Песня о Дон Кихоте" так и объяснил Рыцаря Печального Образа: "Что поделать, он такой".

Зато в "Театральном эпилоге" Ю. Ким (Михайлов) подчеркивает, что источником кихотизма является способность человека поверить в обман культуры. "Очарованный зритель" там показан в сопоставлении с актерами, никто из которых "в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз"; актеры торопятся домой к своему быту, к своим делам,

"...Где нет и не было героев и злодеев
И подвигов во имя добра или зла".

"Очарованный зритель" говорит этим актерам:

Только я, очарованный зритель,
Глубоко потрясенный до слез,
Я ведь брошу родную обитель
И коня оседлаю всерьез!
И поеду скакать и бороться
Против темных таинственных сил,
Ибо есть на земле благородство:
Я в себе его вдруг ощутил!
И в беде никого не покину,
И удары приму на себя,
И, наверно, конечно, погибну,
А потом вы играйте меня...

Актеры

В добрый путь! Мы смеяться не станем...
А когда утомишься от ран,
Приходи – мы еще раз обманем...
Ты умеешь поверить в обман!

Кихотизм книжен; однако немудрено, что актеры заразили кихотизмом любителя театра: как отмечал еще Евреинов, Дон Кихот театра-

лен. Его поведение демонстративно, а жест избыточен.

Поступить по-своему внутри сплоченного – и еще как сплоченного! – – большинства не так-то просто. Человек, решившийся на поступок, неизбежно переспросит себя: не смешно ли это? Не донкихотство ли? Когда же он поступит по совести, т.е. скандально, – то окажется центром зрелища. А тут любое его поведение будет выглядеть подчеркнуто и вызывать различные толкования. Волей-неволей он сам станет актером перед требовательной общественностью.

Но при всем том не находятся ли скромные (по притязаниям) актеры в состоянии знакомого каждому духовного анабиоза, такого понятного и человечного?

Может быть, актер в зрительном зале с его притязаниями и честолюбием ("А потом вы играйте меня") все-таки ближе к человеческой норме, чем зрители, желающие ему доброго пути со сцены?

За последние пятнадцать лет о Дон Кихоте было написано много стихов. Их авторы либо обольшевичивали Дон Кихота, либо писали о нем как об общечеловеческом, общеисторическом Рыцаре. Но есть и стихи скептически-сочувственные. Впрочем, скептических стихов немного. Скептиками по отношению к Рыцарю Бедному в зарю его триумфа стали не поэты, а художники. Это произошло не потому, что вообще художники плохо относились к Дон Кихоту или не верили в его существование. Наоборот, известный художник Ф.Д. Константинов, десятилетие увлеченно работавший над темой Дон Кихота, однажды сказал:

> "У меня ощущение такое, что БЫЛ ДОН КИХОТ! Он себе Сервантеса придумал, создал, чтобы тот описал его подвиги и походы".[16]

Но художникам, рисовавшим Дон Кихота, не удавались апологетические рисунки. Дон Кихот не годится для апологетики. Поэтому Дон Кихотом занялись именно карикатуристы. Положение Дон Кихота Ламанчского в нашей культуре было иерархически высоким, но не настолько высоким, чтобы смеяться над этой потешной фигурой было уже нельзя. К тому же один из смыслов ее – насмешка человека над собою самим. И наши художники стали на Дон Кихота, словно на живого человека, рисовать карикатуры.

Дон Кихот с копьем наперевес мчится в атаку на башнеобразную мельницу, сложенную из валунов. На рисунке рядом в мельнице зияет дыра, подле нее – куча из валунов: могила Дон Кихота.

Или: у Дон Кихота на копье флажок, на флажке надпись: "Еду в парк".

Не будет он больше драться со всеми, как заведенный, не будет никого выручать из беды. Подобно таксисту, отгораживающемуся от умоляющих клиентов надписью "В парк", Дон Кихот отправляется на отдых; он отработал свое. Тема газетной полосы – плохая работа ночного такси.

На другом рисунке Дон Кихот на распутье. На стрелках указателя рисунки: направо поедешь – мельница, налево – крылатый змей. Дон

Кихот выбрал: он едет направо, к мельнице.

В другой какой-то газете рисунок: Дон Кихот сокрушенно смотрит на разбитую им мельницу.

Рисунков, посвященных Рыцарю Печального Образа и мельнице, много; для человека толпы уже не Гамлет, не Самсон Карраско, – мельница противостоит Рыцарю Бедному.

Газета "Советская Россия" так заинтересовалась этой мельницей, что даже опубликовала заметку "Мельница Дон Кихота",[17] где объяснялось со слов компетентного португальского специалиста, что Дон Кихот напал на мельницу португальской конструкции.

Имена Дон Кихота и Санчо Пансы снова, как во времена Де-Пуле и Скабического стали употребляться в качестве терминов для литературоведческих и историософских рассуждений.

В статье Г. Асатиани "Дон Кихот или Санчо Панса" ("Литературная газета" от 18 марта 1981 г.) автор применял имя-притчу для литературоведческого анализа: художник, замечающий в действительности "только порождения собственной фантазии, своеобразные воплощения собственного вымысла" – это "крайний идеалист", художник донкихотского склада. Наоборот, художник, замечающий только то, что есть на самом деле, отмечающий каждую деталь в ее самоценности по взгляду на мир похож на Санчо Пансу, это "крайний идеалист".

У А. Лебедева в книге "Мыслящий пролетариат Писарева" донкихотово имя-притча применено для характеристики этого писателя; Писарев, "реалист" и "нигилист", конечно, был бы задет, если бы узнал, что в вожделенном XX столетии некоторые обстоятельства его частной жизни дадут повод исследователю назвать его "молоденьким Дон Кихотом" в том ироническом смысле, в каком он сам называл других.[18] Впрочем, звания "Дон Кихота" Писарев удостоился от Лебедева еще и за то, что с открытым забралом ринулся сокрушать общественные устои.

Затем автор книги, исходя из определений Гамлета и Дон Кихота, данных Тургеневым в известной речи, написал, что Писарев – "исторический феномен",

> "... соединивший в себе нигилистический скептицизм как способ социального мышления русского Гамлета с характером и социальным темпераментом Дон Кихота своей эпохи". (Разрядка Лебедева. – *– Ю.А.*)[19]

Однако Лебедев не удовлетворился применением понятий "гамлетизма" и "донкихотства" только для анализа писаревского творчества; он выходит в сферу историософских рассуждений и вслед за ранним Скабичевским дает характеристику Гамлета и Дон Кихота как исторических типов. В этом случае соединение кихотизма и гамлетизма оказывается уже невозможным.

Лебедев определяет эти имена-притчи уже не по-тургеневски, а по-на-

шему, по-свойски: донкихотство, как таковое, –

> "... беспочвенное благородство, непрактичный героизм, возвышенное фантазерство";

гамлетизм, как таковой, –

> "... раздумье, останавливающее дело; скептицизм, парализующий волю".[20]

Но героизм всегда "непрактичен", – "практичны" зонтики в дождливую погоду; "благородство" иной почвы, кроме порыва сердечного, который "почвой" назвать нельзя, не имеет; что же до "возвышенного фантазерства", то Лебедев, может быть, и справедливо приписывает это свойство революционерам-народникам, "героям-одиночкам", "метавшим бомбы в царей и министров". Однако Дон Кихот почел бы оскорбительным предположение, что он, как современный (или народовольческий) террорист, будет нападать без предупреждения и коварно. Лебедев подошел к Рыцарю Печального Образа попросту, по существу, – слезай, мол, с Россинанта и поговорим без этих рыцарских штучек; но такой "реалистический" подход к мифологеме изничтожает самый ее смысл, – нет нужды, что народовольцы (да и то не все!) снисходительно позволяли называть себя "Дон Кихотами".

В реальности А. Лебедева (о Чаадаеве этот автор написал хорошую книжку, хоть и пытался там напрасно отвоевать своего героя у религии, а также у М. Гершензона) Гамлет был уничтожен совершенно: не мог Гамлет прийти к новым революционным временам, когда пролетариат должен будет "научиться мыслить" безо всяких гамлетовских колебаний. В этом будущем Дон Кихоту предстояло потерять свою природу: ему

> "... предстояло стать, наконец, реалистом".[21]

То, что Лебедев не услышал кихотической темы у Достоевского, – естественно: он вслушивался из прошлого в наше настоящее, тогдашнее будущее, и слышал там, в прошлом, из наших времен лишь сладостные отголоски "Интернационала".

Но почему он не услышал новых определений кихотизма, данных своим человеком, Луначарским, марксистом-релятивистом с крейсера "Аврора"?

В том же 1977 г., когда Лебедев дал свое вполне краснопролетарское определение кихотизма, в другом московском издательстве вышла книга Э. Цурюпы "Бессмертие Дон Кихота". Эта книга подводила итог жизни мифологемы на русской почве. Там Рыцарь Бедный был охарактеризован совершенно иначе, чем у Лебедева.

Э. Цурюпа писала о Дон Кихоте:

> "Согласимся: непониманис действительности – одна из важнейших его черт, неразрывно связанная с другими. Но все же – одна из них.

Главная ли она?

Большинство видных советских сервантесоведов стоят на этой позиции. Да, это – общественно-политическая обобщающая доминанта.

Но если бы только эта одна черта характеризовала нашего рыцаря, разве он вызвал бы непреходящий интерес, сочувствие и дружеские улыбки человечества? Разве наградило бы оно его бессмертием?

Этот образ не просто сложен. Он диалектичен и подвижен. И таковы же суждения о нем. Но на них влияют время и расстановка общественных сил и борьба идей.

А не посчитает ли человечество в какое-то время главными другие черты в Дон Кихоте? Потому что именно те, другие, субъективные и одновременно объективные черты, в мире (представим себе это на мгновение) завоеванного относительного разрешения социальных проблем, в мире, где техническое совершенство, возможно, возложит на плечи техники многие функции человека (быть может, рационально посягнув на самую его человечность), – не произойдет ли так, что именно л и ч н о с т н ы е, ч е л о в е ч е с к и е черты рыцаря из Ламанчи и станут г л а в н ы м и. Самыми необходимыми времени и людям?" (Разрядка Э. Цурюпы. – *– Ю.А.*)[22]

Э. Цурюпу можно так прокомментировать: когда начнет осуществляться технико-идеологическая утопия, описанная в романе Замятина "Мы", – не понадобится ли именно тогда индивидуалист-одиночка, этакий – говоря словами Василия Розанова – "Дон Кихот собственного 'Я' "? То есть не окажется ли необходимым действительный герой замятинского романа?

Неизбежность появления, но и обреченность личности среди обезличенных и унифицированных Замятин показал с такой силой, что она болезненна даже и для нынешней генерации "кремлевских мечтателей": роман у нас запрещен.

Цурюпа явно имеет в виду противочеловеческие эскапады самодовольного технического – и не только технического – прогресса; при этом, как это видно из других мест ее книги, она не переносит Рыцаря Печального Образа в будущее, что любил делать Луначарский.

Однако, чтобы прописать Дон Кихота хотя бы как идею в советской современности, нужны авторитетные санкции.

Для начала автор книги "Бессмертие Дон Кихота" цитирует всеми уважаемого, никем не ненавидимого М. Пришвина.

> "Писатель Михаил Михайлович Пришвин в романе 'Кощеева цепь' поделился с читателями такими мыслями о Рыцаре из Ламанчи: '... Мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из

всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу; мы дружим с Дон Кихотом до сих пор и так будет всегда'.

... Трудно найти такого человека, который не подарил бы Дон Кихоту частицу своего доброго или недоброго интереса...".[23]

Такова точка зрения Э. Цурюпы на имя-притчу "Дон Кихот".

И Цурюпа делает воистину невозможное, чтобы доказать уместность Дон Кихота в идеологической системе Страны Советов.

Ранними высказываниями Белинского о Дон Кихоте Цурюпа опровергает более поздние, ничего не говоря об изменении взглядов Белинского на Рыцаря Печального Образа, а подчеркивая лишь уважение Белинского к Дон Кихоту; в нужных случаях мысль Белинского обрывается (например, стр. 58-59). Это, конечно, невозможный для обычного исследователя монтаж цитат. Но Цурюпа – не обычный исследователь; она – прежде всего публицист, благородно и притом в сложных условиях защищающий Дон Кихота.

Однако авторам, которых Цурюпа зовет заступиться за Рыцаря Бедного, приходится адаптироваться к атмосфере передержек. Цурюпа пыталась, например, показать, что в своей знаменитой речи Тургенев сблизил Дон Кихота с революционными героями. Для подтверждения этого в обширном тургеневском контексте можно, конечно, нарвать фраз, словно цветов. Но букетик будет пахнуть подтасовками!

Говоря о Луначарском, Цурюпа противопоставляет Луначарского-драматурга, с чьей точки зрения Дон Кихот не нужен Стране Советов, Луначарскому-лектору, полагающему, что Дон Кихот нужен и сейчас, при социализме.

На самом деле Луначарский, признавая кихотизм как идею, все нетерпимее относился к человеческим воплощениям.

Но и Маркс в роли поклонника сервантесовского "Дон Кихота", и Энгельс, любитель Сервантеса, и Горький, и Луначарский, нужны Э. Цурюпе для того, чтобы тощего рыцаря защищали, кроме ненадежных лат, еще и добротные цитаты.

Зато перечисляя типы донкихотства, Цурюпа предлагает формулировки, заслуживающие внимания:

"... **Человек** верит в высокие идеалы, которые светят всему трудовому человечеству. (Заметьте: 'трудовому', – значит, он не какой-нибудь абстрактный гуманист вроде Короленки, о котором, разумеется, в книге ничего нет. – *Ю.А.*) Но эти высокие идеалы требуют для своего воплощения естественного дальнейшего развития общества. А он пытается насильно внедрить будущее в настоящее, не считаясь с реальными возможностями и потребностями времени. И люди говорят: донкихотство".[24]

Тут в Дон Кихотах оказывается уже и революционер, хотя самого этого сакраментального слова Цюрупа не употребляет. Тем не менее испан-

ские антифранкисты, русская большевистская молодежь в годы революции, наконец, большевистские вожди в пьесе Шатрова "Большевики", обсуждающие введение "красного террора" и утверждающие "красный террор", – все они в книге Цюрупы причислены к Дон Кихотам. Все эти люди, с ее точки зрения, героичны, самоотверженны, пылают мечтой о счастье людском. Они, разумеется, "пытались внедрить насильно будущее в настоящем". Из определения кихотизма, данного Цюрупой, следует, что они сделали это, "не считаясь с реальными возможностями и потребностями времени". Утверждение "короленковское", крамольное. Или автор не заметил собственной идеологической невыдержанности? Эта невыдержанность тем рельефнее, что для Цюрупы большевистские Дон Кихоты – самые правильные Дон Кихоты.

Революционера – любого! – можно, конечно, назвать Дон Кихотом.

Но Дон Кихотом можно назвать и сторожевую лагерную овчарку.

Только вот вопрос, – кого это будет характеризовать: собаку или ее хозяина, Адама, именующего мир?

Э. Цюрупа предлагает и второй тип донкихотства, обобщая коллизию, намеченную нашими публицистами: человек, который хочет быть честным, сторонник дел, которые надо делать, напрасно пытается, отказавшись от сообщничества, превратить сообщников в сотрудников. Мафия побеждает, а рассудительные люди пренебрежительно говорят бедняге вслед:

– Дон Кихот!

Третий тип донкихотства по Цюрупе – это усилие творческого человека "пробить дорогу своему замыслу, идее, мечте", в некоей косной, неуступчивой среде.

Однако Рыцаря порыва сердечного, Рыцаря упрямой доброты вроде мужика-сибиряка из романа Залыгина или С.П. Писарева из подсоветской нашей жизни, в этом кратком реестре кихотических типов нет, нет даже по идее. Из рассуждений Цюрупы выпала и защита первого встречного, и сиюминутное добро, – а ведь все это даже Луначарский признал, судя по "Освобожденному Дон Кихоту", характерными свойствами кихотизма.

Стремлению писательницы возвеличить Дон Кихота противоречит ее же собственное нежелание (или страх?) глубже понять Рыцаря Печального Образа.

Однако Э. Цюрупу на криволинейном отрезке прямой ожидал еще один опасный поворот: Дон Кихот все-таки смешон. Коммунисты – а они получились главными представителями рыцарского кихотизма – по своему месту в табели о рангах историка-марксиста занимали место, где всем уже не до смеха.

Вообще в русской культуре смех – дело серьезное.

Это касается телохранителей культуры и по сю, и по ту сторону рубежа. Они часто страдают смехобоязнью, забыв, что смех очищает не хуже ключевой воды. Так что наша бедная культура осталась бы немытой, зато умащенной разными благовониями и уж конечно сверх меры помазан-

ной елеем, если бы она не была живой и не сбежала бы от своих телохранителей для того, например, чтобы погулять в компании Александра Пушкина и Абрама Терца.

Однако книга "Бессмертие Дон Кихота" подцензурна, – тут от телохранителей не убежишь.

К счастью, Цюрупа сумела привести пример, когда возвышенное и уважаемое оказывается в смешном положении. Возвышенным и уважаемым в ее книге оказался памятник Радищеву, воздвигнутый в ходе монументальной пропаганды. Возвышенный и уважаемый Памятник вдруг исчез, и сам Ленин раздраженно заявил, что исчезновение памятника Радищеву есть комедия.

А если уж сам Ленин назвал ситуацию "комедией", – значит, и впрямь смеяться было не грешно!

Буря на Неве сбросила памятник Радищеву с пьедестала.

Стоявший неподалеку часовой доложил коменданту Зимнего Дворца:

– Товарищ Радищев не выдержал сильного ветра, упал и разбился.

Значит, может великое попасть в смешное положение, – констатировала Э. Цюрупа.

Кроме того, она объяснила, что смех Сервантеса над Дон Кихотом как раз и защищает Дон Кихота от насмешек: это смех "сквозь слезы" или "высокий смех".

О "высоком смехе", сопровождающем Дон Кихота мифологемы, Л.Е. Пинский писал в "Литературной энциклопедии" (1971 г.), что

> "...это смех над вечной активностью человеческого сознания, над его 'истинно рыцарским' (на языке Дон Кихота) 'воодушевлением', вмешательством в стихийный ход жизни, когда сознание, устремленное к лучшему и достойному, 'прекраснодушно' теряет 'такт действительности'."[25]

Пинский подчеркивает, что кихотизм оказывается непреходящим, поскольку он в ситуации сознательного прогресса гносеологически неизбежен, т.е. увлеченность полетом мысли всегда отрывает человека от земли и предрасполагает его к "донкихотской" позиции.

О Дон Кихоте в 1930 г., тоже в "Литературной энциклопедии", писал и Нусинов. Но между этими авторами не было ничего общего, кроме того, что оба они схвачены были в разное время органами советской государственной безопасности. Нусинов в тюрьме погиб, Пинского реабилитировали. На Пинского, как он рассказывал, донес профессор Эльсберг, специалист по сатире Салтыкова-Щедрина и стукач экстракласса: с ежовских времен до послесталинских десятки людей были арестованы при его живейшем участии. Впоследствии Прокуратура не нашла в действиях Эльсберга состава преступления; но жертвы его доносов тоже, насколько я знаю, были реабилитированы.

Преступные слова перестали быть преступными. И вот получилось,

что доносчики были, осужденные по доносам зеки были, а преступников так и не нашлось.

До такого хитрожопства мог ли додуматься царь Соломон в своей Израильской губернии?

К нусиновской же характеристике мифологемы о Дон Кихоте в шестидесятые годы гораздо ближе оказался М.А. Гольдман, автор статьи "Дон Кихот" в той же "Краткой литературной энциклопедии", но во втором ее томе. Гольдман пишет, что советское литературоведение и искусство ' "подчеркивали противоречивость 'донкихотства' ", его демократический гуманизм, но

> "... и символическую отчужденность от исторического опыта и жизненной практики".[26]

К тому времени, когда вышел 6-й том КЛЭ со статьей Пинского о Сервантесе, прошло шесть лет. За это время отношение к Рыцарю Печального Образа начало меняться к лучшему, а профессор Пинский был как раз одним из тех русских интеллигентов, которых такая переоценка Дон Кихота только радовала.

Возвращаясь к книге о Дон Кихоте в Стране Советов Э. Цюрупы, я должен отметить, что книга эта при всех ее недостатках, написана все-таки человеком не только интеллигентным, но и любящим Дон Кихота, и умеющим видеть кихотизм, который иной раз живет в героях советских (и зарубежных) книг и фильмов. Э. Цюрупа обратила, например, внимание на кинофильм "Берегись автомобиля!" (сценарий Э. Брагинского и Э. Рязанова), герой которого, Юрий Деточкин, – типичный кихопат, но только в плане бытовом: он борется на свой страх и риск с жуликами, похищая их автомобили, которые и заменяют Деточкину Россинанта. Его путешествия кончались продажей автомобилей и тем, что вырученные деньги он переводил в детский дом города Метельска на подарки ребятишкам. Э. Цюрупа видит в этом странном человеке

> "...с его детской доверчивостью и житейской незащищенностью, с его собственным рыцарским кодексом чести, с яростной воинствующей ненавистью к злу – одного из них, из Дон Кихотов..."[27]

В кинофильме "Берегись автомобиля!" Дон Кихот и Гамлет неожиданно объединились в одном лице: "Дон Кихот"-Деточкин в самодеятельном театре играет Гамлета. Авторы сценария таким способом сделали своего героя еще необычнее, в то же время оспорив – пусть иронически – былую традицию противопоставления Гамлета и Дон Кихота; надо добавить, что в фильме актер Смоктуновский, играющий Деточкина, ведет себе как рефлектирующий, неуверенный в себе человек. По манере поведения это скорее Гамлет (незадолго до того Смоктуновский играл роль Гамлета в фильме Г. Козинцева). А по потенциям и поступкам – Дон Кихот, как понимает это имя-притчу Э. Цюрупа.

Другой пример чуткости автора книги "Бессмертие Дон Кихота" на кихотизм в современных условиях – интерпретация одного из персона-

жей пьесы О. Заградника "Соло для часов с боем" пана Райнера.

Я переводил эту пьесу со словацкого (О. Заградник не "югославский", как сказано в книге Э. Цюрупы, а словацкий драматург из ЧССР).

Вообще-то пьеса называлась "Соло на курантах", но начальник мне сказал, пошевелив пальцами:

– Нужно подумать над названием... Куранты... У нас все знают Кремлевские куранты...

Начальник был уверен, что я, как человек по своей профессии обязанный улавливать тонкие смысловые оттенки здешних ситуаций, его пойму: в сущности, "соло на курантах" звучит почти святотатственно, раз куранты – кремлевские. Ленин умер и стал бессмертным, – кто же осмелится на его курантах играть свое "соло"?

В пьесе меня поразил старый часовщик пан Райнер из династии часовщиков, который полез на древнюю городскую башню, чтобы починить тамошние куранты, которые много лет стояли.

У этого старика была причуда: согласовывать ход часов у своих друзей с точностью до секунды.

– Если мы не можем добиться того, чтобы простые часовые механизмы вели себя одинаково, то как можно надеяться на то, что люди научатся правильно управлять людьми? – таков был смысл размышлений чудака-часовщика.

– Разве людям будет лучше оттого, что все часы на свете будут тикать друг другу в такт? – спрашивали его.

– Не знаю, лучше будет или хуже, но что-нибудь от этого изменится, – отвечал упрямый мастер.

Поскольку пьесу я переводил несколько лет спустя после того, как советские войска второй раз (менее чем за четверть века) освободили Злату Прагу, мне очень хотелось подчеркнуть, что есть еще в том краю Дон Кихоты.

Поэтому, когда другие герои пьесы говорили о поступке пана Райнера, я как переводчик предложил им стилистически окрашенную характеристику этого поступка: чудак-часовщик "лез на стену" (а это почти синоним понятия "лез на рожон"); один из героев пьесы характеризует пана Райнера примерно так, как иные москвичи из числа интеллигентных "сторонников дел, которые надо делать", вполне могли бы охарактеризовать кое-кого из наших правозащитников-кихопатов:

– Чокнутый болтун с энциклопедической эрудицией! Великий философ и оратор. Безнадежный псих, который лезет на стену только для того, чтобы обратить на себя внимание прохожих в час пик!

А часовщику пану Райнеру важно, чтобы "время сдвинулось"; наши "диссиденты" тоже пытались "сдвинуть" недвижное сталинское время.

Символический элемент этой вполне реалистической пьесы дал мне возможность вложить в ее символы те смыслы, которых автор, возможно, и не имел в виду.

Но будут ли слышны другим кихотические нотки, которые я усилил в характере пана Райнера?

Э. Цюрупа их услышала, – в ее книге пан Райнер стал одним из примеров несколько чудаковатого, но высокого кихотического идеализма, противопоставленного себялюбивому и ограниченному "племени нормальных людей" с их рассудочностью, которую они путают с разумом.

Дефиниция "разум – рассудок" очень тщательно проведена и объяснена Цюрупой. Для Разума, по ее мнению, как раз и нет ничего невозможного. Разум – великий фантазер и мечтатель, когда хочет этого, поэтому хорошая научная или социальная фантастика всегда разумна, а не рассудочна. Рассудочен – рассудок. Разум – творческое начало в человеке и потому в сущности своей интуитивен, иррационален. Поступки Дон Кихота безрассудны – для рассудка; но высоко разумны для Разума, который любит и умеет посмеяться над собой в противоположность чопорному и самодостаточному рассудку, боящемуся автоиронии.

В книге "Бессмертие Дон Кихота" все это высказано, хотя и осторожно (думаю, что винить в этом надо не автора, а цензуру).

Для Э. Цюрупы, как и для А. Луначарского, кихотизм – совершенно нормальный тип человеческого поведения, притом тип поведения, совершенствующий "норму", ибо "норма" эта искусственно занижена "хитрым племенем нормальных людей".

Однако едва Цюрупа переходит от оценки и обоснования кихотизма как идеи к человеческим воплощениям, – книгу заполняют красногвардейские толпы, голодные курсанты с маузерами в деревянных кобурах; вытарчивает оттуда вдруг бородка Дзержинского, "Рыцаря революции", "Дон Кихотом" оказывается и ее певец Светлов...

Причем аккомпанимент из революционных примеров сопровождает вполне интеллигентные рассуждения автора о кихотизме. Трудно даже понять, в какой мере эти примеры – плата цензорам за разрешение книги, а в какой они искренни.

Э. Цюрупа пишет, что эпитет "Добрый" (Алонсо Добрый) – пусть не единственный, но главный ключ к пониманию "донкихотства" как историко-культурного феномена. Однако "доброта" революционеров дальнобойна, как их пушки; она рассчитана на века, и поэтому у этой доброты всегда не хватает времени на отдельного человека. Автор книги это, скорее всего понимает,– и все же своевольно посвящает в Рыцари Печального Образа твердокаменных (впрочем, в 1937 г. многие из них хорошо кололись!) ленинцев.

Поскольку чего-чего, а отвращения к насилию у Рыцаря Печального Образа не было, Дон Кихота можно было записать в революционеры; но российских истолкователей имени-притчи кихотическое добро всегда интересовало больше, чем кихотическое насилие.

Конечно, если "Дон Кихотом" Сталин мог назвать Черчилля, то точно так же любому желающему можно и Сталина назвать "Дон Кихотом". Да что Сталина, – в конце концов, "Дон Кихотом" можно назвать даже табуретку, на которой Сталин сидел. Используя эти возможности, люди даже Че Гевару или Фиделя Кастро стали числить в Рыцарях Печального Образа...

В этом именно духе, но в полном противоречии с интеллигентными страницами своей книги и рассуждала Э. Цюрупа. Увы, пока на русской почве триумфируют "бэки", подсоветский Дон Кихот, Дон Кихот Цюрупы, поднимает руку за "красный террор" и тем самым впадает из кихотизма в ничтожество.

Книга Э. Цюрупы "Бессмертие Дон Кихота" показала, как верные идеи в ходе приложения их к жизни вдруг теряют у нас всякий смысл; кихотизм как идея в ее же книге обессмыслен дискредитирующими эту идею примерами. Однако для автора Дон Кихот – Рыцарь Возвышенной Идеи – не только законен и традиционен, но и желателен на русской почве.

В конце семидесятых годов Виктор Шкловский сделал большой сценарий для телефильма "Дон Кихот".

Руководство советским телевидением расщедрилось в соответствии с повышением статуса Дон Кихота в советской культуре: телефильм запланировали семисерийный.

Шкловский в своем интервью "Литературной газете" ("Литературная газета", январь 1978 г., № 3) особо подчеркнул, что Дон Кихот становится другом разбойника Роке, предводителя восставших. Эта тенденция превращения Рыцаря Бедного в революционера характерна для наиболее рептильных советских интерпретаторов мифологемы: не желая расставаться с Рыцарем Печального Образа, они этот "образ" оцензуривают, что, естественно, обезображивает Дон Кихота до неузнаваемости, – ибо можно ли узнать защитника "первого встречного" в Че Геваре, писавшем своим детям:

> "Помните, что самое главное – революция и что каждый из нас в отдельности ничего не значит".[28]

Как мы видели, и Гитлера у нас называли "Дон Кихотом", – но такое словоупотребление характеризовало не феномен кихотизма, а скорее уровень культуры сталинских ассов.

Дон Кихот Шкловского – это физически сильный человек, а не долговязый астеник с рисунков Доре или Пикассо. Это борец за правду с крепкими кулаками.

Стремление оцензурить Дон Кихота у Шкловского соседствует с оценкой Рыцаря Бедного как нормального человека:

> "Его считают безумцем, а он видит жизнь по-настоящему, видит несправедливость в мире и судит ее как великий человек".

Шкловский не говорит, однако, – "как праведник". В годы триумфа Дон Кихота – в семидесятые годы – тенденция считать Рыцаря Бедного нормальным человеком, начатая Луначарским, для которого Дон Кихот Полтавский был образцом человеческой нормы, возобладала; только вот оттенок "праведничества", опасный по содержанию в нем христианства, постарались затушевать. Резо Чхеидзе, режиссер будущего телефильма, в согласии со Шкловским характеризовал Дон Кихота как "самого обык-

новенного человека, пусть немного необычного человека", который "не понимает, почему так несправедливо устроен мир, хочет немедленно перестроить его..."

Режиссер человеческую нормальность Дон Кихота связывает с нормальной якобы для человека революционностью; но еще в пьесе Луначарского показано, что "сиюминутное добро", помощь прохожим, а не перестройка мира занимают Рыцаря Бедного. Из диалога Короленки с Троцким-Луначарским видно, что общие принципы интересовали Полтавского Дон Кихота, но лишь постольку, поскольку они помогали жить людям, или убивали людей; принцип мировой справедливости, обернувшийся маузером расстрельщика, не имеет ничего общего с рыцарским оружием современного Дон Кихота – словом.

Интерпретации Дон Кихота как победоносного революционера противоречит итоговое определение имени-притчи, сложившееся к концу семидесятых годов. Я думаю, что итоговым определением правильнее всего считать определение словарное. В словарях – уже просто по самой задаче их – не допускаются спорные определения слов.

Если раскрыть разные издания "Словаря иностранных слов", регулярно переиздающимся Московским издательством иностранных и национальных словарей, то легко увидеть, как меняются вместе с нашей жизнью и смыслы слов. Например, определение слова "кибернетика" из лженауки (1952 или 1953 гг.) через умолчание (1954 г.) изменилось к лучшему уже к шестидесятым годам. Но и в 1980 г. Дон Кихот определен "Словарем иностранных слов" точно так же, как и в 1949-м:

> "Дон Кихот ... – бескорыстный, но смешной мечтатель, создавший себе фантастический, нежизненный идеал и растрачивающий свои силы с борьбе с воображаемыми препятствиями, проявляя бесплодное, никчемное геройство".

В однотомном "Словаре русского языка", составленном проф. С.И. Ожеговым, в массовом и очень популярном у нас словаре в издании 1949 г. Дон Кихот охарактеризован так:

> "Фантазер, бесплодно борющийся с воображаемыми препятствиями за нежизненные идеалы".

И "Словарь иностранных слов", и ожеговский "Словарь русского языка" издавались одним и тем же издательством.

Тем не менее в 13-м издании "Словаря" С.И. Ожегова, вышедшем в 1981 г., определение слова Дон Кихот изменилось. Теперь Дон Кихот – – "фантазер, самоотверженно борющийся за идеалы добра".

Еще нагляднее эволюция словарных определений имени-притчи "Дон Кихот" станет из следующих сравнений:

Академический словарь русского языка в 4-х томах, М., 1957 г.

> "Дон Кихот – фантазер, наивный мечтатель, бесплодно борющийся за нежизненные, неосуществимые идеалы".

Совпадение определений Дон Кихота в разных словарях в пятидесятые годы свидетельствуют, что в главных своих чертах оно исходило из единого центра, – скорее всего, его придумал член-корреспондент АН СССР, консультант отдела культуры ЦК КПСС, доктор исторических наук Самсон Самсонович Караскин. Но в шестидесятые годы положение изменилось, хотя не сразу к лучшему для Дон Кихота.

Энциклопедический словарь в 2-х томах, М., 1963 г.

> "Дон Кихот – образ благородного рыцаря. Его идеал справедливости далек от реальной действительности, поэтому он часто попадает в смешные нелепые положения. Имя Дон Кихота стало нарицательным для человека благородных побуждений, но не понимающего реальной жизни".

Советский энциклопедический словарь (однотомный). М., 1980 г.

> "Дон Кихот – герой романа М. Сервантеса 'Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский' (1605). Имя Дон Кихота стало нарицательным для обозначения человека, чье благородство, великодушие и готовность на рыцарские подвиги вступают в трагическое противоречие с действительностью".

Революционера в таких терминах нельзя определить ни с какой стороны, – ни с "красной", ни с "белой": по советским правилам данным определением описывается деятель-недотепа; с точки же зрения контрреволюционера "благородство и великодушие" отнюдь не те свойства, которые выделяют среди прочих Ленина со Сталиным.

Это определение описывает Дон Кихота как рыцаря, не примыкающего к чьей-либо стороне, и притом как вполне нормального человека, оказавшегося из-за своих выдающихся нравственных качеств, а не по иным причинам, в трагическом противоречии с действительностью.

Многое понадобилось для того, чтобы возникло новое определение "Энциклопедического словаря". И Короленко умер, и Дон Кихота, "совершенствовавшего собою человеческую норму", выслали, а так как сделать это все-таки не удалось, заставили его на каменном полу, приставив нож к горлу, признаться в своем безумии (безумие он признал, но каким был, таким и остался); потом снова в "Человеке из Ламанчи" Дон Кихот выздоровел, и с той поры пребывал в добром здравии, судя по отзывам наших поэтов.

Определение "Советского энциклопедического словаря" прошлого (1980) года зарегистрировало новый поворот судьбы мифологемы о Дон Кихоте на русской почве.

Примечательно, что, поскольку цензура единообразия в оценке Рыцаря Печального Образа не требовала, то такого единообраазия и не возникло: "Словарь иностранных слов" остался при старом определении; в 1981 г. в книге "О переходе собственных имен в нарицательные" появилась даже отрицательная характеристика Рыцаря Бедного. Возможно, это произошло в связи с дальнейшими и разочаровывающими прагматиков судь-

бами на русской почве людей, воплощавших в себе истинно кихотическое начало.

Ведь триумф Дон Кихота состоял не только в изменении общественного отношения к Рыцарю Бедному, которое – худо ли, хорошо ли, – но как-то выявилось в стихотворных исследовательских текстах или в словарях. Все это касалось кихотизма как идеи.

Между тем триумф кихотизма состоял прежде всего в появлении у нас человеческих воплощений кихотизма, – людей, посмевших выбиться из мафиозной, теплой, душевной сплоченности.

Сталину нужно было создать империю при сохранении демократической фразеологии, которая была бы официальной, звучала повсюду, но в которую люди не верили бы, слыша ее. Для этого надо было не просто постоянно истреблять лучших; для этого надо было создать новую породу людей: людей ситуации, меняющих свою природу, как кристалл хрусталя меняет цвет в зависимости от цвета луча. Словно клопов, следовало вывести людей принципа.

Нужно было создать людей, лишенных по возможности собственно человеческой природы, у которых осталась бы животная, биологическая природа, чисто физиологическая индивидуальность, а человеческие свойства служили бы исключительно для ее сохранения, не имея ценности сами по себе. Человеческая душа должна стать амебообразной, бескачественной, однако обладающей способностью демонстрировать нужные по ситуации свойства.

В людях должны были срабатывать прежде всего другого автоматизмы самосохранения. Такой породой людей заселить всю Россию не удалось, но успехи были достигнуты.

Эти успехи оказались долгосрочными, однако не всеобъемлющими.

Из Сталинских общежительных правил постоянно возникали исключения, расшатывающие общежительные правила.

Александр Твардовский, в 1939 г. кончивший Московский институт философии, литературы и истории, в 1936 г. написал поэму "Страна Муравия", где говорилось, что другого пути для мужика, кроме счастливого пути в колхозы, на свете нет.

Во время войны за коллективизацию родители Твардовского были раскулачены и сосланы. Едва ли Александру Твардовскому удалось избежать публичного отречения от них. Скорее всего ему, чтобы начать свою отдельную от родителей жизнь, пришлось проклясть перед партийным активом родительское кулачество. Но даже если лично ему удалось увернуться от этой мерзкой процедуры (Твардовский о колхозах задушевно и радостно писал еще в начале тридцатых годов, еще юношей, – может, ему это зачли), – то он об этой процедуре предательства рода своего знал. И все же атмосфера, где государство требовало отказаться ото всего своего ради государственного, вдохновила Твардовского апологетически писать о колхозах. За свою поэму "Страна Муравия" он получил звание лауреата Сталинской премии. Твардовский, говорят, поддерживал своих стариков, посылал им посылки. Очень вероятно, что часть го-

нораров за "Страну Муравию" он на это и потратил. В 1940 г. Твардовский вступил в партию.

Его можно было считать надежно унифицированным.

Однако же именно Твардовский оказался тем человеком, без которого замечательный писатель Солженицын едва ли стал бы общественным явлением солженицынского масштаба.

Твардовский кончил дни свои в одиночестве, связанном не столько даже с его опалой из-за недостаточной рептильности редактируемого им журнала "Новый мир", сколько из-за состояния постижения истины, в котором он находился, как об этом пишет А.И. Солженицын в своих воспоминаниях "Бодался теленок с дубом"; это состояние нового постижения жизни уводило его от совписовской элиты, – а куда бы завело, Бог знает. Во всяком случае, он, можно сказать, классик советской поэзии при жизни, начал писать в стол. Его поэму о трагических русских судьбах (поводом для написания этой поэмы было бегство за границу дочери Сталина) никогда не напечатали бы у нас.

Твардовский в последние годы жизни опирался, как на облако, на собственный свой дар, на свое понимание жизни. Отец его был хуторянин – по его примеру и Твардовский перестал бояться оказаться на отшибе. У Твардовского не хватило сил сдержать внутренний напор пережитого, которое в этой натуре, поначалу вполне, казалось бы, конформной, все-таки дало импульс упрямому стремлению к истине. Между тем для многих его коллег и ровесников пережитое оказалось всего-навсего опытом "добычи славы и деньжат" (Б. Слуцкий). Пережив примерно те же, что и они, жизненные перипетии, Твардовский оказался вдруг в иной, чем эти люди, реальности.

Еще более решительный "скачок" из царства марксистско-ленинской необходимости в царство свободы, где у людей есть не конкретно-артиллерийские исторические цели, а расплывчатые возвышенные идеалы, выпал на долю генерала Григоренки, которого швырнула в его кихотическую реальность вера в те самые рыцарские романы о Родине и Революции, в создании которых генерал делами своими участвовал сам. При такой замечательной сотруднице и помощнице как Зинаида Михайловна, жена генерала, этому Дон Кихоту никакая Дульсинея нужна не была. Сперва советский Дон Кихот при погонах и лампасах выступил за соблюдение принципов партийной демократии; потом – за целый крымско-татарский народ.

Много лет генерал, разжалованный властями в рядовые, но пожалованный историей в рыцари, вел себя, как заболевший хроническим и неизлечимым кихотизмом человек. В соответствии с идеей Конорова, писавшего в свое время о Дон Кихоте, как о параноике, наши психиатры объявили справедливого человека "паранояльной" личностью и отправили в тюремную психбольницу...

Многих других – имена некоторых из них привел "Имярек" в своем стихотворении – отправили в концлагеря.

"Кто же они – советские политзаключенные? – спрашивал в своей книге 'О стране и мире' А.Д. Сахаров. – Подавляющее большинство из них не совершали никаких преступлений в том понимании этого слова, которое принято в демократических странах, не совершали насильственных действий и не призывали к ним. Одна из распространенных причин политических репрессий – чтение, хранение и передача друзьям рукописей самиздата и книг нежелательного содержания (хотя обычно вполне безобидного по существу)".

(Глава 1. "О советском обществе".)

Книги-то могут быть и безобидны по существу, ибо это – либо художественные произведения ("Все течет" Л. Гроссмана, "1984" Орвелла), либо чисто информативные материалы, вроде "Хроники текущих событий", чьи ошибки Администрация легко могла бы помочь исправить составителям "Хроники" вместо того, чтобы отправлять этих людей в тюрьму за клевету; либо это книги историков ("Великий террор" Конквеста или "Архипелаг ГУЛаг" Солженицына).

Все эти и многие другие книги могут быть оспорены художественными критиками или опровергнуты учеными. Обидным для государства может быть действие против него в материальной сфере, но не слово, действие духа. Однако нынешнее государство сделалось много обидчивее прежнего, дореволюционного, причем обидчивость эта парадоксальна: как раз противодействие в материальной сфере, так сказать, оскорбление действием, государство не очень обижает. Мухлежу на производстве, взаимному и взаимовыгодному обману руководителей средних и даже высших звеньев, прямой туфте и небольшим хищениям государство отвечает благородным великодушием. Во время амнистии значительную часть расхитителей общественной собственности прощают; зато заинтересованных читателей запрещенных книг выдерживают до конца сроков заключения.

Совместное проживание на общей географической территории с таким обидчивым государством – небольшое удовольствие. Утешительно, впрочем, то, что подавляющее большинство приспособилось более или менее к этому своему полновластному соседу, даже относится к нему доброжелательно, хоть и обижает государство физическими действиями (разные виды воровства и халтуры). Государство, со своей стороны, как уже говорилось, эти обиды вполне способно простить. С обеих сторон проявляется таким образом столь модная в демократических странах терпимость.

Именно поэтому ясно, что разумные и трезвые строки А.Д. Сахарова являют собой совершенно кихотическую реакцию, что – в применении к праведнику, Полтавскому Дон Кихоту – констатировал еще А.В. Луначарский.

А.Д. Сахаров потому и есть современный русский Дон Кихот, что он, подобно замечательному нашему писателю В.Г. Короленке, представляет собой "тип человеческой нормы", даже "повышающий эту норму" (так Луначарский характеризовал Полтавского праведника). То, что каза-

лось Луначарскому в Короленке элементом "какого-то не от мира сего" стремления собраться в каплю, в гармоническую внутри себя сферу и что на самом деле было уверенностью Разума в своей необходимости людям, – в высшей степени свойственно и А.Д. Сахарову, имя которого вполне может стать, говоря словами "Советского энциклопедического словаря", –

> "... нарицательным для обозначения человека, чье благородство, великодушие и готовность на рыцарские подвиги вступают в трагическое противоречие с действительностью".

Если вспомнить, что для русского интеллигента "рыцарские подвиги" – это борьба за справедливость и борьба за права человека средствами слова (драконова сторона называет это "идеологическим оружием") и что на слово Дракон отвечает такому Ланцелоту "санкцией" – от инспирированного избиения (как писали об этом С. Глузман и В. Буковский) до заключения в тюрьму и в лагерь, –то понятие "рыцарского подвига" в применении к нашим защитникам прав человека не будет звучать слишком напыщенно.

Что же касается до "трагического противоречия с действительностью", то, рассматривая положение А.Д. Сахарова, я не вижу, чтобы его благородство, великодушие и правозащитная борьба оказывались в оптимистическом совпадении с нею. Дело ведь не в том, что он – Лауреат Нобелевской премии Мира. Боюсь, что мир в лице его "сильных" ведет себя лицемерно по отношению к таким,как Сахаров и Солженицын (не одна благородная мощь духа, но еще склонность к ретроспективным утопиям поставила, на мой взгляд, Солженицына в кихотическую позицию). "Свободный мир" ведет себя с восточноевропейскими праведниками, как Герцог, пригласивший Дон Кихота к себе в замок: вельможные европейские демократы в глаза хвалят Рыцаря Бедного, уважительно к нему прислушиваются и велят своим шутам молчать, а потом уходят между собой совещаться по общемировым делам, и о Рыцаре Печального Образа вовсе не вспоминают, даже не смеются над ним: разве проблемы нефти, ближнего Востока, среднего Востока, дальнего Востока, проблемы инфляции и конфронтации может решить такой примитив, как "права человека" или такая несбыточность, как политика с позиции совести?

А.Д. Сахаров в книге "О стране и мире" пишет:

> "Я убежден, что защита советских политзаключенных и других инакомыслящих, борьба за большую гуманность в местах заключения, за право человека вообще – не только нравственный долг честных людей во всем мире, но и непосредственная защита прав человека в их собственных странах. Однако мы часто сталкиваемся с отсутствием интереса к нашим бедам. После визита премьер-министра Великобритании Г. Вильсона (к которому я обратился с очередным посланием) я услышал по радио спокойный комментарий какого-то журналиста, что, дескать, Вильсону нельзя было вмешиваться в дела о правах человека в СССР, так как этими проблемами

в основном интересуются 'правые' элементы, и он не мог с ними солидаризоваться. Я надеюсь, что позиция Вильсона совсем иная, но каков все же возможный уровень цинизма!".

(Глава 1. "О советском обществе".)

"Уровень цинизма" – обычный, межконтинентальный и метаисторический: миллионы голов в качестве цены за "светлое будущее". Именно столько запрашивали в свое время Ромэн Роллан, Мао Цзе-дун и другие прогрессисты.

Что же касается России, то

Чужды здесь от века
Нерусские слова,
Что есть у человека
Отдельные права.
Есть у него начальство,
Работа и семья.
На том живи и здравствуй,
Не обижай себя![29]

Для таких людей, как Сахаров, а также его жена и героическая сотрудница Е.Г. Боннэр, тоталитаризм неделим, – будь то "левый" тоталитаризм, или религиозный тоталитаризм, или тоталитаризм "правых".

Между тем столь параноильная нетерпимость к нарушениям прав человека чужда всем тоталитарным лагерям и неприятна проповедующим толерантность людям.

Г. Померанц был совершенно прав, утверждая в своем очерке о Сахарове, что Сахаров живет, "оставаясь одиноким и нелепым в своей человечности", – и это происходит несмотря на то, что многие люди и даже целые организации с ним (на словах) совершенно согласны.

Впрочем, наиболее осторожные интеллигенты и "здесь" и "там" готовы и вовсе изгнать слова "человечность" или там "справедливость" из интеллектуального обихода за их ядовитую тривиальность.

Я говорил именно о Твардовском, Григоренке, Сахарове, как о кихотических индивидульностях, чтобы подчеркнуть, что групповая система "вась-вась" не может унасекомить всех до одного даже из своей "элиты"; она сама, эта система, не может обойтись без людей разумных, талантливых, честных, – которые, в конце концов, ее же и подводят, поскольку честь и разум приводят их к ощущению трагического положения страны и мира. После "ухода Хрущева на пенсию" процесс формирования и появления этих людей не приостановился. Наоборот, движение за права человека в СССР усилилось, и самое осуществление этих прав стало ощутимей.

Возникла целая неподцензурная культура, которую правильно будет назвать "антибульдозерной культурой", – в память того печального события, когда выставку недозволенных бронетанковыми "реалистами" картин смели с московского пустыря бульдозеры и доброхоты из числа тех, кому всегда приятно потоптать интеллигентов и вообще, кого прикажут.

Выставка, однако, уже с разрешения начальства произошла потом в Измайловском парке; не все в руководстве оказались убежденными бульдозеристами.

Но что такое по сути эта антибульдозерная культура? Художники, рисующие не на продажу, а на свой страх и риск? Писатели и поэты, пишущие в стол? Историки и филологи, занимающиеся столь же бесперспективными в смысле публикаций исследованиями?

Все эти люди основывают свою деятельность прежде всего на своей вере, надежде, любви, – у них своя, не общедоступная реальность. Об успехе или материальных выгодах в применении к деятелям "антибульдозерной культуры" говорить смешно.

В "антибульдозерной" культуре живет рыцарское, кихотическое начало.

Начало обреченности.

Ведь "кихотизм" – нестойкое свойство и при сильном давлении улетучивается...

Не обязательно под тяжестью лагерных сроков.

Он улетучивается и в эмиграции.

Не улетучивается ли он теперь и из нашей здешней жизни?

Совсем недавно, в этом, 1981 г., у нас вышла книга "От собственных имен к нарицательным" Л.А. Введенской и Н.П. Колесникова. В полном согласии со "Словарем иностранных слов" и изданиями многолетней давности эти авторы определяют Дон Кихота так:

> "Бескорыстный смешной мечтатель, растрачивающий свои силы в борьбе с воображаемыми препятствиями, не учитывающий, что эта борьба бесполезна, и вызывающий у всех только насмешки. Таких мечтателей-фантазеров, далеких от реальной жизни, называют Дон Кихотами".[30]

Противоположность определений кихотизма в "Энциклопедическом словаре" (1980) и в книге "От собственных имен к нарицательным" (1981) может оказаться знаменательной. Похоже, что в предпоследнем десятилетии XX века отношение к Рыцарю Печального Образа может измениться к худшему.

Грядущее сулит нам новые перспективы поступательного движения по сильно пересеченной местности, причем перспективы эти парадоксальны.

С одной стороны, население у нас спокойно, на все готово, занято приобретательством, – все это напоминает эпоху "торжествующего мещанства" (термин Иванова-Разумника) восьмидесятых годов прошлого столетия. С другой же стороны, эта нынешняя спокойная готовность населения жить, как велят, не обращая никакого внимания на разных Дон Кихотов, которых тем временем запихивают в воронки, нуждается в материальном обеспечении.

Восьмидесятые годы прошлого века, столь благоприятные для тогдашнего режима, омрачены были, однако, первыми хорошо организованными большими стачками. А нынешний XX век может добавить к ассор-

тименту XIX-го что-нибудь еще, уже совершенно непредвиденное...

Но как бы ни менялось отношение к кихотизму, человеческие воплощения кихотизма в России неистребимы.

А бытие на русской почве Дон Кихота как идеи гарантируют наши школьные программы. В обязательном порядке все двенадцатилетние школьники должны знать о Дон Кихоте, причем знать не в том уничижительном определении, которое было дано в книге "От собственных имен к нарицательным". Хотя книга эта предназначена для школьников, школа дает Рыцарю Бедному другие характеристики.

С "Дон Кихотом" Сервантеса школьников знакомят в шестом классе; там проходят в соответствии с программой отрывки из "Дон Кихота". Обычно даже не то что "проходят", – пробегают. Впрочем, это зависит от учителя, который может и подольше остановиться около Рыцаря Бедного. Замечу, что при Сталине и в пятидесятые годы Дон Кихот не считался фигурой, достойной изучения советскими пионерами.

Но прошло время; благожелательное отношение к Дон Кихоту росло; к тому же, знакомя школьников с шедеврами мировой литературы, не с "Фауста" же или не с "Дон Жуана" следовало начинать! Видимо, так рассудило начальство. И вот появился в хрестоматии "Родная литература" для шестого класса раздел о Дон Кихоте. Раздел этот, предваренный отрывком из книги Бруно Франка "Сервантес", где показаны мужество и сила самого Сервантеса, состоит из следующих эпизодов: Дон Кихот в результате чтения рыцарских романов отправляется в путь; хозяин постоялого двора посвящает его в рыцари; Дон Кихот спасает мальчика от побоев; битва с мельницами; Дон Кихот нападает на похоронную процессию; Дон Кихот и львы; Дон Кихот в гостях у Герцога и спор Дон Кихота с герцогским Духовником; советы Дон Кихота Санчо Пансе перед тем, как Санчо отправился управлять островом; Санчо Панса – губернатор на острове Баратория; отъезд Дон Кихота из замка, поединок с Рыцарем Белой Луны и возвращение Дон Кихота домой.

Вопросы для самопроверки построены так, чтобы ученик мог оценить прежде всего благородство Рыцаря.

Дореволюционные педагоги полагали, что "проходить" Дон Кихота в отрывках не следует. Современный испанский ученый Т. Диас-Плаха пишет, как о само собой разумеющемся, что рекомендации

> "... некоторых законодателей на ниве просвещения вкладывать этот роман в руки десятилетних детей давно отвергнуты".[31]

Но наши специалисты решили, что объяснение действительнее факта, – и свирепое племя мальчишек-подростков изучает по перечисленным отрывкам потешное житие тощего Рыцаря на Россинанте; уж не знаю, мечтают ли девчонки, чтобы кто-нибудь считал их Дульсинеями.

Это школьное знание о Дон Кихоте – психологический фон существования мифологемы о Рыцаре Бедном в нашей культуре.

Но само по себе это школьное полузнание о Дон Кихоте уважения к нему не повышает.

В пьесе В. Аграновского "Остановите Малахова" о подростке, попавшем сперва в воровскую шайку, а потом в тюрьму, этот подросток, Малахов, на вопрос, нравится ли ему Дон Кихот, отвечает:

– Чего в нем хорошего, когда его все обманывают.

Взгляд концентрированный и широко распространенный.

Недавно в "Литературной газете" прошла характерная для нового десятилетия – то ли десятилетия парадного спокойствия, то ли, и это скорее всего, необнадеживающих событий – дискуссия на тему: "Зачем Дон Кихоту 'Мерседес'?" (конец дискуссии в "Литературной газете" от 21 октября 1981 г.).

Л. Жуховицкий, автор фельетона "Зачем Дон Кихоту 'Мерседес'?" ("Литературная газета" от 19 августа 1981 г.) говорил о двух типах людей: "Дон Кихотах" и "Васьках" (по-видимому, от понятия "вась-вась"). "Васька" – тип ожесточенного хама-потребителя; "Дон Кихот" – интеллигент-идеалист.

Имя-притча снова оказалось у всех на устах.

Стремление – по методу Э. Цюрупы – "осоветить" Дон Кихота привело к тому, что в итоге его триумфа оказалось возможным заменить "Мерседесом" его Россинанта.

> " 'Васька' с 'Мерседесом' смотрится малоприятно. Но кто же мешает донкихотам умело работать и копить на машину? Пусть составляют 'васькам' честную конкуренцию", – написал в ходе дискуссии читатель в редакцию.[32]

Дискуссия и свелась к этому выводу.

Некогда Чернышевский противопоставлял могучего Цезаря немощному Дон Кихоту. По случайности на той же полосе газеты, где велась дискуссия, может ли Дон Кихот заменить Россинанта "Мерседесом" (или "Жигулями"), была помещена статья "Кому мешал Гай Цезарь?"

Гаем Цезарем звали огромного сенбернара, доброго, доверчивого к людям. Трое парней сумели увести эту собаку от дома, затащить ее к себе в квартиру, после чего оттуда "раздавались плач и крики как будто избивали женщину". Соседи вмешались, парни открыли дверь – и соседи увидели окровавленную собаку. "Собака была еще жива и кричала" (заметьте: не выла, не лаяла, – "кричала"). Парни объяснили, что это они лечат раненого пса; потом они увели сенбернара куда-то и, как потом выяснилось, еще долго, медленно, несколько часов убивали Гая Цезаря, который все никак не решался причинить людям вред. А потом убийцы содрали с Гая Цезаря мохнатую шкуру.

Вот это и есть "васьки", – может быть, они чуть-чуть злей большинства "васек", но не намного.

"Дон Кихоты" не могут составить "васькам" честную конкуренцию.

"Васьки" будут бить "донкихотов", как это обычно и бывало в русской истории, и, как это случалось до сих пор, всех перебьют, но кто-нибудь останется.

Пятилетний мальчик складывает кубики.

– Это замок. Вот ров. Вон там вода.

– Да где ты все это видишь?

– Это ты не видишь. Ты у меня еще неодонкихоченная мама.

Этот мальчик уже узнал очень важное про Дон Кихота.

Может быть, он будет еще мал, когда начнется побоище.

А потом, когда вырастет, может быть, и он станет новым непобедимым Рыцарем или отважится, по крайней мере, на несвоевременные и неуместные капли добра.

* * *

Литература

1 См. об этом "Как нас увольняли". Ю. Айхенвальд "По грани острой", Мюнхен, 1972, стр. 37.

2 Подробно об этом см. А. Гончаров "Режиссерские тетради". Тетрадь вторая. М., 1980, стр. 146.

3 Ю. Айхенвальд. "Дон Кихот и его создатель". "Семья и школа", 1966, № 4, стр. 45.

4 Э. Ростан. "Сирано де Бержерак". Пер. Ю. Айхенвальда. Изд. Отдела распространения драматических произведений ВУОАП, М., 1965.

5 Б. Окуджава. "Острова". М., 1959, стр. 33.

6 Цит. по книге Э. Цюрупы "Бессмертие Дон Кихота". М., 1977, стр. 173-174.

7 И. Глинский. "Лимит любви". М., 1980, стр. 28.

8 П. Ульянов. "Если называешься поэтом". "Литературная газета" от 7 февраля 1979 г.

9 В. Кушнер. Избранное. М.-Л.

10 См. цит. книгу Цюрупы, стр. 217-218.

11 С. Маршак. Избранная лирика. М., 1964, стр. 38.

12 П. Антокольский. Стихотворения. 1933-1940. М., 1941, стр. 73.

13 Л. Левин. "Четыре жизни. (К семидесятилетию со дня рождения П.Г. Антокольского)". "Новый мир". 1966, № 6, стр. 231.

14 П. Антокольский. "В искусстве есть только завтра". Беседа с поэтом. "Вопросы литературы". 1967, № 3, стр. 117.

15 Ю. Смирнов. "Ладонь Сервантеса". "Вечерняя Москва" от 6 ноября 1980 г.

16 Э. Цюрупа. "Бессмертие Дон Кихота". М., 1977, стр. 69.

17 См. "Советская Россия" от 28 апреля 1981 г.

18 А. Лебедев. "Мыслящий пролетариат". М., 1977, стр. 87-88.

19 Цит. книга Лебедева, стр. 95.

20 Там же, стр. 95.

21 Там же, стр. 96.

22 Цит. книга Э. Цюрупы, стр. 52.

23 Там же, стр. 53.

24 Там же, стр. 45.

25 "Краткая литературная энциклопедия", т. 6, М., 1971, стр. 791.

26 "Краткая литературная энциклопедия", т. 2. М., 1964, стр. 749.

27 Цит. книга Цюрупы "Бессмертие Дон Кихота", стр. 127.

28 А. Моисеев. "Таким был Че...". "Советская Россия" от 27 октября 1981 г.

29 Ю. Айхенвальд. "Високосный год". Мюнхен, 1980, стр. 77.

30 Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. "От собственных имен к нарицательным". М., 1981, стр. 7.

31 Г. Диас-Плаха. "От Сервантеса до наших дней". М., 1981, стр. 13.

32 Рубрика "Мнения". Отзыв К. Кумарина. "Литературная газета" от 21 октября 1981 г., стр. 12.

13. ДОН КИХОТ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Сейчас многие специалисты склонны выкраивать русскую культуру по извилистой, прихотливой линии советских государственных границ.

При такой выкройке может получиться, что Эдуард Багрицкий никакой не поэт, а, положим, Борис Поплавский, наоборот, – замечательный поэт. Последнее совершенно верно, но и Багрицкий был талантлив. Важно понять различие одаренностей, различие их влияния на людей, а не строить понапрасну внутри русской культуры своего рода берлинскую стену. Багрицкий и Поплавский существовали внутри одной культуры, как в пределах одной культуры существуют писатели В. Аксенов – автор "Поисков жанра" и В. Аксенов – автор романа "Ожог". Этих Аксеновых можно, конечно, рассматривать и как однофамильцев, но все равно сопоставлять их придется на общей культурной почве, хотя книги вышли по разным сторонам советского рубежа.

Что же касается ожесточенной критики одних другими, то, хотя атмосфера междоусобия характерна была и для горних сфер русской культуры, но самое-то междоусобие все-таки оставалось внизу, на земле. Павел Николаевич Милюков, послереволюционный эмигрант, мог безо всякой приязни относиться к Петру Лавровичу Лаврову, эмигранту еще дореволюционному и революционеру, но ничто не мешает нам находить в их книгах весьма интересные и полезные рассуждения.

Поэтому, когда я пишу о Дон Кихоте на русской почве, то опустить вовсе бытие Рыцаря Печального Образа в русской культуре за рубежом я никак не могу; в то же время тема слишком велика, да и материала у меня мало. Поэтому описание судьбы Рыцаря Бедного в Русском Зарубежье будет очень фрагментарным.

Например, как истолковывалось имя-притча Дон Кихот до нынешнего, – третьего после Октябрьского переворота, – пароксизма русской эмиграции, у меня нет никаких сведений.

Отмечу только, что истинным демиургом своего мира был неподражаемый Набоков. Этот консервативный рыцарь окружил себя образами России, истончил эти образы до полной взаимопроницаемости, преобразовывал их постоянно в самой причудливой манере и существовал среди своих прозрачных, мерцающих видений, дразня простаков, пытавшихся, наконец, понять, в чем же тут дело, что же представляет собой владелец этого замка, реального, как любое сооружение Фата Морганы. Набоков соткал вокруг себя целый кокон радужных, переливчатых оболочек; он противопоставил мировым стандартам свою изысканную, прихотливую действительность, которая, как и у Федора Сологуба, существовала исключительно ради самой себя.

Что касается человеческих проявлений кихотизма в Русском Зарубежье, то поступок князя Ширинского-Шихматова, убитого в нацистском концлагере за попытку защитить от охранников другого зека, товарища князя по несчастью, был не просто рыцарственен, но и, несомненно, кихотичен. К сожалению, у меня слишком мало сведений о "первой" послереволюционной эмиграции, чтобы имело смысл пытаться писать подробнее о бытии Дон Кихота – человека и идеи – в этой среде.

Переходя к русским текстам последнего десятилетия, опубликованным за границей и упоминавшим о Дон Кихоте, надо иметь в виду, что какие-то из этих текстов были написаны в Советской России, их писали для самиздата, который был важным проявлением антибульдозерной культуры.

Но когда человек пишет без всякой оглядки на бульдозериста, чье присутствие он тем не менее чувствует под ложечкой, то тексты могут оказаться настолько свободными, что никакого другого смысла, кроме как желание продемонстрировать свою дерзость и независимость ото всех традиций и правил, в них и не будет. Если автор пишет в стол, рискуя, что стол его вместе с рукописью раздавят, сотрут в ничто бульдозерные гусеницы, то ему вполне может захотеться высказаться эпатирующе, отчаянно и окончательно.

Трудно себе позволить относиться к произведению, написанному в столь опасной ситуации, как к чему-то промежуточному.

Зато своевольная, шокирующая окончательность подбадривает иного человека, как матерная ругань в драке.

Стремление высказать о людской природе в первую очередь то, что считается отвратительным, позорящим, характеризует рассказ Юза Алешковского "Николай Николаевич".

Говоря в модной сейчас манере, основа этого рассказа – "поэзия материально-телесного низа"; рассказ насыщен сверх предела карнавально-праздничным матюгом с ухищрениями.

Разные типы раблезианского смеха, переходящие в божественный гомерический хохот, поскольку речь идет о суходрочке, как ведущей форме человеческой деятельности на земле и в космосе, с добавлением карбида в эти школьные чернила, создают стилистически уникальный букет.

Дойдя до абсолютного дна, писатель все же уводит читателя от ежедневной мастурбации своего героя вверх, к аранжированной "феней" и матом надежде на человека (на того же героя, решившего переквалифицироваться из высокооплачиваемого онаниста в сапожники).

Это произошло после того, как над многолетним профессиональным донором спермы произвели эксперимент: выясняли, какие книги способствуют появлению у донора эрекции, какие нет. Установили, что, например, "Вий" и "Майская ночь" способствуют. От романа Георгия Маркова "Сибирь" донор, наоборот, чуть не сблевал. Зато от "Дон Кихота" "плакал три недели и на работе и дома", – эрекции, впрочем, тоже не было.

Но зато, когда спермодонор решает уйти из сферы обслуживания генной инженерии, то своему общественно полезному онанизму он противопоставляет "донкихотство":

> "... Завязывать пора. После 'Дон Кихота' и дрочить стало очень трудно и страшно. Чем я, думаю, занимаюсь, когда надо продолжать войну с ветряными мельницами?!"[1]

Ничего в мире нет, кроме той или иной суходрочки, а также извержения спермы. Из этого наличного ассортимента герой и выбрал сапожное ремесло.

Дон Кихот не случайно влип в спермомир Алешковского: популярность привела Дон Кихота к этому. Разумеется, такое могло случиться с Рыцарем Бедным только в самиздате.

Но не все относились к Рыцарю Печального Образа с таким пониманием, как Алешковский и его герой.

А.Э. Краснов-Левитин, например, напал на Дон Кихота, как некогда Иерофей Татарский.

Алешковский противопоставил сервантесовского Дон Кихота с мельницей раблезианскому материально-телесному низу с гульфиком; зато (см. стр. 69 цит. книги Алешковского) писатель сопоставил и марксизм не с кихотизмом, а с онанизмом, показав, что последний несравненно полезнее для людей, нежели марксизм: мастурбация, непрерывно производимая над Россией, дает – по Алешковскому – катастрофические результаты.

Краснов-Левитин в книге "Лихие годы", недавно вышедшей в Париже, наоборот, называл "Дон Кихотами" марксистов.

> "Марксисты мне часто представляются в чем-то похожими на Дон Кихота. Так же, как он, вооруженный заржавленным копьем и самодельными латами, решил переделывать мир по Амадису Гальскому, так и марксисты считают, что, если переделать мир по Марксу, сделать так, чтоб прибавочную стоимость клали себе в карман не капиталисты, а толстобрюхие бюрократы и карьеристы с партбилетами, то от этого кому-то станет легче, – писал Краснов-Левитин.[2]
>
> – Между прочим, подобным Дон Кихотом был и 'сам' Ленин. Несмотря на всю его 'практичность', его рецепты построения земного рая поражают своей наивностью. Чего стоит хотя бы анекдотическая фраза: 'Советская власть + электрификация – это уже коммунизм'... Правда, Хрущев решил 'поправить' своего учителя. Он заявил: 'Советская власть + электрификация + химизация – это уже коммунизм'..."

Такое истолкование имени-притчи Дон Кихот, как мы видели, не ново для семидесятых годов: и поэты Е. Долматовский с И. Глинским, и Э.Цюрупа в книге "Бессмертие Дон Кихота" интерпретируют Рыцаря Бедного как революционера-марксиста. А.Э. Краснов-Левитин оказался в русле

этого направления. Парадокс в том, что, не являясь большевиком, А.Э. Краснов-Левитин истолковывает имя-притчу "Дон Кихот" по-большевистски.

Выше я уже писал о том, почему, учитывая русскую культурную традицию, я не могу считать такую интерпретацию продуктивной.

А.Э. Краснов-Левитин обосновывает свое понимание Дон Кихота мифологемы так:

> "Могут сказать, что коммунисты совершенно свирепы. А Дон Кихот разве был мягкий человек? Он только и грезит войной; он нападает на баранов, на львов, и будь у него более усовершенствованное орудие, и будь он не так стар и слаб, то, наверное, многим бы не поздоровилось. Скажут, что Дон Кихот человек исключительно благородный, а большевики действуют подлыми методами, основывают свое царство на лжи. А разве не сплошной обман все эти сказки о благородных амадисах? Мы видели, каковы эти амадисы, когда получают власть: стоит лишь вспомнить 'подвиги' крестоносцев в Константинополе. Да вот, был еще один 'рыцарь', Павел I, 'Мальтийский кавалер/ Хоть не совсем он правил на рыцарский манер'."[3]

При всем моем почтении к А.Э. Краснову-Левитину, и к благородному этическому пафосу его книги, нельзя не заметить, что пример Павла I дискредитирует понятие рыцарственности не более, чем испанская инквизиция или иезуитская республика Парагвай дискредитируют христианство.

Что же касается исторической критики рыцарства, то здесь А.Э. Краснов-Левитин следует революционному демократу Н.А. Добролюбову. Н.А. Добролюбов в рецензии на книгу для юношества "история рыцарства" Руа, утверждавшего, что между "неомраченной честью, рыцарским незапятнанным щитом, безупречной совестью и белым одеянием неофита есть искренний сокровенный союз", раздраженно писал, что нечего прославлять рыцарство, что это "дикая сила", что "это кулачное право, безобразно соединенное с сентиментальностью" (см. об этом первую часть книги, гл. X "Дон Кихот против Дон Кихота").

Между тем люди и в XX веке называют благородный поступок "рыцарским". Легенда о рыцарстве оказалась действительнее фактов его исторического бытия.

А.Э. Краснов-Левитин предлагает противопоставить Дон Кихоту не жестяного адепта Передовой науки, как это повелось в нынешних пьесах о Дон Кихоте, а по-прежнему Гамлета.

> "И вот снова, как когда-то Дон Кихоту противостоит Гамлет с его упорной констатацией: 'Весь мир – тюрьма, а коммунизм (с его обожествлением крепкого государства и диктатуры касты) – одно из худших ее отделений'. И кто может с этим спорить?"[4] – говорится в книге Краснова-Левитина.

Между тем имя-притча "Гамлет" в свою очередь развивается. И сейчас видно, что противопоставление Гамлета и Дон Кихота не может быть полным: ведь сам Гамлет в конце концов, был вдохновлен к действию примером рыцарственного Фортинбраса. В монологе о Фортинбрасе (акт IV, сцена 4) Гамлет отверг свою прежнюю, двусмысленную, обессиливавшую действительность; он предпочел мир Фортинбраса, окрыленного своей "ограниченной мифологией" (Горнфельд так говорил о Дон Кихоте). В итоге для датского принца разрешающей, катарсистической формой бытия стал не гамлетизм, а рыцарственность; примером поведения для него оказался – нет, конечно же не Дон Кихот! – а любимые герои Дон Кихота, не только с жаром вступавшие в борьбу со злом, но и способные сражаться из-за выеденного яйца, "когда задета честь".

Противопоставляя Гамлету Дон Кихота, А.Г. Горнфельд покорно следовал своему оппоненту Тургеневу, не обратив внимания на то, что Дон Кихот и Гамлет неожиданно совпали в общем для каждого из них уважении к рыцарственной решимости действовать, пусть даже это действие покажется другим столь же нелепым, как и нападение Дон Кихота на мельницы. Гамлет поражен готовностью Фортинбраса и его воинов во имя "прихоти и вздорной славы"

> "Лечь в могилу, как в постель
> За обладанье спорною полоской
> Столь малой, что на ней не разместить
> Дерущихся и не зарыть убитых".[5]

Что же касается рыцарской кихотической свирепости, то, конечно, Дон Кихот любил насилие во имя добра, жаждал победительного подвига. Но на русской почве Дон Кихот был главным образом Рыцарем Веры, что людей можно спасти от злых наваждений; был Рыцарем самоотверженной помощи первому встречному; при этом – по Достоевскому – цель его была "восстановить человека", а свойством кихотического насилия оказывалась полнейшая незадачливость.

Имя-притча "Дон Кихот", естественно, дает повод для различных толкований; но зачем же переименовывать из Дон Кихотов Короленку, Рыцаря Бедного?

Лучше не именовать Дон Кихотом Фиделя Кастро, хоть он и поставил у себя в Гаване памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе!

Василий Бетаки, в одном из номеров "Континента" рецензируя "Лихие годы" А.Э. Краснова-Левитина, отметил достоинства этой и, на мой взгляд, чрезвычайно ценной книги; потом он заступился за Дон Кихота, но аргументации В. Бетаки я не успел узнать: журнал забрали, и больше он не возвращался ко мне...*

---

* Позднее А.Э. Краснов-Левитин, видимо, изменил к лучшему свою оценку Дон Кихота. В IV томе своих мемуаров "Родной простор" (Франкфурт, 1981) он сравнивает с Дон Кихотом уже не марксистов, а себя: →

Ситуация "Дон Кихот против Дон Кихота", возникшая еще в прошлом столетии, с особенной отчетливостью повторилась в Русском Зарубежье. В России Дон Кихота, в основном, хвалили, хотя иные похвалы, как мы видели, стоили любой хулы. За рубежом выявилась та скрытая оппозиция к триумфирующему кихотизму, которая в России не выявлялась хотя бы потому, что в самом триумфе Дон Кихота содержался оттенок фронды. Этот оттенок фронды существовал несмотря на то, что некоторые писатели и поэты пытались поселить Дон Кихота в царстве марксистской необходимости.

Возможно, что из-за "легальной крамольности" Дон Кихота русские в Зарубежье отнеслись к нему жестче. И вот в номере 14-м "Континента", в Специальном приложении, была помещена заметка покойной ныне Л. Финкельштейн, посвященная статье Е. Клепиковой и В. Соловьева; статья эта была опубликована в газете "Нью-Йорк Таймс" от 4 октября 1977 г. Там говорилось, что Сахаров – "генерал без армии", "Дон Кихот", "павший воин". Это возмутило Л. Финкельштейн:

> "Вы сравниваете его с Дон Кихотом, который сражается не с ветряными мельницами, а с 'Молохом государства' и наделяете его чином генерала без армии...
>
> Он – нормальный! Он – не Дон Кихот! Дон Кихотом его объявили сумасшедшие! (Во время присуждения Сахарову Нобелевской премии советские газеты писали о том, что он 'наивный прожектер, Дон Кихот, генерал без армии'...). Генералом без армии Сахарова видят генералы с армиями. Народ терпит генералов, но верит только праведникам. А праведникам армии не обязательны, у них есть добровольные последователи", – писала Л. Финкельштейн.[6]

С ее точки зрения донкихотское звание было еще обиднее, чем для Клепиковой с Соловьевым. Эти сожалели, что Сахаров оказался хоть и в благородном, но в бесплодном донкихотском положении. Для прагматического Запада такая оценка Рыцаря Печального Образа естественна. Из текста Финкельштейн не видно, чтобы она признавала за Дон Кихотом во-

---

> "В тюрьме заключенные меня любили. И все они называли меня 'наш батька-революционер'. Один заключенный, чуть-чуть тронутый цивилизацией, меня называл 'Дон Кихотом'. Ошибались ли они? Нет, не ошибались. Я действительно сторонник активной борьбы за правду, сторонник непрерывного, непрестанного обновления жизни, а следовательно, – я революционер. Я – и Дон Кихот; ибо Дон Кихот – это прототип всех на свете революционеров и правдолюбцев. У нас часто считают имя 'Дон Кихот' оскорбительным прозвищем, но не так воспринимал это слово, например, Достоевский".
>
> (Стр. 334) – *Прим. ред.*

обще какие бы то ни было достоинства.

Л. Финкельштейн справедливо подчеркивала, что Сахаров – "нормальный", что он – "праведник". Однако она не знала, что нормальность и праведничество Дон Кихота с начала двадцатых годов и по сей день отмечались многими деятелями русской культуры; под конец с ними согласился даже такой консервативный кирпич, как однотомный Энциклопедический словарь.

Ее противопоставление "нормальности" и "праведничества" кихотизму – результат незнания исторической судьбы этого имени-притчи в России, а также свойственное и ее оппонентам ощущение, что быть таким битым и незадачливым рыцарем – стыдно.

На этом все трое сходятся с подростком Малаховым, объясняющим, что Дон Кихот это плохо, потому что Дон Кихота все обманывают.

Однако в том же специальном выпуске напечатан полный текст Обращения Сахарова к парламентам стран, подписавших Хельсинкские соглашения. Газета, напечатавшая это Обращение, несмотря на свое свободолюбие и во всем мире признанную демократичность, цензуровала сахаровский текст: изменила название, убрав оттуда адресата – парламенты западных стран (можно ли Рыцарю Печального Образа дать обратиться к г.г. Герцогам и Королям западных демократий? Вдруг и вправду какой-нибудь блудный парламентарий соблазнится!).

Кроме того, газета изъяла из Обращения большую часть имен узников совести СССР: читатель, находящийся на уровне мировых стандартов, не поймет рыцарского стремления защитить отдельных людей с шершавыми неудобочитаемыми, никому неизвестными фамилиями.

"Призыв к действиям газета заменила призывом к повторным декларациям", – жаловался А.Д. Сахаров.

Е.Г. Боннэр в ноябре 1977 г. написала в редакцию газеты:

> "Что же стоит за вашей респектабельностью? Узкое политиканство, стремление быть в модном русле некоторой оппозиции ко всему, что сказано не вами, полуобман своего читателя?"
>
> (См. "Континент" № 14, Специальное приложение.)

Кажется, ответа из редакции не последовало.

Я думаю, что назвать А.Д. Сахарова практическим политиком, имея перед собой вышеприведенную иллюстрацию того, что же именно представляют собой эти практические политики, – оскорбительно для Разума.

> "Справедливость натурализма – это справедливость *силы*, когда прав победивший;
>
> Справедливость идеализма – это справедливость *рассудка*, когда прав все предусмотревший;
>
> Справедливость же иррационализма – это справедливость *совести*, когда прав исполнивший свой долг.
>
> В общем, эти три справедливости – символы трех душ: души ха-

ма, души классного наставника и души Дон Кихота...", – писал Н.Т. в журнале "Третья волна".[7]

Это совершенно верно; жаль только, что автор превратил идеалиста в голенастого сухого педанта. Я люблю слово "идеализм" за его болезненную меланхоличность и понятливость, – а, стало быть, за отсутствие наставнической чопорности.

А.И. Солженицын тоже попал на русском Западе в Дон Кихоты на основаниях, сформулированных Н.Т. Его "Архипелаг ГУЛаг" был яростным обращением к совести цивилизованного человечества. Но

> "... политически влиятельные круги Запада, владеющие всей сетью информации (пресловутая mass media), газеты, радио, телевидение, издательства в течение полувека знать правды об СССР не хотели (и сейчас не хотят!)... Потому-то и вера Солженицына – свалить тоталитарный строй тремя томами 'Архипелага ГУЛаг' была, конечно, героической, но, конечно, и донкихотской", –

пишет автор "Нового журнала" в статье "Александр Исаевич Солженицын в СССР и на Западе".[8]

В этом контексте понятие кихотического героизма отнюдь не выглядит бессмыслицей, хотя автор – явно не из числа поклонников Рыцаря Печального Образа.

Но кихотизм в современном мире – неизбежность для нормальных людей...

Укорененная во внешнем, оттуда питающаяся сила прагматиков бесплодна; у Дон Кихота есть силы собственные, внутренние. И все же для человека, не заглушившего в себе "голоса сердца", но живущего в общедоступной реальности, Дон Кихот притягателен и одновременно жалок.

> "Мир делился надвое: на одной стороне были такие, как Глеб, – настоящие мужчины, сильные, с трезвым умом и железной волей, люди дела, знающие, чего они хотят, и неуклонно идущие к цели, п о б е д и т е л и . На другой – чудаки, беспочвенные мечтатели, нелепые и неумелые, живущие сердцем, жалкие дон-кихоты, не признающие правил жизненной игры, простаки, дурачки, баламуты, мальчишки, которых жизнь бьет по башке (и поделом: разве умный человек станет лбом прошибать стену?..), словом, люди второго сорта, обреченные на поражение, на прозябание, на ничтожество, неудачники, такие, как мой муж Алька... и я, как мы", –

таким в ситуации двоения героини, когда она силится выбрать реальность, – то ли свою, уникальную, то ли общедоступную, – выглядит кихотический склад личности (А. Герц "К вольной воле заповедные пути").[9]

Ироническое отношение к Дон Кихоту ничуть не лишает уважения к нему. К. Хенкин, участник войны в Испании на республиканской стороне, а до того – эмигрант, описывает в "Испанском блокноте" встречу с русским же эмигрантом, но воевавшим за франкистскую Испанию:

"... Старый, больной Дон Кихот...

– Я испанец, дорогуша! Да, Михайловское училище, мировая война, гражданская... Но я воевал за Испанию. Я стоял у колыбели национальной Испании... А сегодня? Этот убийца Каррильо разъезжает по Мадриду в блиндированном автомобиле! Кто же победитель, кто побежденный?

Это уже я спросил себя, выйдя на улицу, так и не признавшись хозяину в том, что воевал против него.

Старый, больной Дон Кихот в стеганом халате, с шелковым шарфом на шее...".[10]

Так и в Русском Зарубежье возник тип Дон Кихота Долматовского, Дон Кихота из воинских рядов участников гражданской войны в Испании, но только политически – с "обратным знаком". Поскольку такой Дон Кихот оказывается Рыцарем революции, его и порицает со всем своим этическим пафосом А.Э. Краснов-Левитин. Таким образом, возникший уже после революции тип – тип "Дон Кихота в рядах воюющих войск", – в семидесятые годы существует по обе стороны советского рубежа.

Но о том Дон Кихоте, которому посвящена эта моя книга, лучше всего сказал испанец Мигель де Унамуно:

"Благодарение прозорливому Господу – жить со спокойной совестью больше невозможно. И вера не примирится с рассудком. Мир должен быть таким, как хочет Дон Кихот, и постоялые дворы должны стать замками, и Дон Кихот будет биться с целым светом, и, по-видимости, будет побит; а все-таки он останется победителем, хотя ему и придется выставить себя на посмешище. Он победит, смеясь над самим собой...

Итак, какова эта новая миссия Дон Кихота в нынешнем мире? Его удел – кричать, кричать в пустыне. Но пустыня внимает ему, хоть люди его и не слышат; и однажды пустыня заговорит, как лес: одинокий голос, подобный павшему семени, возрастет исполинским дубом, и тысячи языков его воспоют вечную славу Господу жизни и смерти".

(О трагическом ощущении жизни. 1913.)[11]

1913 год был последним годом "мирного времени".

А теперь тем более удел Дон Кихота – "кричать в пустыне".

В эту формулу укладывается и деятельность Татьяны Великановой, и Татьяны Осиповой, и Юрия Орлова, и Сергея Ковалева, и Виктора Некипелова, и Анатолия Щаранского, и Виктора Браиловского, и Глеба Якунина, и Василя Стуса, и Александра Подрабинека, и Славы Бахмина, и Анатолия Марченко.

Приведенные строки Мигеля де Унамуно выбрал в качестве эпиграфа Б. Хазанов к своей повести "Час короля", повести очень важной для понимания кихотизма. Повесть эта была напечатана в № 6 журнала "Время и мы".

Король, герой повести, описан так:

> "Карикатуры изображали короля, высокого, как Гулливер, и тощего, как Дон Кихот, стоящим на одной ноге на пятачке своего крошечного королевства, поджав другую ногу, для которой не хватало места. Ему бы еще дедушкины латы и бритвенный тазик на седую голову. Да, монархия – пережиток, подобный рыцарским аксессуарам чудака из Ламанчи".[12]

Признак кихотизма – трогательная нелепость.

В повести "Час короля" король Седрик X из воображенного Хазановым королевства оказывается в опасном соседстве с Райхом, тоже не названным Германией, чей диктатор захватывает королевство Седрика X. Сделать это нетрудно:

> "Кавалерист на белой лошади древних кровей, чья родословная восходила ко временам славного Россинанта",

не мог, конечно, противостоять танкам могущественного соседа. Король, правда, был почетным шефом лейб-эскадрона, но самый эскадрон, как сообщает автор, "ушел в вечность", оставив на память о себе только своего шефа.

Признак кихотизма – принадлежность к категории уже исчезнувшего на этом свете.

Райх напал на королевство Седрика X, занял его, и было велено после этого всем евреям королевства нашить на левый рукав желтые звезды. Седрик X как раз на левом рукаве носил рыцарскую звезду. Он снял звезду с левого рукава и велел королеве Амалии пришить вместо нее гексаграмму. В таком виде он и вышел на обычную свою прогулку по столице.

Анализируя этот эпизод, автор приводит несколько замечаний о целесообразности человеческих поступков.

Большинство полагало, что

> "...король отважился на этот шаг или, как тогда говорили, 'отколол номер' в результате обдуманного решения, взвесив все про и контра и чуть ли не рассчитал наперед все общественно-политические последствия своего поступка, – кстати сказать, сильно преувеличенные. Слишком многие в то время видели в короле своего рода оплот здравого смысла, слишком многим он казался образцом разумного конформизма".[13]

Однако ожидания эти были обмануты королем, совершившим поступок

> "... нелепый, бессмысленный, не обоснованный никакими разумными соображениями, не имеющий никакой определенной цели, кроме стремления бросить вызов окружающему или (как выразился герой одного литературного романа) 'заявить своеволие'.
>
> Где уж там было рассчитывать общественные последствия своей

выходки! На короля нашел какой-то стих", – объясняет иронический комментатор-повествователь.[14]

Мемуары королевы подтверждают фамильную черту династии Седрика X: "любовь к безумию".

Повествователь, поясняя, что это значит, делит человеческие действия на три группы: самый почтенный род действий – это "неделание" даосизма; "разумные и целесообразные действия" – "модус вивенди" реально мыслящего человека.

Но есть еще абсурдные деяния.

> "Абсурдное деяние перечеркивает действительность. На место истины, обязательной для всех, оно ставит истину, очевидную только для одного человека. Строго говоря, оно означает, что тот, кто решился действовать так, сам стал живой истиной. Человек, принявший бессмысленное решение, тем самым ставит себя на место Бога. Ибо только Богу приличествует игнорировать действительность...
>
> Самым решительным опровержением доктрины бессмысленного деяния служит то, что оно не приводит ни к каким результатам... Смерть Седрика не повлияла на исход войны, этот исход решили другие факторы – историческая закономерность эволюции Райха, реальная мощь сил, противостоящих ему. Акт (или 'номер'), содеянный впавшим в помрачение ума престарелым монархом не облегчил даже участи тех, в чью защиту он выступил, вопреки легенде о том, что, де, под шумок удалось кое-кого переправить за границу, спрятать оставшихся и т.п.; это как раз и доказывает, что акт был совершен по наитию, без всякого плана. Подвиг Седрика, этого новоявленного Дон Кихота, был бесполезен. И если можно говорить о его реальных последствиях, то разве лишь о том, что король заразил на какое-то время своим безумием более или менее ограниченное число обывателей".[15]

Таким образом, мотивы кихотизма – это стремление к сиюминутному добру, стремление к своему собственному честному поступку, в котором выявляется человеческое богоподобие, – хотя, поскольку человек не богоравен, кихотическое добро оказывается безрезультатным.

В повести "Час короля" ведется все тот же, характерный для последнего полувека спор Самсона Карраско, представителя здравого смысла и силы, с Дон Кихотом. То, что было "пружиной" сюжета пьес Г. Чулкова, М. Булгакова, Е. Шварца, стало в повести Б. Хазанова полемикой повествователя с героем повествования, полемикой, создающей напряженность текста повести.

> "После этих замечаний читателю станет понятным то очевидное пренебрежение, с которым биографы короля описывают этот нелепо-риторический жест, завершивший долгую и в целом не лишенную привлекательных сторон жизнь Седрика Десятого".[16]

Ирония – самозащита друзей Дон Кихота. В условиях "риторики" холодной войны или "риторики" разрядки, в век эвфемистических, нарочито неточных определений обладателям хоть каких-то духовных ценностей остается только прибедняться. И нередко в человеке под панцирем циничесского остроумия и злой самоиронии прячется беззащитный занудаморалист.

Разговор в театре им. Маяковского о том, почему нам интересен Дон Кихот (этот разговор я приводил в предыдущей главе), можно бы переиначить так:

– Я не носорог, вы не носорог, он не носорог. Но всем нам свойственно быть носорогами, и поэтому мы любим Дон Кихота.

Это ценная для человеческой духовности любовь. Любовь к Рыцарю Доброму Дон Кихоту – почти кихотизм.

Б. Хазанов совершенно прав в своем ощущении,

> "... что неожиданное движение души – и есть суть и истина самого существа человеческого".[17]

Это мнение уже не повествователя "Часа короля" в его тамошней маске язвительного реалиста, а мнение самого Б. Хазанова, как он его высказал в книге "Запах звезд". Там в эссе "Идущий по воде" Хазанов пишет, что

> "...свободе предшествует сознание свободы. Так рождается концепция Деяния с большой буквы, того самого мгновения Истины, когда человек раздвигает сетку узаконенных координат, словно прутья решетки. Тогда он едет в Малую Азию отыскивать Трою, хотя ему сто раз объясняли, что Троя никогда не существовала. Тогда он оставляет Ясную Поляну, поступает в оруженосцы к Дон Кихоту, заявляет, что не примет католичества, потому что где-то преследуют евреев, садится с детьми в вагон, который везет их в газовую камеру, – и никто не понимает, чего он, собственно, хочет этим добиться".[18]

Точно так же Дракон у Шварца был озадачен именно тем, что Ланцелот не желает понимать, что погибнет за обозленных на него людей бесследно и бесполезно.

То обстоятельство, что присутствие Дон Кихота в литературе нынешнего нашего Зарубежья вполне ощутимо, объясняется, по-моему, некоторым кихопатическим консерватизмом, свойственным части русской эмиграции (и внешней и внутренней). Поскольку речь идет и о "внутренней", то ясно, что я имею в виду эмиграцию политическую, а не коммерческую, цель которой – сладкая жизнь и длинный доллар.

Ведь одна из форм кихотизма в России – это консервативный идеализм, почти непременный элемент которого – ощущение зловещей, едва ли не магической роли "изма", как это называет Александр Зиновьев. "Изм", по Зиновьеву, ("Светлое будущее") разрушает цивилизованную социальность, которая при помощи традиционной религии, морали, искусства, целого ряда других общественных установлений охраняет людей

друг от друга, отчасти отчуждая их собственную нравственность и через отчуждение увеличивая силу ее влияния "до степени категоричности". Я могу тут только добавить, что этот механизм отчуждения включает и сублимацию страха. В результате возникает, пусть несовершенное, но человеческое общество, – исторически сложившееся, в конечном счете – "придуманное", изобретенное людьми. Между тем "природное", "натуральное" в нас – от животного; в результате "изматической" социальности возникает примитивное общество, в котором неизбежно прежнее, еще варварское разделение на власть имущих и безвластных, но без смягчения переходов и без надежд на более гуманный мир.

Молодежь на Западе ищет раскованности, непосредственности, отсутствия условностей, – и отчасти разрушает скрепы, державшие ту европейскую социальность, которой Шпенглер пророчил закат в варварство. Культ "детей", который осуждали еще авторы наших "Вех", практически распространен на вольнолюбивом Западе куда больше, чем в России девятисотых годов: "отцы" боятся отстать от "детей", – где уж тут говорить о духовном влиянии "старших"!

Но что "старшие" могут предложить?

Реакции людей "свободного мира" на происходящее с ними зачастую удивительно инфантильны.

Недавно, например, советская подводная лодка села на мель в запретной зоне у берегов Швеции. Шведская оборонная аппаратура в течение многих часов не могла ее обнаружить. Вышел международный скандал. Шведы в Стокгольме устроили антисоветские демонстрации.

А что бы им подемонстрировать против собственного военного министерства, которое не в состоянии наладить оборону страны?

Но такая демонстрация практически могла иметь следствием увеличение военных расходов, – в частности, и за счет демонстрирующих.

А зачем им это нужно?

Инфантильное скопидомство граждан "свободного мира" – мощная сила, толкающая их "влево".

И все же в романе Зиновьева "Светлое будущее" Антон, друг героя романа, надеется, что "изму" можно противопоставить правду о нем, – а из этого может развиться идеология, достойно "изму" противостоящая.

– Не успеете, – говорю я. – Несмотря ни на что, мир поверит нам, а не вам, ибо он не хочет знать истину. А когда он начнет кое-что соображать, будет уже поздно! Не успеете!

– Боюсь, ты прав. Но для меня нет проблемы расчета. Если даже завтра "изм" победит во всем мире, и сегодня мне никто не поверит, и голос мой не будет услышан, я все равно попытаюсь сказать то, что я увидел сам.

– Попробуй! Только дадут ли тебе?

– Не имеет значения. Я это должен сделать перед самим собой. Ты знаешь о такой штуке, которая именуется совестью?[19]

Голос Антона – это голос Дон Кихота, голос того самого "вопиющего в пустыне", о котором писал Унамуно.

Когда русский интеллигент такого настроения приезжает на Запад, он сразу же оказывается в положении настороженного Дон Кихота.

Он, например, говорит:

– И у вас есть дети, и вы обязаны их кормить, и не важно, какая есть идеология в мире, а есть – рубль. Вы обязаны кормить молоком маленьких детей, а картошкой – тех, кто побольше. Никто не хочет знать, что есть такое понятие, как человеческая ответственность... Вопрос не в том, какой идеологии он придерживался, – левой или правой. Вопрос в том, готов ли он быть человеком, защищать свое достоинство, и не важно, что будет дальше, неважно, что он ничего не достигнет. Все мы сдохнем в свое время. Давайте сдохнем теми, кто мы есть.[20]

В этой кихотической – пусть не по лексике, а по пафосу – реплике В. Буковского за круглым столом "Континента" кихотизм противопоставлен реализму. Рубль, однако, не противопоставлен доллару – и справедливо: доллары на многих наших "деловых" эмигрантов влияют во много раз сильнее и хуже, чем рубли воздействовали здесь. Но я говорю не о том, что нередко происходит на свободном Западе с русским человеком (кихотизм – не стойкое свойство), а о том, с каким настроением приезжают туда наши интеллигенты "донкихотского" склада.

Кихотический, идеалистический в основе своей консерватизм многих нынешних эмигрантов имеет прочный фундамент: опыт сталинского большого террора; этот опыт самой своей безнадежностью принуждает к надежде, но вместе с ней к настороженности и осторожности.

Ведь Сталин шантажировал арестованных тем, что перережут их семьи; люди, лично не боявшиеся умереть, становились предателями. Теперешний тоталитаристский атомный шантаж – все та же "подножка" и тоже удачно примененная.

Что, если Запад зачарован Марксом, как Медузой Горгоной? Что, если угроза гибели раздавила массу европейцев, – и от них отлетел дух смелости и сила противостоять?

Эта тревога наших свободолюбцев, многие из которых платят за любовь к свободе годами тюрьмы, имеет основание: можно мечтать – такие мечтания распространены в Европе – о совершенствовании человека и мира, но пока гедонизм остается эмоциональной основой "приватной жизни", то и в области жизни общественной всякое мировоззрение окажется непрочным и уступчивым.

А пока что историческое беспамятство, подкрепленное выгодными экономическими сделками, остается могучим фактором, формирующим реальность европейских "елисейских полей". И эта реальность тревожит наших кихотических консервативных идеалистов. Эта тревога до того сильна, что даже Дон Кихот кажется некоторым из них революционером-марксистом. А.Э. Краснов-Левитин тут не одинок. Наум Коржавин, которого я высоко ценю как человека и поэта, даже противопоставил Дон Кихот – Че Гевару Санчо Пансе – мужику.

В статье "Психология современного энтузиазма" Н. Коржавин рисует такую картину:

> "... Очередной Дон Кихот отправляется на поиски очередных Санчо Панс. Отправился...
>
> Но оказалось, что Санчо Панса нынче не тот пошел..."

Санчо Пансы отвечали Дон Кихоту

> "... непонятное на всех языках – 'оно конечно', но от участия в партизанской борьбе эластично уклонялись".

Крестьяне, видно, думали:

> "Много их что-то нынче стало, Дон Кихотов. Говорят непонятно и ходят сворами, как разбойники, – дучше мужику подальше от них держаться... Санчо на этот раз определенно не рвался в оруженосцы Дон Кихота".[21]

В результате "Дон Кихот – Че Гевара" записал в дневнике, что необходим разумный террор, чтобы придать движению настоящий размах.

Политические взгляды перестали теперь предопределять отношение к Рыцарю Печального Образа. Люди одинаковых политических убеждений по-разному относятся в наши дни к Рыцарю Бедному.

В Русском Зарубежье "отрицательные" оценки Дон Кихота злее и резче, "положительные" – глубже; как и в России, это имя-притча истолковывается противоречиво.

Ироническое или осуждающее отношение к Дон Кихоту чаще всего содержится, как мне кажется, в текстах, написанных авторами уже за границей. В текстах же, которые попали в тамиздат из самиздата, Дон Кихота обыкновенно уважают, если не восхищаются им. У меня нет достаточного материала для уверенного суждения об этом. Но потребительское общество вряд ли способствует возникновению кихотизма.

Между тем в приведенных строках Н. Коржавина Санчо Панса обрел полную самостоятельность. Противопоставление Рыцарю Оруженосца в пользу последнего в русской литературе уже бывало. Существовало также истолкование Санчо как имени-символа, обозначающего народ. Не только в старинной пьесе о губернаторстве Санчо Пансы, но и намного позже Оруженосец существовал в российской традиции вовсе без Дон Кихота.

О бытии Санчо Пансы без Дон Кихота и связанных с этим надеждах русских людей на лучшее будущее я расскажу в следующей главе.

* * *

Литература

1 Юз Алешковский. "Николай Николаевич. Маскировка". Изд. Ардис, 1980, стр. 68.

2 А. Краснов-Левитин. "Лихие годы". Париж. б/д, стр. 336.

3 Там же, стр. 336.

4 Там же, стр. 336.

5 В. Шекспир. "Гамлет". Пер. Б. Пастернака. "Избранные произведения". М., 1953, стр. 280.

6 "Континент" № 14. Специальное приложение. Стр. 5,8.

7 "Третья волна", № 1. Н.Т. "Призрак сознания". Экзистенциальная анатомия искусства", стр. 36.

8 См. "Новый журнал", № 120, 1975, стр. 245.

9 А. Герц. "К вольной воле заповедные пути". "Новый журнал", № 121, стр. 42.

10 Кирилл Хенкин. "Испанский блокнот". "Континент", № 16, стр.287.

11 См. Б. Хазанов. "Час короля", "Время и мы", № 6, стр. 5.

12 Там же, стр. 19.

13 Там же, стр. 64.

14 Там же, стр. 65.

15 Там же, стр. 67.

16 Там же, стр. 67.

17 См. рецензию на книгу Б. Хазанова "Запах звезд". "Континент", № 16, стр. 377-378.

18 Там же, стр. 377-378.

19 А. Зиновьев. "Светлое будущее". Лозанна, 1978. Стр. 148.

20 "Континент", № 14, "Круглый стол". Выступление В. Буковского, стр. 274.

21 Н. Коржавин. "Психология современного энтузиазма". "Континент", № 8, стр. 184.

14. САНЧО ПАНСА БЕЗ ДОН КИХОТА

Впервые противопоставил Дон Кихота и Санчо Пансу М.О. Гершензон в своих афоризмах "Солнце над мглою". Эти афоризмы были напечатаны в "Записках мечтателей" (№ 5 за 1922 г.) как раз в то время, когда начинались высылки из России интеллигентов, которыми особенно были недовольны большевики.

За год до афоризмов в "Записках мечтателей" вышла книга Вячеслава Иванова и М.О. Гершензона "Переписка из двух углов".

М.О. Гершензон в письмах Вячеславу Иванову постоянно жаловался на одиночество, на потерянность человека в мире, в сотворенной людьми культуре. Гершензон пишет

> "... о всей целостной культуре нашей и о тончайших испарениях, которыми она пропитала всю ткань бытия, не о принуждениях, а о соблазнах, растливших, ослабивших, исказивших наш дух... Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много и этот груз меня тяготит. И вот я говорю: мне скушно от обилия фабричных вещей в моем доме, но бесконечно больше меня тяготит нажитая загроможденность моего духа. Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, и впридачу еще то, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное знание, свежее, как летнее утро...".[1]

Горизонты души оказались искаженными миражами культуры, загороженными книжными шкафами, где, конечно, хранилась среди прочих и донкихотова "книга с застежками".

Однако, чем сильнее, чем пронзительнее чувство "первоначального знания", непосредственного восприятия, тем менее оно индивидуально. Культура придает непосредственному еще и индивидуальную неповторимость, всеобщему – единичность. Только обретя себя, переживя себя в себе самом, человек может изжить "самость" и обрести способность мистического слияния с Божеством. Как бы подготовляя к этому душу, творческие состояния человека (в частности, и восприятие сотворенного другими) дают ему высокое самозабвение, содержание которого уже не он сам, а то, чем он проникся. Без постепенного облагораживания "самости", истончающейся через общение с великими душами (а в этом общении – смысл переживания "культуры"), вместо самосовершенствования выйдет лишь грубое самонасилие, – как у толстовского отца Сергия.

Но в этом доме – в культуре – созданном творческими усилиями людей, человек, по Гершензону, все-таки почему-то оказался вдруг бездомным, потерявшим способность быть самим собой, оторванным от своей природной основы.

Беда эта, случившаяся с Гершензоном, не обязательно должна была произойти с каждым "нагруженным культурой" интеллигентом, о чем свидетельствовал в ответном письме из своего угла Вячеслав Иванов.

> "Сознание может быть всецело имманентным культуре, но может быть и частью лишь имманентным, частью же – трансцедентным... Человек, верующий в Бога, ни за что не согласится признать свое верование частью культуры; человек же, закрепощенный культурой, неизбежно сочтет последнее за культурный феномен, как бы ни определял он ближе его природу, – как унаследованное ли представление и исторически обусловленный психологизм или как метафизику и поэзию, или как социо-морфический двигатель и нравственную ценность. Все, что угодно, усмотрит он в этой вере, но непременно введет ее в объемлющий для него всю жизнь духа круг явлений культуры и никогда не согласится с верующим, что его вера есть нечто культуре внеположное, самостоятельное, простое и первоначальное, н е п о с р е д с т в е н н о связующее его личность с бытием абсолютным. Ибо для верующего его вера по существу отдельна от культуры, как отдельна от нее природа, как отдельна любовь...".[2]

М. Гершензон ответил Вяч. Иванову именно так, как тот и предполагал:

> "Соседушка, мой свет, напрасно маните вы меня ласковыми увещаниями покинуть мой угол и перебраться в Ваш. Ваш угол – – тоже угол, замкнутый стенами, – свободы в нем нет. Вы говорите: пусть только человек культуры предастся вере, он уже существенно свободен. Я отвечаю: частью он, обремененный культурным наследием, не способен воспарить к абсолютному, если же присуща ему вера, она делит участь всех его душевных состояний: она заражена рефлексией, искажена и бессильна...".[3]

Но если нет знания о Боге, называемого гностически осторожными людьми "верой в Абсолют", то нет и служения, – есть подъяремный труд; труд, подчиненный сомнительным ценностям и идеалам.

Реактивный релятивизм по отношению к культуре, естественный после войн и революций, определил и гершензоновские характеристики Дон Кихота и Санчо Пансы 1922 г.

> "Мы с усмешкой вспоминаем Санхо-Пансу* и прославляем идеализм и самоотверженность Дон Кихота; так дикарь пренебрегал самородком золота, но тщательно хранил свой каменный топор.

---

* Сохраняю написание Гершензона. – *Ю.А.*

Дон-Кихот пока еще нужен; и он теперь прекрасен, потому что среди нас им трудно быть; поэтому мы вдвойне правы, прославляя его. А Санхо пока не нужен и им легко быть – за что же его хвалить? Но, я думаю, будущий, более совершенный человек, отыскивая свой ранний прообраз в минувшем, остановится именно перед портретом Санхо-Пансы. Дон-Кихот не свободен в духе – куда! он – раб, раб своего идеала, пусть высокого; смотрите, как на нем меняются свет и тень! А беспечный Санхо-Пансо – весь в солнце: ясно видит, светел духом, истинно-свободен; в земляной глыбе блестит самородное золото. А беспечность – цвет духа. Некогда человек перестанет быть рабом каких бы то ни было владык, даже истины и идеала – теперь еще нужных и мудрых властителей; его труд и дело будут творческой игрою. Разве служение Дон-Кихота игра? Он чернорабочий, трудится с напряжением, изнуряется в труде. Так нужно теперь, несомненно; но в далеком перевоплощении Дон-Кихот родится Санхо-Пансой 2-ым, очищенным Санхо-Пансой. И, я думаю, Сервантес знал это и потому-то поставил Санхо-Пансо рядом с Дон-Кихотом, как равных даже теперь. Не будь тут Санхо-Пансы, мы задыхались бы в рабстве трудовой жизни Дон-Кихота. Надо было открыть нам окно в даль свободного будущего; вот для чего здесь Санхо-Панса".[4]

Улыбка больше свойственна Санчо, чем Дон Кихоту. Но, кроме кихотического добра, есть и кихотическая игра. Н. Евреинов почувствовал некую театральность в натуре Дон Кихота. Он актер, режиссер, а зачастую и зритель своих собственных зрелищ. Разве ответы его, что одному Богу известно, существует ли Дульсинея на самом деле; разве объяснение Дон Кихота, что цирюльничий тазик становится шлемом Мамбрина, раз уж появляется над ним рыцарский ореол, но для тех, кто ореола не видит, тазик может остаться чем угодно, – разве все это не доказывает, что Дон Кихот мифологемы творил свою реальность играючи? Самое его рыцарское странствие спровоцировала игра воображения. И это странствие – не рабский труд, а вдохновенное рыцарское служение. Служение – вовсе не доля раба. Доля раба – служба.

Однако Гершензону не нравилось именно то, что Дон Кихот – раб относительностей: идеала, истины – и ради них ведет свою "рабскую трудовую жизнь".

"Да, любовь и подвиг, даже любовь Франциска и подвиг Дон-Кихота, – это тот свет, который 'во тьме светит', – свеча в ночи; этот свет не свободный, а обусловленный тьмою, реакция на тьму и оттого неизбежно – противодействие, борьба с нею, телесная или духовная, хоть в виде невольного и безмолвного укора...

Тьма сама в себе – непрестанное взаимоубийство, но и свет нынешний – еще борьба; когда же кончится теснота свалки? Последний закон термодинамики гласит: все виды энергии стремятся перейти в теплоту, а теплота – излучиться и в конце концов равно-

мерно распределиться в мировом пространстве. Так: свет будущий льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит".[5]

Свет в самом себе – безо всякой тьмы вокруг – такова метафора Нового неба и Новой земли у Гершензона. Гершензон не мог удовлетвориться одним своим многознанием и попытался средствами науки о природе описать внеприродное и непостижимое. Вяч. Иванов, для которого природа была "отдельна" от веры (и от любви) такой попытки не одобрил бы. Что же касается Дон Кихота, то вряд ли в то время Вячеслав Иванов изменил свое прежнее отношение к Рыцарю Бедному, столь же двойственное, что и у Гершензона, хотя двойственность эта вызвана была другими причинами.

"Бездомность", усталость души, обремененной ненужным грузом сведений, "культурой", судя по философскому эссе "Гольфстрем", у Гершензона вскоре прошла. Проанализировав тексты Гераклита, стихи Пушкина, книги Библии, он пришел к тому, что искал в переписке с Вячеславом Ивановым:

> "... Этот путь привел нас к нам самим. Оказалось, что истина, сказанная пращурами, жива поныне и живет в каждом из нас, как неосознаваемая основа нашего самосознания... Что древний человек постиг целостным созерцанием, то явственно сквозит в современной термодинамике, в теории относительности, в гипотезе об эфире, в учении об атоме: сквозит догадка, что сущность бытия – движение, которое в виде теплоты созидает все формы познаваемого нами мира... общей сущностью материи и духа очевидно придется признать то самое д в и ж е н и е, п о л н о е р а з у м н о с т и, которое признавала сущностью вещей древнейшая человеческая религия, – ОГОНЬ, он же ЛОГОС Гераклита".[6]

Так по культурным данностям, как по камушкам среди бурного потока, пришел Гершензон к тому "первоначальному знанию", о котором мечтал.

"Бездомность", "безосновность" – вовсе не обязательное состояние интеллигента, ушедшего от своего родового, детством заложенного, – будь то традиции иудаизма, как у Гершензона, или традиции православия. Важно, чтобы человек знал о Боге, – и пусть это будет полузнание с точки зрения конфессиональной. Бог – единственный свидетель наших помыслов и поступков. Остальные – лжесвидетели, одни по злобе, другие по незнанию.

Культура, кихотическая "книга с застежками", помогла Гершензону увидеть Бога имманентным миру (о своем религиозном видении Гершензон писал и в других философских эссе начала 20-х гг.).

Но на переходе от одного своего гносеологического настроения к другому Гершензон противопоставил Санчо Дон Кихоту по признаку органичности, непосредственности того "первоначального познания", кото-

рым Санчо в истолковании Гершензона владеет. Возможно, вернись Гершензон к размышлениям о Дон Кихоте после "Гольфстрема", он оценил бы не только "влажную" санчовскую задушевность, но и духовный "огонь" кихотизма. Ведь в "Гольфстреме" именно огненную духовность противопоставил он душевному, влажному.

Гораздо менее резко, чем у Гершензона, противопоставление Рыцаря и Оруженосца существовало в нашей культуре и до гершензоновских заметок.

Оно содержалось в журнальном варианте статьи Мережковского о Дон Кихоте, где автор подчеркивал душевное здоровье Санчо Пансы, мужика, в сравнении с барином-интеллигентом. В статье Мережковского оказывалось, что Санчо Панса из-за своего невежества на поводу у слепого поводыря, Дон Кихота.

Однако во время революционных событий 1905 г. возникла и другая точка зрения: не Дон Кихот погубит Санчо, а Санчо спасет Дон Кихота. Впервые ее высказал А.Р. Кугель (псевдоним, непонятный для народа, „Homo Novus"), замечательный театральный критик и теоретик театра, а заодно – в России до революции так почти всегда бывало с людьми яркими и даровитыми – общественный деятель. Его журнал "Театр и искусство" был лучшим театральным журналом в России. В 1907 г. в сборнике статей "Под сенью конституции" вышла статья Кугеля "Дон Кихот и Санхо Пансо". *

Статья начиналась критикой проф. Шепелевича, решительно отвергавшего "символическое толкование" Дон Кихота. А.Р. Кугель подчеркивает именно символический смысл этих фигур, существующих самостоятельно, вне романа. Для него Рыцарь Печального Образа – фигура в высшей степени благородная, бессмертная именно своей идеалистической беспочвенностью:

> "Счастье в том, чтобы любить, а не в том, чтобы быть любимым. Кажется, это писал Сен-Бев. Вот психология – простая и прозрачная – донкихотства. Великие 'беспочвенники', они были счастливы тем, что любят почву, а не тем, что почва любит и питает их".[7]

Впрочем, для народной почвы Дон Кихот, по мнению Кугеля, был почти своим. Как ни смешон Дон Кихот, он все же хотел бороться со злом, и трагическое в нем важней комического.

> "Оттого юродивые и блаженненькие пользуются народною любовью, а в глазах обширного мещанства они возбуждают насмешку. Оттого так плачет Санчо над умирающим Дон Кихотом."[8]

Перед этим А.Р. Кугель прямо говорит:

> "Народ – это Санхо Пансо".[9]

И калечит Дон Кихота не народ, а "разнородное и обширное мещанст-

---

* В цитатах из Кугеля сохраняю его написание имен. – *Ю.А.*

во", – все эти "герцоги, губернаторы, цирюльники, погонщики мулов".

Конечно, позволительно спросить, как отделить "мещанство" от "народа"? Однако бессмысленно было бы Кугеля об этом спрашивать. Он бы только огорчился. "Народобожие" было свойством этого интеллигента, а люди обыкновенно огорчаются или сердятся, если их божество хотят определить, т.е. ограничить.

Кугель писал и о человеческих воплощениях кихотизма:

> "Припомните кружок Новикова, Радищева, позднее декабристов, петрашевцев... Позднее и припоминать не нужно: тени тощих как мощи высохших идеалистов, не сходят с Россинантов и движутся перед глазами бесконечною чередою. Им твердили в один голос: какое безумие! какое донкихотство! Начитаться утопических философов и деклараций прав, Фурье и Руссо до того, чтобы пускаться в сумасбродные приключения! Цирюльники и погонщики, важные господа и красавицы на иноходцах, пастухи и пасомые, – кто только не обламывал бока политическим и общественным русским идеалистам? Их переставали бить только для того, чтобы дать срок поучениям. Взывали к благоразумию. Говорили: для кого вы стараетесь? Посмотрите, вас не хотят знать! Над вами смеются! Вас толкают! Вас ненавидят!"[10]

Граждане шварцевского драконова города в этом духе и говорили Ланцелоту; сказка Шварца оказалась своевременной не только в наши дни, но и в прошлом.

И точно так же, как впоследствии Шварц (ведь это по его воле снабдили Ланцелота оружием мастера из народа), – А.Р. Кугель обещал Дон Кихоту могучую защиту Санчо Пансы:

> "В диких мужицких руках Санхо Пансо тощий, высохший идеализм Дон Кихота быстро согревается и оживает. Темные, эгоистические, узкие люди все еще считают, что Дон Кихоты стараются для себя. Но Санхо Пансо знает истину. Ему известно, что такое Дульцинея, ему ведомо, что такое Дон Кихот... (Шестьдесят с лишним лет спустя именно таким окажется Санчо Панса из пьесы А. Володина "Дульсинея Тобосская". – *Ю.А.*).
>
> ... И скоро настанет день, когда Санхо-Пансо поедет на своем осле впереди процессии и станет трубить славу Рыцарю Печального Образа, который растоптал свою жизнь, потому что пожелал вместить в свое сердце всю мировую печаль. И тогда посмотрим, кто тронет эту бледную чахлую фигуру, согнувшуюся на седле под бременем невыплаканной тоски!"[11]

Эта парочка – Рыцарь и Оруженосец – настолько отчетливо воспринимались интеллигентными людьми начала века, что ее приметы могли стать средством обобщающей характеристики человека. В. Пяст в книге "Встречи" (изд. "Федерация", 1922) вспоминает, как в 1910 г. освободили из тюрьмы известного литературного критика Е.В. Аничкова. На чест-

вовании его, где присутствовали петербургские символисты, Вяч. Иванов "двумя словами характеризовал" юбиляра. "А именно назвал его 'Дон Кихотом со внешностью Санчо Пансо'; да, именно так, эта кличка как бы приклеилась к человеку".

В этой кличке жила не оправдавшаяся впоследствии надежда на единство вольнолюбивых народолюбцев, каким был критик Е. Аничков, за что и попал в тюрьму, и самого народа, который почему-то передоверил дело освобождения Аничкова из тюрьмы царским сатрапам.

В 1919 г. князь А.И. Сумбатов (Южин), драматург, публицист, знаменитый в то время актер, вспоминал статью А.Р. Кугеля про Дон Кихота – интеллигенцию, Санчо Пансу – народ и их "братское слияние" в будущем.

> "Утверждать, что эта талантливая фантазия оправдалась двумя первыми годами русской революции, – значит, игнорировать русскую действительность, – писал А.И. Сумбатов. – Я думаю, это должны признать наедине со своей совестью все идейные вожди всех направлений... *Все без исключения.*"[12]

Последняя фраза у Сумбатова набрана курсивом.

Надежда на единение с народом – хотя какой же теперь народ? теперь все со средним образованием! – оказалась среди нашей интеллигенции весьма живучей.

Через семьдесят с лишним лет после того, как были написаны строки Кугеля, шестьдесят лет спустя после скептических сумбатовских строк, мне попалась рукопись Р. Лерт о "Зияющих высотах" Зиновьева.

В этой статье среди прочего было и рассуждение о Дон Кихоте:

> "Что такое Дон Кихот, лишенный Санчо Пансы? И что есть Санчо Панса без Дон Кихота? В первом случае – дух, лишенный сострадательной человеческой любви, полет мысли без реальной плоти, без запаха очага, без житейских забот, свойственных большинству людей, – и потому чуждый им. А что такое Санчо Панса без Дон Кихота? Превращение человека в Рыло, оскотинивание его, стремительное его падение – сначала до морального уровня трезвого бакалавра Карраско, а потом еще ниже – до животного, независимо от наличия у него бакалаврского (или кандидатского!) звания", –

пишет Р. Лерт.

Заметим, что такой Самсон Карраско мог бы сделаться Дон Кихотом, не предполагается вовсе.

Размышления Р. Лерт вызваны были воспоминанием о фильме "Дон Кихот" в постановке Г. Козинцева; истолкование Дон Кихота как Рыцаря, "лишенного сострадательной человеческой любви", конечно, сомнительно. Во всяком случае, фильм Козинцева, не говоря о сценарии Шварца, оснований для такой интерпретации не дает. Но Р. Лерт дальше и не настаивает, что Дон Кихот – Рыцарь идеи и только. Дальше она рассуждает так:

> "Человечество не может оставаться человечеством без Дон Ки-

хота, то есть без свободной мысли, свободного полета фантазии, деятельной любви, деятельного благородства, без самоотверженности и чести. Но все это пропадет, сгниет, сгибнет в грязи и насилии Рыл, если Дон Кихота не поддержит и не защитит Санчо – трезвый, от природы добрый, естественно честный, но хитроватый и обладающий неистощимым юмором Санчо. И уж наверняка пропадет, если сам Санчо обратится в 'Рыло'.

Может быть, это имеет какое-то касательство к проблеме взаимоотношений интеллектуалов с народом? Обычно этой темой мало интересуются и мало возлагают на нее надежд. А все-таки?..."

За семьдесят с лишним лет, с 1907 по 1980 гг., надежда на Санчо деградировала. Из краснощекой, убежденной, уверенной в себе она сделалась вялой, худосочной, подслеповатой.

Кроме того, выяснилось, что Самсон Карраско, казавшийся представителем воинствующего рационализма, на самом деле и был обычным "Рылом"; впрочем, об этом давно можно было подозревать, поскольку Самсон Самсоныч, уже защитивший докторскую, обинтеллигентился до неузнаваемости: уклонистов и сионистов режет тихо, по-хорошему железно, и любит подчеркнуть, когда его упрекают в некоторых акциях, что виноват не он, а его однофамилец.

Однако несовпадение социальных реальностей у двух разделенных семьюдесятью годами авторов не помешало совпасть их истолкованию Санчо Пансы.

Санчо Панса после смерти Дон Кихота ставший единственным носителем памяти о Рыцаре Бедном, выведен в пьесе "Дульсинея Тобосская" Александра Володина.

"Дульсинея Тобосская" – пьеса-притча; так, во всяком случае, определял ее сам автор, посмеиваясь и над собой, и над модным сейчас документальным жанром, снабдил ее подзаголовком: "По документам эпохи".

В пьесе показано, что кихотизм возникает вовсе не от рыцарских романов, а от порыва сердечного, того самого движения души, о котором писал Б. Хазанов.

Луис де Караскиль, герой пьесы, "похожий на Дон Кихота", как сказано в ремарке,[13] отнюдь не сторонник Рыцаря Печального Образа. Он получил образование и хочет стать священником. По его мнению, в одиночку бороться со злом бессмысленно. Нужно сделаться членом какой-нибудь организации, – например, могущественного монашеского ордена – и тогда уже начинать творить не кихотическое одинокое, а успешное и мощное добро.

В опубликованном варианте володинской пьесы такого обоснования вступления в Орден не содержится. Но я отчетливо помню реплику в этом смысле, звучавшую со сцены Художественного театра, где роль Караскиля играл Олег Ефремов, поставивший эту пьесу А. Володина сразу же, как только он пришел во МХАТ главным режиссером. Когда он руководил

"Современником", ему так и не разрешили поставить "Дульсинею Тобосскую".

Со временем, впрочем, пьесу напечатали, даже сделали по ней телевизионный спектакль. Настолько Рыцарь Бедный оказался в фаворе.

Последнее обстоятельство было предсказано уже в тексте самой пьесы.

Юный аристократ Маттео, добивающийся руки Альдонсы Лоренцо, поскольку именно она, как удостоверил для всех Санчо Панса и есть донкихотова Дульсинея, так и объясняет ей про Дон Кихота:

> " – ... Многие, например, над ним иронизируют. Но для меня это нравственный идеал. Так же, впрочем, как и для всей современной молодежи...".[14]

Смешные ситуации, а также современная речь героев придают володинской притче иронический характер.

Молодежь и впрямь стремится добиться благосклонности Альдонсы. Дон Кихот после смерти стал знаменитостью, каждому хочется, если не записаться в Дон Кихоты, то хотя бы обрести донкихотову Дульсинею.

Но Луис де Караскиль, прозрачно переименованный Самсон Карраско, отнюдь не из поклонников Дульсинеи. Они знакомятся случайно.

Луис де Караскиль врывается в дом, где живет приехавшая из деревни в Толедо Альдонса, с криком:

– Я слышал, здесь плакал ребенок!

Недоразумение разъяснилось, но Альдонса по грозному взору, вспыхнувшему на мгновение, почувствовала именно в этом человеке Рыцаря Львов. Хотя в ремарке сказано, что Луис де Караскиль внешне похож на Дон Кихота, Ефремов не стал облегчать себе задачи, добиваясь этого сходства. Его Луис был узнаваем по благородству и силе порыва сердечного.

Но Луис де Караскиль при всей своей решительности и отваге преисполнен сомнений в себе: стремление к совершенству он склонен приписать своей гордыне; он не может поверить в любовь Альдонсы Лоренцо; он, наконец, не уверен в своем призвании. Луис утверждает даже, что он – – несчастнейший из смертных.

– Это слова Дон Кихота, – говорит Дульсинея Тобосская.

Очень может быть, что кихотизм и впрямь имеет некое отношение к комплексу неполноценности в той его форме, когда он оборачивается комплексом вины перед беспомощными жертвами зла.

Поэтому Рыцарь Печального Образа – это Рыцарь Скорби. Но его скорбь – скорбь без уныния: Рыцарь Бедный не впадает в этот грех. Кихотической скорби всегда сопутствует надежда. Что же до Луиса де Караскиля, то он готовился стать священником, и его вера в Бога сама собой разумеется.

Володинская Альдонса Лоренцо "одонкихочивает" Луиса де Караскиля, как некогда "дульцинировал" Альдонсу Дон Кихот. Она уверяет Луиса в его высочайших достоинствах. Она отдается ему, чтобы он поверил в правду ее слов и ее преданность.

Могла ли так поступить Дульсинея Тобосская?

Альдонса у Володина не "дульсинированная" Альдонса, а двуединая Альдонса-Дульсинея в том смысле, как это было у Федора Сологуба: Дульсинея не плод поэтического воображения; Дульсинея действительно явлена в Альдонсе, тождественна ей. По Сологубу это тождество возникает для поэта, едва он вступит в область Вечной Иронии. А притча Володина иронична.

Луис де Караскиль увидел в Альдонсе Дульсинею. Несбывшаяся мечта Альдонсы из сологубовской пьесы сбылась в пьесе Володина: Дульсинея была опознана в Альдонсе. Поскольку так случилось уже после Октябрьской революции, можно поставить ей это в плюс.

Но увидел дон Луис в Альдонсе Лоренсо свою Дульсинею только тогда, когда заступился за нее. Он бросился защищать ее от оскорблений "воздыхающих" кавалеров, разобиженных выбором Прекрасной Дамы великого Дон Кихота. Избитый противниками, и драться-то как следует не умеющий, де Караскиль бормочет, приходя в себя, что Дульсинея Тобосская – самая прекрасная женщина в мире.

А потом, собираясь в путь, он клянется, что станет теперь рушителем зла и всяческой неправды; он преображается в Рыцаря Печального Образа, и Санчо снова становится его оруженосцем.

В пьесе Володина мифологема получила новое развитие. Противопоставление "Дон Кихот – Самсон Карраско" оказалось снятым. Рыцарь Бедный и его антипод совпали в Луисе де Караскиле, потому что основа кихотизма – это доброта сердечная, не только даже собственно доброта, но и человеческая доброкачественность, та самая "человеческая норма", о которой применительно к русскому Дон Кихоту – Праведнику – столько уже говорилось.

Так что положение Самсона Карраско оказалось не столь уж безнадежным в смысле нравственном.

Но насколько реальны надежды на добродушного деревенского Санчо?

Если бы в жизни все обстояло так, как в пьесе Володина, где Санчо – – осторожный, хитрый, любящий деньгу мужичок при всем том верен памяти и мечте Дон Кихота, – то можно было бы стать оптимистом.

Однако тот факт, что столь непохожие люди: в 1907 г. Кугель, в начале семидесятых годов Володин, в конце семидесятых годов Лерт, – высказывали одну и ту же надежду на "простых людей", останется, боюсь, еще надолго фактом нашей культуры, а не нашей истории.

Боюсь, что Санчо Пансы в человеческом воплощении у нас просто нет.

В наших мичуринских садах и огородах бросаются в глаза совсем другие фрукты-овощи.

Видел ли ты еврея?

В диалектологической экспедиции летом 1949 г. я был старшим группы из трех человек. Мы работали в Горьковской области. С едой в деревнях было плохо. Хлеб, который пекли колхозники, был экспрессионистского темно-лилового цвета, а когда его резали, рассыпался синеватыми звездами и розовыми искорками. Хлеб был почти целиком из свеклы.

Своими продуктами мы обычно делились с хозяевами, у которых стояли. У нас были продукты отчасти привезенные из Москвы, отчасти полученные в колхозе по особому распоряжению из Райисполкома.

Инночка Эльгиссер (она сейчас в Израиле, и пусть эти строчки будут ей приветом) была к хозяйкиным детям особенно добра, совала им то невиданные московские конфеты, то редкостный в этих местах сахар; мазала ребятишек зеленкой и йодом, когда они расшибали локти и коленки, – словом, вела себя, как и подобает чуткой и интеллигентной девушке, имевшей по сталинским временам все данные, чтобы за что-нибудь влипнуть. Через год она и получила срок в двадцать пять лет за участие в антисоветской сионистской организации, созданной усилиями работников госбезопасности. (В отдном из "Вестников РХД" есть статья М. Улановской обо всей этой трагической истории.)

Хозяйке Инночка очень понравилась. И однажды хозяйка начала откровенный разговор. С тоской она сказала, что жить плохо, что ничего нет и что во всем виноваты евреи.

Инна стала объяснять, что это неправда, что евреи бывают разные и т.д. и т.п.

Хозяйка слушала долго, а потом непреклонно спросила Инну:

– Ты комсомолка?

– Да.

– Вам, комсомольцам, про евреев не велено правду говорить.

Инна пустила в ход свой последний козырь:

– Я сама еврейка.

Хозяйка не поверила. Она упрямо твердила:

– Вам, комсомольцам, велят евреев защищать, вот ты и защищаешь.

Было ясно, что женщина искренна. Между тем Инночка была (и дай ей Бог оставаться до сих пор и впредь!) типичнейшей красавицей Сиона.

Вспомнив об этой своей библейской типичности, Инна спросила:

– А вы когда-нибудь видели еврея?

– Упаси Бог! Люди говорят. А люди знают.

* * *

Берегите младенцев!

Дело происходит не тридцать с лишним лет назад, а в наши дни в московском предместье.

Молодая женщина говорит своей ровеснице, собирающейся оставить коляску с ребенком у входа в детскую кухню:

– Коляску-то так не оставляйте. Тут, говорят, евреи детей воруют. Ладно, там народу нет, я посмотрю.

* * *

Почему дорожают бриллианты?

Истории про евреев, рассказанные журналисту, писавшему очерк о почетном и опасном труде таможенников в Бресте:

– В Чопе (другая пограничная станция) сионисты везли раввина хоронить в Израиль. Разрешение есть. Все – чин по чину. А в трупе спрятали драгоценности. В ноздри засунули, в рот, в задний проход, извините, бриллианты ввели.

Между тем по Москве ходила легенда о знаменитом нашем артисте Аркадии Райкине:

– Матери своей покойной живот распорол, драгоценностями набил – и "хоронить" в Израиль отправил.

В "Неделю", еженедельное издание "Известий", удивленные обыватели даже прислали коллективное письмо. В начале там для формы спрашивали, – правда ли, мол, насчет мамаши Райкина с драгоценностями в животе? А дальше, уже не сомневаясь, что это правда, упоенно возмущались: почему же Райкин опять выступает по телевизору? Чего ему, этому Райкину, не хватает? Кому он в Израиль сплавляет капиталы?

Редакции пришлось уважительно ответить взволнованным гражданам, что все это неправда.

Но поверили ли граждане?

– У нас в той смене старики уезжали: сионисты местной общины их выселили в Израиль. Дом сожгли, чтобы заставить уехать, – рассказывали таможенники из Бреста.

Интересно, что все у них происходило либо "в другую смену", либо вообще в Чопе.

* * *

Техник-смотритель и оборотни

Ко мне пришел новый техник-смотритель нашего дома, молодой парень в поролоновой красной курточке. Осмотрев в квартире что ему нужно было, не уходит. Мнется. Удивляется, что много книг.

Потом спрашивает, собравшись с духом:

– В деревне у нас старик один говорил, что есть священная книга про конец света, там все описано, что сейчас происходит.

– Библия?

– Вроде, да.

– Апокалипсис?

– Нет, вроде.

Показываю ему Откровение Иоанна. Да, это он и имел в виду.

Потом техник-смотритель спрашивает:

– А правда, – оборачиваются? Как вы думаете?

– Куда оборачиваются?

– Ну, оборотни. Волками, например. Мне тетка говорила., что у них в деревне ведьма была. Она как что – так оборачивалась...

Парень этот служил в армии, после армии в деревню не вернулся.

* * *

На чем держатся звезды?

Таксист, который меня везет, вдруг задумчиво спрашивает:

– Как вы думаете, на чем звезды держатся? Там – пусто. А звезды – каменные.

* * *

Колорадские врачи-вредители

Другой таксист рассказывает, что еще при Сталине врачи-вредители пустили колорадского жука, и их забрали. А жук с тех пор живет, сады портит.

Спрашиваю:

– А как он выглядит, этот жучок?

– Да никак. Бацилла.

– Тогда же другие вредители, – рассказывает шофер,– построили в Москве дом ("будем проезжать – покажу") в форме фашистского знака.

Шоферу за пятьдесят, он мой ровесник.

* * *

Олимпийская легенда

Во время Олимпиады-80:

– Представляете? В только что построенной финнами гостинице – в мебели вшиты ампулы со вшами! Кто? Разве не ясно? ЦРУ!

Эту легенду, впрочем, я слышал в семье, принадлежащей к образованному обществу. Слышал не от старших, – от молодежи.

* * *

Почему они не разбились?

Старушка-гардеробщица в раздевалке Ленинской библиотеки говорит другой гардеробщице после того, как американские космонавты прилетели на Луну:

– Я уж так молилась, так молилась: Господи! хоть бы не долетели, разбились! Даже на луне они теперь, мериканцы окаянные!

* * *

Апостол Иванов

Чудотворец Иванов.

Мы с ним были в Ленинградской психарне, несколько раз я с ним там разговаривал; по-видимому, он обладает способностями экстрасенса. Четверть века спустя он меня, понятное дело, не узнал. Теперь он меня исцелял так:

– Часы меньше носи. От них магнетизм.

– Очки чаще снимай: очки на глаза давят.

– В субботу натощак выдь на двор, встань на какую-нибудь горушку. "Горушка-горушка, солнышко красное, небушко ясное, дайте мне сил, как у вас мой учитель Иван Кузьмич просил". Скажешь и ступай. День не ешь ничего. А сейчас пойдешь от меня, первой старушке, какую встретишь, дай пятьдесят копеек. Скажи: от учителя моего Ивана Кузьмича.

Мне посоветовали пойти к этому Иванову мои друзья, очень милые интеллигентные люди. Теперь они в Америке. Их друзья сказали им: "В нем что-то есть".

У этого Иванова, Учителя, была, как будто своя секта, – поклонники и поклонницы из простонародья в разных городах; у них даже были какие-то свои обряды. Сам этот Иванов, могучий мужчина с седой бородой по грудь, зимой и летом ходил босиком в сатиновых трусах ниже колен, – так он одевался и в психарне, за что врачи старались пихнуть его в буйное отделение; тамошние врачи норовили перевести Иванова в спокойное, ибо Иванов не буйствовал, а просто настаивал на своем праве ходить босиком и носить свои длинные синие трусы во всякую погоду.

Помню, вела его по двору куда-то сестра. Был декабрь. Все ежились, мерзли, а Иванов шел босиком и снежинки падали на его атлетические плечи. Медсестра на всякий случай несла его одежду и голосила:

– Оденься! Хоть ботинки одень, горе мое! Жалко тебе, что ли?

Она же была все-таки служащая МВД, и не хотелось ей, чтобы б/з/к, которого она ведет, был до такой степени одет не по форме.

Попал он в психарню не только за общую нестандартность, но и за то, что выдавал себя за вернувшегося на землю апостола Павла.

Представьте себе картину: зима, ледяная стужа, пронзительный степной ветер; "апостол" из саней вылезает в тулупе, но все поражены: босиком!

Идет в хату (Иванова взяли где-то на юге России), сбрасывает тулуп, который на плечи только накинут, – и могучий, седобородый с волосами до плеч и глазами гипнотической силы и выразительности, предстаёт перед людьми.

Вольных он лечил "силой, которую у солнышка беру, а от меня уж она исходит", и, кажется, оставлял какие-то травы. Платы за помощь не просил, но люди давали, он брал.

– Зачем вы себя за апостола Павла выдавали? – спросил я его.

– Что ты, что я, что Павел-апостол, что Адам-грешник, – для Бога все едино. Выбрал "Павла", чтобы верили крепче. Исцеляться им легче будет.

Возможно, теперь во главе своих поклонников он зовется "Ивановым-Предтечей".

Но интересно, что из народной толщи и в образованный слой проникли о нем, чудотворце, уважительные слухи.

К Санчо Пансе апостол Иванов отношения не имеет, на Дон Кихота не похож. Впрочем, поскольку его лечение оказалось для меня безрезультатным, – можно считать, что в лечении этом было нечто кихотическое.

* * *

Само собой понятно, что русская почва не характеризуется только такими примерами.

Но от таких примеров деваться тоже некуда.

Особенно, если учесть, что черные и зловещие антисемитские мифы на более высоких социальных уровнях приобретают в нашей стране уже и историософское оформление.

Знаете ли вы, что святой Владимир, введший христианство на Руси, был еврей?

Мать его, рабыня Малка, была еврейка; сионисты из иудеев-хазар подучили князька опутать христианством прекрасную языческую Русь с ее жизнеутверждающими богами. Христианство – "предбанник юдаизма", орудие сионизма и мирового масонства. Царь Соломон наметил "трехтысячелетку", срок которой истекает в 2000 году. Христианство, сионизм и мировое масонство к этому времени в тройственном союзе положат мир к ногам "сионских мудрецов".

Это точка зрения В. Емельянова, кандидата экономических наук – не гардеробщика из Ленинки! – члена КПСС, преподавателя Московского института им. Мориса Тореза. В Париже вышла его книга "Десионизация" (1978 г.), где он суммировал эту свою точку зрения, высказывавшуюся им, впрочем, с достаточной полнотой и до того в публичных лекциях и выступлениях. Ах, если бы такую же свободу Администрация предоставила академику Сахарову! После выхода "Десионизации" (но я не уверен, что вследствие этого обстоятельства) Емельянова исключили из советской компартии. В "Десионизации" В. Емельянов объяснил, что верхушка КПСС тоже подлежит чистке от сионо-масонов и сионо-масонствующих.

Сахаров – масон.

Солженицын – масон.

Троцкий – масон...

Пятиконечная звезда на родном Кремле – сионистский символ...

Обилие пятиконечных звезд на государственных гербах разных стран мира – свидетельство мощи сионо-масонских влияний.

Не имеет смысла называть все это бредом: историософские изотерические представления Гитлера и его группы были не менее бредовы, но люди, вдохновленные этим бредом, вскоре овладели массами. Бред стал столь уважаемой прагматиками объективной реальностью: нацистским Райхом.

К тому же Емельянов не одинок. Между его "Десионизацией" и вы-

шедшими у нас книгами Иванова, Евсеева, Бегуна много общего. По-видимому, у этих авторов есть высокие покровители.

Будем надеяться, что они не всесильны, тем более, что очевиден факт: хотя при Гомулке из Польши уехало подавляющее большинство евреев, это не предотвратило грандиозных забастовок и образования "Солидарности". Я полагаю, что наша Администрация заметит эту очевидность.

Деформация исторического сознания выявляется на самых неожиданных уровнях и самым причудливым образом.

Один, например, ученый видит в Петре Великом и Пугачеве явления Антихриста на Русской земле. Стиль мышления (прелогическое мышление) сближает этого ученого с апостолом Ивановым; у него, как и у Иванова, есть заинтересованные ученики.

В книге академика Б.А. Рыбакова "Язычество древних славян" часто встречается странное словосочетание "библейско-христианский бог",[15] – причем этот бог, противопоставленный божествам древних славян, выглядит отрицательно. Христианское вероучение включает Библию как священный текст; выделять из христианства библейское начало как равноправное христианству, но совершенно особое, нельзя. Возникшее после этого словосочетание бессмысленно, – оно не просто не имеет смысла, оно не может его иметь, как, скажем, словосочетание "краеугольный шар". Может быть, академик Рыбаков постеснялся сказать "иудео-христианский бог"! Или изобретенный им термин свидетельствует о распаде исторического мышления этого ученого?

Так или иначе, терминологическая неудача Б.А. Рыбакова имеет, скорее всего, свою ничуть не научную подоплеку.

Православие, медленно распространяющееся в нашем образованном обществе, отягощено эсхатологическими предчувствиями, – похожими на те, которые пугали техника-смотрителя дома, где я живу.

Граф Витте в своих мемуарах писал, что мода на всякого рода магию, ворожбу, надежды на сверхъестественные силы, скрытые в человеке, обычно предшествует социально-политическим катастрофам, – дело не в том, что "скрытых сил" нет, а границы "естественного" не поддаются расширению. Особенность описанной Витте ситуации – именно упор людей на все иррациональное, победоносное противопоставление непознанного уже известному, пренебрежение к нашей способности суждения. Однако ничего, кроме интуиции, представлений, понятий, слов, зачастую плохо выражающих сложные понятия, особенно вне контекста, у людей, принадлежащих к иудео-христианской цивилизации, просто нет. И когда общество этого типа отказывается от достоинств своей цивилизации, то оно напоминает мне Самсона, который сам остригает себе бороду. Такое умонастроение образованного общества, как справедливо отметил Витте, сулит ему большие беды.

Кроме эсхатологического искажения христианства, нередки у нас и этические его искажения.

– Я могу пострадать за Христа, но не стану страдать за права человека, – заявил после суда, где он покаялся в "клевете" на наш строй, один православный деятель.

Могу только повторить: по сравнению с этим спиритуалистическим хомячком любой атеист из Инициативной группы – орел духовности.

Современный Дон Кихот может найти себе у нас друга, – но, увы, не Санчо. Даже те, кто видит в исчезающей русской деревне Китеж-град, едва ли обнаружат там Санчо Пансу; скорее найдется простонародный Дон Кихот, тот самый праведник, без которого на Руси село не стоит.

Однако, хоть и не стояло село без праведника, но, как это теперь видно, не праведником держалось.

Где же ты, Санчо Панса, ау!

Мы не можем надеяться исключительно на свои собственные, человеческие действия. Бог не только имманентен человеку, но и внеположен ему. Здесь – тайна соловьевского "всеединства" и того, что мы не умеем превращать Зла в Добро; мы даже не можем, в сущности, творить Добра, ибо результаты поступка в дальних его следствиях нам неизвестны. Однако неделание (или делание лишь мысленное) из этих соображений – – опасная попытка взять штурмом нездешнее совершенство. Большинство наших насилий во имя Добра, а то и просто добрых поступков в смысле результативности вполне кихотичны.

Но чем долгий путь – не дальняя дорога, и чем не истина – узнать и обознаться?

> "Вперед! Куда ведет вас ваша звезда? Она ответит: в могилу!
> – Но что нам делать, пока не закончен путь?
> – Что? Сражаться!
> – Сражаться! А как?
> – Как? Вы сталкиваетесь со лжецом? Крикните ему в лицо: лжешь! И – вперед! Вы встречаетесь с вором? Крикните ему: вор! И – вперед! Вы видите дурака, коему внимает толпа, разинув рот? Крикните им: болваны! И – вперед! Всегда вперед.
>
> Отсюда, от этих слов берет начало новое прочтение 'Дон Кихота'. Единственное сегодня приемлемое", – пишет испанский ученый Г. Диас-Плаха, цитируя Унамуно.[16]

Судя по страницам Гильермо Диас-Плахи о Дон Кихоте, есть нечто общее в истолковании этого имени-притчи в Испании и у нас.

Нижеследующие строки Антонио Мачадо напомнили мне некоторые мысли Достоевского о Рыцаре Бедном:

> " 'Как ты думаешь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – есть ли волшебства, которые могли бы выстоять против подлинной отваги? Волшебники, конечно, легко могут лишить меня удачи, но отваги и мужества – никогда'. Так говорит Рыцарь Печального Образа в самой оригинальной главе 'Дон Кихота' по окончании своего гениального приключения со львами. Не вызывает сомнения, что Дон Кихот, наш Дон Кихот, – полная противоположность прагматику, делающему из успеха, из случайности мерку для добродетели и правды. Вполне возможно, что народ, несущий в себе частицу Дон Кихота, не всегда будет тем народом, который принято называть

преуспевающим. Но будет ли он народом низшим?.. Нет, с этим я никогда не соглашусь. У нас также нет оснований думать, что он будет народом бесполезным, существование которого не даст ничего значительного человеческой культуре во всей ее совокупности, что он будет лишен определенной миссии, которую призван выполнить, или громкозвучного духовного инструмента для участия в свободном оркестре истории...".[17]

Родная испанская почва Дон Кихота не отличается плодородием, как и наш российский суглинок; испанские интеллектуалы, как и русские интеллигенты, иногда чаще, чем следовало бы, жаловались на культурную отсталость своей страны; исторически недавно была в Испании гражданская война, в которой тоже победил Генералиссимус, – правда, оказавшийся несравненно мягче нашего.

Может быть, Чаадаев и прав, что Россия в смысле политическом оказывается пока отрицательным уроком человечеству. Но с чаадаевских времен уже определилось, что русская культура – "громкозвучный инструмент в сводном оркестре истории". Так что не одни фрукты-овощи с мичуринских садов и огородов вырастают на русской почве.

Пускай Испания – историческая родина Дон Кихота.

В России он нашел себе второе отечество.

Правда, доверчивого Санчо Пансы он здесь не встретит, сколько бы ни мечтали об этом его доброжелатели.

Но он найдет себе помощников и жалкую награду за свои подвиги: неожиданные, как божий гром среди ясного неба, капли добра.

Если практический здравый смысл будет по-прежнему только смеяться Дон Кихоту вслед, – здравому смыслу останется рассчитывать лишь на себя, а это в высшей степени неразумно.

* * *

Литература

1 Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон. "Переписка из двух углов". Петербург, 1921, стр. 15-16, 18.

2 Там же, стр. 20-21.

3 Там же, стр. 24.

4 М.О. Гершензон. "Солнце над землей". "Записки мечтателей" № 5, Птб., 1922, стр. 98.

5 Там же, стр. 99.

6 М.О. Гершензон. "Гольфстрем". М., 1922, стр. 153-154.

7 Homo Novus. "Дон-Кихот и Санхо-Пансо". "Под сенью конституции". СПБ, 1907, стр. 119.

8 Там же, стр. 117.

[9] Там же, стр. 116.

[10] Там же, стр. 118.

[11] Там же, стр. 120.

[12] А.И. Сумбатов. "В мощных объятиях (общие очертания 117 лет русско-грузинского объединения)". Птб., 1918, стр. 118.

[13] А. Володин. "Дульсинея Тобосская". "Портрет с дождем". Пьесы. Л., стр. 6, 1980.

[14] Там же, стр. 29.

[15] См., например, стр. 44 книги Б.А. Рыбакова "Язычество древних славян". М., 1981.

[16] Гильермо Диас-Плаха. "От Сервантеса до наших дней". М., 1981, стр.

[17] Там же, стр. 104.

15. КИХОТИЗМ И НАША ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Судьба имени-притчи "Дон Кихот" на русской почве такова, что каждый может выбрать себе Дон Кихота по вкусу.

Дон Кихот, нелепый безумец, борец с ветряными мельницами, существует для политика и жесткого прагматика.

Дон Кихот – наивный идеалист с его бескорыстным благородством и бесполезным подвигом понятен интеллигенту-скептику, каких большинство.

Есть даже Дон Кихот – революционер для персональных пенсионеров из числа чудом уцелевших и для юных комсомольцев, переживающих перед своим звездным часом культурный взлет.

Дон Кихот – праведник – фигура наиболее спорная и наименее приемлемая для большинства.

Выбирая своего Дон Кихота, каждый выбирает и свою реальность.

Человеческая свобода состоит не в том, чтобы выбрать поступок, а прежде всего в том, чтобы выбрать действительность.

Христос, искушаемый сатаной в пустыне, выбрал не экономическое чудо превращения камней в хлебы, не политический реализм гарантированной – какая разница для знающего свое дело политика, кем гарантированной? – власти, не сверхчеловеческие способности, столь завидные для европейских мечтателей о гималайских старцах, – Христос выбрал свою действительность: Истины, Подвига и Креста. Эту действительность он увидел и принял в одиночестве.

Хотя человек современной иудео-христианской цивилизации живет в обществе, но общества эти зачастую весьма пустынны, и поэтому большинство делает выбор большинства; тем не менее для оставшихся возможность выбора тоже остается.

И властолюбивый прагматик выбирает свою действительность, где главные составляющие – интрига, сговор, удар; властолюбец убежден, что сила солому ломит и хочет всегда быть силой.

Интеллигент-скептик старается поставить свою действительность на прочную основу. Безнадежность его не устраивает. Его реальность определяется закономерностями природы или истории, которые он пытается открыть или, как теперь стыдливо говорят, не "открыть", а "смоделировать". В рассуждениях о чем бы то ни было он склонен использовать самоновейшие фундаментальные научные понятия. На сегодня это – "информация", "энтропия", "системность". Бог, даже если он и есть в этой реальности, далек от домашнего очага. Мир устраивается – и устроится! –

умно и технократично. Разумеется, о рае на земле не стоит говорить, но сносно, по-человечески, люди, может быть, и сумеют существовать.

Есть еще и кихотическая реальность: современный мир – это прежде всего мучительное сплетение добра и зла. В этом мире нужно уметь решиться на свой собственный поступок ради отдельного человека или благородной человеческой идеи. Поступаться собой и помогать другим, – вот что важно в этой действительности. Ни сила сильных, ни знание законов природы не спасут, как уже не спасали все увеличивающееся население земли от все увеличивающихся по катастрофичности войн и социальных неурядиц.

Это реальность кихотическая, ибо наши понятия о последствиях добрых и злых поступков несовершенны, а наша преображающая способность недостаточна. Люди, живущие в этой действительности, как правило, не могут убедительно обосновать своих действий. С прагматиками, верными науке, они вступают в неразрешимый спор, а железнорукие властолюбцы всех политических лагерей их убивают.

Это – вечные отщепенцы, бессильные сплотить мир, сделать свою реальность всеобщей и потому не нужные никому.

Тем не менее без их действительности обойтись невозможно: они совестливы, а совесть– это не просто интуиция нравственного самосохранения, это – пока все еще незадачливый – зодчий будущего.

Из этой действительности, а не из реальности интеллигента-скептика, не говоря о мире властолюбца, являются праведники, ибо действительность Дон Кихота – это действительность сострадания и милосердия.

Не всякий человек может выбрать такую действительность.

Для того, чтобы выбрать такую действительность, надо быть хорошим человеком.

Понятие "хороший человек" столь же неопределенно, что и человек "интеллигентный" В основе обоих этих экзистенциальных, а не логических понятий лежит способность данного лица различать "добро" и "зло", а также понимать, что слово "грех" означает "преступление".

Интеллигентность, как и кихотизм, – нестойкое свойство.

Когда двое белогвардейцев явились к Короленке в дом, чтобы изъять деньги Красного Креста, Короленко пришел в ярость и даже кинулся искать запропастившийся куда-то за ненадобностью револьвер. Тут, разумеется, Короленко не был в состоянии интеллигентности.

Но чем чаще и чем сознательнее человек существует в состоянии сострадательности, внимательности, такта, в состоянии, когда он мгновенно ставит себя на место другого и выбирает образ действий, учитывая этот опыт, – тем вероятнее, что даже в припадке гнева он, в силу инерционного воздействия этого желательного и привычного состояния интеллигентности, сумеет усовестить себе подобного, не прибегая к расправе. Интеллигент, независимо от того, верит он в Бога или нет, постоянно вырабатывает себя; для этого ему нужны не одни житейские обстоятельства, но и духовный опыт истории и культуры. Историческая память – это личная память интеллигента, это не просто пережитое и осмысленное, но и за-

ново переживаемое и осмысливаемое. Точно так же творческие усилия интуиции и мысли в областях социальной, философской, художественной (в широком смысле слова) требуют от человека, чтобы он помнил ошибки и достижения прошлого. Единство творческого человека в состоянии его интеллигентности и в состояниях его творчества как специалиста придают личности завершенность, являющуюся необходимым условием ее дальнейшего развития.

Боюсь, что все эти необязательные, неточные, тривиальные рассуждения наскучили читателю. Они мне тоже наскучили и потому, полагая, что экзистенциальный опыт лучше всего передает искусство, я попробую уточнить все вышесказанное эпизодом из пьесы Д. Вассермана и Д. Дэриона "Человек из Ламанчи".

Дон Кихот бодрствует на скотном дворе перед посвящением в рыцари. Он представляет себе, как историки будут описывать эту сцену.

> "Еще долго после того, как солнце взошло на ложе сна, погрузив во тьму ворота и балконы Ламанчи, славный Рыцарь Дон Кихот, шагая мерной поступью, горделиво бодрствовал во дворе неприступного замка".

(Слышит, как эхо повторяет его напыщенные слова и пристыженно склоняет голову.)

> О, пустой хвастун! Как мог ты в такую ночь поддаться тщеславию? Нет, Дон Кихот, вдохни всей грудью живительный воздух жизни и задумайся над тем, как ты должен прожить ее.

(Опускается на колени.)

Кроме своей души, ничего
Не смей "своим" называть.
Люби не то, что ты есть, а то,
Каким хочешь и можешь стать.
Станет все то, что жалко отдать,
Обузою на пути.
Смотри вперед. В прошлогоднем гнезде
Птенцов уже не найти.
Помочь торопись человеку. Ты –
Рыцарь Прямых Дорог.
Поверь: Дульсинея придет к тому,
Кто сам пришел и помог!

В нашем счастливом мире тяжело вооруженных прагматиков безумно надеяться, что клятва Дон Кихота будет для большинства когда-нибудь значить нечто большее, чем туманное метафорическое преувеличение.

Пусть так.

И все-таки Дон Кихот этого монолога интеллигентен в истинном смысле слова.

Разумеется, не при всяком роде занятий состояние интеллигентности можно сохранить.

Несомненный интеллигент Антуан де Сент-Экзюпери не был в состоянии интеллигентности, когда совершал боевые вылеты, точно так же, как не были в этом состоянии Рузвельт и Черчилль, заключая свои таинственные и зловещие сделки со Сталиным.

Но устойчивые состояния интеллигентности особенно нужны не властителям, а подвластным.

Не следует отождествлять теоретиков террора с палачами.

Принципиальная разница между Лениным, теоретиком террора, и Берией, большим практиком резни, состояла в том, что Берия лично и с удовольствием наблюдал, как у него в кабинете избивали человека, – только стеклышки бериевского пенсне интеллигентно, по-чеховски, поблескивали.

Ленину же такое зрелище, наверняка, не доставило бы удовольствия.

Беда в том, что у теоретиков палачества всегда найдется в народе "своя рука", а, как известно, "своя рука – владыка".

Так что нет другого выхода, кроме как руку эту у теоретиков и командиров отнять, сделать маршалов междоусобных убийств и генералиссимусов внешних агрессий бессолдатными, безрукими, политическими калеками.

Разумеется, это утопия, кихотические рассуждения о Золотом веке.

– Никогда подавляющее большинство людей не будет настолько образованным и интеллигентным, чтобы мужественно и ответственно понять ситуацию, не погружая себя в утешительный самообман.

Так очень часто говорят интеллигенты, демонстрируя крайне неинтеллигентное качество: убежденность в своей исключительности, хотя исключительность эта – нажитая, а нажить ее может всякий, если захочет.

Сейчас возникают нации-сообщества (США тому пример), в которых национальной скрепой является не только общая территория и язык, но и общая историческая память, развивающаяся усилиями людей культура, религиозное многообразие, нисколько не разрушающее общества и государства. И все это происходит несмотря на то, что Соединенные Штаты – разноплеменное образование.

Однако факт тот, что до конца сформировавшихся наций-сообществ в мире еще нет. Внутри каждого единого этноса, даже и в европейских цивилизованных странах, есть интеллигентное или тяготеющее к интеллигентности национально сформировавшееся меньшинство и потенциально принадлежащее к той же нации, но пока что только племенное, варварское по своей ценностной ориентации большинство; именно себя оно ощущает "нацией".

Но что этот факт доказывает?

Будет ли он действительнее моих бессмысленных кихотических мечтаний?

Если это моя утопия о возникновении интеллигентных по преимуществу наций-сообществ не начнет осуществляться сейчас, то калеки и дети их – мутанты, выжившие после третьей мировой войны, все-таки встанут перед необходимостью ее осуществления.

Жизнь – проблема, сложнейшая из проблем. И нет людей, которые не разрешили бы ее для себя, кроме самоубийц.

Но вся сумма этих решений каждого ведет к катастрофе для всех.

Между тем наша иудео-христианская цивилизация – единственная, которая за всю историю рода людского взялась спасти всех людей на земле от холода, голода, многих болезней, которая технически уже и сейчас может это сделать, – но людям этой цивилизации с ее этическими принципами не хватает принципиальности и интеллигентности, чтобы подступиться к глобальным задачам.

В этой пустыне праведники праведничают, как нищенствуют, – ради Бога, который в нас. Атеисты из их числа называют это "совестью".

– Я верю в силу добра, а по части будущего я – агностик, – сказал однажды А.Д. Сахаров.

Один томский интеллигент объяснил мне, что верит в "пятьдесят один процент добра на земле. Иначе не стоило бы жить".

– Оптимист, – отозвался о нем Андрей Дмитриевич. – Боюсь, что добра меньше пятидесяти процентов.

Сахаров не считался ни с какими количествами, потому что он в е р и т в с и л у д о б р а (в отличие от иных христиан, которые столь же энергично в е р я т в силу сатаны, овладевшего миром).

Собственно русский характер интеллигентности А.Д. Сахарова и В.Г. Короленки, разделенных шестьюдесятью годами войн, кризисов, террора состоит в общечеловечности их интересов, которую, как свойство русского мыслящего человека, подчеркивал еще Достоевский. Для обоих этих интеллигентов Россия не является островным образованием: она существует вместе с остальным миром. "Война, отечество, человечество", – называлась брошюра Короленки. "О стране и мире" – озаглавлена работа Сахарова.

Кроме того, и Короленко и Сахаров – правозащитники, заступавшиеся по дороге к своей высокой цели – установлению человечного права в России – за отдельных людей.

И точно так же, как и Короленко, А.Д. Сахаров вступил в безнадежную и безответную переписку все с тем же правительством.

Лет восемь назад я спросил А.Д. Сахарова, зачем он пишет свои рассудительные и совестливые письма начальству. Ведь его доводы отлетают, как от стенки горох.

– Пусть даже так, – отвечал мне Андрей Дмитриевич. – Но несколько горошин могут застрять в трещинах между кирпичами. Они пустят корни и дадут ростки. А если беречь горох, не бросать его, то горошины превратятся в мертвые зеленые камушки. Суп из них можно будет сварить, но надеяться, что этот горох прорастет, смысла действительно уже не будет.

Едва ли Короленко стал бы спорить с таким ответом.

Это классический ответ человека, находящегося в интеллигентном и притом кихотическом состоянии.

"Специалисты", выбравшие себе в качестве реальности истолкование

окружающего, соответствующее последним научным данным и верящие в науку, очень часто у нас не любят "праведников", полагая, что в наших условиях челобитная в адрес Администрации – такой же экстремизм, как в других условиях автоматы и бомбы. При этом "специалисты" могут осуждать как религиозных "оппозиционеров", так и наших правозащитников Христа ради. "Специалистов" можно понять: многим из них хочется быть Дон Кихотами, но у нас невозможно одновременно оставаться и "специалистом" и "праведником" кихотического склада: "специалистов" за такую праведность вполне могут лишить работы по специальности.

Но и эти убежденные "сторонники дел, которые нужно делать", в минуты просветления впадая в интеллигентность, все-таки признают право праведников на существование. Ведь в "специалисте" очень часто живет свой маленький "праведник" – совесть.

Если же "специалисту" вообще свойственно состояние интеллигентности, то он ощущает родство с нашими кихотическими праведниками, подобно тому, как Алонсо Кихана мифологемы не мог все-таки вовсе порвать с Дон Кихотом Ламанчским.

Интеллигентности не скроешь; интеллигентный человек непременно себя выдаст, – то вежливостью, принимаемой человеком толпы за приниженность и робость, то своеобразием интонации, лишенной призвука волчьего рычания. Интеллигент влияет на других самим фактом своего существования. И он не может завыть с волками по-волчьи, ибо – "не волк по крови своей". Среди волков он погибнет или сойдет с ума, – последнее, говорят, и случилось с Мандельштамом в пересыльном лагере на Колыме.

Современному русскому интеллигенту нет смысла думать, быть ему Дон Кихотом или не быть; ему остается только осознать свое кихотическое начало (и кихотическую участь), от которых ему избавиться невозможно, и решить, что с этим делать, как жить.

Ведь в наших условиях даже "сторонник дел, которые надо делать", не имеет под собой прочной опоры.

Всякое дело у нас получает опору лишь постольку, поскольку его, словно утопающего за волосы, тянут сверху. Делу от этого больно и плохо, делателю тоже, но тут дело хоть как-то движется.

Если же человек делает полезное людям дело, хоть и в пределах государственной системы, хоть и по заданию, но на свой страх и риск, да еще с полной отдачей, – то это воспринимается как чистое "донкихотство", о чем и свидетельствуют материалы, приведенные в главе "Триумф Дон Кихота".

Специалист в области философии, истории, литературоведения неизбежно попадает, что бы он ни думал о Дон Кихоте, в положение кихотического одиночества, если только он окажется как исследователь вне рамок общепринятого или дозволенного.

Историк А.А. Зимин написал огромный труд, где доказывалось, что честь и слава российской культуры – "Слово о полку Игореве" – было

написано не в XII, а, по крайней мере частично, в XVIII веке. Труд Зимина оказался засекречен, – о печатании и речи не шло. Самое ознакомление с ним было дозволено избранному кругу специалистов. Разве Зимин, прекрасно понимавший, что тема его весьма щекотлива для нашей национальной гордыни (не гордости!), но надеявшийся, что сила разумных доводов для ученых должна пересилить прочие соображения, не оказался Дон Кихотом научных идей? Этот законопослушный, в высшей степени академичный ученый, как говорят, не предполагал, каким скандалом сочтут его исследование. Но кихотическая наивность книжного человека и толкнула Алонсо Кихану на его непредусмотрительно выбранный путь.

А разве не оказался в "донкихотском" положении академик Степан Веселовский, сознательно и много лет писавший "в стол"; его обширнейшие, до сих пор целиком не опубликованные исследования, были не ко времени при Сталине, – историк посягнул на "прогрессивность" Ивана Грозного.

А деятели антибульдозерной культуры?

Философский труд, выполненный не ради публикации, – ради размышлений; культурологическое исследование, требовавшее больших усилий и уложившееся в доклад на частном семинаре; стихи и проза, которые создаются для десятка читателей, – но с риском для автора; картины, которых нельзя выставлять, – ну, не "донкихотство" ли все это?

Кихотическое творчество не имеет иной основы, кроме как в себе самом.

Леонид Андреев был прав, назвав однажды русских интеллигентов "Дон Кихотами", стремящимися вопреки ужасу жизни найти нечто примиряющее с ней.[1] Это нечто – безнадежное, если не абсурдное, деяние.

Кихотическое начало у нас стало являться вдруг в людях совершенно, казалось бы, ему чуждых.

Зачем профессор Суриковского института, преуспевающий прагматик националистической складки, художник Илья Глазунов написал картину "Мистерия XX века" – кажется, так она называлась, – где Ленин, Троцкий, Солженицын, Сталин, колючая проволока и русские березки переплелись в сюрреалистский клубок? Для того, чтобы создать себе репутацию "диссидента" за границей и здесь? Но ведь, когда он писал свое огромное полотно, он жил в творческой сфере происходящего на картине, жил внутри творимого им мира, как и всякий художник. Я не видел этой картины (слышал ее описание) и не знаю, плоха она или хороша. Но даже если Глазунов рассчитывал именно на то, что возникнет скандал из-за ее запрещения, то это значит: и он чувствовал, что кихотическое теперь ко времени. Он ведь потом вполне "донкихотски" повел себя, ультимативно заявив, что не потерпит открытия своей выставки в Москве без этого полотна. Выставка в результате не открылась. *

---

* Она открылась с не очень большой задержкой без этой картины. – *Прим.ред.*



Юрий Александрович АЙХЕНВАЛЬД родился в 1928 г. Его дед Юлий Айхенвальд, известный литературовед и философ, был в 1922 г. выслан из СССР в составе группы видных деятелей русской культуры, вместе с Н. Бердяевым, Н. Лосским, Ф. Степуном и др. Отец — "красный профессор", уничтоженный в период сталинских чисток. Сам Юрий Айхенвальд был арестован в 1949 г., попал в ссылку. В 1951 г. был арестован вторично и до 1955 г. находился в Ленинградской спецпсихбольнице. В 1957 г. окончил институт и до 1968 г. работал в школе преподавателем литературы. Оставил преподавательскую работу из-за гонений на него в связи с подписанием им писем протеста против суда над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым и др. С тех пор работает как профессиональный литератор и переводчик (главным образом пьес и поэзии). В 1972 г. в Мюнхене издательство "Эхо" выпустило книгу его стихов и прозы "По грани острой", а в 1980 г. в том же издательстве вышла его вторая книга "Високосный год". В 1977 г. в Москве в издательстве "Искусство" вышла его монография "Остужев".